



ВОЛОГОДСКИЙ АЛЬМАНАХ



2015

МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР



Администрация города Вологды

ВОЛОГОДСКИЙ АЛЬМАНАХ



2015

К 1469127

16+ ВОЛОГДА
2015

УДК 821.161.4(470.12)
ББК 84(2Рос-4Вол)6
В68

В оформлении книги использованы работы художника В. У. Едемского, хранящиеся в фондах Вологодской областной картинной галереи.

Редакция благодарит за помощь в подготовке альманаха к изданию журналиста и писателя Н. М. Мелёхину и заместителя начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды И. В. Султаншину.

Редактор *С. Ю. Баранов*

В68 **Вологодский альманах – 2015** / Администрация города Вологды; [ред. С. Ю. Баранов].— Вологда: Полиграф-Периодика, 2015.— 459 с.: ил.

ISBN 978-5-91965-113-0

Выпуск «Вологодского альманаха – 2015» приурочен к Году литературы. В нём публикуются произведения авторов, принадлежащих к разным поколениям и работающих в разных жанрах. Не претендуя на всеохватность, альманах даёт представление о многообразии литературной жизни современной Вологды.

УДК 821.161.4(470.12)
ББК 84(2Рос-4Вол)6

ISBN 978-5-91965-113-0

© Администрация города Вологды,
2015
© Оформление. ООО ПФ «Полиграф-Периодика», 2015

Дорогие друзья, уважаемые земляки!



2015 год объявлен в России Годом литературы. Его главная цель — привлечение внимания общества к литературе и чтению как к самому действенному, проверенному веками механизму нравственного и интеллектуального развития человека. И поэтому в своей работе мы делаем ставку на защиту и сохранение традиционных ценностей, которые на протяжении тысячелетия составляли духовную основу нашего народа.

Вологодская литература насчитывает многовековую историю. Сегодня литературный процесс в Вологде представлен творчеством писательских союзов, литературных клубов и студий при образовательных организациях и учреждениях культуры, в городе действуют несколько литературных музеев. Читателям хорошо знакомы имена многих писателей-вологжан, а их произведения, которые выходят не только в местных, но и в столичных издательствах, вызывают неизменный интерес всё новых и новых поколений. Ежегодно в городе с размахом проходят мероприятия, посвященные памятным датам отечественной и зарубежной литературы, творческие конкурсы. При активной поддержке научного сообщества реализуется проект «Вологда — город грамотных людей». Одним из главных событий текущего года станут II Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия».

Всё сказанное подтверждает, что «Вологда — культурная столица Русского Севера». Именно поэтому выход в свет издания «Вологодский альманах — 2015» — долгожданное и знаковое событие для нашего города.

Формат небольшого издания не позволил с исчерпывающей полнотой представить всё разнообразие вологодской литературы, это лишь новый опыт погружения в современную литературную жизнь города. Вот почему мы планируем ежегодное продолжение начатого издательского проекта, глубинную миссию которого я вижу в консолидации усилий власти, творческих сил, общественности в продвижении историко-культурного и духовного потенциала нашего города.

Я благодарю редакционную коллегию издания за профессиональную работу. Уверен, что альманах «Литературная Вологда» будет активно использоваться в образовательно-просветительской работе, а также станет стимулом для дальнейшего развития вологодской литературной школы, ведь только совместными усилиями мы сможем сохранить красоту родного слова для нас и наших потомков.

Глава города Вологды



Е. Б. Шулепов

К 70-летию Победы

ПОЭТЫ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Александр Романов

21 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Зелёное и голубое
Теплом провеяно насквозь.
Исходит светом — глянуть больно —
На деревенских крышах тёс.
И жизнь обычная, как солнце,
Как небо и трава кругом,
То просверкнёт и отзовется
С колодца радостным ведром,
То озарит на миг из кухонь
Улыбкой женской широко,
То опахнёт горячим духом
Величественных пирогов,
То рассмешит мальчонкой малым,
Бегущим просто голышом
В траву, в кусты, куда попало —
Везде тепло и хорошо!
И никого, хотя бы смутно,
Не колет в сердце, что идут
Уже особые минуты,
И меньше, меньше тех минут.
А мужики возле колодца
Скликают баб на сенокос
И, ожидая, как ведётся,
Толкуют в шутку и всерьёз
О молодухках и попутно
О жёнах собственных, о том...
Но тут последняя минута

Обрушивает чёрный гром!
Война!.. Мы помним это, помним.
Вот он сейчас передо мной,
Такой доверчивый, зелёный,
Последний день перед войной.
Когда б заране обозначен
Он был, то каждый бы из нас,
Конечно, жил мудрей, иначе,
Чтоб не казниться в горький час.
Увы! Такого не бывало.
И этот день уже давно
Сгорел за красным перевалом,
Но всё равно, но всё равно
Лишь календарь приблизит время,
Смотрю: седые старики
Июньским вечером в деревне
Сидят, и взгляды их горьки.
И женщины, седые тоже,
Сойдутся где-нибудь к окну.
Их никому нельзя тревожить
Вот в этот горестный канун.
Я чувствую, как у России
Душа опять напряжена,
И, будто нерв, задетый сильно,
Пронзает мысль: зачем война?..
Зелёное и голубое
Теплом провеяно насквозь,
И так сияют — глянуть больно —
И крыши, и стволы берёз.

Александр Яшин

НЕ УМРУ

Когда я раненый лежал в пыли,
Страдая от удушливого жара,
Не отличая неба от земли,
Артиллерийских залпов от кошмара,

И ни стонать, ни говорить не мог,—
Тогда прямой, с пушистой желтизной

Откуда ни возьмись степной цветок
Виденьем детства встал передо мною.

Что я припомнил в этот миг?
Леса,
Деревни, в палисадниках рябину,
Под солнцем поле спелого овса
И матери натруженную спину...

Что я услышал?
Дробный стук колёс,
Крик петуха на просмолённой крыше,
Шум светлых сосен и жужжанье ос.
Раздольный звон бубенчиков услышал...

Ах, родина, лесная сторона!
Как всё стократ для сердца стало мило —
Брусника в чащах,
Рек голубизна,—
Война все чувства наши обострила.

Просторны тёсом крытые дворы,
В холмистом поле широки загоны.
Как многолюдны свадьбы и пиры,
Как сарафаны девичьи пестры,
Каким достоинством полны поклоны!

Моторы в сизых ельниках стучат,
Плывёт над лесом рокот молотилок,
И запахи бензина не глушат
Смолистого дыхания опилок.

А сколько зверя, сколько птиц в бору...
И потому, что всё перед глазами,
Не дрогну я в сражениях с врагами,
Земли родной не выдам:
Не умру!

* * *

Десяток лет
И два десятка
Спокойствия и тишины,
А я,
Как та вдова-солдатка,
Все не опомнюсь от войны.

БАЛЛАДА О ХЛЕБЕ

Мы вверх их вздымали, упрямы,
И запах соломы ржаной

вдыхали, хмелея, ноздрями
на поле, бок о бок с войной.

И диву давались: когда-то,
ещё не начав воевать,
от такой вот благодати
мы даже могли уставать...

Сейчас же всё боле да боле
просила работы душа.
И мы продвигались по полю,
суслонам чубы вороша.

Мы пели б —
наверное, пели б,—
работу беря на «ура»,
когда бы ребят не жалели,
схороненных нами вчера.

Им было бы так же вот любо,
как нам, наработаться всласть,
и сбросить пилотки, и чубом
к снопам золотистым припасть,

вдохнуть неостывшего зноя
и вспомнить на миг в тишине
родимое поле ржаное
и, может, забыть о войне.

Забыть, что фашист наседает,
забыть, что у края жнивья
винтовка тебя ожидает,
а вовсе не жёнка твоя.

Но было забыть невозможно.
Платки приспустивши до глаз,
тоскливо, печально, тревожно
глядели солдатики на нас.

Им виделась жатва иная...
Они из-под пыльных платков
глядели на нас, вспоминая,
конечно, своих мужиков.

А мы всё ломили работу,
носились, не чувствуя ног,
седьмым умывались потом,
в последний, быть может, разок.

И слепли от этого пота,
И очень боялись, вот-вот
раздастся жестокое: Рота-а! —
и всё, словно сон, оборвёт.

Сергей Орлов

* * *

Когда на фронте наступает ночь
И в небе загораются ракеты,
Они встают, идут от фронта прочь,
Белёсыми туманами одеты.
Из ржавых вод, из голубого мха
В истлевших гимнастерках и пилотках
Они встают, беззвучна и тиха
Солдат убитых тяжкая походка.
Они проходят мимо часовых
Бессонных у замолкнувших орудий,
Они зовут по именам живых,
Но их не слышат все живые люди.
Их вдаль ведёт извечная тоска
К жилищам мирным, к отческому дому
Они спешат, дорога далека,
По перелескам тёмным, незнакомым.
Но их в пути вдруг застаёт рассвет,
Петуший голос на краю России,
И на восток пути им больше нет
Через поля широкие, пустые.
Тогда спешат они к своим местам
В неизвестные холодные могилы,
И вороньё взлетает по лесам
И вслед кричит им хрипло и уныло.
Но если кто успеет дошагать
По тропам тайным в то село родное,
Проснётся ночью старенькая мать,

И взор её наполнится слезою.
У ней в ту ночь прибавится седин,
В окно глядеть старушка будет долго,
Почудилось, что в двери стукнул сын,
А это ветер в дверь стучит щеколдой.
И станет долго во дворе скрипеть
Сыпучий снег, стучать в ворота ветер,
В трубе печной о чём-то долго петь...
И женщина уснёт лишь на рассвете.
А тот солдат останется навек
Под небесами отческого края,
И станет там кричать, как человек,
Осенний ветер, по полям летая.

Валерий Дементьев

БАЛЛАДА О ПИАНИСТЕ

*Посвящается студентам,
бывшим фронтовикам*

Под абажуром, брови сжав упрямо,
Ты, наклонясь, читаешь однотомник...
Рокошующие звуки фортепиано
Едва доносит радиоприёмник.

Товарищ спит, по-детски разметавшись,
Но возле рта легли морщинки строго.
Глухая полночь. Ветерок, поднявшись,
Зачем-то шторы на окне потрогал...

Ты потянулся, книгу закрывая,
Достал чертёж и схемы агрегата.
Прислушался: Чайковского играют...
Да, эту вещь ты сам играл когда-то.

И вспомнил переправу в сорок пятом:
За Одером уже бои гремели.
Сочился серый день перед закатом
Размеренными стуками капли.

Колонны пленных в продранных шинелях
Прошлёпали по слякоти дорожной.

От миномётных выстрелов звенели
В автомашинах стекла осторожно.

Шёл мокрый снег.
И в тёмно-серых складках
Кругом поля угрюмые лежали.
В намокших задубевших плащпалатках
Солдаты у дороги отдыхали.

Обоз немецкий, — ящики, перины —
Огнём артиллерийским разметало,
И как-то одиноко пианино
Поблёскивало клавишным оскалом.

Один сержант в ушанке опалённой,
У пианино крышку обтирая,
Спросил у всех, вздыхая сокрушённо:
— А может, кто, товарищи, играет?

И лейтенант, краснея от смущенья,
Присел на ящик из-под аммонала.
Он взял аккорд — и лёгкое движенье
Прошло мгновенно по всему привалу.

Шёл мокрый снег, на плащпалатках тая.
Мелодия звучала над бойцами,
И пианисту вся передовая
Своих разрывов вторила басами.

Солдаты будто замерли в молчанье,
Забыв кисеты на коленях даже,
И каждый сдерживал своё дыханье,
И каждый по-особенному зажил.

В симфонию великого сраженья
Рвались вдохновенные солдаты,
Чтоб воплотить сердец своих кипенье
В стрекочущие ноты автоматов.

.....

Давно умолкли фортепьяно звуки,
И лёг на крыши отблеск светло-алый.
Ты спишь.
На искалеченные руки
Склонилась голова твоя устало.

Владимир Карпов

* * *

Мне везло. Это жизнь отвела
старый город и эту окраину,
где горланил петух, где пила
распевала, где нянчили раненых.

Где годами и после войны —
Всё для фронта! — с плаката забытого,
где годами — кого здесь винить? —
по проспекту гуляли убитые.

Хорошо, что мне выдалась часть
жизни в доме, где окна — на госпиталь.
Там узнал я мужскую печаль,
научился и в чёрта и в Господа...

Тыловые зады и азы
этой школы по имени «мужество»
нам достались от страшной грозы,
пота, крови, и гари, и ужаса.

...Я в Софии к окошку прильну,
вспомню окна с косыми полосками,
вспомню родину, вспомню войну,
Мать родную и страшную — крёстную.

Виктор Коротаев

ПЕРЕЖИТОЕ

А было всё не так давно:
В хозяйстве даже нет обмылка,
Опять зашторено окно,
И на столе дрожит коптилка,
И юнкеры не первый год
Крестами чёрными на небе,
И на растопку вновь идёт
Отполированная мебель.
Соседка не встаёт с утра,

От горя выживет едва ли:
Ей похоронную вчера
Уж третью, кажется, прислали.
Мать, видя, как я вдруг ослаб,
Косому спекулянту Глебу
Пальто отцовское снесла
За чёрствую буханку хлеба,
Но мы не раз голодным днём,
Свой шаг вливая в общий топот,
И в стужу шли, и под дождём
За город, на рытьё окопов.
Киркой орудовали зло,
Мальчишки, надрывая жилы.
...Тебе вот слушать тяжело,
А мы всё это пережили.

Владимир Кудрявцев

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Бегу двором. В войну играю.
На прутике скачу верхом.
Ворон растрёпанная стая,
Как пепел, падает на холм.

В заулке дед. Он выпил лишку.
Молчит, смахнув слезу рукой.
И ничего, что я — мальчишка,
Я понимаю — день такой.

— Такое дело, внук, — Победа...—
Он скажет, всматриваясь в даль.
Я так горжусь, что есть у деда
На старом кителе медаль.

Какой-то свет особый в доме.
Наверно, он от седины.
И ничего не надо, кроме
Вот этой светлой тишины,

Когда над полем месяц тонкий,
Как первенец весенних гроз,
А мать братишкины пелёнки
Развешивает меж берёз...

СТИХИ О ПОЭТАХ И ПОЭЗИИ

* * *

Пишу стихи не вечные,
А так, простосердечные,
Навскид, сиюминутные,
На вид — совсем не трудные,

Пишу простыми средствами...
А что стихам предшествует,
Какие муки-радости,—
Таю!
...Для пущей сладости.

* * *

Для писания стихов
Надо
Раз: отсутствие долгов!
(Адов
Труд, когда со всех сторон —
Просят:
Повернуть прямой резон
К прозе.)

Для писания стихов
Нужен
Два: хоть худенький, но — кров!
(Хуже
Нет, когда в чужом углу
Узком
Присоседишься к столу
С Музкой.)

Для писания стихов
Треба
Три: достаточно кусков
Хлеба.
(А не то начнёшь писать
Ради
Тех кусков, и предавать
Братьев.)

Для писания стихов
Вечных
Нам, в-четвёртых, надо дров
К печке,
Чтоб свинец чужих сердец
Плавил
Твой нетраченный, певец,
Пламень.

Для писания стихов
Также
Кой-какой запасец слов
Важен.
Это: в-пятых,
А в-шестых: прочно
Только то, что рождено
Очно.

Для писания стихов
Надо
Пункт седьмой: простор лугов,
Сада,
Благодать, «чюрли» в кустах,
Прудик,
Ну, и тот, кто о стихах
Судит!

Вот такой немалый воз,
Вкратце.
А с меня — какой же спрос,
Братцы?
У меня сосед — злодей
Прошка;
Я кормлю себя, детей,
Кошку.

Мне когда играть в слова?
Годы
Запасаю хлеб, дрова,
Воду,
То стираю, то варю
Пищу...
Упрекаешь: не творю,—
Ишь ты!

* * *

Я сижу над раскрытой тетрадью,
Как кузнец у остывшего горна,
Пересматриваю работу,
Не доделанную вчера.
Я сижу над раскрытой тетрадью,
Но какими обидно-чёрными
Бесполезными железяшками
Мне слова вчерашние кажутся,
Те слова, что казались алыми
И единственными — вчера!

Как кузнец по знакомой кузнице,
Я шагаю из угла в угол,
Посмотреть — ничего не делаю,
А на деле — совсем не так:
В том углу у меня — лучина,
В этом — твёрдый древесный уголь,
А в переднем на полке — спички,
А в четвёртом углу — мой горн!

Как кузнец по знакомой кузнице,
Я шагаю из угла в угол,
Посмотреть — ничего не делаю,
А на деле — совсем не так:
Отработав, погасла спичка,
Но — потрескивает лучина.
Догорела в горне лучина —
Чёрный уголь зарозовел!

Наклонюсь, с земляного пола
Подниму обронённый гвоздик.
К потерявшей чеку телеге

Подберу другую чеку.
Нагнетая мехи тугие,
Шевельну застоявшийся воздух
И холодный кусок железа
Суну в самый палящий жар.

Я железо калю не даром,
Я не зря стучу в наковальню,
Поднимая тяжёлый молот,
Опускаю его не зря:
Веселей подниматься людям
В их разбросанных деревушках,
Если кто-то уже проснулся,
Если где-то уже заря.

Эту сеялку, чуть живую,
Я не зря возвращаю к жизни:
Видишь — парень русоволосый
В роднике поит лошадей?
Он сейчас им травы подбросит,
Сам попьёт молока парного
И придёт — вороную пару
В эту сеялку запрягать.

* * *

Мой шёпот разросся до крика,
А я продолжаю молчать.
Цветёт по лесам земляника,
Волчица выводит волчат.
Шиповник, то алый, то красный,
Горит молчаливым огнём.
Лишь пчёлы, гудя громогласно,
До ночи работают в нём.
Пристроюсь к пчелиному гуду,
Чтоб только не вырвался крик,
«Не буду! Не буду! Не буду!» —
Шепчу я, кусая язык.
Я знаю, что если не радость
В основе событий и снов,
То крик — это попросту слабость,
Бессильный о помощи зов.
...Ведро под родник подставляю —

Спокойна, светла и добра,
«Пройдёт! Пролетит!» — напевает
Живая струя серебра.
Склоняясь, поплю из ладоней —
Вкусна ключевая вода!
И снова нечаянно вспомню
О всех родниковых трудах.
И, странно опять успокоюсь,
С ведром поднимусь на угор,
И буду работать на совесть,
Чтоб вышел с людьми разговор.

* * *

Стихи отдать в печать —
Что дочку замуж выдать:
Тут радость и печаль,
Тут гордость и обида:
Достоин ли жених?
Да ладна ли невеста?
И — самый главный стих —
Любовь меж ними есть ли?
Я, как любая мать,
Мечусь, ревную, мучаюсь,
Спешу подозревать
Безрадостную участь.
И, вольная пока
От участи избавить,
Хочу стихи в руках
В своих — навек оставить.
Но, как любая дочь,
Круты и своенравны,
Стихи в глухую ночь
Сбегают к переправам,
Сбегают к поездкам,
Сбегают к самолётам,
Им скучно возле мамы —
Им на́ люди охота.
Хотят своей судьбы —
Неведомой, отдельной,
Хотя порой слепы
И не могутны в теле.
Не нюхавшие бед,

Они ещё бесстрашны:
И на «Останьтесь!» —
«Нет!» —
Ответствуют отважно.
Уходят прозревать
И крепнуть на народе...
Стихи отдав в печать,
Потом — не жить, а вроде
На плахи-топоры,
На камни — что случится! —
С отчаянной горы,
Закрыв глаза, катиться.

* * *

Сергею Викулову

Дорога не запоминается,
Пока идёшь за кем-то вслед,
Но всё отчаянно меняется,
Коль провожатых рядом нет.
Вооружаешься советами
Того, кто там хоть раз прошёл,
И в узелок кладёшь, что следует,
Чтоб был ни лёгок, ни тяжёл.
И спать невмочь перед дорогою,
И просыпаешься в ночи,
Охвачен сильною тревогою
Без основательных причин.
А, впрочем, есть причины веские:
Тебе придётся выбирать —
По берегу иль перелесками
В деревню к бабушке шагать.
И быть придётся зрячей зрячего,
Чтоб углядеть, не пропустить
Тропу, где первый раз сворачивать,
Ручей, где переход мостить.
Угор, который осыпается
В реки немерянную глубь,
Дупло, в котором осы парятся,
Всё время в памяти голубь.
И так умают эти малости,
Что доберёшься — краше в гроб!

И бабушка всплакнёт от жалости,
Прижав к себе твой влажный лоб.
Наносит стол печенья-стряпанья —
Хватило б на десятерых! —
Достанет всё, что было спрятано,
Прибережено до поры.
А и еда в тебя не катится!
Ты сам немало удивлён...
И шумно бабушка спохватится:
«Бывай, пирог недосолён?
Недопечёна, может, шанежка?
Дак ты другие-то ломай!
Вишь, под-от выломался, батюшко:
Что посадишь — хоть не вымай!»

...Когда воротишься от бабушки,
Труднее будет позабыть
Не шанежки её, оладушки,
А тропок спутанную нить,
Берёзки, сосенки приметные,
Оврага сумрачную жуть
И то желание секретное —
Обратно к маме повернуть;
И слёзы страха, и отчаянье,
И несочувствие грозы,
И леса строгое молчание,
И лёгкий выпорх стрекозы...
Тебя не очень будут спрашивать,
Как шёл. Поняв одно: не трус!
Доверят завтра брата младшего,
А также младшую сестру.
Обуешь их в свои сандалики
(А сам — босой: уже большой!)
И поведёшь... и будет маленьким
С тобой в дороге — хорошо.

* * *

Памяти Александра Яшина

Не парижен и не книжен,
Русский, сельский, свой, живой.
У него угор Бобришный,

У меня угор Рябишный —
Поросли одной травой.
Те же ёлки да берёзы,
Те же сосны меж осин...
Он стихи творил из прозы,
Из любви, а не для поэзы
Землю к небу возносил.
Припрягая к силе смелость,
Много смог в недолгий срок.
Одного ему хотелось:
Чтоб любилось людям, пелось,
Чтоб Земля у всех имелась
И никто на ней не дрог.
Не орган, но чуткий орган
Родины (на то и сын!),
Не боялся — по задворкам,
Не гнушался — на закорках
Вынести из хмари в синь.
Вынесенным тем не страшен
Чёрт! (Горшки не боги жгут!)
Загончарили! И Яшин
Между ними — не вчерашен.
Был, и есть, и будет тут.

* * *

Памяти Н. Рубцова

Он хотел-умел лишь это:
Складно мыслить, быть поэтом!
Но издатели глухи,
Худо слышали стихи.
Он хотел совсем немного:
По России даль-дорогу,
И в конце дороги той
Хоть какой-нибудь постой,
С неостывшею лежанкой,
С бабкой, на слово не жадной,
Что дождливым вечерком
Угостила б и чайком.
...Попадались чаще фили,
Что немного говорили,
Но ночлежник и про них

Сочинил душевный стих.
Жил, пия-поя, как птица!
Мог за клюквой наклониться.
Сколь приманки ни мелки,
Стал клевать...— попал в силки!
Ветер выл, метель металась,
Дверь с петель сорвать пыталась
(Этим вьюгам и ветрам
Он роднее был, чем нам.)
Удалось: открылась фортка!
...Он лежал по-птичьи кротко:
На полу. Ничком. Молчком.
Под двукрылым пиджачком...

* * *

Памяти Николая Фокина

Ещё начало октября,
А уж земля — ледышечкой,
Снежинки в воздухе парят,
Зимы дыханье слышится.
И то: под Тотьмой — не в Крыму!
Да и не в том трагедия.
Мы опоздали к твоему,
Поэт, немноголетию.
Пока ты жил и ворожил
Над песенными строчками,
Никто из нас не поспешил,
Чтобы помочь с отсрочкою
Того — назначенного ли? —
Лихого часа смертного...

На серый холмик снег летит,
Летит ордой несметною.
Он жизни радостной хотел,
Таланты и поклонники!
Все нюксенецкая метель
К утру сравнивает холмики.
А мне видением былым
Он — на пути: не вежа ли?
В ночной пурге стоит один.
Ждёт нас. А мы — проехали.

* * *

Стыло, темно и скользко:
Север. России край.
На полуострове Кольском
Колычев Николай —
Зрячий. Живой. Горячий.
Пишет стихи. Поэт.
И под крыло не прячет
Голову в смуте лет.
Родину чтит, как маму.
Мать бережёт, как сын:
Нежен. Надёжен. Самый
Чуткий — в часы грозы.
Сам, как дитя, ранимый,
Молнии не боясь, —
Громоотводом: в милых
Молнии — не попасть!
(Правда, не много молний
В Мурманске: чаще гроз
Колычеву напомнит
Знать о себе мороз!)
Будет нужда погреться —
Милости просим быть
Поблизку с этим сердцем,
Могущим лёд топить.

Милые человеки!
Знайте: внутри страниц
Колычевых — кумеки
Божьих тревожных птиц!

* * *

...Поэты вымерли. Мне не с кем
Переглянуться сквозь туман
В тоске по минувшим советским
Благословенным временам.

Поэты кончились. Читатель
Их смерть легко благословил
И зря копейчку не тратит
На обитателей могил.

Былых реалий нереальность!
Былой романтики наив!

Печальной песни пасторальной
Переселенческий мотив —

Всё тонет в грохоте разрухи!
Едва ли томики стихов
Теперь займут сограждан руки,
Очистят души от грехов:

Не до поэзии да сказки!
...Видать, не тот ещё предел
Усушки нашей и утряски,
Когда душа — превыше тел...

* * *

Поэзия проблем не поднимает:
Прогулочный себе усвоив шаг,
Она, увы, не только не ломает,
Но даже и не скрещивает шпаг.
Не слышно звона стали напряжённой!
Иль нечего из ножен вынимать?
Ни поразивших нет, ни поражённых...
Иль не за что нам намертво стоять?
Ужель и вправду времечко такое —
Блаженное! — настало наконец,
Когда в объятьях лени и покоя
Спокойно может пребывать певец:
Поборник мысли, времени глашатай?
Восстань от сна, яви себя, яви!
Иль больше нет ни «полосы несжатой»,
Ни светлых слёз, ни счастья, ни любви?

* * *

Уж не времени ли примета,
Не эпохи ли перехмур?..
Озабоченные поэты
Как не знают, что есть Амур,
Афродита, заря Аврора,
Грозы Феба, Фемиды мечь,
Что поэту земельным спорам
Надо горние предпочесть.
— Слава временщика долга ли?

Слово временщика на час! —
Так нас критики подстрекали...
Только снова стихи у нас
Не про реки — про в реки стоки,
Не про небо — про в небо дым,
Про разбурканные дороги
К невесёлым местам родным,
Про растерзанные опушки
(Трактор-танк супротив дерёв),
Про разрушенные церквушки...
Где ж молитва, восторг, любовь?
Как наставников не обидеть,
Обязавших поэта знать:
«Дело каждого — слышать, видеть,
Одарённого — избирать»?
Спорить не с чем. Ясна дилемма:
«Все — в поход, а поэт — в полёт».
...Избирательная система
Что-то плохо себя ведёт.
И поэмы у нас «проблемны»,
И в стихах у нас «соцзаказ»...
Не бракованное ли сено,
Упаси бог, жуёт Пегас?

* * *

Писатели не пишут,
А пахари не пашут:
Пути-дороги ищут,
Как жизнь наладить нашу.
Кто хочет — подходней:
Посупистой! Покашней!
Кто хочет — подушней:
Поздешней, повчерашней...
Болото или крёмень?
Борьба или послушность?
А время — ногу в стремя! —
И мимо нас, заблудших.

* * *

...Во славе, но болен и стар ты:
Уже не выходишь на старты!
А если выходишь на старты,

То лишь поглядеть на борцов.
Ни воли в тебе, ни азарта
Опять угодить в бонапарты...
Но данный природою дар ты
Внедряешь в других молодцов.
В неловких пока, неумелых,
Но — юных, здоровых и смелых!
Чтоб душу сознание грело:
Тобой не закончился спорт!
Чтоб новое слабое тело
Твой взлёт повторить захотело,
И выше предела взлетело,
И твой перекрыло рекорд.
...Спортсмены, наверное, правы.
Но боги Олимпа лукавы,
И вдруг рассмеются когда вы
Резон возведёте в закон!
Просты стихотворца забавы —
Рифмуй до победы, до славы!
Но вреден поэзии навык:
Поэт — не ремесленник он!
Ему молодому ль, седому,
Скучны фортеля и приёмы,
Которые были знакомы
Поэтам минувших времён.
Мелодией сердца влекомый,
Он не над изданием тома
Дрожит, но над Сутью искомой,
В которую вечно влюблён.
...«Уж как вы хотите, ребята,
Но в “тренеры” мне — рановато,
И в “судьи” меня не влечёт.
Ни кресло, ни чин, ни зарплата,
Ни шуба, ни тёплая хата
Не стоят того результата,
Что миг вдохновенья даёт».
...И вот неухожен, рассеян,
Седея, морщинась, лысея,
Бредёт он путями Рассеи,
Невнятно строку бормоча,
Чтоб Доброе-Вечное сеять,
(Всё мимо доходных лазеек),
И люди его ротозеем
Ругнут, повстречав невзначай.

Он это едва ли заметит!
И людям таким не ответит:
Ведь люди, как малые дети,—
На них обижаться нельзя!
Зато на грядущем рассвете
Подхватит строку его ветер,
И жить ей — не меньше столетья!
...А, может, и больше, друзья!

* * *

То явственней, то глуше,
То вслух на целый свет:
— Не трогайте, не рушьте
Тех мест, где рос поэт!
Где памятником детству —
Избушка при лужке,
Отцовское наследство —
Узор на бадожке,
Где пихта без вершины
(Грозой поражена),
Над озером кувшинок —
С кривулею сосна,
Где вешали качели,
Откапывали клад,
И жгли костёр вечерний,
И пели про орлят...
Ему дороже славы,
Поверьте, земляки,
Тот камень у канавы,
Та кузня у реки,
Те силосные ямы,
Те рощи (нынче — пни),
Где он играл с друзьями
В безоблачные дни.
Духовность безоружна:
Пальни — её и нет.
Не портите, не рушьте
Тех мест, где рос поэт!
Иначе есть опасность
Познать природы месть:
Забыть, что есть Прекрасно,
Что Безобразно есть.

ВОЛОГДА

В тени особнячков полузабытых
Ты, город мой, хранитель старины,
Ты был и явь, и всё ещё видны
Следы твоих увечий неизжитых.

Ты всё ещё тишайший скопидом,
Своё добро хранишь по переулкам,
Стараясь уберечь в столетье гулком
Всё то, что наживал с таким трудом.

Тебе милы родные лопухи,
Деревьев сень, холмы под изголовьем
Да звон синиц! Печали и грехи
Смываешь ты речной прозрачной кровью.

Пусть «светлая вода» не так светла,
Не едут сани с волока на волок,
Но слово прозвенело, как стрела,
Чей лёгкий путь стремителен и долог.

Незримой тьмой столетия прошли,
Теснили поколения друг друга,
Но сила этой северной земли
Была неизменяемо упруга.

Славянский и угорский колорит
Расцвечивают твой орнамент древний,
И до сих пор душа твоя хранит
Наивную доверчивость деревни.

Куранты бьют. Идут года, века.
Жизнь движется ни медленно, ни споро.
Но неизменны город и река
И купола Софийского собора.

СТАРАЯ ВОЛОГДА

Старый дом — орнамент броский,
Мезонин на три окна.
Он стоит на перекрёстке,
Как в былые времена.

Жизнь меняется, как в сказке,
Только твой удел не нов —
Быть ревнителем пристрастным
Мастерства своих творцов.

На виду зеница ока,
Хоть собой не исполни.
По фасаду — девять окон,
Вход, балкончик, мезонин.

БАТЮШКОВ

Так, осенённый рифмой, в час труда
Над деревенькой видел свет Эллады.
Крестьянка жнёт. И, покоряясь ладу
Её руки, сгибаются хлеба.
Сиринги звук и странный хохот Пана
Над северными водами туманом
Живут и эхом просятся в стихи...
И сад прекрасен. И места тихи,
И дышат древним раем — не обманом,
Не сном, не романтическим стихом.
Вот граций покровитель, старый дом,
Поэта дразнит ароматом пряным
Распиленного дерева, хвои...
Где Лары знают норочки свои.

РУБЦОВСКАЯ ОСЕНЬ

(Е. Волковой и И. Цветковой)

Сентябрь позолотил листву,
Как щедрый ювелир.
И осень грезит наяву,
Преображая мир.

И снова вяжет листопад
Свой кружевной узор,
И листья весело летят,
Усеивая двор.

Летят они машинам вслед,
Вдоль улицы, к реке,
На берег, где любил поэт
Прогулки налегке,

Любил вечерние огни
Над Вологдой-рекой,
Высокий холм и эти дни
С их тихой тоской.

И много было зим и лет.
Что счёт вести былью?
Но смотрит бронзовый поэт
На Вологду свою.

И осень золотым жильём
Отрада и приют...
Недаром в Вологде её
Рубцовскою зовут.

ПЕТРЯЕВО

Затейливо петляет
Дорога в полях.
Вот оно, Петряево,—
Во весь размах!
И зелено, и знойно,
И солнце в зенит;
От мошкеры назойливой
Округа звенит.

У дома знакомого
Машина замерла.
— Хозяева дома ли,
Вдруг важные дела?
И гости мы незваные,
И дел непроворот.
Но вот, ступая плавно,
Хозяйка идёт.

И радостно открыта
Душа её словам,
И пыль дорог забыта,
И суета, и гам.
И лестницей заветною
Ведёт наверх, под сень.
Ступеньки светлые
И не скрипят совсем.

Проходит жизнь, но лестница,
Что в горницу ввела,
Времён былых ровесница,
По-прежнему бела.
А там, в светёлке-комнате
И угощение ждёт.
А к дому — праздник, полноте! —
Стекается народ.

И вспоминать поэта нам
И грустно, и тепло.
И, видимо, поэтому
Так в горнице светло.
Да, знать места не даром
На песни здесь щедр —
Так солнце пышет жаром,
Так звонки комары!

Так музыкален птичий
Неутомимый гул.
И — русское величие! —
Берёза на лугу.
...Дорога вновь петляет,
Машина стелет след.
Спасибо, Петряево,
За солнце, за привет,

За доброе радушие,
За деревенский пир,
За то, что не разрушен
Твой уникальный мир.
За память о поэте,
За искреннюю боль
И за дороги эти
Любить тебя позволъ.

ДЕТСТВО

Недавний сон: глубокая зима
И сумерки над Сухоной-рекою.
В домах огни, и яркая кайма
Вокруг луны. Мне наяву такое
Когда-то в детстве видеть привелось;
И той, далёкой, жизни панорама —
Лесной посёлок, катер-перевоз,
Нагруженный хлыстами лесовоз,
Дорога в школу — помнятся упрямо.
А вдоль реки леса стоят стеной!
Из тех лесов отец приносит ёлку.
Нас трое. Мы в дверную смотрим щёлку —
Там зверь зелёный, пахнувший смолой!
Лохматый зверь! В неведомой берлоге
Был найден он и к дому привезён...
Я первая, хоть братья на пороге,
Оделась мигом и за двери вон!
С бельём морозным, хрустким, как галеты,
Приходит мама. Скоро Новый год —
И в проруби большой застывший лёд
Кололи мы. И полоскала в этом
Ледовом царстве мама простыню.
Я помогала разве теплым словом...
А берег был высоким и суровым,
Закованным в морозную броню!
...На маленькой веранде — ни души,
Лишь сухонской воды остался запах
В пустых корзинах. Жду над ёлкой папу,
И снег над нами медленно кружит.
Но ель дожждётся папиного слова
И, молодым послушная рукам,
Расправит ветки, и воскурит смолы,
И встанет на дыбы до потолка...
Кто, повзрослев, не убеждал себя,
Что в детстве навсегда остался праздник,
И, юности порог переходя,
Не испытал подобие боязни?
Кто, усложняя знаньем жизнь и дух,
Не веровал в спасительное время?..
Но в детстве — лучший мир, и лучший друг,
И счастье быть возлюбленному всеми!
Как много может вспомнить и принять

Неискушённый ум живой душою...
Теперь же остаётся лишь с тоскою
На ритуал ребячества взирать!
Смешным довеском кажутся года:
Десяток лет иль полтора — не сроки!
Но помню дом, и игры, и уроки —
Всё то, что отлетело навсегда.
...Леса, леса! И сухонский причал,
Обилье снега и обилье ягод,
И ели на холмах — подобья пагод,
И по ночам — ярчайших звёзд хорал...
А эскимо на палочке! Впервые
Мы пробовали лакомство богов...
Мы — детвора высоких берегов
И устюжской лесной периферии.
В нас било любопытство, жар игры
Захватывал — неукротимый гейзер,
Когда мальчишки в мае в речку лезли
Иль в узкий лаз таинственной норы...
И если б можно было, хоть немножко,
Вернуться снова к чудной той поре,
Где будут осень, огород, картошка,
Цветы на клумбе, огурцы в ведре...

VATERLAND

(памяти моих немецких предков)

Мир мой, ты ли ложью не отравлен?
Где твой разум, где твоя отвага?
Был мой прадед умирать отправлен
В каменные норы Логчимлага.
«Помощь мировой буржуазии» —
Лучше не придумать обвиненья.
Дескать, за границу вывозили
Золото пудами и каменья!
Что же делать куче ребятишек
Без тепла, без Родины, без крова?
Вот за этот, видимо, излишек,
Поплатился прадед мой сурово.
Не был ни врагом он, ни шпионом,
Не был кулаком и живоглотом...
Он стихи писал про «время оно»,

Он с женою и детьми работал.
Он привык считать Россию домом!
Со времён «царицы Катарины»
Над малороссийским чернозёмом
Вюртембергжцы наклоняли спины.
«Фатерланд» остался за границей,
Здесь же труд, и молодость, и знанье
Помогли с Россией породниться
И к себе не требовать вниманья.
Но однажды прадед стал изгоем —
«O, mein Gott!», — прабабка причитала, —
Перед встречей с северной пургою,
Монастырской каменной опалой.
Так в глухие дебри и болота
Северной «Сибири подстоличной»
Свезены и брошены без счёта
Тысячи таких же горемычных.
Немцы, украинцы и татары,
Казачи, крестьяне, профессура...
В каждой церкви вологодской — нары,
И у входа в храм — комендатура.
Не свята прилуцкая святыня,
Снесены кресты, могилы срыты.
Батюшков! Не ведомо доньше
Место, где почует прах пиита!
Реки слёз узилища не смоют,
Бездны горя камень не поглотят,
Стражники ворота не откроют
Тем, кто в них отчаянно колотит.
Эту боль пудами не измерить,
Не осмыслить до конца потомкам.
Как мы сможем Родине доверить
Жизнь и душу, коль живем в потёмках?
Время не утешит, только строфы
По былому всё ещё тоскуют —
Там у каждого своя Голгофа,
Что со всею строгостью взыскует.
Вот столетье кануло, как в омут,
По воде расходится кругами —
И не души, а страницы стонут,
Словно стебли трав под сапогами...

ПАМЯТЬ СТАРЫХ ФОТОГРАФИЙ

Давно пора разобрать фотографии, которые годами лежат в целлофановых пакетах и как попало засунуты в переполненные старые альбомы. Они стареют, как люди: у карточек засыхают и горбятся уголки, появляются трещины-морщинки, выцветают и желтеют давно снятые родные лица и, кажется, что они глядят из прошлого с затаённой грустью и осуждают меня за небрежение и слабую память.

Простите меня, дорогие, я, как и все немолодые люди, много суечусь, занимаюсь будничными делами, устаю, болею и просто ленюсь. Простите.

Папа, мой семейный альбом начинается с твоих фотографий. Я смотрю на тебя и думаю: как же мало внимания я тебе уделяла, как не ценила наши встречи и разговоры, не старалась понять тебя, и если любила, то скорее бессознательно, как любят все дети своих родителей! А ведь я очень похожа на тебя, и чем больше размышляю об этом, тем больше нахожу сходства между нами и понимаю, каким дорогим человеком для меня ты был, есть и остаёшься.

Сегодня я разложила твои снимки на столе и вспоминаю всё, что ты говорил мне о них, или то, что я знаю сама. Вот передо мной самая ранняя твоя фотография, вернее, не только твоя. Это большой общий снимок подростков, прибывших из самых дальних уголков Вологодской губернии в начале тридцатых годов в Вологду на слёт первых пионеров. Ты — во втором ряду, в центре, единственный в пионерском галстуке, гордый и исполненный сознания важности происходящего.

Кстати, я храню снимок, запечатлевший день, когда и меня принимали в пионеры. На нём у меня точно такое же выражение лица, как у тебя. Только у тебя на груди, наверное, ситцевый галстук, а у меня — шелковый.

На фото вы все такие худенькие и одеты очень бедно: в самодельные рубашки, курточки и пальтишки, перелицованные и перешитые из выношенных вещей старших братьев и отцов.

У большинства мальчиков на головах старопрежние картузы, девочки в платочках. Только у немногих детей, по-видимому, городских, на головах кепки и шапочки. Ты мне рассказывал, что родился и вырос в деревне Павлово, близ села Рослятино. Дедушку, Андрея Логиновича Андреева, как самого бедного крестьянина в деревне назначили после революции председателем только что созданного колхоза. Ну, а ты, сын председателя, стал первым пионером.

Следующая фотография переносит меня в август 1936 года. На ней — ты и несколько сельских пареньков из Тотьмы, Никольска и Рослятина. Вы едете поступать в Ленинградское военное училище, в Вологде зашли сфотографироваться на память. Кто-то из вас робеет, но храбрится, другие полны предвкушения новой интересной жизни в большом городе. Тебе двадцать два года, ты взрослый по тем временам человек, школьный учитель. Учитель тогда был самым уважаемым человеком на селе. Новая одежда — признак того, что ты, как сельский интеллигент, немного лучше обеспечен и занимаешь более видное положение в обществе, чем твои товарищи.

Боже, как давно это было! Но чем дальше мы расходимся с тобой во времени, тем дороже ты мне становишься. Странно, но мы и удаляемся друг от друга, и одновременно сближаемся. Я всё дальше ухожу от тебя по тропе времени, но догоняю по возрасту. Через какой-нибудь десяток лет мне стукнет столько же, сколько было тебе в 1992 году, когда твоё время остановилось.

Вот три фотографии 1937 года. На них ты уже курсант Ленинградского военного училища. Как идёт тебе военная форма! Ты ждёшь каких-то больших испытаний, хочешь стать героем, но тебе ещё неизвестно, что скоро будет Финская война. И ты пока не представляешь, как это — воевать, убивать врагов, видеть, как погибают товарищи, и замерзать в окопах у линии Маннергейма. Всё это ещё впереди.

А на этом снимке у тебя такое нежное, прекрасное мальчишеское лицо: сияющие чистотой глаза, пухлые, словно рисованные, губы, густые прямые брови, чуть приподнятые над переносицей «домиком». В сочетании с гладкой молодой кожей у глаз, чистой линией скул и подбородка, с мягкой волной волос надо лбом они придают тебе мечтательное выражение. В двадцать два года я была удивительно на тебя похожа. Только то, что в тебе, как в мужчине, было прекрасно, мне, как женщине, не очень шло. У меня тоже были широкие

брови, которые я потом выщипала, повинаясь моде. Твоя линия подбородка утяжеляет моё лицо и делает его излишне «волевым». Во мне слились внешние признаки двух сильных характеров — твоего и маминого, и это всегда отпугивало от меня мальчиков, а по мере взросления и мужчин. Многие говорили, что побаиваются меня. А я тогда не понимала, чем я хуже других девчонок.

Мне особенно нравятся два групповых курсантских снимка. На одном вы стоите с ребятами в чистенькой форме, бравые, подтянутые, правая рука у всех упирается в бок, что ещё больше подчёркивает ваше задорное настроение, а посередине сидит парень с баяном и разводит меха. Вы улыбаетесь весело и открыто, готовые хоть сейчас идти в бой. На второй фотографии те же лица, но вы уже выпускники училища, на головах будёновки, в руках наганы, и вы явно немного выпили «для куражу», вас выдают предательски блестящие глаза. А ты, как всегда, в центре, и я думаю: тебя любят, ты популярен среди товарищей. Ромбы на воротнике формы показывают, что ты уже младший командир. С 1937 года и до своего последнего дня ты всегда оставался командиром, отвечал за других людей и первым шёл в бой.

У меня под рукой две пожелтевшие газетные вырезки, ты хранил их с 1938 года. На первой — фотография шести курсантов-отличников, слева — твой друг Серёжа Стёпушкин и ты. А вот снимок, о котором ты мне рассказывал. К вам в училище приезжал заслуженный артист республики, орденосец, Николай Константинович Черкасов. К тому времени он уже снялся в «Депутате Балтики», «Детях капитана Гранта», «Острове сокровищ», «Петре Первом». Публика его обожала, и вы, курсанты, тоже им восхищались. Черкасов — высокого роста, ты едва достаёшь ему до плеча. Ты и ещё два курсанта идёте с ним по тропинке в лесу (наверное, у вас были учения), о чём-то весело разговариваете, смеётесь. Черкасов шутит, смотрит на букет полевых цветов, который вы ему подарили, и улыбается. Ты говорил мне, что великий артист запомнил вас и пригласил сниматься в массовке фильма «Александр Невский». Вы с друзьями участвовали в съёмке Ледового побоища на Чудском озере. Ты ещё удивлялся, что зимний бой на озере снимали на Дворцовой площади в Ленинграде, а лёд был сделан из картона.

Жаль, что про Финскую войну мы с тобой почти не разговаривали. Помню только, как ты однажды с улыбкой сказал мне:

— Знаешь, почему я остался жив на Финской? — Потому что я маленького росточка. Всех дылд сразу снайперы перебили, а меня из окопа не видно было.

Что тут скажешь — шуточкой отделался.

Есть ещё одна фотография твоего друга, сделанная в 1940 году. На ней стоит молодой командир взвода с офицерской сумкой-планшетом, в пилотке и в форме, явно побывавшей вместе со своим хозяином на фронте. В нём нет лихой весёлости и задора курсантских лет, а во взгляде чувствуется опыт воевавшего человека. На обороте читаю: «На память другу Сашке от Кольки, г. Онега, октябрь 1940 года», подпись. И всё. А сколько за этими скупыми словами стоит пережитого, знали только вы двое да ваши товарищи, не вернувшиеся из боёв.

Папа, я раскладываю твои фотографии по годам и местам, где мы жили, следуя поворотам твоей армейской судьбы. Сам ты почему-то никогда не рассказывал мне о военном прошлом. Если я задавала вопросы, переводил разговор на другую тему или вспоминал какие-то забавные истории. Я очень жалею, что никогда толком не поговорила с тобой, не расспросила о жизни и о войне. Впрочем, годы спустя, я поняла, что солдаты Великой Отечественной вообще не любят рассказывать о своём участии в боях, о том, что им действительно довелось пережить. И всё же ты однажды обмолвился, что в партизанском отряде, одном из тех, в создании которых ты принимал участие в 1943 году на Брянщине, в Сече, зимой вы часто спали на снегу — ложились на одну полу полушубка, а другой закрывались. Меня поразило тогда, что при такой жизни вы почти не болели, не простужались. Но это, конечно, было не самое главное.

Много позже будет написана повесть Овидия Горчакова и по ней в семидесятых годах снимут знаменитый фильм «Вызываем огонь на себя» о партизанском движении в брянских лесах. Впервые на телевидении он появится в 1965 году. Не от тебя, а из книги бывшего партизанского комбрига Фёдора Семёновича Данченкова я узнаю, что ты был командиром роты, а потом батальона 1-ой Клетнянской партизанской бригады, что тебя за отвагу и весёлый нрав друзья называли Сашкой-партизаном. А в фильме будет эпизод, в котором партизаны обнаруживают и уничтожают дом отдыха гитлеровских лётчиков-асов. В этой дерзкой операции принимал участие и ты! После показа фильма к нам приедет твой товарищ по партизанскому отряду, и вы будете долго вспоминать Сечу, Ф. С. Данченкова, связную Аню Морозову, других

ребят и то, как вы вместе воевали. Тебе будут звонить твои соратники из Брянска, Минска и Киева, и, пока сможешь, ты будешь ездить туда отмечать вместе с ними День Победы. А я буду ужасно гордиться тобой и удивляться, как мало я о тебе знаю.

Ты рассказывал мне только об одном случае из своей партизанской жизни, над которым всегда смеялся (опять «не боевой», но всё-таки показательный эпизод). Однажды зимней ночью 1943 года ты вышел из лесу в деревню добыть у колхозников каких-нибудь продуктов. Вы часто недоедали тогда — снабжение партизанских отрядов на оккупированной территории было делом трудным и нерегулярным. Ты пробрался в деревню, в которой стояли немцы, и тихо зашёл в одну избу. Тебе дали решето яиц. По дороге назад ты нос к носу столкнулся с немецким солдатом, который тоже ходил по деревне в надежде найти что-нибудь съестное. И у него в руках тоже было решето с яйцами. Вы стояли друг против друга с автоматами за спиной и занятыми руками. Вы застыли на время, глядя друг другу в глаза, а когда поняли, что ни один из вас стрелять в таком положении не может, разбежались в разные стороны. На войне всякое бывало! Каждому хотелось жить, а голод не тётка! И враг порой обретал человеческое лицо.

На фотографии 1945 года ты стоишь, опираясь на спинку кресла, в каком-то красивом доме освобождённого от фашистов польского города Легница (немцы называли его Лигниц). Ты — майор, помощник коменданта этого небольшого города. Какой щегольской и бравый у тебя вид! Ты в новеньком кителе, в брюках галифе и в новой фуражке с красной звёздочкой на околыше. Начищенные до блеска хромовые сапоги собраны в лихую гармошку. На кителе видны орден Красного Знамени и медали. Ты ещё молод, но война уже стёрла улыбку, которая раньше пряталась в уголках рта. Не удивительно, ведь за твоими плечами уже Финская война, партизанское движение и бои на Белорусском фронте. Я унаследовала твоё упрямство и напористость, а твоя храбрость преобразовалась во мне в безрассудство. До сих пор, если у меня на глазах творится несправедливость или нечто выходящее за рамки дозволенного, в душе закипает протест, и я без раздумий бросаюсь на защиту правого, с моей точки зрения, дела.

А ещё во мне живёт твоя склонность к аккуратности, щегольству. По фотографиям видно, что тебе нравилось носить военную форму. Должно быть, тебя привлекала в ней чет-

кость и продуманность линий, органичное сочетание удобства и соответствия функциям, которые выполняет военный человек. А как она подчёркивала твою мужественность! Я всегда удивлялась, откуда в тебе это щегольство, этот офицерский шик, ведь ты деревенский парень из самой бедной семьи.

Шёл 1949 год. На фото — подмосковное село Ашукинское, в котором мы жили всей семьёй после окончания войны и по возвращении из Польши, где родились мы с братом Сашей. Тебя, как боевого офицера, орденоснца и командира, направили учиться в Москву, в Военную академию имени М. В. Фрунзе. На фотографии мы все вместе — ты, мама, я и брат — сидим на одеяле в огороде нашей хозяйки среди кустов смородины и капустных кочанов. Вы с мамой молодые, красивые и очень худые — время было голодное. Ты, как всегда, в форме, на маме надето чёрное платье с кружевной вставкой впереди. Мы с Сашей тоже худющие и смотрим исподлобья.

Дальше была твоя учёба, новое звание — подполковник и переезд в город Архангельск. Жили в одном из барачных домов на окраине, за которой простирались безлесые торфяные болота — предмет неустанного интереса детей военных, живших в этих домах.

Архангельских снимков много. Я их рассортировала на летние и зимние. Северяне ценят каждый день лета, особенно такого короткого, как в Архангельске, поэтому спешат получить от него как можно больше солнца и удовольствий. Вот и мы вместе с другими офицерами и их семьями отдыхаем за городом, в Чёрном Яре. Я точно не помню, где это, но знаю, что Чёрный Яр находился в перелеске на высоком берегу Северной Двины. Вокруг скатерти с едой и напитками, разложенной на траве, сидят взрослые, и тут же играют дети. Ты немного пополнил, но всё ещё стройный, загорелый, спортивный и крепкий. Вы пьёте и едите, разговариваете, смеётесь. Ты очень любишь эти выезды на природу: бывшему крестьянину тесен и малопривычен город, в котором почти нет деревьев и почти не растёт трава. Обладая даром общения и широкой душой, ты постоянно испытываешь потребность во встречах с товарищами, в простом весёлом разговоре, в движении на воздухе: летом — это игра в волейбол, а зимой — лыжные соревнования. Ты мне потом рассказывал, что в ранней молодости вы с друзьями могли на лыжах дойти от Рослятина до Никольска, а это лишь немногим меньше сотни километров.

Во время поездок в Чёрный Яр я впервые поняла, что вы с мамой не ладите, и очень расстраивалась из-за этого. Почти на всех снимках того времени у меня грустное или насущенное лицо. Много позже пришло осознание, что вы с мамой были вообще очень разные люди, но обладали, тем не менее, сильными характерами, а это вело к неизбежным столкновениям. Во время ссор я всегда была на маминой стороне. Прошло много лет, прежде чем я смогла понять тебя и простить за причиненные маме обиды. Мне довелось много ошибаться самой, успешно и безуспешно исправлять свои ошибки, переживать собственные неудачи и разочарования. Счастье, любовь и семейная жизнь — это не только радость, но и огромный труд, требующий терпения и готовности идти на уступки. В 2010 году я встретила свою бывшую одноклассницу Нину из маленького городка Грязовца, где мы вместе учились когда-то в четвёртом классе. Она рассказала историю, которая навсегда отбила у меня охоту судить сгоряча, сделала мягче и добрее к тебе и вообще к старшему поколению.

Отец Нины вернулся с войны инвалидом. У него было несколько контузий, и когда боли становились невыносимыми, он пил, дико кричал и дрался. Жена и дети прятались от него у родственников и соседей. Нина ненавидела его тогда всей душой. Однажды зимой он в очередной раз напился так, что ноги не держали. Грязовец невелик. Нина знала, где проводит время отец, и ждала его на улице. Она видела, как он вышел от собутыльников и упал, как поднимался и снова падал, и звал на помощь. Мать была в это время на работе, поэтому десятилетней Нине с двумя младшими братьями пришлось взвалить его на детские санки, чтобы не замёрз, и везти по обледеневшим мосткам домой. Санки то и дело соскальзывали с мостков и увязали в глубоком снегу. Вытаскивать их с каждым разом становилось всё труднее. Нина плакала, а мальчишки ругали отца на чём свет стоит. В это время мимо проходил военный в папахе и длинной шинели. Нина узнала в нём тебя. Ты рывком вытащил санки на накатанную дорогу и спросил Нининого отца:

— Где воевал солдат?

Это подействовало на пьяного отрезвляюще. О чём они говорили и долго ли, Нина не помнит, но хорошо и на всю жизнь усвоила твою последнюю фразу:

— Не обижайтесь на отца, ребята, это война в нас до сих пор стреляет.

В Архангельске ты часто фотографировался со мной и с братом. Мама говорит, что ты всегда любил маленьких детей. Я думаю, что эта любовь к малышам коренится в твоём деревенском детстве. Тогда ведь как в деревне жили? Матери рожали детей почти каждый год, но им приходилось много работать и в доме, и в поле, а младенцев отдавали на попечение бабушек и старших детей. Ты в семье был старшим, значит, постоянно нянчился с младенцами и научился любить их. Да и можно ли их не любить? В нашей семье в 1955 году родится девочка, моя младшая сестрёнка Лена. Ты будешь обожать её, нянчить и носить на руках так же, как когда-то нас с Сашей.

А тогда летом в Архангельске мы с тобой ходили на пляж в черте города купаться в Северной Двине. На фотографии, которую я держу в руках, ты сидишь на тёплом песке, светит солнце, и с тобой рядом твои дети, мы с Сашей. На другом снимке ты стоишь в воде с братом и держишь его за руку. Вы оба в мокрых трусах, у вас обоих геройский вид, хотя Сашка купался до синевы, даже на фото видно, как он стиснул зубы, чтобы они не стучали от холода.

В 1956 году тебя перевели по службе командовать полком в Вологодскую область, в посёлок, который назывался «город Грязовец». У меня мало фотографий той поры. На одной из них ты стоишь у штаба. И одноэтажный штаб, и клуб, и казармы полка — деревянные. Полковые постройки отделяются от финских домиков, в которых живут старшие офицеры, высоким деревянным забором. На тебе зимняя полковничья форма: длинная серая шинель, погоны с тремя звёздами и папаха с кокардой. Ты уже зрелый человек, тебе сорок два года, и на лице лежит отпечаток прожитых лет, а в глазах кроется печаль солдата, прошедшего войну. В Грязовце ты всегда очень занят, полк — это огромное хозяйство и масса людей, за которых ты отвечаешь. А мы с братом и сестрой растём и тоже требуем внимания. Зимой ты ходишь с нами на лыжах в лес, а летом мы всей семьёй отправляемся на юг, в солнечный городок Геническ на мелком Азовском море. Безоблачные, полные безмятежного покоя дни, проведённые с тобой и с мамой на юге, — одни из самых счастливых дней моей жизни. Такого ощущения целостности нашей семьи, родственной близости и, в то же время, такой внутренней свободы и радости я больше не припомню.

Я не берусь оценивать то, что произошло потом. В 1960 году началось сокращение Советской Армии, её уменьшили на

треть, уволив почти всех офицеров-фронтовиков. Ты был отправлен в запас «с правом ношения военной формы одежды». Ты переживал это событие тяжело, страдая не только за себя, но и за соратников, за армию в целом, в которой остались молодые, необстрелянные офицеры и новобранцы-солдаты. В то время ты был полный сил сорокашестилетний мужчина, блестящий офицер, прекрасный военный специалист. Ты досконально знал военное дело — и вдруг стал не нужен своему государству, которому ещё совсем недавно преданно служил. Думаю, что ты так и не оправился от этого удара. Потрясение было столь велико, что со временем привело к тяжёлой болезни, которую ты уже не смог победить.

Мы уехали из Грязовца в Вологду, тебе дали квартиру с двумя проходными комнатами и пятиметровой кухней на пятерых человек, и началась твоя жизнь «на гражданке». После командования полком тебе предложили место директора маленькой обувной фабрики, на которой ремонтировали старую обувь и шили немного новой. Ты был так потерян, что не искал ничего другого. Но оказалось, что и «на гражданке» есть жизнь. Тем более что на обувной фабрике трудились в основном инвалиды войны: контуженные, безногие, иногда сильно пьющие, но близкие по духу, родные люди, которые сразу тебя приняли и называли Батей. Это помогло смириться с новым положением.

Потом тебя выбрали председателем вологодской секции ветеранов войны, и ты пробыл на этом посту больше десяти лет. У меня хранится несколько снимков с заседаний вашей секции. Вы собирались обычно в областном краеведческом музее или в городском комитете комсомола. На одном групповом снимке ты скромно стоишь с краю рядом с Героем Советского Союза А. А. Морщининым, уважаемым и любимым тобой. А вот фотография, на которой восемь ветеранов с молодыми комсомольцами инсценируют партизанскую встречу в лесу у костра. Ты сидишь на толстом чурбаке, как будто на пеньке, протянув руку к «костру», и рассказываешь, наверное, что-то смешное, потому что все улыбаются. Ещё на одной фотографии ты выступаешь со сцены на празднике, посвящённом Дню Советской Армии. Ты при полном параде: в полковничьем кителе, в галифе и начищенных сапогах, при орденах и медалях. Орденов и медалей так много, что они едва помещаются на твоей груди. Позади тебя сидят ветераны, а рядом с тобой стоит девушка, явно комсомольский работник, и тоже что-то говорит публике. На самом деле твоя

общественная работа не сводилась к собраниям и выступлениям перед молодыми людьми, хотя и это само по себе было очень важно. Вологодские ветераны шли к тебе со всеми своими бедами и проблемами. И ты помогал им. Многие получили новые квартиры или улучшили жилищные условия благодаря твоим хлопотам. Кому-то ты помогал собрать необходимые документы, кому-то «выбить» прибавку к пенсии. Ты просил и хлопотал за всех, кроме себя.

Постепенно ты привык к новому образу жизни и к новым людям вокруг. Помимо фабричных дел и общественной работы, у тебя были три любимых занятия — поход в лес за грибами, рыбалка на ближних речках Вологде и Комёле, обустройство любимой дачи.

Лес — это отдельная тема, тут твои и мамины интересы совпадали, таких страстных грибников, как вы двое, только поискать! Никогда не забуду, как ты радовался, когда находил белый гриб. Ты сначала танцевал рядом с ним цыганочку, потом срывал и целовал крепкую шляпку. И вы с мамой соревновались, кто больше грибов наберёт. Мама всегда обгоняла тебя, брала количеством. Наученная собирать грибы на своей родине, в Подмоскowie, она складывала в корзинку все съедобные грибы — кубари, лисички, сыроежки, волнушки, путники и подберёзовики, а также жёлтые и чёрные грузди, и даже свинушки. У вас в Рослятине всегда брали только белые, красноголовики (так ты называл подосиновики), грузди и рыжики, а остальные грибы презрительно обзывали «собачьей губой» и оставляли в лесу. Поначалу собранные мамой грибы ты не ел, но потом распробовал, потому что она готовила превосходно. Вот передо мной снимок, на котором ты сидишь счастливый, как ребёнок, на полянке в траве рядом с молодыми ёлочками и демонстрируешь два больших белых гриба.

Ты был очень фотогеничным, папа, и тебя часто снимал замечательный фотограф Абрам Наумович Вам, который любил снимать ветеранов войны. Однажды он пришёл к нам домой сфотографировать тебя для газеты или для какого-то стенда. В тот день я приехала из Тарноги домой, начались школьные каникулы. Это был 1968 год. На снимке Бама мы сидим с тобой на диване лицом друг к другу, смеёмся. Я рассказываю тебе о своей работе в Тарногской школе, а ты вспоминаешь, как когда-то работал в школе Рослятинской. По твоему лицу видно, что ты рад моему приезду. Тебе уже пятьдесят четыре и всего пятьдесят четыре года.

Ты выглядишь хорошо, и ничто как будто бы не предвещает проблем со здоровьем.

Это случилось через девять лет, в 1977 году. Однажды ты неожиданно рано вернулся домой. Я открыла дверь и увидела, что ты стоишь на одной ноге, держась за дверные косяки, покачиваясь и пытаясь что-то сказать. Я решила, что ты пьян, и сухо сказала:

— Заходи,— а потом вернулась в комнату.

Прошло несколько минут, я слышала, как ты с трудом селся на скамеечку в нашей тесной прихожей, как разувался, шумно вставал, и с раздражением думала: «Ну, надо же, так крепко днём выпил, сейчас пойдут разговоры на повышенных тонах, неудовольствие всем и вся!» Но когда ты не вошёл, а прыгнул в комнату на одной ноге и безуспешно попытался что-то сказать, я поняла, что выпивка здесь ни при чём. К счастью, меня в институте немного учили медицине, и тогда, глядя на твои неуверенные движения, волочившуюся левую ногу, неспособность говорить и похожее на маску лицо, я поняла, что у тебя случился инсульт. Как ты в таком состоянии дошёл до дома, как поднялся на четвёртый этаж и остался жив, я до сих пор не понимаю. Видимо, только человек с такой невероятной волей, не раз побывавший под пулями, снарядами и бомбами, мог вынести это. Я вызвала скорую помощь, и тебя увезли в военный госпиталь. Приходивший к нам потом военврач говорил, что ты выжил чудом.

В то время тебе было шестьдесят три года. Я не помню, чтобы до этого ты когда-нибудь болел, лежал в постели или пил таблетки. Тебе от природы было дано могучее здоровье, твоя мать прожила девяносто лет, а бабка сто пять! И если бы не войны, невероятные физические и душевные перегрузки, которые ты испытал, если бы не горькое расставание с армией, ты мог бы жить и жить.

Ты прожил ещё пятнадцать лет, ещё пятнадцать лет боролся с инсультом, а потом с диабетом — осложнением после инсульта. У тебя был коварный диабет второго типа, не требующий инсулина, но медленно разрушающий человека гангреной съедающий ноги. Ты перенёс несколько операций, прежде чем обезножил совсем и уже мог только сидеть на своём диване поближе к ванне и туалету. Эти годы дались тебе нелегко, особенно если учесть, какой ты прежде был весёлый, компанейский и подвижный человек. И маме они дались тяжело. Ей приходилось ворочать, обмывать и переодевать твоё неподъёмное тело, сносить твои капризы, готовить тебе особую еду и убирать за тобой.

А под конец Господь даровал тебе последнюю большую радость. Кроме старшей, Натальи, у тебя появились ещё две маленькие внучки — моя дочка Маша и Леночкина дочка Соня. Передо мной лежат два последних снимка с твоим изображением. Мы пришли к тебе и к маме в гости, — наверное, седьмого ноября. По этому случаю ты надел свой полковничий китель с орденами и сидишь на диване в окружении малышни. Маше четыре года, а Соне годик. Девочки смешные и красивые. Маша держит Соню на руках, а ты смотришь на них с такой нежностью, что сердце замирает. У тебя постаревшее, измученное лицо, но в глазах светится радость. Ты как будто вернулся в далёкие годы, когда жил в большой деревенской семье и нянчил своих меньших братьев и сестёр. Я точно знаю, что своим детям ты передал ту способность любить, которую унаследовал от родителей, севернорусских крестьян. Низкий тебе поклон за это и за всю любовь, которой ты одарил нас.

ИЗ «ВОЛОГОДСКИХ БЫВАЛЬЩИН»

Пора бабу менять

Друг нашей семьи доктор Михаил Николаевич К. (в кругу близких друзей Миша) заходил к нам в гости по праздникам. Вот как-то раз в хорошем настроении и в предвкушении общения с моим мужем заглянул он к нам на огонёк, и я тут же бросилась к нему с жалобами на здоровье: и то у меня болит, и это. Миша поморщился, но выслушал меня очень внимательно, а потом повернулся к мужу и серьёзно сказал:

— Серёга, пора бабу менять!

Больше я к нему с жалобами не приставала.

Сила имиджа

Моей тётушке Груне девяносто лет. Она ходит с палочкой, но, несмотря на одолевающие её недуги, ведёт активный образ жизни и старается всё делать сама. Как опытная и рачительная хозяйка тетушка любит бывать на рынке, выбирать и покупать только то, что ей нравится.

Она и от природы женщина миниатюрная, а к девяноста годам утопталась, стала ещё меньше, похудела, и, если не

знать её железного характера, можно подумать, что перед вами немощная старушка. Одеваться как-то по-особенному для выхода на рынок она не считает нужным, хотя у неё всё есть. Вот и на этот раз она отправилась туда за мясом в дачной одежде — в старых видавших виды брюках и в такой же старой курточке, а на голову надела заношенную хипстерскую чёрную шапочку своей младшей внучки. В общем, вид у неё в этом «прикиде» был убогий.

На рынке она подошла к мясному ряду и долго стояла около одной торговки, разглядывая товар и прицениваясь. Торговка понаблюдала за ней и сказала:

— Что, бабушка, мяса на супчик хочешь взять?

Тётя Груня кивнула и показала ей на небольшой кусок говядины с косточкой.

— Бери, бери, бабушка! Я это мясо по двести рублей продаю, а тебе отдам за сто пятьдесят!

В голосе торговки звучало искреннее сочувствие, она испытывала удовольствие от того, что может помочь старому, больному и неимущему человеку. Она ещё раз внимательно оглядела Груню и, вздохнув, добавила:

— А на остальные пятьдесят купишь себе хлебушка!

Тётя Груня ошеломлённо посмотрела на продавщицу, молча расплатилась, забрала покупку и двинулась к выходу, переполненная невысказанными мыслями и бурными эмоциями. Дома она набрала мой номер телефона и поведала мне эту историю.

— Представляю, что было бы с этой продавщицей, если бы она узнала, что ты участница войны и у тебя пенсия больше, чем зарплата у многих работающих людей! — засмеялась я.

Тётушка помолчала и сказала:

— Подумать только, она меня за нищую приняла. Я сначала расстроилась, а потом подумала и решила, что теперь всегда на рынок буду являться во внучкиной шапке.

В том же духе

Так она и сделала, снова пошла на рынок в своём затрапезном наряде. На этот раз, когда она выбирала мясо, рядом оказался мужчина восточного типа и сказал продавщице, чтобы она дала бабушке кусок мяса покрупнее и получше. Тётушка попыталась протестовать, но он сам выбрал ей покупку, расплатился и ушёл.

Тётушка в недоумении вернулась домой и, пребывая в полном расстройстве, сразу же мне позвонила. А я вспомнила, что наступил священный для мусульман месяц Рамадан, время, когда принято помогать старикам, беднякам и угощать их хорошей едой.

— Что же мне делать? Я ведь с перепугу его даже не поблагодарила! — сказала тётушка.

— Помолись за него нашему Богу, — посоветовала я.

Героическая история

Дело было в 50-х годах прошлого столетия в воинской части, которая базировалась в Грязовце. В тамошней районной больнице работала всем известная врач-гинеколог Мария Ивановна Мышалова. В Великую Отечественную войну она была военврачом, оперировала раненых. В грязовецком полку её знали не понаслышке, она часто выступала перед молодыми воинами с воспоминаниями о войне, со времён которой у неё хранилось табельное оружие — именной пистолет.

Однажды осенью, в пору проливных дождей, когда по дорогам ни проехать ни пройти, мокрая и забрызганная грязью Мария Ивановна влетела к заместителю командира части и с порога потребовала:

— Дайте танк!

— Какой танк, вы что, с ума сошли?

— У меня в дальней деревне женщина рождает шестого ребёнка, роды трудные, может умереть! Скорая застряла на полпути, застрял и трактор, высланный на подмогу. Давайте танк!

— Нельзя, вы меня под трибунал подведёте!

Тут Мария Ивановна вытащила свой именной пистолет и тихо сказала:

— Давай танк, я тебе говорю. Там двое умирают — мать и младенец. Скажешь, что дал машину под дулом пистолета. Я отвечу за всё.

Замком полка взял танк и, как на фронте, помчался вместе с Марией Ивановной по бездорожью спасать младенца и роженицу. В тёмной избе, освещённой лишь керосиновой лампой, она успешно прооперировала пациентку и спасла две человеческие жизни.

Эту историю замком полка сам рассказывал моей знакомой учительнице. Он был потрясен тогда отвагой этой женщины и её решимостью во что бы то ни стало выполнить свой

профессиональный долг. Тем более, что он хорошо помнил случай, когда в Москве в известной клинике несколько хирургов, имеющих всю необходимую медицинскую технику не спасли во время родов дочь его друга.

Отношение к делу

В клубе чествуют многодетные семьи. На сцену вызывают отцов и матерей, произносят речи, дарят подарки. Пригласили Петровича, у него восемь детей. Ведущая интересуется, как ему удалось создать такую большую семью. Петрович, угрюмо глядя в пол, отвечает:

— Люблю я это дело!

Ждать да рожать...

Володька отвез Нину в родильный дом ещё утром, когда у неё начались схватки. Нина долго мучилась, но в тот день не родила.

— Передумала рожать вапа Нина,— сказала медсестра Володьке, пришедшему в больницу под вечер узнать, кого родила его супруга.

— Как это передумала?! — возмутился он.— А мы с мужиками уже сидим, и стол накрыт!

Счастье есть

Всем известно, что счастье мимолётно, но оно, тем не менее, есть, и в этом я ещё раз недавно убедилась, когда ехала в автобусе из центра города домой.

В центре через переднюю дверь в автобус влез — именно влез, а не вошёл — пьяный мужик. В руках он держал большую чёрную матерчатую сумку, в которой глухо позвякивали бутылки — наверное, с пивом. Оглядевшись, мужик уселся на сидение для инвалидов и детей, потеснив при этом молодую беременную женщину. В пьяном, злом кураже он громко матерился и приставал к пассажирам, как будто ждал, что ему ответят, и тогда он сможет устроить настоящий скандал. Народ безмолвствовал. Я попыталась его урезонить, но в ответ получила отменную порцию хамства. Чувствовалось,

что не только я, но и все остальные бессильны перед этим пьяным уродом и подавлены. Ощувив себя хозяином положения, мужик начал приставать с грязными предложениями к беременной соседке. «До каких же пор мы будем терпеть это безобразие!?» — думала я.

И вдруг с заднего сидения поднялись двое молодых парней, молча подошли к хулигану и взяли его под белые руки. Пьяного мужика будто подменили, он обмяк, повис на руках у парней и лишь жалобно причитал:

— Мальчики, только не бейте, только не бейте!

«Мальчики» попросили водителя остановиться и сначала вышвырнули на асфальт сумку, которая жалобно брякнула и растеклась тёмным пятном по дороге, а затем, тряхнув, поставили на ноги слабо сопротивляющегося мужика, дали ему пинка и вытолкнули из автобуса вслед за сумкой. Дверца закрылась, и мы поехали дальше. В салоне стояла гробовая тишина, потом кто-то не выдержал и зааплодировал, его поддерживали все. А меня охватило небывало радостное чувство. Покинув автобус на своей остановке, я шла домой, улыбалась и думала: «Счастье есть!»

Счастье есть — 2

В тот апрельский день мне нужно было ехать в свою поликлинику на приём к терапевту. На троллейбусной остановке было пусто и я, как всегда, «ловила ворон»: любовалась формой облаков на ярком апрельском небе, радовалась теньканью синичек, сидящих на старой яблоне за ближайшим забором. Вдруг рядом со мной появился мальчишечка лет девяти-десяти. За спиной у него был ранец, а в обеих руках он держал по букетику солнечных цветов мать-и-мачехи. Я покосилась на цветочки и подумала: «Вот и весна пришла, как хорошо!» Вдруг мальчик подошёл поближе и протянул мне три цветочка:

— Это вам, — сказал он.

— Милый ты мой, — обняла я ребёнка. — Спасибо тебе, живи сто лет, будь здоров и счастлив! Ты знаешь, мне ещё ни разу в жизни не дарил цветов мужчина твоего возраста. Кстати, сколько тебе лет и кому ты несёшь цветы? Наверное, маме.

— Мне девять лет. А букет я несу учительнице.

Ну что тут ещё скажешь! Мы проехали вместе четыре остановки, и он всю дорогу рассказывал мне о нелёгкой жизни

третьеклассника. А потом мы расстались, но я весь день ходила в приподнятом настроении и всем рассказывала, какое испытала счастье, когда незнакомый ребёнок неожиданно-негаданно протянул мне три весенних цветочка.

Лежачий полицейский

В семье моей дочки живёт необыкновенно большой красивый кот. Он весит не меньше шести килограммов, и зовут его Ерофей. Кот заласкан, откормлен и избалован донельзя. Он ревнует хозяйку ко всем, особенно к детям, и поэтому проходу не дает маленькому Илюше.

Если Илюша садится есть, Ерофей начинает громко мяукать, просить, чтобы ему тоже дали что-нибудь вкусенькое. Стоит Илюше сесть в кресло или на диван — Ерофей тут как тут и старается прогнать мальчика, будто это его собственное место.

Илюша терпел долго. Но однажды он пошёл в туалет и не успел закрыть за собой дверь. Ерофей прошмыгнул вслед за ним, вскочил на унитаз и лег на сиденье так, что свободного места почти не осталось.

— Чего ты разлегся, как, как... лежачий полицейский?! — в отчаянии воскликнул Илюша.

Кающийся грешник

Мой семилетний внук неожиданно попросил:

— Бабуля, дай мне, пожалуйста, немного денег.

— Зачем тебе деньги, внучек? Что покупать собрался?

— Свечку хочу купить и в церкви поставить.

— Кому поставить, по какой причине? — изумилась я.

Ты же в церкви никогда не бывал!

— Пока не знаю кому. Но ставить надо, потому что много вру, особенно маме.

Лето!

Эту забавную историю рассказала подруга моей сестры Марина К.

«Моя двоюродница летом регулярно приезжает к нам из Архангельска и отдыхает на даче с двумя сынишками, младшими школьниками.

Этим летом мы для внука поставили на даче большой пластмассовый бассейн, наполнили водой и ждали тепла, чтобы его опробовать. Однако июнь стоял прохладный, и мы купанье всё откладывали.

Двоюрóдница приехала, увидела бассейн и скомандовала:

— Дети, лето!

Мальчишки тут же скинули одежду и нырнули в холодную воду, визжа от восторга. По сравнению с Архангельском наша погода и в самом деле казалась им летней. Так что дети, несмотря на прохладу, не вылезали из бассейна все две недели, пока гостили у нас. По истечении этого срока мать снова скомандовала:

— Одеваться! Едем домой, там теперь тоже лето!

Юбилей М. Ю. Лермонтова

Дело было в отдалённом районном городке Вологодской области. Там живёт моя близкая подруга, учительница русского языка и литературы. Она воспитала свою дочь Настю в лучших традициях российской интеллигенции, научила её беззаветно любить русскую литературу и почитать наших великих поэтов и писателей. Настя, возвышенная душа, особенно любит стихи М. Ю. Лермонтова, многие из них знает наизусть, а самого поэта считает частью своего существования и относится к нему, как к живому. Ежегодно они с мамой и с подругами отмечают день рождения поэта.

Само собой, юбилейный 2014 год стал для них особенным. Настя решила отметить знаменательную дату с хорошей подругой в популярном местном кафе. Обе принарядились, сделали макияж и причёски и в радостном настроении появились в кафе, всем своим видом показывая, что у них сегодня особенный праздник. Подруга для такого случая даже захватила с собой томик стихов М. Ю. Лермонтова. И только они устроились в уютном уголке, как к ним подсели два молодых незнакомца — оба приезжие инженеры-газовики.

В районных центрах, где недостаёт рабочих мест, да и сами свободные мужчины в дефиците, такие кавалеры ценятся на вес золота. Девушки заулыбались им в предвкушении приятного знакомства.

— Что празднуем, девчонки? — игриво спросил один из молодых людей.

— День рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, — в тон ему кокетливо ответила подружка Насти.

И тут случилось непредвиденное. Газовики переглянулись, молча встали и вышли из кафе.

Знакомство так и не состоялось, а жаль! Возможно, они были созданы друг для друга и их ожидала счастливая совместная жизнь. Хотя, провидению лучше знать...

Прибалтика

Обычно я хожу в аптеку на Ленинградской вдоль длинного дома по улице Петина. Там проходит мощёная дорожка, а под окнами дома стоят роскошные черёмухи и старые раскидистые кусты сирени. Особенно там хорошо в мае, когда всё это природное богатство цветёт и благоухает.

В конце дома на железной двери, ведущей в подвал, белой краской и крупными буквами написано: «Русский — значит трезвый!» Мне нравится эта надпись. Я всегда гляжу на неё и думаю: вот бы увидеть того, кто это написал.

В этот раз я торопилась в аптеку, но глаза всё равно остановились на знакомых словах. И вдруг сбоку на меня налетел какой-то старый дядька и заорал:

— Кто написал это безобразие?

Я оторопела. Но продолжала идти по своим делам. Дядька насккивал на меня, как петух, и повторял без конца одно и то же.

— Не знаю,— буркнула я.— И вообще, я в этом доме не живу.

— Ты что не русская? — крикнул он. Потом присмотрелся ко мне и уверенно припечатал словом к тротуару:

— Не русская. Прибалтика.

Я так и не поняла, что этого мужика оскорбило в знакомой мне надписи, а говорить с ним было некогда. Да и напрасно, потому что он уже всё за меня решил.

В гостях у вепсов

Вепсы — это небольшой финно-угорский народ, сохранивший национальное своеобразие, свои обычаи и собственную культуру. Часть этого народа живёт на территории Вологодской области, между Онежским и Белым озёрами. Есть вепские деревни и в Бабаевском районе.

В девяностых годах прошлого века одна моя хорошая знакомая работала в администрации Бабаевского района и

в составе группы проверяющих сельское хозяйство поехала зимой осматривать колхозы и совхозы. Их было четверо: три женщины и один мужчина. К вечеру они намёрзлись и проголодались. Решили остановиться в первой попавшейся деревне, чтобы обогреться и передохнуть перед возвращением домой. Оказалось, что они попали в вепсскую деревню. Постучали в крайний дом, им открыли и пригласили войти.

Вепские деревенские дома, как правило, делятся на две половины. Одна из них является одновременно кухней и столовой и отгораживается от остального жилого пространства посудным шкафом (горкой) и русской печкой. Вторая половина — женская. Там стоят кровать, диван и детская колыбелька (люлька). Гостей усадили в первой половине. Хозяйка поставила на стол ведёрный самовар и принесла большую тарелку со свежим, крупно нарезанным домашним хлебом.

— Попейте чайку,— сказала она и с достоинством удалилась.

Гости пребывали в некотором удивлении. У нас ведь, у русских, принято как? Всё, что есть в печи, на стол мечи. А тут только хлеб! Женщины налили себе чаю и выпили по чашке. А мужчина, не надеясь на что-то более существенное, налег на хлеб и запил его парой-тройкой чашек горячего чая. Тут вернулась хозяйка и спросила:

— Ну что, попили чаю?

Гости закивали головами и стали её благодарить.

— А теперь поедим,— сказала хозяйка и достала из печи глиняные горшочки с омлетом.

Омлет, приготовленный из домашнего жирного молока, из домашних же яиц и домашнего масла, издавал ни с чем не сравнимый аромат и был покрыт розовато-коричневой корочкой, которая может получиться, только если его томить в русской печке. Не приходится говорить, что за отменный вкус был у этого блюда. Сразу после омлета хозяйка внесла большой чугунок с запечённой в сметане картошкой с мясом и торжественно произнесла:

— А теперь поешьте мяса, дорогие гости!

Женщины, хоть и с трудом, но отведали и это блюдо, а мужчина только постанывал и жаловался:

— Как бы мне хотелось попробовать всё это, да хлеб в чаю у самого носа плавает!

Николай Белозёров

ПУТЬ БОГА (Фрагменты из романа)

«Путь бога» — вторая часть фэнтези-трилогии «Летописи Дажьбожья». Часть первая, «Путь волхва», вышла в 2006 году в московском издательстве «АСТ». Герой трилогии — Вольга, наделённый от рождения незаурядными магическими способностями. Будучи волхвом, он одерживает победу над могущественной Чёрной Лаской, стремившейся обрушить Мировое Древо, и становится новым божеством Дажьбожья. Это, однако, оборачивается для Вольги тяжелейшим испытанием, поскольку исконная суть его — человеческая. Девочке Роксе суждена нелёгкая участь возлюбленной и противницы нового бога. Но их пути пересекутся лишь в последней части трилогии.

Рокса

Чуни получились просто замечательные — серые, в белый крест, с двойной бережной волной голубого колеру вокруг носа и с такими же голубыми перевязками. Высунув язычок от удовольствия, прижав его к верхней губе и чуть прикусив белыми зубками, Рокса довязывала последние петли, вплетая в них нить серебряную — тоже для оберега: «Он будет доволен!» На последней петле нить дёрнулась и понеслась из-под пальцев — кот добрался-таки до клубка и теперь воровато гнал его под лавку.

— Ах ты, маета бестолковая! — Рокса нахмурила брови, насупонилась, удержала нитку на мизинце и шепнула наговор — нить обвилась кольцом вокруг кошачьих лап и стянулась. Васька рухнул как подкошенный, жалобно мяуча.

— А нечево под руку шебутить! — Рокса подтянула животину к ногам и ухватила цепкими пальчиками котово ухо. — И ничево не больно, а подумать, так и вовсе пользительно. Особливо для такой нахальной морды.

Кот не мог согласиться с подобным ходом мыслей, но от Роксиных пальцев ускользнуть не удавалось даже оборотникам, вроде баенника, а уж про такую животину, каковой был Васька, и говорить нечего. Царапаться кот тоже не стал — уж больно сурова хозяйка в гневе. Завывая глухо, но терпя, Васька снёс внушение и, когда шерстяная петля соскользнула с лап, рванул в лаз поддверный.

— Мышей гонять понёсся, — домовушка сидел рядом, болтая ногами в лаптях со спущенными тесёмками, и одобрителем наблюдал за Роксиными действиями. — Ишь, ведь вроде и мелкая тварь, а тоже хочет себя Хозяином почувствовать. Ухо надрали — так надо и ему на кого-нибудь страху нагнать, чтоб уважили. А нашего Ваську токо мыши и боятся. И то больше для виду. Днесь отваживал от хлеба одну — жирную такую. Верно, не шибко он их гоняет, — Хозяин дома поцокал языком укоризненно. — И пошто вы ево держите, токо сметану да молоко переводите. Пользы от него — ну никакой.

— Да ладно тебе напраслину на Ваську наводить. Отколь теперь в городе мыши жирные? А Васька милым был. Пока не вырос. А теперь — куда его выгонишь? — Рокса вздохнула по-взрослому, сетуя на свою «излишнюю» доброту. — А нащёт мыши зазря побеспокоился. Я её знаю — маленькой сама с рук кормила. Она лишнего не съест, а в доме с ней веселей.

— Уж куда веселей, коли всю крупу съели, скоро самим есть нечево будет, — домовушка насупился, заболтал ногами раздражённо, запутал невесть как развязавшиеся тесёмки лаптей да и загремел в конце концов под скамью.

Рокса хмыкнула, нагнулась и водрузила красного от смущения домового обратно. Потом прогнала улыбку с лица и озабоченно нахмурила лоб: в словах духа было немало правды, и правды горькой. Уж третий месяц осады шёл — запасы таяли на глазах, и многие хозяева домашних своих животных малых из домов повыгнали. «С ума посходили. Дом всякой тварью мелкой живёт, а они её жизни лишают», — слова отца, старшего конюха князя Озёма, гудели тяжёлым в ушах Роксы. Тайком от родителей она уже приютила в сарае соседских кошек, таская им со своего стола недоеденное. Недоеденное не потому, что наелась, а Жизни ради: чтоб Живе весной спокойно в глаза глянуть. Богиня с Той встречи в заветной клетки зимним вечером больше не появлялась, но Рокса всё равно упорно считала себя её жрицей и теперь спасала живность немую, не заботясь о себе. В конце концов домовушки с этой «блажью» смирились, а мать хоть и заметила, что дочь

спала с лица, но объяснила всё переживаниями за отца — тот ежедневно ходил на стены в сторожу — неровен час вражья стрела уметит...

— Чуни-то для *него* вяжешь? — домовый выжидательно посмотрел на Роксу из-под растрёпанных, торчащих клочьями бровей.

Все разговоры о *нем* по сю пору заканчивались криком и слезами в три ручья — из-за обидного тона шутейного, который завсегда выбирал домовик. Но сегодня тон был какой-то необычно серьёзный и даже вовсе непривычный. Рокса покраснела, закусила губу, но, так и не решив, отшить домового или подушевничать, отозвалась невнятным:

— Ухм-м,— понимай, как хочешь.

Домовушка понял как приглашение к разговору задушевному, шмыгнул носом и начал «издалека»:

— Мы, конечно, духи невеликие, дела божеские нас касаются мало, но... И мало ли, какие дела там, у богов, сходятся... Да... И, это... Но, однако же, птицы небесные, вон, вроде ближе к богам-то, а, пожалуй, поменьше нашего про богов понимают... И, вот...— Хозяин замаялся, и на маленьком личике его ясно выразилось сожаление, что он вообще начал разговор, но нить уж потянута, значит, быть и пряже.— Да-а-а... Так-то... В общем, слухи ходят недобрые,— речь домового участилась, набежала ручьем торопливым.— Днесь с филином перемолвился. Так он, болтун старый, всё про беды ухал, всё про беды ухал. Да про какие беды!.. Оно, конечно, может, и неправда всё, ведь старый он, да и болтун каких поискать, но... Вдругорядь я бы и не поверил, однако ж всё к тому ведёт... А ежели так всё, как оно получается,— бег ручейный споткнулся о камень поперечный, воды словесные подъялись, перевозмогая преграду,— Древо-то Мировое, кажись, того...

Глаза домовушки вдруг раскрылись широко и наполнились ужасом — непомерным для столь маленького личика. Он засуетился, вскочил на скамье и зашагал по ней вдоль, пыхтя; неловко завернулся на краю и засеменял обратно к Роксе; скользнул под руку, прижался к рубахе, дрожа всем тельцем, и зашептал жарко:

— Древо-то Мировое, говорю, уж НЕ СТОИТ! Завалили Древо-то. Вон оно как. Нету боле Древа-то, говорю, совсем нету. Так нету, что боле некуда. И все мы под ветвями его...

Рокса недоуменно уставилась на большака. Сказки про Древо она, конечно, знала: мол, стоит Дуб, в корнях Его Змей обитает, а в кроне Боги живут, и Древом тем весь порядок в Мире держится. Но «по-рядок» Роксе всегда представлялся

рядом грядок огородных, ухоженных, ровных, плодоносящих. А Древо чем-то вроде берёзы их старой, что на огороде ветками машет с тряпицами привязанными и тем ворон с грядок гоняет... Домовой же говорил так, будто Оно и впрямь существовало. Будто и впрямь Им грядки-то эти держались... И не верить ему Рокса не могла — возраст немалый, да и естество волшебное всё-таки... Хотя сказка детская оборачивалась теперь столь страшно, что и верить не хотелось. По пересохшему горлу проскреблось и выскользнуло наружу:

— Ну и што? — глупее вопроса трудно было придумать, но Рокса и не думала — думать-то.

— Што-о-о? — домовой взвился, запыхтел и по-стариковски забылся, повторяя: — Што... што... што... — наконец, совладал с собой и язвительно зыркнул на Роксу. — А ништо! И-э-эх, ещё жрицей себя почитает! Почитает-величает! Девчонка!.. Нет, ну надо ж — «што»!

Рокса надула губы и отвернулась, зашмыгав носом. Большая это не смутило и не остудило — пыхая раскрасневшимся лицом, он заскакал за спиной у девчушки, норовя заглянуть ей в глаза:

— А ништо, ништо! Думаешь, сказки-то по-пустому называют? От делать нечево?.. Што-о-о! А то-о — степняки-то под стенами! Думаешь, их ветром надуло? Три месяца, поганые, землю нашу топчут! Отца спроси, он те скажет, давно ли их под стенами видели! Поди, он за жисть свою долгую впервой видит! Што-о-о! Ништо-о-о! Люди животин своих бессловесных, верных на улицу, на мороз, на смерть верную, лютую выганивают, а она: «што»! А ништо, ништо! Скоро и нас из домов погонют, а чё, скажут, зазря хлеб хозяйский едим! Нахлебники, скажут! Пошли вон, скажу-ут! Ты первая скажешь! — Домовушка захлебнулся и залился горячими слезами. Вторя ему, завывала Рокса, даваясь и горько всхлипывая:

— Ты чево-о-о! Чево-о-о ты-ы! Чево я те сделала-а-а! Я не знала-а-а! Чево-о-о... ах... ам!

— Ничево-о-о... — навзрыд выводил домовой. — Чуни она вяжет... Чу-уни... Нужны они *ему*, чуни твои-и-и... Богу-то — чуни-и-и...

— Кому-у-у? Какому богу-у-у?.. Чево ты говоришь-то тако-ое... Какому богу-у-у?..

— Тако-ому... А-а-а, да ну-у, раз-зговаривать с тобо-ой!..

— Ну и... и... и не разговарива-ай... Не запла-а-чу...

— Богу — чуни!.. Богу — чу-у-уни!.. — никак не унимался домовой, срываясь с плача на смешок нервный. — Богу — чу-у-у-у-уни-и-и!..

Заботы малых

— Вот те на! — отцовский голос звучал спокойно и чуть насмешливо, совсем как в прежние времена. Рокса подняла чумазое зарёванное личико и слабо улыбнулась, но тут же разревелась ещё больше. Рыдания — отчаянные, вольные, детские, какие не пытаются ещё держать в себе, скрывать, — выкатывались из горла, обличая несправедливость жизни. Жизни, в которой всё не так, и даже хуже, чем не так, — всё наоборот, поперечь тому, как всё *должно быть*. «Не хочу-у-у!» — слышалось в этом рыдании. «Почему-у-у!» — множилось и рассыпалось безответно. «Чего-о-о вы-ы-ы!» — неизвестно кому, но отчаянно, с обидой смертельной, какая только в детстве и бывает.

Любомир покачал головой, обвел взглядом полутёмную клеть, но причин дочернего горя не увидел: внутри было позимнему холодно, пусто, заброшенно, темно, в общем, обычно. Холодным комом шевельнулось в сердце чувство вины. В последнее время градские тяготы совсем захватили княжого конюха, и он первый раз за несколько месяцев нашёл время поговорить с дочкой. И на тебе — дочь рыдает от горя, а он и понять не может, от какого... Любомир потоптался, потом присел рядом, прижимая маленькую светловолосую головку к груди своими шершавыми натруженными ладонями.

— Ну, ну, что ты, маленькая...

— Я-ах... больша-а-я... Больша-а-я... ах... я!

— Большая, большая, конечно, большая. Но реветь-то зачем?

Рокса выпростала лицо из складок отцовского зипуна и вдруг жалостливо прошептала:

— Тя-а-а-а... Почему всё так пло-о-охо?

Глаза её, распахнутые в пол-лица, сияли слезами и надеждой на ответ. Любомир смущённо нахмурился, дёрнул плечом, провёл ладонью по лбу, растерянно и тяжело:

— Не знаю, дочка. Может, мы, взрослые, что не так сделали?.. Да вроде жили, как отцы и деды, ничего худого не умышляли...

Рокса, всхлипнув, снова зашла в рыдания, даже не пытаясь стереть струящиеся по щекам слёзы: ручейки добежали до воротника, растворились в волнах узорчатой вышивки. Любомир, не ожидавший такого поворота разговора, сел на пол, бормоча невнятно:

— Да, что ты, Роксуня, что ты, чадо моё, что уж ты убиваешься-то так?..

Рокса не унималась: задрав лицо к потолку, завывала вдруг совсем по-бабьи, только тоненько-тоненько. Безутешный вой этот, казалось, выхолодил и без того промёрзшее нутро клетки, выгнав остатки тепла из-под кровли, пройдясь корой столетней по душе отцовою, и ещё, ещё...

Любомир скривился, словно от боли зубовой, спал плечами, скребя корявыми пальцами по земляному полу, сминая разбросанную солому. Он уж и забыл, когда плакал последний раз, и вот теперь памятное ощущение накатило от сердца к горлу, сведя скулы, поднялось до глаз, как половодье, заколебавшись лишь на миг на ресницах, и вот сорвалось, заскользило по щекам.

В испуге Любомир спешно протер лицо рукавом, подхватил дочь и понёс её прочь, в дом, туда, где в дело вступится мать и уж, конечно, утешит, успокоит.

Изба встретила хозяина пахучим теплом и светом лучин сосновых, сытным хлебным духом и котом-мурлыкой, обвинившим хозяйские ноги пушистым хвостом.

— Кыш, непутё! — оттолкнул кота Любомир, пронося всхлипывающую ношу свою к лавке, на которой пряталась жена.

— Что стряслось? — Остана вскочила, уронив веретено.

— Да вот, нашёл в стылой клетке... ревёт... не знаю, что и делается... — выдохнул смущённо, запинаясь, Любомир.

Братья вынырнули было, любопытствуя, из-за печки, но под строгим взглядом отцовым выскочили в сени.

Остана подхватила дочь, встревоженно оглядела всю — нет ли где ранки какой. Смотри показал, что тревожиться не о чем, однако плач не смолкал. Остана, по-матерински ласково обхватив головушку любимую, зашептала жарко на ухо:

— Уходи, горе-горюшко, горе горькое, горе лютое. Не для тебя глазки любимые мои. Не для тебя ручки любимые мои. Не для тебя губки любимые мои. Уходи, горе горькое, не для тебя доченьку я носила, не для тебя доченьку я кормила-растила, — голос лился тихим теплом, отгоняя несчастье. — Пришло незваное, дак уйди неслышное. В ночь, да прочь, да вскочь, да напрочь. Перекинься за дверь, за порог, за ворота, за стены высокие, за горы далёкие. С канюком канючь в поле диком, с ревуном реви в море лихом, с плакуном поплачь в боре тихом, а от доченьки отцепись, отоймись, оторвись репеем колючим, листом ивучим, драною онучей. Тих-тих, тих-тих, убежал лихо-лих.

Рокса засопела, вцепившись кулачками в ворот материной рубахи, вышитый цветами невиданными, светлея лицом в

тихом сне. Осторожно, чтобы не разрушить нехитрую волшебную заговорную, Остана перенесла дочку на печь, шепча вослед ещё какие-то чудные слова.

Любомир вздохнул облегчённо: жену его не зря ведьминой дочкой прозвали, да только ничего худого в ведовстве её княжой конюх не замечал никогда. Наоборот — и скот в хозяйстве рос ладный да гладкий, и детьми пригожими одарила его любя любимая, и коли хворь какая прицепится, завсегда Останины заговоры помогали. Да и тёща, хоть и жила одиноко в лесу дремучем, однако ж на ведунью мало походила: весёлая, улыбчивая — красотой-басой Остана в неё пошла. У них в городе иные бабы куда больше на ведьм-то смахивают: и ликом, и нравом. Улыбка облегчения, однако, сползла с его лица, когда он увидел тревогу в жениных глазах.

— Худо дело, Любомирушка. Ой как худо! Еле сладила. Боюсь, Роксу бабка-то силой своей ведовской сполна наградила. И сила эта беду к себе тянет, словно волка плач телячий.

Любомир недоверчиво улыбнулся, возразив:

— Что ты говоришь такое? Ты ж сама... ведуешь, что ж в этом страшного?

Остана глянула на мужа как-то странно, как на дитя неразумное, которое речей взрослых не понимает, но встречает с лепетом своим:

— Мне не сила дадена, а хитрость нехитрая только. А если и есть силы, то с ноготь мизинный. Потому и живу с людьми как человек, а не как оборотень.

Любомир опешил от такого поворота разговора:

— Так ты что, хочешь сказать, что Рокса того... оборотень какой?

Остана вздрогнула, как от удара, оперлась о стол, но всё же продолжила:

— Оборони боги от такого. Но силы в ней колдовской с каждым днём прибывает. Уже и сейчас не меньше, чем в бабке, чую я это. А как девкой становиться начнет, уж и не знаю, чего ждать-то...

Остана почти никогда не называла свою мать иначе, как «бабка», словно и не родные они вовсе. Да и не виделись они ни разу после свадьбы, а на речения Любомировы: проведать, мол, надо, — отвечала таки-и-им взглядом, что муж зарёкся поминать тещу. Любомир про себя корил жену за чёрствость душевную — ведь и детей-то бабка не видела ни разу, — но молчал, соглашаясь в конце концов, что так оно и лучше. В городе-то слухи всякие поначалу про Остану ходили, но

теперь к ней попривыкли, да и соседка она была не худая, уважительная, отзывчивая. Ежели кто с бедой какой приходил — без помощи не оставляла: скотину заболевшую вылечит, сына беспутного на ум наставит, мужа загулявшего в дом вернёт... Так что про детей её уж ничего худого никто не сказывал, слава богам. Теперь же людское счастье их грозило закончиться... из-за Роксы! Любомир покосился на лежанку печную, где, свернувшись калачиком, сопела его дочь, любимица его, гордость его. И ничего-то колдовского в ней не было: волосы соломенные растрепались, налипли на чистый лобик, брови обещали быть соболиными, ручки махонькие, но персточки уже теперь — тонкие и длинные, с ровными ноготками. Серые глазищи, сейчас закрытые, вырастали в пол-лица, когда чему удивлялась она. Диво-дивное, зазнобазаноза парням соседским лет через пяток. И вдруг — ведьма! Любомир решительно покачал головой, отменяя прочь глупые мысли:

— Ты, мать, говори, да меру знай. Дочь моя — ведьма! Ишь, чего выдумала! Хм... Да если и так — какая беда в том: мать твою, — Любомир нарочито медленно и твёрдо выговорил последние слова, — тоже ведьмой кличут, а худого я ничего за ней не знаю... и знать не хочу! — вызывающе закончил он, видя, как жена встrepенулась, чтобы что-то ответить. — Ежели ж болтать чего будут, я Роксу к волхвам сведу, пусть скажут, как... оно... дело-то обстоит, — княжой конюх сник вдруг, пригнетённый мыслью, что слова-то женины могут и правдой оказаться. Но справился, поднял взгляд на Остану, потеплел и закончил:

— А Роксу-то ты, как-никак, бабкиным ведовством успокоила. Сама ты ведунья... моя, ведуница шалая.

Спустя час в темноте притихшего дома, лёжа под боком у мужа, Остана шептала тревожно, но уже без страха давешнего:

— Сам посуди: чуни кому-то вяжет, сама с собой разговаривает, по вечерам в клетки пропадает, да и с конем волхвовским, сам говоришь, она одна и управляется. Братья про неё всякое наушничают...

— Ну, сынам-то я завтра с утра ухи накручу, чтоб не болтали лишнего, — сонно ответил Любомир. — А вот насчёт чуней... Так ведь, может, мне вяжет, тайком, чтоб не узнал, порадовать хочет — рождение у меня через неделю, али была?..

— И правда! Ну конечно, рождение! Конечно, тебе... А я-то, дура, поначалу подумала — влюбилась она в кого, что ли...

— Влюби-и-илась! Скажешь, тоже. Мала она ещё, солнышко наше, да и в кого?.. Ладно, спи давай, суматоха. Утро вечера мудренее.

Когда родительские разговоры стихли и ничто уже не нарушало тишину ночную, с печной лежанки раздался жаркий шёпот девчачий: «Ну и чево ж, што бох. И ничево, што бох. Што ж, если бох, дак и любить нельзя, што ли!»

Обретение Силы

Рокса проснулась от собственного плача — навзрыд, немым горлом сонным, сухими глазами дрёмными. Сон, начавшийся как сказка, с чудесной встречи с *ним*, извернулся своенравно ночным кошмаром, где земля кровью плачет, где из света тьма родится, а под ногами гады ползучие вьются. В этом кошмаре любимый её мчал по полю заснеженному, а вслед ему нёсся зверь лютый, чёрный. И не резвый Вихорь был под *ним*, а захудалая лошадёнка мужицкая, и не друг верный спину прикрывал, а завистник злоглазый ножичек за пазухой таил. И не было надежды на спасение. А она бежала по полю, увязая в снегу и всё кричала, кричала, рыдая от беспомощности и неминуемости беды страшной...

Дрожа всем тельцем на жарко, по-зимнему натопленной печке, Рокса долго унимала биение сердешное, повторяя шёпотом: «Сон, сон же, неправда морочная. Сон...» Окошко невеликое, затянутое пузырем бычачьим, серело зимним рассветом. Из сенцев доносился осторожный перестук ведёрный — мать собиралась доить корову. Чуть слышное сопение братовьев на полатах и зычный храп отцовый успокоили Роксу: не разбудила их криком своим сонным. Последние дни, после той глупой выходки (Рокса теперь по-взрослому осудила себя за «слёзы бабьи»), родители следили за ней украдкой, сисясь и боясь разглядеть в дочери новые черты какие. И устраивать их лишними подозрениями Рокса не хотела.

Спустив босые ножки с печки, Рокса сползла на скамью подпечную, чуть не наступив при этом на Ваську — раскинувшегося на спине, с задранными враспырку всеми четырьмя лапами. Кот вздрогнул, открыл было глазищи, но, узнав хозяйку, перевернулся на бок, потянулся и наладился спать дальше — до прихода Роксиной матери с молоком.

Шубное одеяло на печке шевельнулось, и из-под него вылезла взъерошенная со сна голова домовушки:

— Кто? Куда? Чего это? — домовушка заговорил спросонья так громко, что Рокса невольно испужалась: как бы не разбудил спящих. Ведь хоть и неслышен обычно голос домовой ушам непосвящённым, но, говаривал отец (когда думал, что Рокса спит): «Однажды и у мерина встаёт». Рокса полыхнула щеками, стыдась то ли за слова отцовы, то ли за бестолковость старика-домового.

— Тихо ты! Я это! Водицы испить пошла, сполошник ты этакий!

В ответ на строгий выговор Роксы домовушка сладко зевнул и зарылся обратно в тепло одеяльное, а вот отец как раз заворочался, просыпаясь.

— Сполошник окаянный! — сердито повторила Рокса, торопливо выскальзывая из горницы и на ходу натягивая полушубок прямо поверх рубахи исподней.

Мать уже ушла в хлев к Бурёнке, никто не помешал едва одетой Роксе улизнуть из избы и, запинаясь в братовних валенках, протоптать тропку в заветную клеть. Когда мысли о *нём* становились вовсе уж невыносимыми, она всегда убегала сюда, несмотря на строгий запрет родительский после «того случая». Убежала и теперь, хотя был запрет и построже родительского — богинский. Жива, преподавшая Роксе столь жестокий урок всего неделю назад, явилась к ней прошлой ночью, словно сомневаясь в силе своего урока, и пригрозила непутёвой службе вторично отлучением от Силы, если не перестанет думать о *нём*, беды приносящем, на погибель рождённому». При этом богиня злилась как-то небожественно, по...— Роксе скользнуло на язык «бабьи», но она тут же стёрла его более почтительным — ...женски, покрываясь пятнами красными, и оттого не страшная вовсе. Вот и получилось обратное тому, чего добивалась Жива: страх от первого урока притупился, перестал перехватывать горло студёными пальцами, перестал нависать за спиной, понуждая всё время оглядываться испуганно. Рокса даже осмелилась задать себе вопрос: «А можно ли лишить Силы-то, если её не давал никто?» Рокса, по крайности, не помнила, чтоб давал. Сила появилась будто сама собой, и единственный, кто при этом присутствовал, — вечно растрёпанный домовушка. Рокса представила себе, что домовой и дал ей силу — вот он взмахнул руками (чуть не навернувшись со скамьи), нахмурил брови (вечно торчащие в разные стороны неровными кустами), и изрек (скрипучим тоненьким голоском): «Даю тебе Силу, Рокса, дочь конюха Любомира!» Рокса распахнула скрипучую дверь

клетки и прижалась к ней спиной, давясь от смеха — настолько нелепым гляделся выдуманный ею обряд. Нет, домовый ну никак не походил на могущественного Дарителя Силы. Насколько знала из своего небольшого колдовского опыта да из рассказов матери Рокса, наделять Силой могли лишь боги, а уж никак не «малые духи домашние». Вот и получалось по рассуждению Роксиному, что либо таинственный бог, наделивший её Силой, предпочел почему-то остаться неведомым, либо... Но додумать столь шальную мысль дерзкая девчонка всё же не решилась...

Когда щелеватая дверь, не способная удержать тепло, закрылась за спиной Роксы, жидкое утреннее солнце уже просочилось внутрь сарая настолько, чтобы можно было различить прислонённый к стене плуг, колёсную пару тележную и свисающие со стропил вожжи да ремни разные. В опустелую клеть заглядывали редко, и Рокса чувствовала себя здесь полной хозяйкой. Она повелевала теньями и звуками своего маленького мирка, сплетая из них милые сердцу образы хрупкие. Но сегодня, едва она сделала шаг по припорошенному инеем настилу, на неё накатила неизвестно отчего приступ страха с привкусом горечи во рту. Маленькая уютная клеть, вечное её тайное прибежище, хранящая её самое заветное воспоминание, за одну ночь изменилась неузнаваемо. Она разрослась-расползлась во все стороны, вывернулась в утреннем сумраке выхоложенным, остывшим нутром, вытянулась деревянным ящиком гробовым, словно всё, что она хранила до сих пор, умерло и должно быть погребённым. Недобрые предчувствия толкнулись в сердце Роксино, и оно заколотилось, перехватывая дыхание и понуждая суетиться бессмысленно. Рокса пробежала вдоль стены к охалке натасканного нарочно сюда сена, поспешно опустила на неё, надеясь на чудо, но чуда не произошло — клеть оставалась большим бездушным коробом для взрослых вещей. Рокса раскидала в отчаянии клочья сенные по полу, вскочила, ткнулась кулачками в лоб, закружилась на месте, словно в поисках хода тайного, дверцы заветной в «тот мир» ушедший. В мир, где он, и где с ним, и где его чарующее: «Ро-окса!» Нет, всё напрасно — тени расползались чернотой самовольной, откуда-то потянуло гнилью древесной, выгоняя сладкий запах сенный. Тайну её безжалостно ссильничали, выстудили душу её, не закрыв нарочно дверь, впустили чужих, и они бездумно вытоптали-разорили цветочник воспоминаний её. А ведь, думалось, укрыт надёжно, кто ж в душу-то влезет! А вот оказалось — не весь

он внутри, осталось и снаружи что-то, самое незащищенное. Оказалось — не всё своё, что своим считаешь. И одиннадцать лет — слишком мало, чтобы самовольничать в мире, где всё — по воле божьей.

«Жива-а-а!» — родилось почти сразу, с недопустимой ненавистью в шёпоте, с отчаянием недетским. Только та одна знала о тайне Роксиной. И кто, кроме богини жизни, мог убить мечту? Отчаяние беспомощное затопило Роксу, брызнуло слезами обидными из девчачьих глаз: «За что-о-о? Зачем так-то-о? Больно же!» Но уж кулачки сжались неистово, щёки разгорелись пунцово, и вот совсем другие слова зашептал, запинаясь, язычок: «Боги-и-иня! Ещё Живой называется! А сама только больно делать умеет! Не хочу служить такой! Ищи себе другую службу!»

Словно в ответ на дерзость невозможную, во мраке угловом завожилось что-то, взвизгнуло тонко и понеслось к Роксе, скребя коготками. В скупом свете утреннем мелькнуло серое длинное тело — отощавшая и оттого осмелевшая старая крыса неслась на запах плоти. Впавшие бока её проступали рёбрами под облезлой шерстью, глаза горели красным огнём голодным. Но до жертвы своей серая тварь не доскочила, застыла, очертив зубы, уловив вдруг Силу неизвестную, таившуюся за мягкой незащищённой плотью детской. Плоть эта теряла на глазах черты привычные: исчезла припухлость младенческая, лицо стало взрослее и строже, плечи выпрямились горделиво, а руки вытянулись вдоль боков со стиснутыми намертво кулачками. Посиневшие от холода губы замерли, не выпуская ни облачка пара, а потом ожили вновь, творя неведомую до сих пор *боевую* ворожбу: «Ладонь моя холодна, душа моя на ветру, я по теплу голодна, твоё тепло заберу...»

Серая хищница рванулась было прочь, но не успела — так и застыла на полу, растеряв тепло жизни. Но Рокса даже не заметила своей неожиданной победы. Сила, таившаяся в ней, вырвалась из нетей и предстала пред внутренним взором девчачьим образом пленительным — девой тонкостанной, с сияющими волнами светлых волос, изумрудной зеленью глаз, ладной, гибкой, и посильнее Живы, пожалуй. Доверчивый разум Роксы ткнулся кутёнком несмышлёным в руки тёплые, нежные, отдаваясь во власть столь дивной Силы. Голос завёл иную ворожбу, утратил детскую лёгкость, отяжелел, налился густотой низовой и заструился словами чудесными, светлыми: «Любимый мой! Жизнь моя, где ты? От врага, от недруга, от друга неверного, от незнаемого проклиняющего как сберечь

тебя? Не у ног твоих, не для глаз твоих, не в след твой, не в слух твой, не с тобой, но тобой единым — живу! Птахой лёгкой полететь бы, лебедью белой, утицей серой, да хоть бы вороночкой стыдной — к тебе навстречу! Где ты, где ты, когда зову я тебя? Где ты, где ты, когда плачу по тебе? Где ты, где ты, когда нет сил моих жить без тебя? Вижу напасть злую неминуемую, что след твой пьёт, но не вижу тебя, след оставившего. Откройся зрак небесный, друг чудесный, покажи мне того, кто в душе моей! Жив ли, здоров ли, помнит ли?»

С последними словами Ворожбы Небесного Глаза побледневший чистый лоб девичий пересекла прямо над переносицей морщина глубокая, словно кто клинком невидимым взмахнул. Глаза Роксины закрылись, она замерла неподвижно, а морщинка новоявленная вспухла краями, и вскрылась вдруг бирюзой хрустальной, превратилась в невозможный на лице человеческом странный глаз — третий. Посреди лба. Тот, что только богини имеют, сквозь время и простор земной прозревающие.

И глаз этот шевельнулся, наполнился слезой радостной, уловив нечто нездешнее — то, к чему открылся он. Где-то далеко-далеко, на берегу реки вековой, он вздрогнул и обернулся на взгляд невидимый. Глаза серые — утонуть бы! — волосы русые — расчесать бы! — плечи широкие — обнять бы! Любимый её был жив и здоров, и помнил! — губы его шепнули имя — её, чье же ещё? — и весь Мир, центром которого был он, вздрогнул, подёрнулся пеленой туманной: Глаз Небесный ослеп от вполне земных счастливых слёз и сомкнулся...

Сомкнулся и не узрел, как совсем рядом, в углу сарая, забившись в темноту студёную, рыдала глухо Остана — уже не мать той, что замерла со счастливой улыбкой и зраком божественным на нежном детском лбу.

Хозяин леса

Лес остановился, замер, затаился, десятками глаз уставившись на путника, шевелясь тенью многоглавой, многорукой, закрывая путь, ухая и вскрикивая от неудовольствия. Казалось, он думал.

Загнанный жеребец, шатаясь от усталости, стряхивал налипшую на взмокший лоб гриву, роняя пену с оскаленного рта. Глаза его, покрытые дымкой, незряче обводили обступивший лес, чувствуя присутствие кого-то, кто имеет право рас-

порядиться судьбой идущих через его владения. Даже в охватившем коня безумии чувство нависшей опасности заставляло его пятиться и приседать на задние ноги, не обращая внимания на понукающие удары пятками и раздирающие губы рывки удила. Тот, кто перегородил дорогу, был страшнее. Налетел ветер, вздымая пожухлую и не припорошенную снегом прошлогоднюю листву. Черными порхунками кружила она в неясном лунном свете над замершими пленниками. Лес сошёлся ещё тесней — ветер взвыл, словно пёс, которому прищемили хвост, с досады рванул и без того не зимнюю одежду всадницы, пробираясь сквозь прорехи к посиневшему телу.

Прекратив погонять коня, она уставилась злыми глазами в стену лесную, шевеля тёмными губами, потом махнула ручкой — стена треснула, закрипела и расселась в стороны просветом дорожным. Всадница откинулась в седле и захотала злорадно — низким голосом с хрипотцой, никак не вяжущимся с её детским обликом. Конь выгнул шею, клоня голову, и рванул на просвет. Но тут же замер как вкопанный: посреди просвета на почерневшем пенёчке, облитый лунным светом, сидел, закинув ногу на ногу, плечистый старичок в медвежьей шкуре, питой на манер полного ратного доспеха. Сердито сверкающие чёрные глаза его уставились на всадницу. Он вытряхнул невидимый сор из старенького лаптя и натянул обувку на шерстяную, в цвет шкуры, онучу. Потирая узловатые кисти рук, старик взобрался на пенек, оказавшись всего полсажени ростом, но смешным от того не став. Перетаптываясь с ноги на ногу, будто пританцовывая, он махнул крест-накрест ладошками — и позади всадницы ухнула оземь высохшая, покрытая лохмотьями бурого мха, сосна.

Всадница взвизгнула, привстала в седле, наискось широко черкнула рукой, словно отрезала, — на старика посыпались ветки и хвоя с потревоженных деревьев, а под ноги упала верхушка ели, подрагивая мохнатыми лапками. Лес заверещал испуганно, застучал дробно дрожью нервной, подался назад, открыв место схватки свету лунному.

Старик вертанулся оборотно, вырос вдвое, приняв облик страхолюдный, зарычал глухо, поднял ручищи косматые и прыгнул встречь коню. Жеребец встал на дыбы, заржал дико, засучил копытами перед лицом неведомого врага, но не удержался на ослабевших ногах и завалился набок.

Всадница ловко соскочила в сторону, завизжала разноголосо, страшно, вцепившись руками в воздух и потянув нечто невидимое вверх, словно вытаскивая на свет. Взрыв землю

вокруг старика, зазмеились вверх узловатые корни деревные, норовя обхватить и утянуть его вниз, в земную утробу.

Старик гикнул, повернулся вдругорядь и вырос ещё вдвое, навис над крохотной соперницей своей, потоптал корни, опавшие бессильно, и завыл по-волчьи. Она присела, став совсем незаметной под огромной тенью стариковой, и вдруг метнулась в сторону, норовя ускользнуть. Старик раскрыл ладонь широкою останавливающим жестом — супротивница ткнулась слабой грудью в выросший на пути ствол и покатилась по земле. Но сдаваться она не собиралась — охнула гулко, рывком поднялась на ноги и... заговорила тягуче, низким поставившим голосом:

— Хозяин лесной, что за надоба тебе путь мой треножить? Или в служки нанялся той, что по пятам моим идёт?

Старик качнул крупной головой, блеснул глазами и ответил ворчливо:

— Меня знаешь — значит и про меня знаешь. Погани неживой по моему лесу не шастать.

Та, к которой обращены были слова страшные, взвизгнула, словно от боли, и, возвысив голос, отреклась:

— Не тебе, косматому, судить служительницу Великой Зеваны. Уйди с пути по-доброму!

Старик снова покачал головой, насунился и отвечивал спокойно и важно:

— Была и служительница. А нынче — только зря светлое имя её мараешь. Нежить ты, нежить и есть.

Всадница застонала, опустившись на колени:

— Не нежить я. К жизни вернувшаяся. Не нежить.

— К жи-и-зни... Вижу я, что за «жизнь» это — у дитя тело отнять.

Лицо путницы перекошилось, из детского став вовсе старческим:

— Не тебе судить! Сама она хотела! Сама!

Старик задышал тяжело, ещё более набрав росту:

— Что она, неразумная, хотеть могла! Жизни не видел, мороком любовным обманулась! А ты — тут как тут. Прокралась змеей поганой, душу чистую похотью своей вымазав!

Всадница прохрипела надсадно:

— Что ты о любви моей знаешь, что похотью её поносишь!?

— А то и знаю, что любовь чужой жизни не возьмёт. Свою отдаст, а на чужую не позарится. Только похоть, сама себя ради, чужие души пустошит, шкурки пустые оставляя.

— Да что тебе, духу лесному, пути человеческие? Что тебе в девчонке пустоголовой, душу свою сберечь не умеющей!?

Старик будто успокоился от таких речей, кивнул чему-то своему и уселся на пенёк, умалившись в росте:

— Сестрица просила за ребёнком присмотреть.

Супротивница старика растерялась, личико её вновь стало детским, даже посветлело вроде:

— Какая сестрица?..

Старик усмехнулся, очертив крупные зубы:

— Имя тебе, нежить, назвать? Не дождёшься, — и рассмеялся, глядя, как взъярилась его противница.

— Да что ты такое! Я от Морены ушла, не тебе меня останавливать. Мне на земле супротивника не предсказано!

Старик пожал плечами и выговорил уверенно:

— В поле, может, и не сыщется, а в лесу — я Хозяин.

С этими словами он поднялся, вновь вырос и шагнул к потерявшейся перед его великостью страннице. Но запросто взять её старику не удалось. Она прынула в сторону, босыми ножками взрыла тёмную листву прошлогоднюю и, припав за крупом лежащего на земле коня, зашептала жарко: «Отец небесный, с высокого места, силой чудесной...»

— Огня дневного ночью просишь? — старик усмехнулся. — Видно, крепко умерла ты, что простую науку волховскую забыла.

Нежить завывала тоскливо, осыпая старика проклятьями — простыми, не ворожейными. Тот обошёл коня, положил ладонь на макушку измученного детского тельца, зашептал повелительно:

— Прочь поди, откуда пришла, смерть-не-смерть, жизнь-не-жизнь, оставь тело чистое, вины не знающее, без права взятое, срок свой не жившее, не любившее, жизнь не родившее...

Тельце мелко затряслось, безмысленные глаза наполнились слезами, а старик склонился над девчушкой, допевая неизвестную людям ворожбу древнюю:

— ...судьбу свою, не тобой сужденную, но тобой прерванную, не испытавшую. Отоймись, стань тем, кем сама выбрала — не духом, не человеком, не зверем лесным, нежитью бездомной, света не приемлющей!

Обессиленное тельце рухнуло как подкошенное, но старик успел подхватить его на руку, прижимая бережно к мохнатой груди. Серая тень с воем мелькнула в чащу, но старик уже выпрямился и, властно вскинув левую руку, прогремел вслед:

— Замри, обомри, на свет не гляди, силу верни — той, что не доглядела, той, что упустила, — твёрдый голос ворожившего сломался вдруг, утратив силу ворожейную. Да и не надобна она была более: тень почернела, охнув тихо, почти по-человечески, чёрным вихрем лиственным взметнулась и застыла — идольцем деревянным. Из глаз идольца закапали густо слёзы смоляные, и старик, обхватив стонущую тихо девушку, дошептал с грустью болезной:

— Отпускаю тебя, беспутной любви твоей ради... душа несчастная... Лада без ладу...

— Воистину свихнулся мир, раз любовь в нём такие дела творить стала! — маленькие ручки стариковские бережно обкладывали травой придорожной, от ран бережной, ссадины и синяки бесчисленные, тельцу детскому досаждавшие. Губки высохшие, щёчки ввалившиеся, волосы, в шелухе да соре лесном утонувшие... Палец морщинистый коснулся пробивающихся над переносицей тёмных волосков, предрекающих в будущем сросшиеся брови:

— Счастливая... Что ж за счастье тебе такое несчастливое досталось? Кроха кроткая, кто ж тебе пути непутёвые проложил? О-хо-хонюшки-хо-хо! Разве ж бывало такое, чтоб дела мира слезами детскими росились? Пошто и не сгинул он, мир этот, вместе с Деревом, коли так? М-да-а, наделал ты делов, бог-заброта. Нужно тебе это? Дело, конечно, не моё, но ведь сгинешь сам и многая многих с собой в безвременье утянешь...

Старик осерчал вдруг, зазвенел тонким голоском, угрожал кому-то невидимому под потолком лесной избушки:

— Только ежели и её утянешь, я тебя и в безвременье достану, я туда пути тайные знаю!

Звонящий голос разбудил девушку, она застонала громче и открыла глаза:

— Где... я?... Что... случилось?

Старик уселся на топчан, довольно улыбаясь:

— Ничего, по моему разуменью, птаха залётная, не ко времени вернувшаяся.

Девушка попыталась приподняться, но тут же откинулась на подушку:

— Ты кто?

— Дед Пекто! Не бойсь, я хороший.

Девушка недоверчиво покачала головой:

— Хоро-оший. А я тут вся побитая лежу.

Дед возмущённо запыхтел:

— Побитая! Я, штоль, тебя побил? Да кабы не я!..

— Ах, да. Вспомнила. Я почему-то из дома... сбежала. Да ещё на Вихоре...— девчушка вновь встрепенулась обеспокоенно.— А где он? Вихорь? Он жив?

Дед, не до конца остыв, заворчал:

— Чуть жива сама, а о скотине сумасшедшей спрос завела. Он тебя чуть к Морене не отправил, а ты за него слезы льёшь,— девчушка и впрямь заблестела глазками.— Да жив, жив, что ему сделается! Жеребчина такой, что и не встречал уж лет сто с лишком. С тех пор, как Святогор на своём Белом этими местами езживал...

Девчушка, не слушая стариковские сказы, затуманилась взглядом и зашептала растерянно:

— Это не он, не Вихорь. Это кто-то другой... другая... Она — хорошая, только...

— Была и хорошая,— мрачно прервал её дед.— Только с тех пор её след на земле сто раз простыл. Да ладно, не тебе о ней печалиться!

Рокса посерьёзнела и произнесла голосом недетским:

— Кто же ещё о ней попечалится? Ведь не ты же...— старик дёрнулся от неожиданно взрослого рассуждения, испуганно взгляделся в лицо девичье, потом вздохнул облегчённо:

— У-ф-ф... ты меня, деваха, не пугай. Я уж думал, вернулась...

Старик не договорил, но девчушка поняла и покачала головой на подушке:

— Не вернется уж... Сам же знаешь...

Старик поперхнулся, закашлялся, вытаращив позеленевшие глаза под седыми кустистыми бровями:

— Откуда-а?.. Откуда знаешь, что не вернется-а?..

Девчушка отчего-то засмеялась — тихо, насколько хватило слабых сил, но всё же заливисто, озорно:

— Удиви-ил-ся! А я думала, Хозяина леса ничем не удивить. А ты, оказывается, вон какой... не всё и знаешь...

— Ну!.. Однако... У-ф-ф-ф! — величаемый Хозяином леса покраснел от натуги, не владея лишившими его дара речи чувствами: девчушка была боле чем странная, хоть и непутёвая.

В дверь поскреблись, потом робко толкнулись — дверь подалась и распахнулась. В полосе утреннего света на пороге, уставя носки стоптанных лаптей друг к другу, опустив застенчиво плечи и спрятав руки в длинные, не по росту,

рукава, стоял странного вида ребёнок — коренастый, заросший жёстким чёрным волосом по самые глаза, мягко светящиеся алыми огоньками.

— Чи-инка! — девчушка восторженно приподнялась на лежанке. — Чинка!

Станный ребёнок хрюкнул и прошаркал в избу, сопровождаемый недовольным взглядом старика. Усевшись на краю скамьи напротив лежанки, смущённо упрятав ноги и зажав ладони между коленей, он уставился на гостью, посапывая от разбиравшего его любопытства. Дед продрал горло и осведомился сурово:

— Шлялся где? С вечера не видно. Кто за скотиной приглядывать будет? Кто медведиц доить будет? Вырастил дитятко — себе на печалование.

Ребёнок ещё раз хрюкнул и засмеялся странным повизгивающим смешком. Дед махнул рукой:

— Полста лет, а всё ещё дитя дитём. И когда только в разум входить начнёт! Я в его годы уж сохатых по лесу водил да волков от оленят отваживал!..

Девчушка восторженно разглядывала того, на кого сыпались упрёки дедовы, а он млел от удовольствия, урча, как кот на печке. Наконец, надивившись вдоволь, девчушка обрела дар речи:

— Чудо-то какое чудное! Сначала Хозяин леса, а теперь ещё и чинка, дитя лесное.

— Имя у него есть! Нечего его глупыми словами человеческими величать, — старик протопал к замершему на скамье ребёнку и согнал его лёгким подзатыльником. — Иди, животи-не соли насыпь!

Но одного подзатыльника оказалось мало — ребёнок остался стоять в двух шагах от лежанки, зачарованно уставясь на гостью. Гостья рассмеялась тихо, радостно:

— Как же мне его величать, дедушко?

Дедушко заворчал недовольно, но всё же ответил:

— Зови Ррау, — ребёнок восторженно, заводил ушами, но леший отвесил ему ещё подзатыльник и вновь обернулся к госте. — А вот твоего имени по сю пору не ведаю.

— Ро-окса! — с гордостью и удовольствием протянула девчушка.

— Ро-окса! — передразнил, распев на свой ворчливый манер, старик. — Станные у вас, людей, имена однако... Ладно, не надувай губёхи-то, не твоя вина, что родители без ума.

— Много ты про моих родителей знаешь! — возмутилась Рокса.

— Много — мало, а только дитё в лес пускать на жеребце верховать — ума много иметь не нужно.

— И ничего они не пускали — сама я!.. И вообще, я тебя не просила меня к себе забирать... Я вообще, уйду сейчас! Я свой путь знаю! — попытка встать закончилась всё там же на лежанке, с рыданиями в подушку.

— Не просила! Где б ты была, кабы... — старик сморщился и забухал хриплым смехом: — Ой, девка, чую, зря я тебя от Морены спасал — одна забота с подзаботьями от тебя... Путь она знает... Нынче и седые головы беспутно по свету шатаются, а она: «Путь знаю!..» Ну, чего ты стоишь, чадо пустоголовое, — набросился уже на сына старик. — Неси мёд, да ягоду, да сушицу съедобную, будем странницу нашу на ноги ставить. Уходить, вишь, собирается!

ДЕЛО ВАРАКИНА Документальный роман (Фрагменты)

Август 1923 года в Вологде, как и положено последнему летнему месяцу, радовал тёплыми днями и ярко-красными кистями рябин в палисадниках. Гремели последние летние грозы, дождевые потоки сносили с улиц в придорожные каналы мусор и грязь.

Шёл шестой год революции. Советская власть, расправившись с белогвардейцами и их пособниками, занималась строительством новой жизни.

В Гражданскую войну по северным уездам Вологодской губернии прошла фронтовая полоса. Некоторые жители успели повоевать и с красными, и с белыми, и с интервентами Антанты. Да не всегда и понятно было, кого считать «своими», а кого нет. В прифронтовых деревнях немало находилось охотников провести нужного человека «на ту сторону» или совершить там какую-либо «коммерцию».

Весной 1920 года война закончилась. Советская власть вернулась в Архангельск, а Вологда из места пребывания ставки Шестой армии снова стала обычным городишкой, затерянным на широких просторах России.

В один из дней того августа вологжанин Петр Иванович Варакин после службы решил пройтись вдоль реки. Некогда по берегу были проложены деревянные мостки с поручнями. Остатки этого довоенного благоустройства ещё сохранились и использовались для прогулок. У реки не было пыли и душливого запаха придорожных канав. Берег кое-где зарос ивняком, но негусто, так как доставка дров по воде предполагала и выкатывание брёвен на сушу. На реке было много «ершей» — плотов, в которых сплавляют кошовник, дровяной лес. Часть из них разбирали прямо в городе: пилили, кололи и укладывали дрова тут же на берегу в поленицы для распределения по учреждениям и для продажи гражданам.

Пётр Иванович вернулся в Вологду ровно год назад. Он не был здесь всю Гражданскую и мог сравнить то, что было, с тем, что стало. Совсем недавно фамилия Варакиных считалась в городе далеко не последней. Отец Петра Ивановича имел дома и пристани на реке, вел большую торговлю — в том числе с заграницей. Теперь всё в прошлом. Нет ни пристаней, ни торговли, а сам Варакин-старший доживает век немощным стариком. Их дом, один из лучших в заречной части города, реквизирован советской властью, его бывшие владельцы занимают лишь несколько комнат. Впрочем, о чём жалеть? Всё равно прошлого не вернуть, а жить скромно за последние годы Пётр Иванович привык.

Варакин подумал, что сейчас он прогуляется по набережной от Софийского собора к Новому мосту, перейдёт в заречную часть города, повернёт направо и вскоре окажется дома. Но тут его взгляд остановился на молодой даме в маленькой круглой шляпке.

— Я извиняюсь,— галантно, не по-советски приветствовал её Пётр Иванович,— Августа Дмитриевна Степанова, если не ошибаюсь? Моё почтение!

Дама вздрогнула, подняла глаза и, как ему показалось, покраснела.

— Я тоже боюсь ошибиться, но вы Варакин, Пётр Варакин?

— Совершенно верно,— чуть наклонил голову Пётр Иванович.

— Вы же уезжали и... давно, про вас говорили всякое,— сказала Августа Степанова.

— Да, меня довольно долго не было дома, но вот уже год как я в Вологде.

— Странно, но я вас впервые встречаю!

— О, это не удивительно. Я редко бываю на людях. Много работы, знаете ли, я служу губинспектором в Губпродкоме.

Августа Степанова понимающе кивнула.

— Занимаемся сбором продналога с крестьян, составляем реестры имущества и земель для обложения.

— Это, конечно, важно,— заметила собеседница.— Но, наверное, хлопотно и утомительно.

— Я привык к тяжёлой работе и трудностей не боюсь! — бодро ответил Варакин.— А вы, вы всё это время находились в Вологде?

— Нет, я вернулась в город на Рождество в двадцать первом году, а до того была на различной работе... по городам.

— Служили, призывались?

— Нет, но моя работа была связана с деятельностью армии.

Петр Иванович не мог скрыть удивления и потоптался на месте. Он доподлинно знал, что ещё летом 1918 года бывшую гимназистку Степанову родители отправили в Архангельск. Потом там произошёл переворот, началась интервенция Антанты, и вся Северная область была «белой» до весны 1920 года.

«Значит, девушка была на “той” стороне»,— подумал Пётр Варакин. Это обстоятельство придавало бытовому разговору совершенно иной, не лишённый некоторой таинственности, характер. У самого Варакина тоже была история с «политической» подоплёкой, и не одна. Но сейчас об этом говорить не следовало.

— Вы не поняли,— покраснела Августа Степанова.— Я недолго была «там»,— она многозначительно помолчала.— Батюшка настоял, чтобы я как можно скорее вернулась.

— Через линию фронта?

— Я никакого фронта не видела. По зиме меня взяли знакомые отца, посадили в сани и отвезли в Вологду.

— То есть, вы никаких дел... ну, вы понимаете,— с трудом подыскивая слова, спросил Варакин.

— Не понимаю,— несколько натянуто улыбнулась Августа.

— Ну, может, это и к лучшему,— завершил неловкий для обоих разговор Пётр Иванович.

Он раскланялся и хотел было удалиться, но молодая дама остановила его.

— Приходите к нам в гости, мы живём по прежнему адресу. Наши будут рады вас видеть. Батюшка хорошо знал вашего родителя, он часто отзывался о нём с большим почтением и наказывал при встрече кланяться.

— Передам, всенепременно, но отец болеет и из дому не выходит.

— У нас всё более-менее благополучно, насколько это возможно,— сказала Августа на прощание и взглянула вопросительно на Варакина из-под полей своей шляпки.

«Хорошенькая какая»,— подумал Пётр Иванович. Августа очень изменилась за эти годы, отстригла косы, завела модную короткую стрижку. Он помнил её совсем ещё юной гимназисткой, когда в июне 1918 года был распорядителем танцев на вечере в гимназии и знакомил девушку с секретарём французского посольства, графом... как же его звали? Варакин сдвинул брови, но так и не вспомнил, как звали второго се-

кретаря посольства Франции графа Луи де Робиена, находившегося тогда вместе с дипломатическим корпусом в Вологде.

Она ему нравилась тогда, эта девушка, но куда было Варакину до графа! Пётр Иванович вспомнил, как советовал секретарю посольства продолжить знакомство с очаровательной гимназисткой, настойчиво советовал, чтобы проверить, как француз отреагирует. О-ля-ля, французы — народ свободных нравов, не то что наши! Граф тогда проигнорировал Варакина с его недвусмысленными намёками, и Пётр Иванович, удовлетворившись лишь игривой беседой с французом, больше с ним о девушке не заговаривал.

Вскоре начались конфликты с новой властью, и иностранные посольства покинули Вологду. Варакин, опасаясь ареста из-за своих связей с дипломатами Антанты, тоже уехал из города. С тех пор он Августу не видел, слышал только, что отец услал её в Архангельск.

«Значит, через полгода она вернулась домой и к „белому делу“ отношения не имела», — подумал Варакин. Это было хорошо, хотя сам факт пребывания человека на территории, враждебной советской власти, мог вызвать кое у кого вопросы и подозрения.

Варакин не просто так, из чистого любопытства, размышлял об этом. Он сам находился в 1919 году на территории, занятой белыми, и, более того, вынужден был служить в армии генерала Деникина. Нет, он не воевал, не убивал красноармейцев. Недоучившийся медик, он и служил по специальности — военным фельдшером. Но об этом изъяне биографии следовало забыть навсегда.

— Так вы зайдёте в гости? — снова улыбнулась Августа Степанова.

— Как-нибудь, при случае, непременно, — рассеянно ответил Варакин. Он понимал, что эта встреча может что-то изменить в его жизни. Но был ли он сам готов к возможным изменениям, Пётр Иванович не знал.

Они пошли каждый в свою сторону. Августа Дмитриевна, вернувшись домой, за чаем рассказала родителям о встрече с Варакиным.

— Петя — парень из хорошей семьи, но был непутёвым в молодости, прости Господи, — сказал Степанов-старший. — Однако годы идут, и человеку пора остепениться. Посмотрим. Ты, Августа, приглашай его, будем принимать, тебе давно пора решать с замужеством.

— Па-па,— с расстановкой произнесла Августа,— вы же знаете, что это не-воз-мож-но. У меня есть муж.

— Тьфу ты, заладила! — в сердцах бросил чайную ложку Степанов.— Какой муж, где?

— Товарищ Сорокин, мы с ним расписались ещё в двадцать первом. По-советски. Нас зарегистрировали в исполкоме, и бумага была.

— Была да сплыла,— недовольно заметил отец.— Не венчана, значит, замужем не была. Я эти новые штучки не признаю. Грех один, а не женитьба. Впрочем, чего говорить, об этом Сорокине тебе давно пора забыть, словно и не было его.

Августа молча допила чай и ушла в свою комнату. Для одного дня впечатлений ей хватало с избытком. Она легла на постель, уткнулась лицом в подушку. Конечно, о том, что она была сестрой милосердия в госпитале интервентов, никто не должен знать. После внезапного отъезда графа де Робiena из Архангельска она очень страдала и даже не хотела больше слышать иноземную речь. Августа написала письмом отцу с просьбой забрать её назад в Вологду, и тот с помощью знакомых вывез её зимой 1919 года из Архангельска. Без работы девушка не осталась, грамотные сотрудники были нужны власти, и Августу Степанову устроили в продовольственную комиссию Шестой советской армии в качестве счётного работника. Факт биографии — службу у белых — она старалась сохранить в тайне.

В продовольственной комиссии она постигла азы «пролетарского» общения, научилась разговаривать на новом языке, называть окружающих людей «товарищами». В 1920 году, после возвращения «красных» в Архангельск, «товарищ» Степанова снова оказалась в этом городе по работе. Она видела ужасы красного террора, которые обрушили на побеждённых врагов «товарищ» Кедров с его женой Ревеккой Пластининой.

Когда человек ежедневно видит смерть, он черствеет душой. Наблюдать страдания людей, чья вина состояла лишь в том, что они были жителями Архангельска, становилось невыносимо. Про белых говорили о каких-то концентрационных лагерях на острове Мудьюг. Теперь весь Север стал сплошным концентрационным лагерем. Сюда свозили «контриков» со всех концов России, и здесь же большинство из них заканчивало свой век.

Августа с ужасом думала, что среди этих несчастных могла быть и она. После того, как по городу прошёл слух, что Ревекка Акибовна приказала потопить на Двине баржу

с «белыми» офицерами, расстреляв судно из орудий, Августа решила уехать из Архангельска. Ей было жаль покидать этот город. Она любила его за просторы огромной реки, за холодный ветер с Белого моря, за пристани с десятками разных судов, любила говор его жителей, их простодушие и нравы. Архангельск казался ей центром кипучей жизни, окном в большой мир. Маленькая скучная Вологда не могла идти с ним ни в какое сравнение. Августа сказала себе, что когда-нибудь обязательно вернётся сюда.

Комиссию, в которой она служила, тем временем реорганизовали, и «товарища» Степанову отправили в Петроград на продовольственно-хозяйственные курсы. На месяцы жизни в Петрограде пришлось события, связанные с Кронштадтским мятежом 1921 года. Слушатели курсов в составе сводных отрядов штурмом брали крепость, некоторых знакомых Августы в те дни убили.

В Питере она познакомилась с товарищем Сорокиным, моряком с Балтики, который также учился на курсах. Он был настойчив в своих ухаживаниях. После окончания учёбы, когда Августу снова распределили на Север, он настоял на том, чтобы её назначили по месту его службы, в Сибирь. Сорокин был при штате уполномоченного Наркомвышторга — НКВТ. Августу Степанову направили туда в качестве секретаря. Там, в Сибири, они с Сорокиным и расписались.

Но семейной жизни у них не получилось. Уполномоченный всё время мотался из одного города в другой — из Омска в Ново-Николаевск, оттуда в Барнаул, и так по всей юго-западной Сибири. Однажды Августа узнала, что её Сорокин в каждом городе, чрез который проходит маршрут его вояжей, имеет как минимум ещё по одной женщине. От горя она заболела и попросила об увольнении. В декабре двадцать первого года Августа Степанова получила расчёт и вернулась к родителям в Вологду. Мужа Сорокина она больше не видела. Бумага о заключении брака также потерялась при переезде, но тогда ей казалось, что это значения не имеет.

Отец долго сердился на дочь, но делать было нечего, простил.

— Хорошо, хоть не прижила с этим комиссаром ребёночка, — ворчал папаша Степанов, — можно было бы крест ставить на замужестве. А так, глядишь, кто-нибудь и возьмёт девку.

Августа долго болела.

— Это нервишки, — говорил главный врач городской больницы, знаменитый доктор Горталов, который в восемнадцатом

спас американского посла от верной смерти. Об этом тогда много говорили. Несмотря на былые компрометирующие связи с иностранцами, в 1923 году доктор всё так же работал в больнице, и большая часть города почитала его как отца родного. После отъезда посольств из Вологды Горталова арестовали, но быстро отпустили. Посчитали, что он как врач выполнял свой долг.

Когда Августа выздоровела, отец сказал ей, что пока у него есть силы, на советскую работу он её не отпустит. У почётного гражданина дореволюционной Вологды Дмитрия Степанова средства для жизни были. Конечно, они хранились в тайных местах и не подверглись изъятию даже в тяжёлые времена реквизиций. Отец Августы берёг их и распоряжался ими очень рачительно. Часть средств, оставшихся ещё со времён оккупации, он отдал в Архангельске в доверительное управление, и в связи с новыми веяниями в экономике деньги начали работать. Степанов регулярно получал из Архангельска переводами дивиденды. В Вологде тоже остался кое-какой запас, в основном в золоте. Советская власть охотно меняла царские червонцы на совзнаки, и старые запасы твёрдой валюты обеспечивали семье Степановых скромную, но вполне сносную по нынешним временам жизнь.

Появление Варакина взволновало Августу: вот она, возможная партия! Кавалер из приличной семьи, не чета немытым «товарищам», общением с которыми Августа была сыта по горло. «Как заинтересовать его собой?» — думала она. Если не явится в гости, придётся самой что-то предпринимать. Но брать инициативу в свои руки не потребовалось.

Через несколько дней после их случайной встречи колокольчик в передней дома Степановых зазвонил, и на пороге появился Пётр Иванович Варакин.

— С вашего позволения, но и не без надежды на радушный приём, заглянул в гости к старым знакомым,— полушутя приветствовал он хозяев.

— Мать, ставь самовар,— распорядился Дмитрий Степанов,— будем потчевать гостя!

Августа, стоящая в дверях своей комнаты, тихо произнесла:

— Проходите, Пётр Иванович, мы рады вас видеть.

Варакин поймал её взгляд и уловил в нём теплившуюся надежду. В гостиную Степановых он вошёл, чувствуя себя желанным кавалером. Всё как в приличных домах: чинно, обходительно и вполне определено.

Фотограф Василий Фёдорович Гончарук считал себя человеком старой закваски. Его ателье приобрело в городе репутацию заведения солидного и достойного уважения ещё в самом начале века. Фотографии с виньетками В. Гончарука имелись едва ли не в каждом вологодском доме. В годы революции и Гражданской войны всё, казалось, пошло прахом. Но вот после X съезда РКП(б) советское правительство приступило к проведению в жизнь Новой экономической политики, и Василий Фёдорович воспрянул духом. Появилась возможность снова открыть своё собственное фотоателье и заняться любимым делом. Чтобы не попасть в списки «лишенцев» (предпринимателей, использующих наёмный труд и потому лишённых избирательных прав), Гончарук выписал к себе в качестве помощника племянша из деревни. Пусть парень учится стоящему делу, он — родственник, член семьи, а значит, об эксплуатации трудящихся масс речи быть не может.

Конечно, НЭП ни в какое сравнение с золотым дореволюционным временем не шёл. В ателье Василия Фёдоровича на Московской улице клиенты заходили не часто, студийная фотокарточка — штука дорогая и, по нынешнему времени, не каждому по карману. Выручали фотографа разного рода мероприятия: конференции, съезды, совещания и тому подобное. На них всегда приглашали человека с камерой, и тот, усадив перед собой несколько десятков участников, делал снимок «на память». Чем больше позирующих, тем выгоднее фотографу, ведь каждому из них хочется иметь фотокарточку, свидетельствующую о его причастности к кипучей жизни советского общества. Тем Гончарук и жил. Доходным делом для него были также и похороны. Вологжане любили запечатлеть себя в минуты горя у гроба покойного, а потом показывать карточки знакомым — и близким, и не очень. Зная, что будет фотограф, на похороны старались хорошо одеться, непременно атрибутом женского убора являлись чёрные кружевные платки из «бумажной» нити: красиво и траурно.

У Гончарука скопился огромный фотоархив. Кажется, вся Вологда за последние двадцать лет была представлена на этих негативах. Да что там Вологда! Гончарук в глубине души считал себя вологодским Карлом Буллой, светописцем выдающихся политических событий.

Весной 1918 года, когда иностранные посольства и экономические миссии переехали из Петрограда в Вологду, он сразу же предложил им свои услуги и получил разрешение

на съёмку. Сначала его клиентами были французы, прибывшие в город в первых числах апреля. Василий Фёдорович сделал два групповых снимка. На одном члены посольства, тесно сидящие голова к голове в салон-вагоне, едва уместились в кадр. Кругом вояжный беспорядок: какие-то корзины с бумагами, разбросанные предметы багажа. Но снимок, без сомнения, удался: в каждом сотруднике посольства виден его характер. Вот посол Нуланс. Его исполненный решительности взгляд говорит о том, что этот человек готов идти напролом к поставленной цели. За Нулансом — его личный секретарь, малыш «пети», как французы его называли между собой. Он тоже носит фамилию Нуланс, но это полная противоположность послу: насторожённый взгляд сквозь пенсне, откровенно выраженное чиновничье желание быть услужливым, даже посадка головы — с небольшим наклоном: чего изволите? Кто же ещё на фото? Гончарук нахмурил лоб. Вот этот чернявый с кудрями, похожий на цыгана, кажется, заведовал у них архивом. Рядом с ним у окна — секретарь посольства, граф де Робиеен. Об этом графе фотограф потом слышал много восторженных отзывов от девочек-гимназисток, которые танцевали с ним на выпускном вечере. Негативы их портретов в красивых пелеринах тоже хранятся у Гончарука.

А вот ещё фото с французскими дипломатами. Вся группа стоит у вагона поезда, а на переднем плане, рядом с послом, «дама с собачкой» — французским бульдогом. Это мадам Нуланс, жена посла. Боже, как давно это было! Тогда Гончарук, вдохновленный профессиональной удачей, не просто размножил фотографии и передал их французам. Он сделал большое увеличение и поместил один из двух отпечатков в витрину ателье: знай наших! Ну чем он, Гончарук, не вологодский Карл Булла!

В архиве фотографа есть снимки и с другими дипломатами. Вот американцы позируют у занимаемого ими дома на Екатерининско-Дворянской улице. Эти всегда и везде развертывали свой звёздно-полосатый флаг. В конце апреля, когда ещё было холодно, Гончарук сделал фото членов посольства перед входом в дом, а в мае, когда уже в палисаднике пробилась зелёная травка, сфотографировал их у колонн дома. Американцев Гончарук помнил плохо, узнавал только самого посла, и то потому, что ему сказали, будто этот мистер перенёс смертельно опасную болезнь, и он запомнил, где именно тот стоял. Где-то здесь должен быть и его слуга-негр. Гончарук внимательно пригляделся к негативу на стеклянной пластинке. Чернокожий должен выглядеть светлее остальных, но

найти его не удаётся. Чтобы определить, кто есть кто, надо делать контактный отпечаток.

Есть в архиве и ещё один негатив. На нем запечатлён американский офицер со своей русской женой. «Сейчас, наверное, они в Нью-Йорке или в Калифорнии,— подумал Гончарук,— и уже забыли о Вологде. А вот снимки, ставшие уже историческими, у него сохранились».

Во время Гражданской войны фотографию французского посольства, как политически опасную, Гончарук с витрины убрал. Но теперь, когда война кончилась и в стране Новая экономическая политика, почему бы не вернуть её на прежнее место? Не каждый фотограф может похвастать подобным снимком.

Василий Фёдорович достал картон с фотографией французского посольства и поставил его в витрину среди прочих своих шедевров.

— Дядя, кто это? — спросил фотографа помощник-племянш.

— Это важные люди,— охотно пояснил ему Василий Фёдорович.— Тот, что посредине, с усами,— французский посол, а тот, что слева,— французский граф.

— Как граф де ля Фер из «Трёх мушкетеров»? — не преминул продемонстрировать свою начитанность племянник.

— Ну да! — улыбнулся фотограф.— Только этот не плод воображения литератора, а самый что ни на есть настоящий граф!

Зазвенел колокольчик у входа, значит, пришёл посетитель и будет работа.

— Здравствуйте, Василий Фёдорович, как здоровье?

В передней стоял главный врач губернской больницы Сергей Фёдорович Горталов.

— Вашими молитвами всё благополучно,— поклонился Гончарук.— Чем могу быть полезен?

— Молитвами здоровье не поправишь. Разве только поклонами, и то не от каждой болезни помогает,— отшутился Горталов.— Так что рекомендую принимать пилюли по назначению врача и соблюдать режим. А к вам я по делу.

— Желаете сниматься?

— Да, требуется фотокарточка в какое-то личное дело, а у меня только в мундире при орденах, старорежимные фотографии. Сказали, что не годятся.

— Сделаем-с, Сергей Фёдорович, в пиджаке, по-советски, в лучшем виде.

Горталов прошёл в студию, где окна были наглухо завешены чёрными полотнищами и горели яркие лампы, сел на

стул. Гончарук быстро вставил фотопластину, приладился — и фото доктора для советских документов было готово.

— Приходите завтра-с, будет напечатано в лучшем виде. Вам на картоне?

— Зачем же, это будут куда-то вклеивать, так можно и на тонкой бумаге.

— Сделаем-с...

Гончарук в общении с клиентами никак не мог отвыкнуть от старорежимных привычек, говорил преувеличенно вежливо, старался угодить и всё норовил вставить этот неуместный в речи советских граждан словоерс.

— Василий Фёдорович! А что это вы, батенька, французов опять выставили?

Горталов увидел в витрине фотографию членов посольства.

— Так дело идёт к налаживанию связей. РСФСР участвует в конференциях, ведутся переговоры. Скоро восстановят дипотношения. Я газеты читаю, там про всё это пишут.

— Много чего пишут в газетах,— как-то кисло усмехнулся Горталов.— Кабы всё писаное делом оборачивалось, так давно бы уже при социализме жили, а посмотришь кругом — плюнуть порой хочется. Так-то вот.

— Не надо о грустном, доктор,— успокоил главврача фотограф.— Вы сравните с тем, что было три, четыре года назад, и увидите — стало лучше.

— А я сравниваю с тем, что было до войны, в 1913-м, и вижу: всё очень плохо.

Горталов раскланялся и вышел на улицу.

«Доктор недоволен советской властью,— подумал Гончарук.— А кто из нас, прежних, сейчас доволен? Надо надеяться на лучшее, и тогда всё образуется».

В тот день к Гончаруку больше никто не приходил. Зато он, сидя у окна, увидел, как по улице громяхают украшенные кумачовыми транспарантами телеги. Кооперативы везли сдавать государству зерно, купленное у крестьян в счёт продовольственного налога. Всё это напоминало специально подготовленное представление, да и было, по сути дела, агитационно-пропагандистским спектаклем. Гончарук выбежал на улицу с камерой и сделал несколько снимков. Так, на всякий случай: а вдруг кому-нибудь понадобятся.

* * *

Главный врач губернской больницы Сергей Фёдорович Горталов был одним из наиболее известных и почитаемых

граждан города. За долгие годы практики доктора редко кто не побывал у него на приеме. Вот и теперь к нему шли партийные с женами и детьми, военные, городские, из деревень, старые и молодые. Доктор никому в лечении не отказывал. Конечно, до революции у него, кроме основной работы, была ещё частная практика, обеспечивавшая солидные поступления в его домашний бюджет. С установлением советской власти частная практика оказалась под запретом, и если Горталов брался кого-то лечить в свободное от службы время, то делал это бесплатно, от широты сердца. Люди не понимали такого бескорыстия, обижались и, несмотря на протесты, доставляли в дом Сергея Фёдоровича знаки благодарности в бумажных и рогожных кулках, коробах, пестерях, корчажках и сулеях. Супруга врача, чтобы не обижать пациентов, принимала дары и часто делилась принесённым с соседями, у которых столь щедрого источника пропитания в эти трудные времена просто не было.

В доме росли двое сыновей школьного возраста. Доктор женился поздно, и ему шёл уже шестьдесят первый год. Впрочем, стариком Горталов не выглядел, был всегда свеж, бодр, любил делать окружающим ехидные замечания и вгонять дам в краску на приёмах, задавая им без малейшего стеснения весьма деликатные вопросы.

Этот человек видел смерть в её разных обликах, много раз провожал в мир иной неизлечимо больных, но при этом не очерствел душой. Главврача в больнице все без исключения любили за широкую натуру и добродушный характер. Когда Сергей Фёдорович сердился, то слышно было на всех этажах и во всех палатах, и каждый знал: что-то действительно не в порядке, что-то необходимо как можно скорее исправить.

Февральскую революцию главный врач, к тому времени уже имевший признание, почёт и ордена, встретил с настороженностью. Политически ему были наиболее близки кадеты, и на выборах в Учредительное собрание он голосовал за эту партию. Но кадеты обманули ожидания вологодского доктора и оказались в числе проигравших. Приход к власти большевиков он воспринял как закономерный результат всего того, что творилось в стране. Когда власть валяется под ногами, её присваивает наиболее сильный.

Большевики лишили дворянина Горталова обширных земель в Грязовецком уезде и реквизировали два принадлежавших ему дома в Вологде. По этой причине никакой симпатии к новой власти у него не было. Эту власть он терпел как не зависящую от его воли данность, как хроническую болезнь,

от которой избавиться нельзя, но можно попытаться облегчить приносимые ею страдания. Существовала необходимость как-то жить, растить детей, и Сергей Фёдорович старался о политике не думать. Правда, политика почему-то постоянно напоминала о себе.

В апреле 1918 года ему пришлось лечить американского посла Френсиса, тяжело заболевшего во время пребывания посольства в Вологде. Назначенная терапия оказалась эффективной, и важный пациент поправился. Большевики чуть было не расстреляли Горталова тогда как пособника империалистов, но его спасла известность и непоколебимая уверенность в том, что долг врача — спасать людей независимо от их политических взглядов.

Большевики отпустили доктора, не причинив вреда. Потом началась Гражданская война, Вологодская губернская больница превратилась в госпиталь. Врачей не хватало, и умелые руки Сергея Фёдоровича стали просто незаменимыми. К нему на приём приходил сам Кедров, гроза Севера. Видел Горталов и его подругу Ревекку Пластинину, молодую женщину с горящим взглядом и с явными признаками глубокого психического расстройства.

В 1920 году все эти страшные люди из Вологды исчезли, но спокойная жизнь в городе и в губернии длилась недолго. Советская власть была одержима страстью к бездумным социальным и экономическим экспериментам. Доведя ситуацию с продразвёрсткой до предельной остроты, она заменила её продовольственным налогом. Но этот налог крестьянин мог уплатить сполна только в хороший урожайный год, а на Севере, как известно, такие годы нечасты. Недоборы вызывали недовольство и репрессии властей, в сёлах вспыхивали волнения, а в 1922 году в Каргопольском уезде Вологодской губернии, прежде слывшем зажиточным, разразился голод.

Всё это Горталов хорошо знал. К нему ежедневно приходили люди не только с телесными недугами, но и с тяжёлыми душевными ранами. Доктору они верили и рассказывали ему о том, что наболело.

* * *

Иван Николаевич Мальцев, или отец Иоанн, настоятель небольшой Пятницкой церкви на перекрёстке близ южной стены бывшего архиерейского подворья, был идейным «обновленцем». Он примкнул к реформаторам в двадцать первом году, когда власть ещё только думала: поддержать ей новое

течение в церкви или нет? Мальцев не колебался, церковь должна быть «живой»! Долой устаревшую догматику, веру необходимо приблизить к людям, сделать понятной и доступной. Через год, в 1922 году обновленцы получили официальное признание советской власти, и отец Иоанн вместе с другими священниками-обновленцами, такими, как протоиерей Тихон Шаламов, миссионер и вольнодумец, известный своими высказываниями с дореволюционных времён, вошли в руководство епархиальным управлением.

Иерею Мальцеву тридцать три, возраст самый что ни на есть, и хочется много сделать для блага православия. Отец Иоанн служит не только в Пятницкой церкви, он помогает на литургии в Софийском соборе, читает лекции по истории христианского учения. Советская власть его не беспокоит. Для себя он давно решил, что всякая власть от Бога, то же самое слышит во время его проповедей и паства. Конечно, к этому убеждению Мальцев пришёл не сразу. В 1918 году он сочувствовал идее восстановления монархии и помогал тем, кто боролся с большевиками. В храме, в надёжном месте, были спрятаны полученные ранее из казны деньги, которые шли на борьбу с красными. Потом в Вологду нагрянул комиссар Кедров со своей «Советской ревизией», начались аресты. Потом в Архангельске случился переворот, и все, кто обращался к отцу Иоанну за помощью, очутились по ту сторону фронта или в большевистских застенках. В тайнике осталось двести двадцать тысяч рублей.

Недолго думая и понимая, что инфляция быстро обесценит эти запасы, отец Иоанн решил сохранить их в иной форме. Для этого он нанял мужика, и тот привёз на всю сумму из деревни зерна. Мешки упрятали в подклете. Уже осенью цена на муку удвоилась, а к весне 1919 года поднялась и того выше. За сохранность вверенных отцу Иоанну ценностей можно было не беспокоиться. Мука шла на просфоры, а добрым прихожанам отпускалась в обмен на царские золотые.

Однажды в храм ворвались солдаты — и прямо туда, где было спрятано зерно. Донесли! Отец Иоанн был арестован. Через некоторое время он вышел на свободу, твёрдо убеждённый в законности новой советской власти, в правильности идей обновленной церкви и стал активным сторонником этого движения. Никто тогда не знал, что перемене взглядов отца Иоанна способствовала одна беседа в особом отделе Шестой армии. Нет, он не давал никаких подписок о сотрудничестве. Зачем? Просто он пообещал чекистам поддерживать советскую власть и об этом обещании не забывал.

Несмотря на поддержку со стороны властей, проблем у обновленцев было хоть отбавляй. В патриарших храмах яблоку негде упасть, а у них ветер гуляет. Нет прихожан, нет и треб, а, соответственно, нет денег. На курсах, где преподавал отец Иоанн, в числе слушателей всё больше девушки. Он растолковывал им основы православия на обновленческий манер, они с ними вроде бы соглашались, но было видно: верят ему курсистки далеко не во всё. Не единожды уже случалось, что выпускницы, получив свидетельство об окончании курсов, бежали петъ на клирос или прислуживать в патриаршую церковь. «Почему так,— недоумевал отец Иоанн,— чего хорошего в этой старине, почему к ней так влечёт людей?»

Рассеивать свои сомнения он пошёл к бывшему протоиерею Софийского собора отцу Тихону Шаламову. Отец Тихон несколько лет назад ослеп, по этой причине был выведен за штат, но сохранил ясность ума и широту мысли. Когда-то он был миссионером в Америке. После возвращения на родину занимал видные должности в епархиальной иерархии, пока его слишком вольные взгляды не вызвали недовольства тех, у кого он был в подчинении. Не удивительно, что и сыновья у него выросли вольнодумцами. Хотя сейчас отец Тихон — слепец, он по-прежнему участвует в заседаниях обновленческого епархиального управления, являясь членом совета. К нему часто приходят свои, поговорить о наболевшем, обрести поддержку, получить совет. Отец Тихон всегда знает, что сказать: хоть о внутрицерковной жизни, хоть об изготовлении деревянной весельной лодки, хоть о стельной корове. Поговаривали, что в Америке он запросто общался с индейцами-людоедами, и те уважали его за твёрдый характер.

Но то Америка, а здесь — Святая Русь, где всё дышит стариной и вызывает к почитанию того, что прежде было.

— Здравствуйте, батюшка,— приветствовал Мальцев отца Шаламова.

— Здравие — оно от Бога. Бог даст, будем здравствовать,— отвечал бывший кафедральный протоиерей.

— У меня, батюшка Тихон Николаевич, вопрос,— Мальцев сделал паузу.— Нет ли каких известий о низложении патриарха Тихона?

— Он по-прежнему в заточении в Москве, ибо шёл против власти. Тихон Белавин — отыгранная карта, наши отцы-иерархи полагают, что надлежит перестать его чтить и предать анафеме.

— Как бы он нас всех не предал анафеме, он же патриарх! — возразил Мальцев.

— Не посмеет. Власть, чай, нас поддерживает, не его.

— Поддерживает, но всё больше на словах,— не унимался отец Иоанн.— Патриаршие приходы не запрещает, народ туда ломится, а у нас в церквах пустота.

— Тёмен народ русский, в темноте своей и упрямстве закоснел. Из иного не худо бы батогом дурь выбить, но времена нынче не те, нельзя. Кто патриаршие приходы посещает? Бабы-дуры, им не понять, что только живая церковь спасёт человека от адского огня!

— Там у них,— Мальцев указал рукой куда-то вбок,— говорят то же самое, но про нас. Я вот на днях одного старого знакомого встретил. Ивана Фёдоровича Варакина сына, росли мы с ним вместе. Так он от меня шатнулся, как от чумного. А Варакин этот не баба. Образование имеет медицинское, должен бы понимать, что к чему, а туда же, к старине льнёт.

— Тяжело не нам одним. Первых христиан зверьми дикими в цирках травили, жгли и резали, но те в вере своей устояли,— Тихон Шаламов назидательно поднял палец.— И мы должны устоять, на то мы и православные христиане.

— Отец Тихон, меня на курсах одна барышня спросила: кто больше Христа любит, мы или патриаршие прихожане?

— И что ты сказал?

— Сказал, что любят все одинаково, но одни заблуждаются, а другие нет.

— Правильно. Но как объяснил, почему те заблуждаются?

— Никак, не могу объяснить!

— Да,— Шаламов замолчал. Пожалуй, и сам он, если отбросить трескучую риторику, не смог бы ответить, почему еврейскую и христианскую пасху следует праздновать раз в несколько лет вместе. Может, лучше вообще не рассуждать. Ведь рассуждения о вере всегда ведут к одному — к сомнению, а сомневаться в этом деле нельзя, так ещё Фома Аквинский учил. Сомнения порождают ереси, они губят веру почище тёмных солдат, которым во все времена приказывали бездумно искоренять инакомыслие.

Тихон Николаевич разнервничался. Он не мог ответить на простейшие вопросы, поставленные собеседником. Да и никто не смог бы. Оставалось только верить, верить и верить.

— Ты, отец Иоанн, всё правильно говоришь. И впредь так говори, но прибавляй, что Господь видит, кто его больше любит, и сам решит, кому в рай идти, а кому в другое место. Бабы народ бояливый, на них это подействует.

— Значит, власти нам не помогут? — спросил, поднимаясь, Мальцев.

— Благодарю, что не мешают,— ответил Шаламов.

Отец Иоанн раскланялся и вышел из дома причта, где жили Шаламовы. Он подошёл к реке, посмотрел на унылые осенние воды. Кто-то с удочкой на противоположном берегу пытался ловить рыбу. Это о сию пору! Ему вспомнилась притча о ловцах душ человеческих, коими должны становиться все проповедники веры Христовой. «Надлежит завлекать к себе как можно больше паствы и усиленно окормлять её, приучая к повиновению и внушая доверие ко всему тому, что скажет батюшка»,— подумал он.

Сегодня у отца Иоанна была ещё одна встреча. Третьего дня ему принесли письмо, в котором просили сегодня быть в условленное время на Соборной горке и ждать, когда подойдут для важного разговора. Конечно, отец Иоанн знал, откуда ветер дует. Ему неоднократно именно таким образом назначали свидания сначала люди из особого отдела Шестой армии, потом из вологодского отдела ОГПУ. Беседы, как правило, ни к чему не обязывали, и поэтому Иван Николаевич смотрел на них как на обычную формальность: надо людям работать, писать отчёты, так пусть трудятся.

Он прогуливался вдоль берега и ещё не успел озябнуть на осеннем ветерке, как его окликнули по имени-отчеству. Священник обернулся. Перед ним стоял молодой человек в модном пальто и кепи.

— Здравствуйте, это я вас попросил прийти, меня зовут Евгений Евгеньевич.

«Странно,— подумал Мальцев,— раньше называли либо товарищ такой-то, либо просто по имени».

— Здравствуйте,— вслух проговорил он.— Чем обязан?

— Не торопитесь, Иван Николаевич, спешить некуда ни вам, ни мне. Пойдёмте прогуляемся. И не волнуйтесь: народу нет, нас никто не услышит.

— У меня служба вечерняя,— чувствуя, что волноваться-таки начинает, сказал Мальцев.

— Ничего, мы успеем.

Они пошли вдоль берега. Помолчали. Низкие облака готовы были вот-вот пробрызнуться дождиком, воду на реке легонько рябило.

— Постарайтесь припомнить, как давно в среде священства ведутся разговоры о низложении патриарха,— сказал наконец спутник Мальцева.

Тому стало не по себе. Только что они говорили об этом с Шаламовым, не мог же он так скоро донести. И не вовлекал

ли отставной протоиерей его в опасные разговоры предумышленно? Но, с другой стороны, Шаламов ведь не знал, что Мальцев зайдёт к нему. Да и сам он нанёс визит Шаламову лишь потому, что встреча с этим Евгением Евгеньевичем была назначена рядом с домом причта. Нет, на заранее устроенную ловушку не похоже. Значит, Тихон Николаевич не при чём. Тогда кто?

— Не мучайте себя догадками, уважаемый Иван Николаевич,— продолжил человек, назвавшийся Евгением Евгеньевичем.— Мы обладаем всей полнотой информации и нисколько не нуждаемся в вас как в осведомителе. Вы нас интересуете в другом качестве.

Мальцев залился краской, и его оттопыренные уши стали похожи на осенние листья клёна. «В каком таком ещё качестве?» — тоскливо подумал он.

— Я пригласил вас, чтобы посоветоваться.

— К вашим услугам,— Иван Николаевич напрягся.

— Партия ставит перед нами задачу покончить с церковным мракобесием, но не сразу. Это долгий путь, рассчитанный, может быть, на несколько лет и даже десятилетий. В данном вопросе мы должны опираться на священников, которые понимают задачи текущего момента и зовут не назад, в средневековые времён царя Алексея Михайловича с его расколом, а вперёд — в светлое будущее.

— Понимаю, товарищ Евгений Евгеньевич.

— Я слышал, что у обновленческой церкви есть трудности?

— Где их нет?

— Вы начинаете проигрывать борьбу за умы и сердца прихожан со старым «патриаршим» уклоном?

— Мы ведём работу. Успехи есть, но они скромнее, чем хотелось бы.

— Вот и я о том же. Советская власть, не сомневаясь в лояльности «живой церкви», хочет помочь в вашей работе.

— Благодарим,— поспешно отреагировал Мальцев.

— Погодите благодарить,— повернулся Евгений Евгеньевич к нему и остановился.— Нам нужны фамилии настоятелей-тихоновцев, плохо отзывающихся об обновленцах.

— Так любой, кто не наш, плохо и отзывается!

— Нет, вы не поняли. Нам нужно знать конкретно: кто, при каких обстоятельствах говорил и с какой целью. Ваши враги — это наши враги, Иван Николаевич.

Мальцев сглотнул слюну.

— Что я должен сделать?

— Только то, что слышали. Составить списки тех, кто недоброжелательно отзывается о «живой церкви», передать их мне. И подробности, побольше подробностей, несущественных деталей в этом деле нет и не может быть. Я полагаю, вы понимаете: это ваш долг как пастыря и как гражданина. И ещё: если вдруг увидите кого в городе из бывших дворян или белогвардейцев — их сейчас много изо всех щелей по-вылазило, — сообщайте. Видеться будем здесь или там, где назначу. Нечасто, раз в две-три недели. И, пожалуйста, если кто спросит, с кем это вы тут прогуливались, скажите, что знакомый коммерсант из Питера приехал в родные места и случайно встретился с вами.

— Вы меня считаете агентом? — выдохнул Мальцев.

— Ни в коем разе, уважаемый Иван Николаевич. Только другом и помощником в борьбе с врагами советской власти. Вы же обещали в восемнадцатом году помогать советской власти, не забыли?

— Я всё помню. Однако разрешите откланяться, — попросил Мальцев. — У меня скоро служба, надо подготовиться.

— Я понимаю, Иван Николаевич. Конечно, ступайте.

Собеседник приподнял кепи на прощание и пошёл в сторону моста, постепенно ускоряя шаг.

Иван Николаевич расстроился. Опять ему не дают покоя чекисты. Кажется, война позади и его услуги более не нужны. Контрреволюция разбита, сопротивление буржуазии сломлено. Зачем опять эта агентурная возня? Но выбора у священника-обновленца Мальцева не было. Единожды попав в объятия Чрезвычайной комиссии (как бы она потом ни называлась), человек уже не мог из них вырваться никогда.

«Может, сообщить им про Варакина? — подумал Мальцев. — Приехал неизвестно откуда, ведёт себя вызывающе. Может, враг? И про попов патриарших надо написать. Кто им дал право называть «живую церковь» антихристовой?

Придя домой после вечерни, он спросил жену:

— Никто мною не интересовался?

— Да нет, а что так?

— Ничего, дела старые.

— Боязно мне, Иван Николаевич!

Он и так был маленько не в себе и потому взорвался:

— Дура! Языком не мети, нечего будет бояться! Беду накликаешь долго ли! А у нас дитё малое. Я не хочу, чтобы доча в приюте росла.

ИМЯ

Нет нужды злиться на обиду,
И замыкаться нужды нет:
Живут без слова мгла и ливень,
Живут без слов тепло и свет.

К строке склоняться торопливо,
Бессловье глухо перенести —
Без слова плакать может ливень,
Но будет слышим, словно весть.

Тебя окликнули без слова,
Ты в невниманье затаён,
Так облики дождя глухого
Своих не ведают имён.

* * *

В каждом дереве диво проснётся,
Снова друга заменит душа,
И откроются звуков колодцы,
Всеми безднами слова дыша.

Отблеск прошлого, тень золотого
Века снова сольются во мне:
И дрожит, и колеблется слово,
Окна света стоят в глубине.

Но, шатнувшись, как пламя под вечер,
Заглядевшись в себя самого,
Сердце больно запнётся за вечность
И опять не поймёт ничего...

* * *

А вечность опять начинается здесь.
Ты снова когда-то собой обернёшься:
Ведь вот уже искрится новая шерсть
У тощего перелинявшего солнца.

И детские шрамы заброшенных троп
Опять заболят в пустоте, полной эха,
И снова душа, как пылающий столп,
Сама освещает себя без успеха.

Всё то же сквозь зимний непонятый страх
Мережится: тело — лист ивовый в инее,
И солнце, что трётся боками в ветвах,
И колокол тонкого алого имени.

Я вспомню. Побуду в гостях у беды.
И снова, в судьбе открывая пробелы,
Любовь за тобой замыкает следы,
Пока они взяться ледком не успели.

* * *

...И любовь прорезается — первые зубы,
И судьба, словно мать, у постели не спит,
И чужими планетами в ямках орбит
Ловят солнце глаза... И минуту одну бы...

И прохладу руки на груди или лбу...
Мама, я не умру? Говорить не умею...
Я царапаю душу, а может быть, щею,
Я ворочаюсь и одеяло скребу.

Не приходит великая милая тьма
Помрачение укутать моё потеплее...
Я разбился, я белого камня бледнее,
И кружатся последние щепки ума...

Почему это больно? Зачем это больно всегда?
И кивнет она мне, словно время по капле уронит,
И железною ложкой мне губы разжатые тронет...
Ах, какая соленая, медная это вода...



Кремлевская площадь в Вологде (1989)



Старая Вологда (1989)





Парадная площадь в Вологде





Иней (1974)





Вологда. Набережная (1989)





Одуванчики (1977)





Утро в деревне (1978)





В. В. В. В. В.

Две церкви (1975)

* * *

Светит месяц мне на левое плечо,
Гладит плечи оплывающей свече...
Что он делает, подлец, своим лучом!
И до света я блуждаю в том луче...

Вот за окнами, бывало, снег ходил
Напролёт всю ночь, и ныла голова...
Я любил такие ночи, я любил...
Только всё это слова, слова, слова...

Это присказка, а сказка? Впереди?
Где дорогу бьёшь копытом, жизнь моя?
Уходи сквозь пальцы, месяц, уходи:
Видишь, с неба смотрят старые друзья?

За лесами, за рекою, за душой —
Я не знаю, закрываешь очи где —
Есть, наверно, им обещанный покой,
И листва не уплывает по воде...

Это присказка, а сказку не буди:
Видишь, сердце, забывая и скорбя,
До утра стоит на цыпочках в груди
И не может оторваться от тебя...

* * *

Всё правильно: осенний будет год,
Ещё один. И женщина идёт
По памяти, засыпанной листвою,
И оставляет шёпот за собою.

Ах, где вы были, нужные слова?
Совсем чуть-чуть кружится голова,
Разлука продолжается снегами,
И небо февраля висит над нами.

Ты вскинешь руку, небо шевеля
Ладонью, сбивая мне дыханье,
А я молчу, как зимним утром ранним
Молчит и света с неба ждёт земля.

Я голос твой как поздний лист ловлю.
Зима проходит. Я тебя люблю.

* * *

Мы в будущем сойдёмся, как в былой,
Минувшей жизни... Нас опять воспримут вместе,
Не женихом, конечно, не невестой,
Но сущностью какою-то иной.

Да, позже, в паутине седины,
Уже теряя живость прежней мысли,
Мы эти дни переберём, как письма,
Где строчки чуть видны... Но всё ж видны.

* * *

А письмо от тебя — что ни ночь — на столе...
Помнишь, жили с тобой мы на этой земле.

Помнишь, хлеб у нас был, и огонь, и душа,
И внимала нам смерть, никуда не спеша.

И дрожали тогда над дорогой моей
Рукописные чудные буквы ветвей...

Было! Мудрые звёзды с седой бородой
Над душою склонялись, над ранней водой,

И стояли цветы, как стоят города
С гулкой чашею храмов... Мы жили тогда!

Было. Пчёлы, и важный совет тополей,
И глядели в нас тысячи глаз из дождей,

Словно в детских мечтах, без скорбей и вражды,
На песке оживали босые следы,

И дрожала роса на остывшем седле
Пегой ночи... Мы жили тогда на земле...

* * *

Якутия. Зима

Первобытная белая тьма...
Минус сорок — и дышишь натужно,
И огромная чаша — зима —
Переполнена дымною стужей.

И стоит неподвижно она,
А над нею — совсем небольшая —
Чуть шуршит, опадая, луна —
Детский, бледный и сморщенный шарик.

Я вернулся — была не была!
Я трескучие сны твои слушал.
И сходила покоем на душу
Эта мудрая вечная мгла.

Жаль чуть-чуть, что замёрзла река,
Летних жаль островов. Так, немножко...
Но кумыс не горчит. И лепёшка
Вновь ложится в огонь камелька.

Хорошо. Я простой и живой.
Я узнал твою зиму. И снова
Мироздания ель предо мной
Ожидает ладони и слова...

* * *

Якутия. Лето

Дело было не в смене простой часовых поясов,
Просто в той же стране мы иные миры разглядели.
Я был в будущем прошлом все шесть разноцветных часов,
Из которых сложились короткие эти недели.

Я тем летом ходил по траве, под которой лежит
Промороженный разум земли вперемежку с костями,
Той земли, невзначай отделяющей душу от лжи,
Этот короб язычества, где мы назвались груздями...

Здравствуй, древо судьбы, всё в печатях прижавшихся рук,
Всё в наростах веков, где три мира встречаются сразу!
И якутское солнце входило в свой медленный круг,
По священным долинам втыкая лучи коновязей.

Над Вилюем, над Леной, по северной ночи глухой,
С островов сердоликов, в лесах вологодского края —
Песня белого солнца, всё слышится мне олонхо,
То яснее звуча, то под ветром почти пропадая...

* * *

Когда пройдут династии цветов,
И листья, словно памятники душам,
Окно обступят роем голосов,
Тогда я буду говорить и слушать.

Пора придет, и заболят во мне
Слова любви и вся любовь бывшая,
И снова проще стану я, вполне
Себя во всем на свете понимая.

И минет день, и будет ночь проста,
И сердце медленно войдет в потёмки,
И жизнь простит за страшный путь листа,
За вздрагиванье сонного ребёнка...

Пусть корни месяца сплетутся надо мной,
И, восходя по их дрожащим нитям,
Участницей божественных событий
Душа пребудет. Наравне с судьбой.

* * *

Дни отходят, становятся глуше
И события, и имена.
Почему замечаем мы душу,
Лишь когда на исходе она?

Ночи дразнятся белой луною,
Новый месяц, но та же беда,
Та же бездна разлуки с тобою,
И великие вновь холода.

Вновь под памятью, точно под небом,
Отступает в углы забытьё.
Да, наверное, медленным снегом
Опустилась ты в сердце моё.

Эта дрожь — не уснуть, не согреться,
Эта ночь — из-под сомкнутых век
На глаза мне, на руки, на сердце
Белым светом спускается снег...

* * *

Что-то быстро душа переводится,
Как в лесах заповедных зверё,
Но приходит Покров — Богородица
Расстилает спасенье моё.

Все оттенки осеннего, голого
Засыпают: спокойней дышать,
И деревья раскутали головы,
Оглядеться пред снегом спеша.

Так и жизнь, что бессонницей прорвана,
Всё глядится в осеннюю тьму,
Как вершины берёз, не заполнена
И закатно открыта всему.

Так и надо, и всё переменится,
Отогреется сердце в снегу
И дождётся, оттаяет, засветится,
И опять я поверить смогу,

Что для радости жизнь эта нам ещё,
Что не всё ещё жизни сказал.
...Взмах руки, этот плат расстилающей,
И спокойные эти глаза...

ПО ГРИБЫ

*Незабвенным Дмитрию Трунову
и Кузьме Баряхвостову посвящается*

Так вы не знали моего деда?

Ну, скажу я вам... Это уж вы просто... А вот если бы... Да что и говорить...

Хотите — расскажу? Ага! Ещё бы!

Ну, вы знаете, за словом в карман я никогда не лез и по-рассказать много чего могу.

Что значит «балабол»? Что значит «пустомеля»? Мне ведь и обидеться недолго... Я развлекать вас не подряжался. Сидите и молчите в свои тряпочки. В такие... В дырявые... Да... В затёрханные... Твоя — точно затёрханная... И грязная, как портянка... От одного вида воротит, а про запах и не говорю. Тьфу!.. А я что? В уголок сяду и подремлю. Больно надо!

Ну и что я с твоим «извини» делать буду? Мне его ни выпить, ни похлебать, ни вместо штанов надеть.

А ты молчи, тебя вообще никто не спрашивает! Сказано обиделся — и не буду. А вот так — не буду. И не просите. А это уж как пожелаю...

Вот так всегда... Хочешь сделать лучше людям, тебе же в душу наплюют.

Да не кипячусь я! У меня, если хочешь знать, пульс сейчас, как у слепой курицы. А у такой... У обыкновенной. Ты что, никогда слепых куриц не видел? Ну и что ты тогда в своей жизни вообще видел? Тебе объяснить надо? Объясню: медленный и слабый. Еле прощупывается. Такой, как у меня сейчас. Хочешь — пощупай. Да не тут пульс, куда ты своей лапшей лезешь! Убери руку! Убери руку, я сказал. Русского языка не понимаешь?

Ну так вот. Я уж, кажется, говорил, что дед мой Вася...

То есть как не Вася? В прошлый раз его Петром звали? Хм!.. А-а-а! Действительно... У меня ведь три деда было, даже четыре. Ну, ты вообще тупой, да? Один дед — по матери, дру-

гой — по отцу, третий — по отчиму. А что четвёртый? Нет, мачехи не было. Четвёртый сам по себе. Да что ты привязался! Мы сейчас про кого говорим? Про деда Васю, про первого. И не перебивайте. Про четвёртого потом когда-нибудь... Надо же, какие пытливые граждане бывают!

Продолжаю. Дед мой Вася был личность необыкновенная. Таких людей я больше не встречал. Да и нет их теперь совсем, думаю. Разве что... Да нет, это совсем не то. И почитать нечего. Ни в какое сравнение.

Деду моему всё было нипочем. Понадобится ему, например, в городе что-нибудь. А от нашей деревни, скажу я вам, до ближайшего мало-мальски значащего города — вёрст пятьсот, не менее. Может быть, и тысяча. Всякие там районные городишки, само собой, не в счёт. Что такое районный центр? То ли посёлок зачуханный, то ли большая деревня. Одно только название — город.

Неподалёку от нашей деревни аэродром был военный, да не простой — стратегического назначения. Его специально в лесу строили, чтоб гадам-американцам обнаружить нельзя было. Но деревенские все, конечно, про этот аэродром знали. Лётчики к девкам нашим на танцульки ходили. А малолетних бесштаннх лётчиков по деревне видимо-невидимо бегало. Бабки носы не успевали им вытирать. Самих деревенских, правда, к аэродрому не подпускали. Чуть только не туда забрёл — «Хэндэ хох! Аусвайс!», лицом вниз ложись, проверка документов. Строго с этим было.

Только деда моего такие крайности не касались. Всё аэродромное начальство было у него в дружках. И вот почему. Как только к ним проверка из Москвы, из Генштаба военновоздушных сил — за ним сразу джип посылают. Даже два. Так и так, мол, Василий Полуэктович, выручай. А как выручай? Известно как. Развлекать комиссию надо, чтоб ей уж больше ни до чего дела не было. Всякие обеды-банкеты, завтраки-ужины, рыбалки-охоты, уха-шашлык, ну и банька-каменка около озера, само собой. Банька особенно, я вам скажу. Перед банькой, с умом организованной, никакая комиссия не устоит. Дед мой на все эти штуки мастак был: веники берёзовые, веники дубовые, веники еловые, веники вересковые, веники с крапивой, веники с беленой. До того московских генералов наублажает, что, верите ли, обратно в Москву возвращаться не хотят. Один, вот если только память меня не подводит, генерал-полковник так ему говорил (я своими ушами слышал, а то бы не поверил):

— Я при тебе, Вася, лучше банщиком пожизненно буду. У меня здесь душа на разные голоса поёт, а в Москве то жена, будь она неладна, поездом за скудное жалование ест, то дети из Лондона фунтов и тугриков требуют, то министр обороны на ковёр поминутно вызывает, чтоб власть свою показать. А тут мы с тобой пива наварим, раков будем ловить, да и девки у вас ласковые.

Дед, конечно, такие речи сразу пресекал:

— Погуляли — и хватит. Родина-мать зовёт! Если не ты, так кто же? Ни шагу назад! Империалисты Америки и зоны евро не дремлют! Китай близко! Саакашвили и Порошенко авантюристы! Лучше стоя, чем на коленях! Давай, я тебя поддержу и в самолёт затолкаю. До Москвы проспишься — всё путём будет. На будущий год — милости просим. Раки и девки никуда не денутся, этого добра у нас навалом. А пиво — вот тебе на дорожку пара тарочек. Не выдуете до столицы нашей родины, так, может, и министра угостишь. В следующий раз бери его с собой. Третьим будет. Мягкой посадки, привет супруге.

Стоп. Про что это я? А-а-а! Вспомнил. Всё аэродромное начальство у деда в дружках, значит. Неразлейвода! Без него — никуда. Все проверки — на отлично. У командира части, у начальника штаба и даже у секретаря-машинистки все груди в орденах и медалях. Вот дед иной раз пройдёт в кабинет к начальнику мимо адъютантов и интендантов: так и так, в город надо, разрешите взять на время самолёт. Начальство, конечно, мнётся: вот вертолёт МИ-8 — и скатертью дорога, а боевую машину вам не полагается по штату.

У деда, конечно, своя гордость:

— На вашем МИ-8 я двое суток буду туда-сюда трыкать. А вот через месяц у вас внеплановая проверка. Я же давно мечтаю в санатории «Лесная сказка» отдохнуть. Там, говорят, радоновые ванны. Путёвка — не проблема. Как раз перед проверкой и отправлюсь. Так что джипов не присылайте, баню на озере сегодня же раскатаю, а с раками и девками вам без меня не управиться. Адью!

Начальство тут же:

— Василий Полуэктович, вы не так поняли... Присядьте, пожалуйста, вот вам моё кресло. Не желаете ли нарзану или чего покрепче выпить? Вот шоколад, у лётчиков его куры не клюют. С вами уж и пошутить нельзя. Нам до пенсии всего полтора года осталось. Истребители СУ-37 у нас все на учёте, так что не соизволите ли взять СУ-69, сверхсекретная кон-

струкция, опытный экземпляр, ни по каким бумагам не числится, и вообще — самолёт-невидимка. Ежели разобьётесь, то никто обломков не найдёт и отчётность чистая.

Дед ломаться не привык. Тотчас на лётное поле. В кабину забрался. Ремни пристегнул. От винта! И сразу включает форсаж. В воздух поднялся, круг над аэродромом сделал, крылом покачал и на курс ложится. Долго ли, коротко ли — подлетает к городу. Самолёт — невидимка. С парковкой проблем нет. Посадил его, где вздумалось. Дела свои в городе справил — и обратно. Начальство на обед не успело сходить, он уж тут как тут.

— Разрешите доложить: полёт прошёл успешно, потерь нет.

Однажды я с ним увязался: покатай да покатай. Взял он меня, а я уж потом и сам был не рад. В воздухе ведёт себя, как малое дитя: то ему бочку приспичит сделать, то штопор, то кобру, то русского витязя. В своём трудном детстве, видать, не наигрался. Увидит пассажирский Боинг в полёте — и давай на него ракету «воздух — воздух» наводить. Свои ИЛ-ы и ЯК-и уважал. А Боингов терпеть не мог, мессершмитами их обзывал. Или высунется из кабины и ну вниз плевать. Я уж морали ему читал-читал. Мыслимо ли в воздушном пространстве такие фортели откалывать? Да ещё на сверхзвуковой скорости! Мало ли что... Он и повинится:

— Понимаешь, Ваня, я в полёте сам не свой становлюсь, словно бес меня подначивает: сделай то да сделай это. Я тебя теперь всегда с собой буду брать.

А вот дудки, старый, не хочешь!? Больно надо! У тебя своя головушка полушка, да у меня шейка копейка. Не буду я с тобой летать-позориться.

Ну, про самолёты это я так, к слову пришлось. А то ещё такое бывало. Придёт время кому в деревне помирать — и не может. Мается, болезный, слёзно Бога просит — ничего не получается. Веда да и только. Тут сразу к деду:

— Помогай, Полуэктович! Тебе знатьё дано.

Дед в такие дела мешаться не любил. Но что поделаешь: свой, деревенский в последний путь собрался. Приходит. Помирающий ему:

— Садись Василий, закуривай. А вы все прочие — освободите помещение, нечего тут прохлаждаться, моя смерть вам не театр. Вишь, Вась, незадача какая. Помереть не пособишь ли? Я уж не обижу, родственникам накажу, чтоб они тебе того-другого после похорон... А?

Дед раскислить себя не давал. Ну и что, что односельчанин? Много их, жалобщиков! А перед Богом все едины... У него с этим строго было.

— Ты меня купить не пытайся. Не тот случай. Видали мы таких! А вот лучше как на духу скажи: чёрной магией при земной жизни занимался?

— Ась? Это что такое? Ты про что?

— Дурачком не прикидывайся. Телевизор смотришь. Битву экстрасенсов видел? На последней черте, грешная душа, стоишь! Сознавайся. Ворожить-колдовать, порчу наводить не приходилось ли? Куриную ногу с изоляционной лентой в огород Алёне Пенюгаловой в ночь на чёрный вторник кидал?

— Дак Василий Полуэктович! Ты эту Алёну сам знаешь, чтоб ей ни дна ни покрышки. Она за мной круглые сутки следила и моей бабе про каждый мой шаг доносила. Из-за неё я семейного счастья недополучил, только одни стрессы. А куриная нога что!? Ну, обернулась у неё кошка трехколёсным велосипедом. Ну, тянуло дым из печи не в трубу, а в подпол. Ну, шёл у неё по субботам снег в избе. Так ведь это всё так, мелочёвка одна. А велосипед она продала — к пенсии ей прибавка...

— Как сказать — мелочёвка. Алёна тёмная старушка. К тому ж, одинокая. Ты её в девичестве крепко обидел, а она к тебе и по сей день неровно дышит. Не плюй, как говорится, в колодец. По Сеньке и шапка. Ну, да что с тебя взять! На сей раз, уж так и быть, помогу.

Тут же дед призывает родственников и нетерпеливых наследников:

— Извольте разобрать крышу.

— Как так? Где гарантии? Нет ли тут обмана?

— Делайте, как сказано. Иначе всю оставшуюся жизнь будете с тяжелолежащим дело иметь и на медицинских услугах дотла разоритесь.

Крышу разбирают. Заказчик новопредставляется. Три дня всем селом поминки справляют. Наследники на членовредительство один другому покушаются. Алёна Пенюгалова даёт обет безбрачия и на могилу цветочки носит. Деду почёт и слава. Глава поселения его грамотой награждает.

Или взять, к примеру, те же грибы. Мне тогда лет десять было. Или одиннадцать? Лето выдалось засушливое. Дождя — ни капли. Грибов — ни одного. Поганки, мухоморы, свинушки, чаги — и те не растут. Дело к осени, а грибная мечта всё тает и тает. Цены на нефть резко пошли вверх, бен-

зин дорожает, продовольственная корзина тоже. Участились случаи беспричинных нападений на исправных налогоплательщиков в городах. Грибники в чёрной меланхолии. А что такое грибник? 9/10 населения страны. Ни в какое сравнение с рыбаком и охотником. Бывало, как только выходной, так набитые битком пригородные поезда и автобусы ещё затемно развозят народ по опушкам-перелескам. Тут тебе и старые, и малые, и во всём соку, и увечные, и с собаками, и с тёщами, и без. А отпускники прямо в лесу и ночуют. Палатку поставят, кострище наладят, и ну сушить всё, что за день успеют набирать. Сушину эту мешками в город таскают — для себя и для будущих поколений про запас. Пьяницам опять же лафа: с утра по посадке возле ж/д побродил, сел у гастронома, 3 гриба — 100 р. Пей — не хочу, хоть залейся. Организму релаксация, государству доход. Нашим деревенским тоже хорошо перепадало. Не жаловались. А тут — беда да и только. Грибчиков нет как нет. Плач стоит по русской земле!

Вот как-то ввечеру дед мне и говорит:

— Завтра, Ванюшка, по грибы пойдём. Так что ложись пораньше, чтоб выспаться.

Я ему ничего не сказал, а про себя подумал: «Никак совсем из ума выжил дедко. Природу не переупрямишь. Это тебе не на истребителе за кефиром летать».

Приходит утро, начинает светать, дед мне:

— Собирайся,— и одеяло с меня тащит. А на лавке уже два берестяных пестеря приготовлены, от нетерпения елозят, лесных трофеев дожидаются.

«Ладно,— думаю — пусть будет по-твоему. Но уж когда ни с чем вернёмся, тут уж я вволю посмеюсь, всё начистоту выскажу».

Поднялся я, в лопухи сходил, всё чин чинарём, виду не показываю. Всё как дед учил: везде и всегда вести себя одинаково — хоть на людях, хоть когда тебя никто не видит. Хоть на торжественном собрании, хоть в лопухах. Своё достоинство блюди.

Съели мы по горбушке, молоком запили — и вперёд, заре навстречу. Идём по деревне, а старухи со своих лежанок соскочили, из окошек повысовывались, рты щербатые поразевали, пальцами в нас тычут. Собаки — так те в открытую смеются: вот малахольные, грибчиков им, видите ли, захотелось!

Дед шагает как ни в чем не бывало. Я тоже виду не подаю, но про себя, понятно, злюсь. Соображаю, чем бы деда уесть, когда вернёмся.

Вышли за околицу, только по лавам через речушку перебрались, дед мне:

— Ну-ка, Ванюшка, глянь, не 525-й ли БМВ там за фермой стоит?

«Вот, думаю, старый, чего надо и чего не надо углядит».

Смотрю по направлению к ферме. Видать-то плохо. Ещё не рассвело как след. Туманец лёгкий такой. Да и далековато. Метров этак 856,5. Но замечаю: точно, в кустах БМВ-525, цвет «баклажан», такого-то года выпуска, пробег 150 000 км, за рулем двое, один в багажнике; вооружение — три АК-47 с лазерным прицелом, один с подствольным гранатомётом. Ясно, ребята серьёзные. Но нам-то что с того? Наше дело сторона. Мы по грибы собрались и ничего вокруг не замечаем.

Но дед что-то темнит.

— Ванюшка,— говорит он мне,— у тебя глазёнки молодые, острые. Не разглядишь ли номер. Мне что-то маленько мстит.

— 61 Z 34 77 говорю, а на другом...

— Да не на автоматах, на машине.

— На машине не разобрать, но вроде бы «В-339-РТ».

— Ага,— говорит дед,— только не 339, а 389. Запомни. Авось скоро пригодится. Ну, пошли, нам недосуг иномарками интересоваться.

«Вот, думаю себе, никак в историю влипли. Хоть бы сказал, чего ожидать, я бы на гумно за пулемётом сбегал. У нас же с собой только ножики. Едрит твою, калина красная».

Голову не поворачиваю, но краем глаза вижу: выползла машина из кустов и к лесу прямо по полю шпарит. А мы уже в сосняке. Мне не до грибов, всё прислушиваюсь. Деду хоть бы что, бежит и бежит в самую глушь. Ноги — как у лося, даром, что за 80 перевалило. Минут 40 так бежали.

Дед говорит:

— Ну, хватит, давай грибы собирать.

Я чуть не заплакал: «Он что, смеётся? Никаких грибов на тысячу верст кругом нет и быть не может. Тут смертоубийством пахнет, и надо в какую-нибудь щель зашиться и ветошкой прикинуться».

А дед как ни в чем ни бывало становится на колени, выламывает пузатый боровичок, обчищает маленько ему ножиком ножку, кладет в пестерёк и поворачивается ко мне:

— Ты, Ваня, чего стоишь? Под ноги себе глянь!

Я глянул — мать честная! Грибов-то, грибов, и все такие крепенькие, справные. Ну, я и давай их брать. Про всё другое

тут же позабыл. За каких-то полчаса — пестерь полный, даже с верхом.

«Пора передохнуть,— думаю.— Прилягу под ёлку ненадолго. Может, вздремну».

— Дед,— говорю.

Нет ответа.

— Д-е-е-д,— зову погромче.

Ни звука.

Я встревожился. Только хотел повернуться, как страшный удар сбил меня с ног и в голове помутилось... Лежу это я себе без сознания и думаю...

Господа хорошие! Никак это мой мобильник верещит! Точно! Да, Лизавета, да! Так я уже иду... Точно, иду. Максиму тут помогал дровишки перекидать... В магазин зайду. Он до десяти работает... Так, хлеба... И белого тоже? Соль «Экстра». Понял. Грибов сушёных? Ну что ж, грибов так грибов. Отбой. Привет честной компании, продолжение — следует...

ВИТАЛИК

Артемов обернулся и посмотрел на круглый циферблат часов, висевших над входом в здание станции метро «Водный стадион». Мероприятие было намечено на шесть, значит, он опаздывал уже на полчаса. Мысленно отмерив расстояние, Артемов прикинул, что до хрущёвки на Пулковской 4 добежит минут за пять. Взяв сходу довольно быстрый темп, он начал обгонять прохожих.

На перекрёстке с Авангардной он увидел далеко впереди девушку в жёлтом платье с красной сумочкой через плечо. Девушка как-то неловко семенила, на ходу разговаривая по мобильному телефону. Было видно, что она спешит, но туфли на шпильках ей мешают. «Первую некосмическую включила,— усмехнулся про себя Артемов.— Где-то я этого цыпленочка вроде уже видел». Догнав девушку, Артемов перешёл с галопа на рысь и пристроился позади неё. Приглядевшись, он понял, что ошибся. Фигура девушки действительно кого-то напоминала, но плечи были не те. Плечи для такой спины были узковаты. «Воробьиные»,— тут же подобрал им определение Артемов. Не то, чтобы они всё портили, просто женщины с такими плечами Артемьева мало интересовали. Не производили благоприятного впечатления и реплики, которые бросала девушка невидимому собеседнику в телефон: «Да ты чо? А она чо? Иды ты!»

«Ладно,— подумал он.— Может, вид спереди улучшит обшую картину».

Какое-то время Артемов держался на небольшой дистанции чуть слева и сзади, рассматривая шею девушки. Затем, поравнявшись с ней, скосил глаза на грудь. Грудь была средних размеров — ни маленькая, ни большая. И по форме не то чтобы очень, но вполне. Нормальная грудь.

«Спасибо, Анжелочка... И я тебя... И я тебе... И я для тебя...» Артемов перевел взгляд на лицо девушки: огромные и ничего не выражающие глаза, а носик и ротик маленькие. Вылитый пекинес соседки тёти Иры. Всё понятно... Лицо

женщины, пусть даже и не самое симпатичное, должно иметь осмысленное выражение. Впрочем, под пиво да в хорошей компании и такое, как у этой, сгодилося бы...

Подъезд встретил Артемьева запахом застоявшейся мочи, облупленными стенами, крошечной темнотой в углах и полумраком на лестничных площадках, несмотря на раннее ещё время суток. Привычка не обращать внимания на антураж советско-российских подъездов сработала безотказно: Артемьев полностью сконцентрировался на предстоящей встрече и не заметил, как на площадке между третьим и четвертым этажом проскочил мимо неясного в полумраке силуэта.

— Куда спешишь, котик? — насмешливо спросил тихий женский голос.

— Н-а-а-стенка! Кого я вижу, то есть слышу, — слащаво протянул Артемьев, поворачиваясь на голос и спускаясь на несколько ступенек вниз. На него пристально смотрел огонёк сигареты. Артемьев наугад протянул руку туда, где по его расчётам должна была находиться кисть Анастасии, поймал ледяные пальцы, картинно встал на одно колено и прижал их к губам. Пальцы пахивали какой-то рыбой.

— Чего так разогналса-то? По нашим сильно соскучился, что ли? Подождут. Ну, дружочек, рассказывай, как живёшь, как здоровье.

Когда глаза привыкли к полумраку, Артемьев увидел, что за год Анастасия изменилась мало: те же резко очерченные скулы, тот же большой чувственный рот, тот же жёсткий насмешливый взгляд. Только стержовности стало больше, впрочем, как и очарования. «Вот что творит с женщиной современный мегаполис: если не убивает, то делает её сильнее», — подумал Артемьев.

— А у нас все здоровы, быки и коровы, столбы и заборы.

— Да вижу уже. Скачешь, как лось.

— Настенька, лоси не скачут, скачут кенгуру. У меня всё по-старому. Работаю, отдыхаю, прожигаю жизнь, копчу небо... ну, и так далее...

— Всё в своей «Вечёрке»?

— Угу-у-у-у.

— То ли в апреле, то ли в мае читала твою статью в защиту какого-то олигарха, которого на восемь лет посадили. А ты сегодня даже и не в смокинге... Что, кинул тебя олигарх, не заплатил?

— Солнышко, журналистская этика — очень сложная категория, тебе о ней знать не обязательно. Что это мы всё обо

мне? Как твоё здоровьице? Сердечко не шалит? Здесь возле дома стоит гламурно-красный «Ниссан»? Не твоя игрушечка?

— Нет. Я на БМВ езжу.

— На ч-ё-ё-ё-м? Ты чего, на «Бумере» по Москве рассекаешь?

Артемов сделал вид, что только из приличия не показывается со смеху. Анастасия нервно передёрнула плечами и глубоко затаилась.

— А что?

В её голосе прозвучали нотки раздражения.

— Да нет, ничего, всё нормально. Просто этакая игрушка немного для мальчиков. Для пацанов, точнее. Из лихих девяностых. Фильм «Бумер» смотрела? Тоже по понятиям живешь?

— Бесишь ты меня своим ломанием!

— ...Или песня ещё есть такая «Чёрный бумер, чёрный бумер девкам очень нравится». Он ведь у тебя чёрный?

— Заткнись! — взвизгнула Анастасия и, выбросив в лестничный пролёт окурочек, тут же достала новую сигарету.

— Да ладно, не злись. Я же шучу, — сказал Артемьев примирительно. — Нормальная тачка. У меня и такой нет.

— Ещё бы... — прошипела Анастасия.

Они поднялись на один пролёт и остановились у грязного окошка. Стало немного светлее. Артемьев с интересом разглядывал Анастасию.

— Насть, какие у тебя красивые глаза... Они прямо изумрудные. Таких зелёных ни у кого никогда не видел. Они, по моему, ещё зеленее за год стали.

— Это цветные линзы.

— Понял. Тогда про грудь не спрашиваю...

Анастасия явно всё ещё злилась и на контакт идти не хотела. Пятна на штукатурке за её спиной напоминали то ли рентгеновский снимок, то ли какой-то причудливый, ещё не открытый материк.

Артемов решил схитрить. Несколько секунд он с наигранным вожделением наблюдал, как огненная каёмка съедает тонкую сигарету. Анастасия подозрительно посмотрела на него.

— Ты чего, курить хочешь, что ли?

— Ага, хочу. Только сигареты закончились. Не угостишь?

Анастасия удивлённо шевельнула бровью и протянула Артемьеву пачку.

— Спасибо. — Артемьев чиркнул зажигалкой, пустил вверх струю дыма. У сигарет был слабый древесный запах.

— И давно ты куришь?

— Полгода, наверное.

— Н-да, невероятное рядом. Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт.

— Я того же мнения, Настенька.

Опять повисла пауза. Анастасия тяжело вздохнула.

— У меня эта бэха после Нодара осталась.

— В смысле?

— Я говорю, БМВ эта — от Нодара. Продать её хочу.

— А что, ты развелась с Нодаром?

— Месяц назад разъехались. Я теперь с Усалоевым живу.

В Нахабино.

— Это с тем, у которого заправки?

— С тем.

— Поздравляю.

— Не с чем. Хрен редьки не слаще.

— А что так? Денег мало даёт?

Анастасия скривила губы, выпуская дым из уголка рта.

— Понимаешь, у меня есть мечта. Хочу свое дело открыть. Неважно какое: ресторан, модельное агентство, автосалон. Главное, чтобы моё было. Пять лет назад думала, что с богатым мужем жить хорошо: деньги всегда есть. А сейчас чувствую: мало, чтобы деньги были. Надо, чтобы они были моими. Чтобы эти гориллы не лапали меня, как свою игрушку. Наоборот хочу. Хочу давать деньги, а не брать. Понимаешь? Чтобы мне мальчик в рот смотрел и ловил мою волну.

— Ну, можешь считать, что такого мальчика ты уже нашла...

Анастасия, казалось, не услышала слов Артемьева. Она, прищурясь, смотрела куда-то вбок.

— Так вот, Усалоева хочу использовать как трамплин. Хочу, чтобы он дело помог организовать. Пока, правда, не очень получается. Но Нодар в этом плане был вообще непробиваемым.

Она замолчала. Артемьев посчитал неуместным комментировать эту тираду.

— Ясно,— сказал он.— Что, наши все собрались?

Анастасия кивнула.

— Как мать?

— Вроде держится. Хотя до конца так и не отошла. Сейчас сам всё увидишь.

— Да, пойдём уже в квартиру.

— Подожди, ты же не докурил,— Анастасия снова подняла бровь.

— Да мне твои сигареты — как зубочистки: ни вкуса, ни удовольствия. Такие десятками зараз могу курить.

Артемьев погасил о стену наполовину выкуренную сигарету и щелчком отправил её этажом ниже.

— Зажуй,— Анастасия протянула ему упаковку жвачки, взяв сначала две подушечки для себя.— Представь, что там начнется, если унюхают...

— Это точно. Васген будет рвать и метать.

В тесной прихожей двухкомнатной квартирки было очень жарко. Из глубины доносились приглушённые женские голоса. Анастасия, не разуваясь, юркнула на кухню, а Артемьев остановился у старого трельяжа в тёмной лакированной раме из настоящего дерева. Из помутневших от времени зеркал на него вопросительно смотрело лицо героя-любовника какого-нибудь захолустного ТЮЗа: небритое, немного слащавое, немного усталое, но в общем довольное собой. В фас Артемьев нравился себе больше, чем в профиль, и на то были причины: на носу горбинка, вспоминать о происхождении которой ему не хотелось — издержки журналистской профессии. Но это, считай, мелочь. Главное, что цвет лица здоровый, и никаких мешков под глазами.

Раздумывая, куда сначала податься: в комнату здороваться с хозяйкой и гостями или на кухню вслед за Анастасией, Артемьев отметил про себя, что лак, которым была покрыта роскошная рама зеркала, местами облупился. За дверями кухни слышалось размеренное гудение. Видимо, там царил Валентиныч.

— О! Какие люди к нам пожаловали! — пробасил Валентиныч, когда Артемьев зашёл на кухню. Казалось, что Валентиныч занимал здесь всё пространство. Перед этим огромным уральским мужиком кухонный стол, табуретки, шкафы, газовая плита, раковина и даже банки с вареньем на подоконнике, наверное, чувствовали себя столь незначительными, что уменьшались в размерах. Вжавшаяся в угол Анастасия вообще была мало заметна рядом с медвежьим телом этого здоровяка.

Валентиныч деревянной лопаточкой помешивал какое-то булькающее варево грязно-белого цвета, от которого, тем не менее, шёл возбуждающий аппетит запах чеснока и ещё какой-то травы. Не отрываясь от дела, Валентиныч левой рукой, как ковшом экскаватора, подцепил Артемьева и прижал к своей горячей мокрой футболке. «А Валентиныч-то уже причастился, невзирая на...», — подумал Артемьев.

— Ну что, доходяга, как здоровье, как печень?

— Не дожدهшься, Валентиныч, чтоб я тебя обрадовал. Чего ты тут такое варишь?

— А-а. Это белый уральский соус. Я тут, блин, друга одного привёз с собой из Екатеринбурга. Вон, на столе в комнате отдыхает...

Валентиныч залился каким-то диким, первобытным смехом. Казалось, что стены квартиры от его гогота сложаются, как картонный домик.

— Вот и решил соус к нему настоящий сделать. Ну вот. Остался последний штрих. Настенька, подай-ка мне майонез.

— Майонез в уральский соус? Да, глобализация захватила и Урал,— съёрничала Анастасия.

— Ничего странного.— Валентиныч взял протянутую Анастасией банку майонеза, зачерпнул столовую ложку и плюхнул в соус.

— Знаете ли вы, ребята, что всё человечество делится на людей, которые едят картошку с майонезом, и на людей, которые ту же самую картошку тоже едят, но с томатным соусом. Не знаю, как вы, а вот я к первой группе отношусь. Майонез — великая вещь. Если бы её не придумали французы, то обязательно придумали бы русские.

Он снова начал мешать соус в алюминиевой кастрюльке.

— С майонезом можно есть всё: мясо, яйца, особенно рыбу хорошо. Треска, запечённая в майонезе с чесноком — офигенное блюдо. Ничего лучшего в жизни не ел. Впрочем нет, ел... Однажды поросенка с хреном и со сметаной ел. Это ещё лучше. Слышь, Лёха, круче секса! — заржал Валентиныч, поворачиваясь к Артемьеву.— А майонез даже просто с чёрным хлебом хорошо.

Артемьев пристально смотрел на висевший напротив него православный календарь. «До отпуска месяц. Господи, как бы время-то убить на этой проклятой работе!» Валентиныч вдруг прекратил мешать соус и тоже посмотрел на этот календарь.

— Вот когда я под Сыктывкаром на зоне служил, был у меня такой случай. Надо было нам с напарником одного зэка в психбольницу отконвоировать в райцентр. Ну, повели мы его. Проходим мимо деревни какой-то. А он, блин, давай стонать. «Пацаны, говорит, уважьте. Вы пока тут посидите, отдохните, а я бы в сельпо сбежал, беленькой бы купил». Ну, напарник мой гавкнул на него — парень-то молодой, неопытный. А я-то уже к тому времени восемь лет зону топтал. Говорю ему: «Не нервничай, водка никогда не помешает». Зэк

этот последний год досиживал. Он себе не враг ещё пять лет за побег сидеть в случае чего. Короче, я его отпустил. У него откуда-то даже деньги свои были. Через полчаса возвращается из деревни к нам в лесок с пузырьём, хлебом и майонезом. Пузырь отдаёт нам и говорит: «Я, ребята, пить вообще не буду. Я похаваю чуток». Открывает эту пластиковую баночку майонеза, отрывает ломоть от буханки, макает и жрёт. И так быстро... И видно, что хлеб для него так, фигня, а вот майонез — как герыч для наркомана. И всю буханку оприходовал минуты в три, а баночку эту жёлтенькую вылизал и себе за пазуху убрал. Мы с напарником чуть не умерли со смеху. Во как бывает,— заключил Валентиныч, подняв вверх палец гигантской, густо поросшей светлыми волосами руки.

Дверь, ведущая в прихожую, отворилась, и в кухню вошла Зоя Витальевна. Казалось, с прошлого сентября она стала ещё строже и старше. Волосы, забранные на затылке в пучок, из-за обилия седины выглядели пепельными. С левой стороны лица от губ к подбородку пролегла глубокая морщина, отчего лицо стало казаться несимметричным. Голова её была поднята неестественно высоко, поэтому создавалось впечатление, что она смотрит поверх собеседников. Ослепительно-белая блузка и чёрная юбка сообщали ещё большую строгость её фигуре. «А ведь ей всего чуть за пятьдесят,— подумал Артемьев.— Сдала мать...» Зоя Витальевна обняла Артемьева.

— Здравствуй, Лёшенька,— они три раза поцеловались.— Как ты, мой родной, как твоё здоровье?

— Слава богу, Зоя Витальевна, всё хорошо. Вы-то как, наша спасительница?

— Ничего, держусь помаленьку. Всё о вас думаю, о родных моих. Молюсь каждый день, чтобы вы только подольше прожили.

В кухне наступило молчание. Валентиныч усердно тёр сыр, Анастасия мучила мобильный телефон эсэмэсками.

— Пойдемте все в комнату,— тихо проговорила Зоя Витальевна, пристально посмотрев в глаза Артемьеву, после чего гостю стало немного не по себе.— Мы вас уже заждались. Настенька, ну, что вы стоите? Валентиныч, хватит хлопотать, пойдём посидим.

Первое, на что падал взгляд любого входившего в комнату,— большая фотография Виталика на стене, которую Анастасия с Валентинычем подарили в прошлом году Зое Витальевне. С фотографии смотрел улыбающийся мальчик лет

пятнадцати-шестнадцати с довольно правильными чертами лица, веснушками, голубыми глазами и коротко подстриженными тёмно-русыми волосами. Над левой бровью у него было небольшое чёрное пятнышко: то ли родинка, то ли грязь на снимке или на стекле рамки. Артемьев знал, что эта фотография была сделана после того, как Виталик окончил девятый класс. Как и год назад, Артемьев поймал себя на мысли, что Виталик совершенно не похож на мать.

Глаза мальчика были немного опущены вниз. Казалось, он смотрел на большой прямоугольный стол возле дивана, где помещались все знакомые Артемьеву лица. На диване перед глубокой тарелкой с салатом «Оливье» сидели дебелая Тоня в какой-то вульгарной кофточке, с пластмассовыми бусами на шее, и белобрысый Кеша в светлой рубашке с расстегнутой верхней пуговицей. Напротив них, с другой стороны стола, в кресле восседал черноусый Васген Карапетович. Все трое о чём-то тихо переговаривались. На появление Артемьева отреагировали сдержанно.

Центр стола занимал огромный копчёный осётр. «Валентиныч постарался», — подумал Артемьев. Видимо, под рыбину не нашлось подходящей посуды, поэтому осётр разлёгся на трех больших тарелках, как спящий дядя Стёпа на табуретках. У осетра была удивлённая морда, видимо, оттого, что ему зачем-то засунули в пасть яблоко. Анастасия села на диван рядом с Тоней, Артемьеву досталось место с торца стола напротив Зои Витальевны. Пока они рассаживались, Васген Карапетович пристально смотрел на осетра с видом восточного мудреца.

— Ну вот, наконец-то все в сборе, — изрёк он. Мгновенно в комнате наступила полная тишина. — Что же, можно отметить нашу встречу. Судя по самочувствию собравшихся, всем можно по сто пятьдесят красного вина, кроме Кешы. Он ещё несовершеннолетний, попьёт сок.

— Васген Карапетыч, может, ну его, это вино, — прогремел Валентиныч. — Там в холодильнике беленькая есть. Мы бы буквально по 50 грамм...

Артемьев накладывал себе в тарелку «Оливье», поглядывая исподлобья на осетра. Потянувшись за хлебом, он увидел на ровном прямоугольном его кусочке маленький светло-серый овал. Это была плесень. Артемьев незаметно убрал руку от блюда и сделал вид, что потянулся за тонко нарезанным слезящимся сыром.

— Никакой водки, Валентиныч, только вино и только красное. С вашим диагнозом крепкое спиртное вообще на всю

жизнь запрещено. А красное можно раз в неделю по стаканчику. Печень и почки очень чутко реагируют на повышение уровня алкоголя в крови. Две стопки водки — и считайте, что печень получает серьезную травму.

— Слова врача — закон, — пробасил Валентиныч, ни капельки не расстроившись. Он взял штопор и уверенными движениями начал вгонять его в пробку стоявшей на столе «Хванчкары». Справившись с задачей в считанные секунды, он разлил вино по фужерам. Кеша с равнодушным выражением лица налил себе в стакан гранатовый сок.

Васген Карапетович, улыбаясь, пристально посмотрел на хозяйку.

— Зоя Витальевна, — торжественно произнес он. — Прошу вас, скажите нам несколько слов в качестве тоста.

Зоя Витальевна хотела подняться, но Тоня движением обеих рук попросила её говорить не вставая. Все напряжённо молчали, потому что знали, что услышат сейчас. Зоя Витальевна взяла фужер с вином и начала говорить. Голос её заметно подрагивал.

— Дорогие мои детки! Родные мои! Не дай вам Бог пережить собственного ребёнка. Не дай вам Бог видеть, как ваш мальчик или ваша девочка лежит в коме, подключённая к аппарату искусственного дыхания. Не дай вам Бог слышать слова врача о том, что ваш ребёнок уже больше никогда не встанет с постели, а если даже и придёт в себя, никогда не будет полноценным. Когда с Виталиком случилось это несчастье, мне кажется, я вспомнила каждую минуту, проведённую с ним. Как его принёс из роддома мой покойный муж. Он подарил мне в этот день огромную охапку белых роз. Когда мы в первый раз развернули одеяльце с синим бантиком, он спал. Мы не думали над именем. Мы назвали его Виталиком в честь моего отца, который погиб в войну под Москвой. Мы любили купать нашего мальчика, день его рождения был для нас всегда самым радостным праздником. В ночь перед тем, как первый раз пойти в школу, он так готовился и волновался, что у него поднялась температура. Но утром он настоял, чтобы мы с отцом отвели его на линейку. Сейчас я живу только этими воспоминаниями. Сегодня моему сыну исполнилось бы девятнадцать лет. И я рада, что он сейчас среди нас. Он в каждом из нас. В каждом из нас есть его частица. Я хочу выпить за Виталика...

Все встали с мест. Возникла заминка: Тоня вопросительно смотрела на Валентиныча, а тот на Артемьева.

— Чокаемся! — решительно заявила Анастасия, и все облегчённо вздохнули, звякая фужером о фужер.

Зоя Витальевна тихонько всхлипывала.

— Кисловато вино-то, — резким бабьим голосом проговорила Тоня.

— Тьфу ты! — разочарованно гаркнул Валентиныч. — Опять эти сволочи из винного магазина развели меня, как лоха. Это у них, блин, настоящее грузинское вино называется. Моча ослиная! Полторы штуки отдал за две бутылки...

— Валентиныч, ты ящик-то смотришь вообще? — Анастасия пригубила из фужера и поморщилась. — У нас с Грузией война почти что. Санэпиднадзор ещё месяц назад запретил продажу грузинского вина. Так что все эти «Саперави» и «Киндзмараули» уже давно вне закона.

— Вот и отлично, — мягко прожурчал Васген Карапетович. — Главное, чтобы армянский коньяк не запретили.

Валентиныч опять заржал:

— Отлично! Вместо вина и коньяка пейте гранатовый сок. Он полезнее. Присоединяйтесь к Кеше.

Анастасия отодвинула фужер с вином и налила в стакан сок. Сидевшая рядом Тоня ухмыльнулась:

— А нам ничего, мы и такое выпьем. Да, Валентиныч?

— Не пропадать же добру, — пробубнил он в ответ, набивая рот свекольным салатом.

Анастасия откинулась на спинку дивана и вопросительно посмотрела через Тонино плечо.

— Кстати, а что это у нас Иннокентий молчит? Кеш, давай рассказывай о своей жизни молодой. Как твоё здоровье?

— Не здоровье не жалуюсь, — ответил Кеша.

— Да это вообще феномен, — вклинился в разговор Васген Карапетович. — Организм выдержал операцию лучше всех, а орган вообще растёт вместе с Кешей.

— А учёба как? Куда после школы поступать будешь? — спросила Зоя Витальевна.

— Учусь на четыре и пять. Ну, четвёрки пока только по химии и по физике. Математику стараюсь вытягивать на «пять». Но вообще-то с точными науками у меня не очень — я гуманитарий.

Кеша поднял глаза на сидящую рядом Зою Витальевну. Та с ласковой улыбкой смотрела на него.

— А насчёт куда поступать, я ещё до конца не определился. Ну, есть кое-какие варианты...

— А девочка у тебя есть? — вдруг неожиданно для самого себя спросил Артемьев.

— Ну как...— у Кеши покраснели мочки ушей, покрытые нежным пухом.— Есть, конечно, эта... подруга... А вообще меня это мало интересует,— вдруг резко выпалил парень.— Я после школы в монастырь хочу уйти.

На другом конце стола звякнула посуда. Валентиныч замер, открыв рот. Васген Карапетович с удивлённой улыбкой посмотрел на Кешу.

— Во даёт! — по-девчачьи хихикнула Анастасия.

— Это как? — прошептала Зоя Витальевна.

Кеша, опустив голову, рассматривал цветок, изображённый на тарелке.

— Буду послушником какое-то время. В монастыре хорошо: тихо, уютно. Я видел, когда нас на экскурсию водили. В мире много греха, а монахи там свою душу спасают и за других людей молятся. Я вот тоже там годик поживу, а потом буду пытаться в Свято-Тихоновскую духовную академию поступать. Только после неё можно стать митрополитом или епископом.

— Это правильно,— подала вдруг голос Тоня.— И от армии заодно откосишь. Монахов в армию сейчас не берут. А если берут, то служат они в каких-то частях специальных: на Валааме там, на Соловках... Всё хоть не так сапоги топтать, да и дедовщины нету. Какие у монахов деды!

— Там дедов нету, там старцы,— хохотнул повеселевший Артемьев.

Тоня злобно зыркнула на него.

— Вот у меня Олега тоже забирают, повестки всё райвоенкомат шлёт. Парню ещё и восемнадцати нет, а они уж его на учёт хотят поставить, в техникуме доучиться не дадут. Я пока больная была, так всё ревела, думала: уйдёт мальчишка в армию, а его там калекой сделают. А и не сделают, так два года жизни потеряет. А после операции почка у меня заработала, чувствую, такие жизненные силы появились — горы могу свернуть. Сейчас занялась я этой проблемой, как говорится, вплотную. Всё сделаю, лишь бы сыночек мой единственный туда не попал.

— И как, Тоня? Получается? — тихо спросила Зоя Витальевна, глядя куда-то поверх её головы.

— Слава богу, сглазить только боюсь,— вновь зачастила Тоня.— Уж сколько я по военкоматам в этом году выходила, со сколькими врачами поговорила... Ну чего Бога гневить, рада, добилась своего: знающие люди подсказали, к кому обратиться да сколько дать. В следующем году с мужем подна-

тужимся, подзаработаем, глядишь — останется с нами парняга наш.

— Пойде-ё-ё-т! — взревел Валентиныч. — В армии из него настоящего мужика с яйцами сделают.

Он опять начал сотрясать своим гоготом стены квартиры.

— Типун тебе на язык, болван, будь ты неладен, — зашипела на него Тоня.

Васген Карапетович мудро улыбнулся.

— Ладно вам ссориться. Как судьба выведет, так и будет. Тоню тоже понять можно: сейчас армия совсем не та, в которой мы служили... Алексей, давай, с тебя тост как с опоздавшего.

Валентиныч всем, кроме Кеши и Анастасии, подлил в фужеры красную кислятину. Артемьев встал и, бросив взгляд на улыбающегося с фотографии Виталика, тихо и торжественно заговорил.

— Дорогая Зоя Витальевна! Все мы собрались здесь, живые, здоровые, только благодаря вам. То решение, которое вы приняли полтора года назад, спасло жизнь нам всем. Я не могу высказать словами то, что мы чувствуем по отношению к вам. Поскольку, чтобы высказать это, нужно ещё раз вспомнить, что было до операции. До операции у каждого из нас была не жизнь, а существование. Врагу не пожелаю узнать, что бывает, когда у человека отказывает печень. Мы с Валентинычем знаем это очень хорошо. Знаем, что такое хроническая желтуха, что значит жить на таблетках. Тоня и Кеша могут рассказать, что значит жить на гемодиализе, никуда не выезжать из города, или наоборот, два раза в неделю приезжать из райцентра в областную больницу. Когда отказывает почка, человеку нельзя пить в день больше двух стаканов воды, иначе начнётся отравление организма. Это мучение для цветущей женщины или пятнадцатилетнего подростка. И, конечно, мучение, когда Настя, двадцатидвухлетняя девушка, не может подняться на второй этаж из-за того, что её сердце работает на десять процентов от своих возможностей. Сейчас мы живём так, как не жили никогда — как нормальные, здоровые люди. Вы стали для всех нас матерью. А отцом стал Васген Карапетович. Его руки, руки гениального хирурга, воскресили всех нас. Поэтому я хочу поднять бокалы за наших родителей — Зою Витальевну и Васгена Карапетовича.

Зоя Витальевна задумчиво посмотрела на Васгена Карапетовича и медленно, как во сне, поднесла свой бокал к его бокалу. Затем чокнулись все остальные.

— Ну-с, попробуем! — Валентиныч взял нож и большую вилку и начал отрезать от копчёного осетра большие куски. Это оказалось не так-то просто: кости рыбины были очень твёрдыми. Валентиныч даже вспотел.

— Вилку ещё одну, — прорычал он, и Анастасия передала ему чистую вилку. — Лёха, воткни в тот кусок и тяни на себя, а я резать буду.

Артемьев воткнул вилку. Раздался глухой хруст костей, и показалось, что Валентиныч сломал себе пальцы. «Где он его добыл? — думал Артемьев. — Они что, и на Урале водятся?» Валентиныч с торжествующим видом раскладывал осетра по тарелкам. Артемьеву достался большой ароматный кусок с прозрачным дрожащим жиром.

— Фу, какой жирный! — сказала Анастасия.

— А ты хочешь, чтобы он диетическим был? — усмехнулась Валентиныч, поливая кусок своим соусом.

— Очень вкусный, — похвалил осетра Кеша.

— У меня муж тоже один раз какого-то такого поймал, — усердно жуя, сказала Тоня.

— Не такого, — возразил Валентиныч. — У вас там в Калуге такие не водятся. Он, наверное, форель поймал или нельму.

Какое-то время все молчали, смакуя деликатес. Наевшись и отодвинув тарелку, Кеша уставился на фотографию Виталика.

— А это его в школе фотографировали? — спросил он.

— Да, — помолчав, ответила Зоя Витальевна. — Перед экзаменами за девятый класс.

— Он был очень красивым мальчиком, — сказала Анастасия, глядя на портрет. — И... он был высоким?

— Для своего возраста да. Он с пятого класса в баскетбольную секцию ходил, поэтому лет с тринадцати стал сильно вытягиваться. Нога ещё очень быстро росла — не успевали покупать новые кроссовки. Два года назад, когда ему исполнилось семнадцать, он был уже намного выше меня. Статный, красивый...

Голос Зои Витальевны снова задрожал.

— И очень умный. В школе больше всего биологию любил. Это у него началось с раннего детства. Ещё когда в садик я его водила, постоянно с прогулки возвращался с кошкой какой-нибудь или со щенком. Только я не позволяла ему животных заводить — квартира у нас слишком маленькая, да и грязь от них. Сейчас жалею...

— Ничего, ничего.— Васген Карапетович взял её за руку.

— А вот девочки у него не было. Так, подружки, одноклассницы. Приходили к нему в гости часто. Я загляну, бывало, к нему в комнату, вижу: сидят, уроки учат. Или музыку слушают. Всегда тихо, спокойно. Он ко мне выглянет и спросит: «Мам, мы тебе не мешаем?» Улыбнётся, поцелует меня и опять в комнату к друзьям. Я вот думаю иногда: случись всё годика на три попозже, может, он бы мне внучка оставил. А потом понимаю: нет, не мог он, как нынешняя молодежь со школьной скамьи в разгул пускаться. Чистый он был, непорочный. Сейчас таких детей мало. Он был поздний ребёнок. Я на его воспитание всё свое время, всю свою душу тратила.

Тоня громко вздохнула.

— Да,— веско и глубокомысленно изрёк Васген Карапетович.— Друзья мои, не унываем! Тем более, что у меня для вас есть сюрприз.

— Ого! Так я открываю вторую бутылку этой гадости! — воскликнул Валентиныч.

— Знай меру, Валентиныч,— погрозил ему пальцем Васген Карапетович,— открывай, но разливай по чуть-чуть. А есть у меня для вас вот что.

Он взял со стоящего рядом столика папку, достал из неё толстый журнал и продемонстрировал обложку всем сидящим.

— Это «Medical science», «Медицинская наука» — самый авторитетный медицинский журнал в мире. Чтобы опубликоваться здесь, нужно сделать как минимум научное открытие или изобрести кардинально новый способ лечения какого-либо заболевания. В феврале мне позвонили из российского представительства редакции и попросили написать для них статью. В этом журнале есть вы все.

Он обвел взглядом всех присутствующих. Анастасия издала какой-то звук, видимо, выражающий её заинтересованность. Тоня во все глаза смотрела на Васгена Карапетовича. Кеша открыл рот. Артемьев, ухмыляясь, рассматривал кончики своих пальцев.

— С вашего позволения я зачитаю некоторые выдержки из статьи,— продолжил он.— По-русски, разумеется,— добавил Васген Карапетович, поймав на себе недоверчивый взгляд Валентиныча.

— «В феврале прошлого года в Москве в Научно-исследовательском институте трансплантологии и искусственных

органов имени академика Валерия Шумакова группой хирургов под руководством Васгена Атомяна была проведена серия операций по трансплантации внутренних органов. Эти операции не имеют аналогов в науке, так как впервые в мировой медицине производилась одновременная пересадка внутренних органов от одного донора пяти различным больным». — Так, ну я здесь пропущу некоторые несущественные детали и перейду сразу к делу. — «Донором органов послужил семнадцатилетний мужчина, по причине несчастного случая получивший тяжелейшую сочетанную черепно-мозговую травму, вследствие чего его мозг был практически полностью разрушен. После того, как нейрохирурги НИИ Скорой помощи имени Склифосовского ознакомили родственников донора с крайне неблагоприятным прогнозом, дежурный хирург констатировал здоровые внутренние органы пострадавшего и предложил его родственникам получить статус донора органов в случае смерти пациента. Родственники подписали соответствующие документы. На третий день после получения травмы наступила клиническая смерть. Через несколько часов специалистами НИИ трансплантологии был осуществлён забор внутренних органов: печени, почек и сердца. Донорские органы были перевезены в НИИ, и началась подготовка к операции больных, значащихся в листе ожидания на пересадку». — Ну, это не надо, пойдём дальше. Ага, вот. — «Рецепиенты: женщина, 22 года — терминальная стадия застойной сердечной недостаточности III степени; мужчина, 29 лет — хронический вирусный гепатит В; мужчина, 54 года — цирроз печени; мужчина, 15 лет — острая почечная недостаточность; женщина, 43 года — острая почечная недостаточность». — Так... — «Одной пациентке произведена пересадка сердца, двум пациентам — пересадка одной из почек, печень была разделена на два сектора, которые были пересажены двум пациентам. По окончании пересадки ни у одного из пациентов не наблюдались сверхострые или острые отторжения». — Ну, и итог: «Проведённые операции по пересадке органов, безусловно, открывают новую страницу в трансплантологии. В первую очередь, речь идёт о совершенно новой методике пересадки органов от одного донора сразу нескольким, которую с успехом апробировала группа Атомяна».

Васген Карапетович закончил читать и окинул строгим взглядом слушателей.

— Здорово, — сказал Валентиныч, разливая вино. — Мы теперь, значит, знаменитости.

— В некотором роде,— согласился врач.— Я хочу под-
нять тост за науку. За медицину, которая творит чудеса. За
трансплантологию, которая сегодня способна подарить людям
новую жизнь. За НИИ трансплантологии и искусственных
органов. За моего дорогого учителя, академика Валерия Ива-
новича Шумакова.

— Ура! — сказала Анастасия, поднимая бокал с гранато-
вым соком.

— А ведь эти чинуши на целых два года трансплантацию
органов запрещали, к убийству приравнивали,— продолжал
Васген Карапетович, отхлёбывая мелкими глотками вино из
фужера.— Скольких людей мы могли спасти за это время!
Скольких вычеркнули из листа ожидания по причине смерти!

— Гады! — прорычал пунцовый Валентиныч и начал рас-
сказывать о своей тяжёлой жизни-войне с чиновниками, эка-
ми, ментами и женой.

Артемьеву вдруг всё происходящее надоело. Он почувство-
вал себя как-то неловко в этой компании и когда поймал на
себе невидящий взгляд Зои Витальевны, даже обрадовался.
Он подошёл к ней, наклонился к её уху и прошептал:

— Зоя Витальевна, можно мне немного посидеть в комна-
те Виталика?

Она ответила не сразу:

— Да, конечно, Леша. Я там каждую неделю пыль вы-
тираю, но вещи не трогаю. Даже местами не переставляю.
Мне хочется, чтобы там всё оставалось так, как при жизни
Виталика.

— Я тоже ничего не буду трогать. Просто посижу в одино-
честве минут десять, хорошо?

— Конечно, конечно...

Артемьев незаметно для остальных юркнул в смежную
комнату. Маленькая и узкая, она была оклеена неброскими
обоями кремового цвета и от этого выглядела уютной. Обыч-
ная комната старшекласника: кровать, книжные полки и
письменный стол возле окна. В углу стояло старенькое крес-
ло. Компьютера, как и предполагал Артемьев, у Виталика не
было. К стене над безупречно заправленной кроватью были
приклеены плакаты с изображением каких-то незнакомых
Артемьеву певцов и групп. Ящики письменного стола пестре-
ли наклейками с изображениями диковинных автомобилей.
Такие же наклейки были и на корпусе настольной лампы.
Артемьев не рискнул садиться на кровать, отодвинул стул и
сел за письменный стол. Раскидистые старые тополя росли

так близко к дому, что листья одного из них шуршали по оконному стеклу.

На тумбочке возле кресла стоял небольшой музыкальный центр, на котором лежал компакт-диск. Судя по нему, последнее, что слушал Виталик, был альбом «Playing the angel» группы «Dereche mode». Артемьеву нравилась эта электронная группа. Он включил музыкальный центр, отрегулировал звук (ни к чему, чтобы музыку слышали там, за столом) и вставил диск в дисковод. Из динамиков полился напряжённый, нервный и очень красивый голос старичка Дэйва Гаана, гармонирующий с такой же нервной электронной музыкой.

На самой верхней книжной полке стояли плюшевые игрушки: медведи, ослики, коровы. Взгляд Артемьева упал на мохнатую розовую обезьянку. Шерсть этой игрушки на вид была такой пушистой, что Артемьев захотелось её потрогать. Вертя игрушку в руках, Артемьев слышал, что внутри обезьянки что-то шуршит. Он нащупал едва заметную складку на её боку. Это была маленькая молния. Артемьев вдруг разволновался. «Angels with silver wings shouldn't know suffering», — шёпотом пропел он дуэтом с Дэйвом Гааном, расстёгивая молнию. Внутри игрушки оказался презерватив в фирменном пластиковом пакете. Тёмно-синяя упаковка была ненарушенной. «Long love, — прочитал он слова на упаковке. — Продли удовольствие». Артемьев подумал: поживи Виталик ещё годик-другой, он и в самом деле мог бы осчастливить Зою Витальевну внучатами. Во всяком случае, природа брала своё и в этом мальчике. А как же иначе! Артемьев помял пакетик в руках, несколько секунд подумал, оглянулся на дверь и сунул его в карман брюк. Зачем добру пропадать? Да и Зое Витальевне ни к чему знать о том, какие желания одолевали порой её, наверное, действительно хорошего, но всё-таки не в меру идеализированного сына. Артемьев аккуратно поставил обезьянку на место и выключил музыку. Остаться здесь дольше ему не хотелось.

В соседней комнате настроение у компании заметно улучшилось. Тоня вовсю хохотала над каким-то анекдотом Валентиныча. Анастасия через стол говорила что-то о медикаментах Васгену Карапетовичу. Кеша рассказывал Зое Витальевне о предметах, которые преподаются в Духовной академии, и о том, что священники среднего и высокого сана неплохо зарабатывают. Зоя Витальевна слушала парня невнимательно. Она сидела, подперев голову ладонью, и рассеянно смотрела куда-то мимо Кешы. Артемьев подошёл к ней и спросил, всё ли с ней в порядке. Она не сразу, но утвердительно кивнула.

— Нет, Насть, вот я всё время думаю,— сказала Тоня, прислушивавшаяся к разговору Анастасии с Васгеном Карапетовичем,— ну ладно, я и Кеша с чужой почкой живем, ладно Валентиныч и Леша с печенью. Но с чужим сердцем-то как? Неужто у тебя ничего не изменилось? Ведь орган-то самый главный... Любовь ведь, дружба, расположение к человеку и всё прочее...

Артемьев незаметно под столом наступил на ногу Тоне, но та, видимо, не заметила.

— Да вот так,— спокойно ответила Анастасия.— Как ты с почкой, так и я с сердцем. Ну, конечно, контролирую я его меньше. Раньше, когда сердце сильно заболит, знала, чего делать. Нитроглицерин под язык — и вроде ничего. А сейчас нет. Оно как бы само по себе иногда. То думаешь: ну, сейчас волноваться буду. А оно ничего: ровненько так тикает. А то, бывает, в простой какой-нибудь ситуации ни с того ни с сего как застучит, как забьётся. Непонятно отчего.

— Ничего,— сказал Васген Карапетович,— это со временем пройдёт.

— А вот я вообще иногда думаю: на фиг я на эту операцию согласился? — как бы вслух подумал погрустневший от вина Валентиныч.— Ну и чего теперь у меня нового, хорошего в жизни? Раньше подыхал — всё ясно было. Как говорится, к логическому концу шло.

— Валентиныч! — резко сказал Артемьев.— Уймись.

— Отстань, Лёха, дай правду скажу. Так вот, всё, вроде, было понятно. А теперь я, здоровяк такой, в свои 55 чего делать буду? Я на пенсии. Дети со мной не живут — взрослые уже. Жена меня не любит, всю жизнь с ней собачился и сейчас собачусь. Хоть в петлю лезь... Чего хорошего-то в жизни будет? — Валентиныч ковырял в тарелке кусок осетрины.

— Сволочи...— произнес похожий на шелест женский голос.

— Чего? — в гробовой тишине спросила всё ещё улыбающаяся Тоня.

— Ублюдки. Сдохните вы все...— голос Зои Витальевны набирал непонятно откуда взявшуюся силу. Артемьев испуганно посмотрел на Зою Витальевну. Её глаза были почти что белыми. На скулах ходили желваки.

— Отдайте мне моего сына! — хрипло крикнула она.

В то же мгновение фужер с вином полетел в сторону Артемьева. Тот еле успел увернуться: посудина, разбрызгивая красную жидкость, просвистела над его ухом и разбила

стеклянную створку шкафа. Раздался оглушительный звон, и Артемьева осыпало осколками.

Зоя Витальевна схватила тарелку с остатками «Оливье», размахнулась и запустила ею в сторону сидевшего слева Кешу. Тарелка врезалась ребром в переносицу парня. Кеша охнул и закатил глаза. Грохнуться на пол ему не дала подоспевшая вовремя Анастасия.

Опомнившийся Валентиныч подскочил к Зое Витальевне и заломил ей руки за спину. Зоя Витальевна пронзительно закричала и забилась всем телом. Вдвоём с Васгеном Карапетовичем они подхватили её на руки и понесли в комнату Виталика.

— Ублюдки! Сына отдайте! Будьте вы прокляты! Сдохните вы все... Как собаки...— кричала не своим низким голосом Зоя Витальевна.

— Нашатырь в холодильнике, лёд на нос, успокоительное какое-нибудь! Быстро! — пытался перекричать её Васген Карапетович. Тоня с перекошенным лицом побежала на кухню.

Анастасия пыталась привести в сознание Кешу. Из его носа лилась кровь. Переносица увеличивалась в размерах на глазах. На светлой рубашке мальчика расцветали ярко-алые пятна. Он открыл глаза и испуганно посмотрел на обнявшую его Анастасию. Та пыталась запрокинуть ему голову, чтобы остановить кровотечение.

Артемьев стряхивал салфеткой с головы и рук мелкие осколки стекла.

— Да, сдала мать,— нарочито громко сказал он, бросил салфетку на пол и, ни на кого не глядя, пошёл вон из квартиры.

БЕРЕГ ЮНОСТИ

Недокументальная повесть

1.

Бело-серая чайка застыла в окне, будто пытаясь посоревноваться в скорости с поездом... И канула вниз, в колёсный грохот.

Состав проезжал по металлическому мосту, перекинутому с одного пологого каменистого берега широкой серой реки на другой.

— Онега,— сказал лениво усатый, пухлый, отёчный мужик с противоположной полки, глянув в окно, и отвернулся к стене, укрывшись с головой потрёпанным пальцем.

«Онежская губа рядом»,— подумал Николай, вспомнив карту, которую рассматривал совсем недавно, получая расчёт в тресте «Севрыба». Карта висела на стене в коридоре треста: Архангельск, Белое море, Соловки, изрезанные заливчиками, устьями речушек скалистые берега, горловина выхода в океан, берега, будто изъеденные фьордами, Мурманск...

Всё это знакомо ему. Их траулер РТ-20 «Архангельск» таскал трал у Летнего берега, а потом был переход Баренцевым морем в незамерзающий Мурманский порт.

Снова чайка в окне, но её словно сносит ветром к оставшейся позади реке... «Летели большие, клювастые птицы за судном, пропахшим треской»,— повторил строчку, застрявшую в голове, но к которой не находилось продолжение.

...Когда поднимался трал, вода из трала рушилась в море, пенилась, и пенилась единой живой массой рыба, и чайки, пронзительно скрипуче орали и пенились над тралом...

Всё это было, всё это теперь уже навсегда с ним, что бы там ни было впереди. А что впереди? Учёба в техникуме, если поступит, и жизнь — интересная, большая, хорошая... И поезд несёт его к этой жизни. И хотя небо сейчас серое, а поезд грязно-зелёный, в ритм перестуку колёс

складывается: «Прекрасно небо голубое, прекрасен поезд голубой...»

В приоткрытое окно залетает пахнувший паровозным дымом влажный ветер...

— Сынок, прикрой-ка фортку-то,— просит бабулька с нижней полки.

Николай закрывает форточку. И сразу становится душно, все поездные запахи — еды, табака, одежды, людей — лезут в нос. И Коля даже дышит какое-то время через шарфик (белое кашне — предмет особой гордости), потом привыкает к запаху.

А бабульке, приятно-округлой, седовласой — хоть бы что. Как и сидящему напротив неё скуластому востроглазому мужичку в сером свитере и в штанах, заправленных в сапоги, голенища которых собраны в гармошку. На кисти левой руки его — заходящее в море солнце и надпись «Север».

Старушка сперва с опасением посматривала на этого соседа, потом стала его расспрашивать о жизни и даже угостила лепёшкой, которую достала из плетёного пестеря, с плетёной же крышкой.

И Николаю предложила:

— Паренёк, на-ко, угостись.

— Нет, спасибо,— торопливо ответил он и отвернулся.

— Парнишка-то скромный какой,— слышит Николай, как тихонько говорит бабулька тётке, сидящей через проход у противоположного окна. И добавляет ещё, думая, что он не слышит: — Лопухонькой. У меня внучок такой же.

Ох уж эти уши! Хоть приклеивай их к голове. Торчат, как лопухи, особенно, когда он стрижётся. Получив расчёт в тресте, он и постригся, и в баню архангельскую сходил...

А приблатнённый мужичок, освободившийся по амнистии, как стало ясно из разговора, от бабушкиного угощения, конечно, не отказался, уплёл лепешку, запив холодным кипятком. Говорил он громко, развязно. Затягивал, но не заканчивал разные песни: «Эх, завтра я надену майку голубую, майку голубую, брюки клёш». Или: «Ты жива ещё моя старушка, жив и я, привет тебе, привет...» И пояснял бабушке:

— Это, мама, поэт Есенин, был такой, да...

Никакая старушка ему не мама, но он так её называет.

Коля вспомнил, как на траулере старший механик Капуста (фамилия такая!) под гармошку пел: «Клён ты мой опавший, клён заледенелый...», — и тоже говорил, что это Сергей Есенин. Коля тогда запомнил имя и решил для себя, что

при первой же возможности пойдёт в библиотеку и спросит Есенина. В городе, где есть техникум, наверняка же есть библиотека...

Он тоже на гармошке-то играл, хоть, бывало, после смены в кочегарке и руки едва не отваливались. Играл. И частушки позабористее пел — он же матрос, а не какой-то там... «младенец». Очень тогда, в конторе «Севрыбы», обидело его это словцо, брошенное каким-то бывалым, конечно же, морячком. А начальник отдела кадров, глянув в его автобиографию, громко, чтобы и тот, что обидел его, и остальные слышали, переспросил:

— Значит, отец на фронте погиб?

— Да.

— И мать умерла?

Молча, кивнул.

— Детдомовец? Ну, к нам, если только помощником кочегара...

— Я могу, — тут же заверил Коля.

— Силёнок-то хватит ли...

— Давайте возьмём, — сказал молодой, с озорными глазами и синим якорьком на правой кисти, матрос.

— Давай возьмём, — сказал и седоголовый коренастый матрос, оказавшийся кочегаром Иваном Васильевичем Коневым.

— Ну, давайте! — махнул рукой капитан.

И стал Коля Рубцов помощником кочегара...

— По тундре, по железной дороге... — пропел бывший сиделец. — Эх, мама, жил я на Северном Урале, долго и му-чительно... Душа праздника просит, мама, — говорил он, охлопывая себя, что-то ища в карманах.

— Сиди, баламут, праздника ему хочется... — ненатурально сердито отвечала бабулька. — Тебя мать-то ждёт ли? — спросила.

— Ждёт.

— Так ты куда, сокол ясной, правишься-то?

— В Мурманск. Ташкент город хлебный, а Мурманск — город рыбный, — говорил он, произнося название неплохо знакомого Коле северного города с ударением на «а».

«А хорошо бы и в Ташкенте побывать! — подумал Николай. — И на Байкале, и на Алтае... Страна большая... Но сначала нужно специальность получить, чтобы не бродягой по стране ездить, а нужным человеком». Вот он и едет получать специальность. А там и горы, между прочим, есть — Хибины...

— Пойду-ка я к своим, в буру перекинусь,— поднялся неспокойный сосед с нижней полки и пошёл вдоль вагона, цепко вглядываясь в сидящих и лежащих пассажиров, нагло вато ухмыляясь, опять напевая что-то.

Тётка, что сидела через проход, пересела ближе к бабушке, заговорила негромко, но зло:

— Их там целый вагон — архаровцев. Сталин-то помер, так их и распустили, шпану-то. И зачем только?

— Так-так,— кивала сочувственно бабушка.

Она всем сочувствовала, эта бабушка,— и худенькому пареньку, что спит на верхней полке, и освободившемуся из лагеря уркагану, у которого ведь тоже мать есть, и этой тётке, переживающей за содержимое мешка, засунутого на верхнюю полку, и за деньги, рассованные по многочисленным карманам и складкам её юбки, кофты, жакетки...

— Так, милая, так...— кивает она.

— А у нас в деревне пастух коров доил колхозных, в лесу угонит да и подоит, а кто-то узнал, донёс — восемь лет дали. И, говорят, таких не отпускают, только тех, у кого до пяти лет срок — во как! — возмущалась тётка.

И вдруг подал голос пухлый мужик со второй верхней полки:

— А кто у нас тут недовольный!

— А лешой бы тебя понеси! — откликнулась тётка и пересела на своё место, замолчала.

Коля уже и хочет спуститься, размять ноги-руки, и понимает, что лучше лежать, дремать — так есть меньше хочется... Будет какая-нибудь станция — выйдет, подышит...

А за окном вырастают из-под земли огромные камни. И это уже не камни, а скалы, за которые, запустив корни в трещины, уцепились чахлые деревца. А вон и море между скалами видно — стальную холодную гладь Онежской губы.

...И откуда, каким ветром занесло в их село Никольское, стоящее не берегу речки Толшмы, в тысяче вёрст от моря, романтику морских странствий?

Но знали они, мальчишки, что маленькая Толшма их впадает в судоходную Сухону, а Сухона, сливаясь с Югом, образуют могучую Северную Двину, а та несёт воду в Белое море, дальше уже — Ледовитый океан. И, отпуская по весне сделанные из щепок кораблики в бурлящие ручьи, устремлявшиеся к Толшме, верили они, что доплывут их корабли до самого океана... И вот ему всего-то шестнадцать лет (или уже

шестнадцать?), а он и по Двине плавал, и по Белому морю, и по океану...

Там, в Николе, выбежали как-то раз на улицу, а по ней идёт, чуть покачиваясь, в широких штанах, крепко печатая востроносими ботинками снег, моряк в чёрном бушлате, из-под которого видна тельняшка, в бескозырке с развевающимися по ветру лентами... Спереди на ленте бескозырки золотые буквы: Северный флот.

Детдомовцы и моряка-то до этого разве что на картинке видели.

Он, Колька Рубцов, как и все остальные, в длинном пальто, в сером, обмотанном вокруг шеи шарфе, в шапке с ушами, завязанными на затылке, первым восхищённый голос подал:

— Дяденька, а вы моряк?

— Моряк, моряк... — усмехнулся тот: — Беги, давай, в дом, а то шнобель отморозишь!

Остальные тут набегают:

— Моряк, моряк!..

— А у меня папа тоже моряк!

— Иди ты, моряк — с печки бряк!

А моряк уходил вдоль по улице и в конце её толкнулся в калитку, и с крыльца, будто птица, раскинув крылья, метнулась к нему женщина.

Как же мечтал он, подобно другим мальчишкам, вот так же когда-нибудь толкнуться в калитку родного дома — в таких же широких брюках, в бескозырке с лентой и золотыми буквами...

А ещё он читал книжки в школьной библиотеке — «Остров сокровищ», «Пятнадцатилетний капитан»... А фильм «Дети капитана Гранта» смотрели в клубе. И потом долго, как ненормальные или пьяные, распевали: «А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер, весёлый ветер, весёлый ветер...»

Да, ветер, ветер... Теперь уж узнал он, что ветер может быть и злым, и грозным, и добрым, и ласковым, и поплакать он может с тобой, и отстегать тебя холодными плетями шторма... «Может ветер выть и стонать, может ветер за себя постоять...» — слагаются слова и остаются в памяти... Вот будет у него свой угол — всё запишет. И, может, не хуже тех стихов получится, что читал на «Архангельске» команде. Мужики, похохатывая, повторяли его строчки: «Я весь в мазуте, весь в тавоте, зато — работаю в тралфлоте!», и особенно: «Избушка, под названием “Пивная”, стоит без стёкол в окнах, без дверей». Здорово получилось!

— Здорово ты, Колька! Молоток!

А кочегар Иван Васильевич слушал как-то, как Коля напевал что-то под гармошку, и сказал остальным, курившим на баке:

— Его, ребята, Бог поцеловал, у него душа песенная...

В чемоданчике его, кроме второй тельняшки, бóльшая часть денег (ещё есть деньги в кармане бушлата) и тетрадка тонкая школьная, карандаш...

Чемоданчик уже не тот, с которым два года назад ездил поступать в Рижское мореходное училище,— сработанный в школьной мастерской, закрывавшийся на гвоздик... Нет, тот, как приехал обратно в Николу, бросил с моста в Толшму, чтобы и не напоминал о неудавшейся поездке. А всё равно помнится.

Нет, поездка-то была интересная: поезд, Ленинград, Рига, сопровождающая Ольга Сергеевна — добрая, но и чуть надоедливая со своим постоянным присмотром. Ехали с ними ещё девочка Оля Смирнова и парень Вася Коробов — куда-то в Ленинграде поступали, на вокзале их встретила Васина тётя. А Коля с Ольгой Сергеевной перебрались на другой вокзал. Пока ехали в трамвае — Коля успел рассмотреть высокие дома, сливавшиеся иногда в сплошную стену с окнами, какой-то канал с чёрной водой в серо-гранитных берегах... «Обязательно вернусь сюда и всё-всё погляжу», — подумал тогда.

Приехали в Ригу. В мореходку его не взяли. «Ему ж пятнадцати лет нет ещё», — сказала Ольге Сергеевне усатый человек в моряцкой форме (Коля был уверен, что это капитан какого-то судна). И тихо, чтобы он не слышал, добавил: «Что вы нам дистрофиков везёте!»

Поэтому он не любит Ригу... И ничего, ничего не помнит...

После той неудачной поездки поступил в лесотехнический техникум в Тотьме. Куда-то же надо было поступать...

В первый учебный день была экскурсия в музей. И там женщина-экскурсовод рассказывала о том, что церкви в городе, и правда похожие на парусники, строились на деньги удачливых тотемских купцов-мореходов. А тотемский житель Иван Кусков и вовсе построил в Калифорнии русский город, женился на индианке и вернулся в Тотьму.

— Значит дети-то у них наполовину индейцы, — восторженно говорил новому другу Серёже Багрову. — Ты, Серега, может, потомок индейцев, а?

— Сам ты Чингачгук! — отвечал Багров, тоже любитель книжек про индейцев, морские приключения и путешествия...

И как только появилась возможность — рванул в Архангельск. И уж так решил: «Если в мореходку не возьмут, всё равно не вернусь в Николу, в матросы пойду, кем угодно, лишь бы на судно».

Голод отвлекает от воспоминаний: «А всё-таки жаль, что отказался от бабкиной лепёшки, со вчерашнего вечера не ел...»

Поезд долго шёл, замедляясь, и встал на какой-то станции. Народ повалил на улицу. Напялив фуражку-мичманку и запахнув потуже на шее белый шарф, на ходу уже натягивая бушлат, Коля тоже пробрался к выходу, прыгнул на перрон. А тут настоящий базар — продают варёную картошку, хлеб, рыбу, одежду. Толкаются, кричат, безногий инвалид на тележке, в грязной фуфайке, к которой приколотая какая-то медаль, рвёт гармошку: «Я немцам жару поддавал! Я кровь мешками проливал!..» Выделяются в толпе блатным форсом освободившиеся по амнистии уголовники, которых полно в поезде. Вон, кажется, и сосед по вагону мелькнул. Точно он — подмигнул Кольке и исчез в толпе.

Коля купил у сердитой тётки пирожок с капустой на ту мелочь, что была в кармане бушлата. Сквозь толпу пробился к вагону, влез, добрался до своего места... И сначала подумал, что это не его место... Но вот же бабулька сидит. Тётка ушла, видно, на улицу. Усатого толстяка с верхней полки тоже нет, и блатного нет... Нет и чемодана, а вместе с ним и денег. Хорошо ещё, что паспорт в кармане брюк и потрёпанная тетрадка со стихами, свёрнутая в трубку, во внутреннем кармане бушлата. Но что же делать без денег?..

Страшно, холодно, пусто...

— Ты чего, паренёк?

— Ничего...

Чего-то он ещё ждёт. Поезд трогается, толпа на перроне растворяется, вагон наполняется. Но не возвращаются ни толстяк, ни освободившийся... «Ещё подмигнул мне», — вспомнил Коля. Глаза его слезами наполнились.

— Что-то нету соседей-то... — вернувшаяся тётка вроде бы говорит. Вроде бы кто-то садится на освободившиеся места — он не смотрит на новых людей. Вроде бы что-то спрашивает бабулька — он не слышит её.

Залезает на свою полку. Пусто. Нет ничего.

Вечером поезд прибыл на полустанок, где нужно делать пересадку,— тут отворотка на Кировск. Билет надо покупать. А денег нет.

Но Коля уже успокоился. В конце-то концов — это же приключение! Самое настоящее! Обидно, конечно, но что ж... Хорошо хоть паспорт остался. И мичманка, и бушлат, и шарф. И курточку он ещё в Архангельске купил вельветовую, в разрез ворота которой очень красиво выглядывает тельняшка. Фуражку-мичманку ему старпом подарил, бушлат боцман списал и тоже подарил «студенту». А адрес техникума, в который решил поступать, он назубок помнит... Ну, что делать,— на станции к милиционеру подойдет: так, мол, и так... Или просто в поезд попросится, там, говорят, уже и остаётся-то полтора часа ехать. «Доберусь! Где наша не пропадала!»

Когда выходил, бабушка спохватилась:

— Ты ж вроде с чемоданчиком был...

Он не ответил, махнул рукой и вышел на перрон.

Был ещё день, но уже клонился он к вечеру. Холодный ветер пронизывал... И вдали виднелись то широкие и островерхие, будто взбитые и поставленные углом вверх подушки, то узкие, устремлённые ввысь, похожие на тотемские церквы... горы! Хибины...

А на соседнем пути стоял поезд:

— Это куда? — спросил Коля у пожилого железнодорожника, проходившего мимо.

— На Кировск, через пять минут отправляется.

Коля шёл вдоль состава... Вот и последний вагон, а на его крышу, сзади, подсаживая друг друга, подтягиваясь руками, забираются двое парней. Вот они уже и на крыше.

— Эй, помогите-ка! — командирским тоном сказал им Колька.

Один свесил светлую голову, осмотрел его.

— Ну, чего смотришь-то...

— Давай!

Колька вспрыгнул на ступени, ухватился за протянутую ладонь, за крышу, подтянулся... Влез.

— Здорово.

— Здорово.

Гудок. Поезд дёрнулся, и все трое присели, ухватились друг за друга. А поезд набирал ход, вздрагивал... Вскоре они попривыкли, освоились. Кричали друг другу в ухо что-то и всё равно почти ничего не слышали, смеялись... Какие-то замечательные, весёлые это были парни. Примерно одного с

ним возраста — один худенький, светловолосый, второй плотный, коренастый, тёмно-русый.

Коля увидел, что на крыше их вагона ещё люди сидят, и на других вагонах тоже. И вовсе успокоился. Только холодно было... И мичманку, на которую, он заметил, завистливо посматривали парни, всё время придерживал рукой, чтоб не улетела, а второй рукой ухватился за какие-то перильца...

Поезд мчался с грохотом и свистом — мимо скал, мимо редких огней... Чувство восторга охватило Кольку.

У парней были с собой ещё и какие-то мешки, и вот один из них достал из своего мешка... гармошку! Тоже, видно, от восторга — поставив её на колени, заиграл... Точно на такой же гармошке играл Коля в детдоме, и в Тотъме, и на траулере:

— Дай-ка! — крикнул парню и показал на гармошку. Мичманку свою снял, подал ему, принял гармонь, приладился к ней, подтянул ремень, нажал несколько раз на кнопки, склонив голову, будто прислушиваясь, и рванул:

— *Куда идёшь, зелёна рать!*

— *Малину жрать, зелёна рать!..*

Парни, севшие вплотную, чтоб слышать его, покатались со смеху...

Так и ехали полтора часа, распевая частушки.

Поезд встал.

— Прибыли, Кировск.

Парни спрыгнули с вагона и быстро прошли в вокзал, который поражал своими размерами, высотой потолка, большими окнами...

Снова познакомились, назвали имена:

— Колька.

— Валька.

— Серёга.

— Вы куда?

— В техникум.

— И я в техникум!

Вышли на привокзальную площадь, за которой тянулись ряды бараков, впереди, в туманной дымке начинавшейся белой ночи — горы... А глянув правее, Коля увидел озеро — противоположный берег его сейчас лишь угадывается в дымке.

— Ничего водоёмчик. Не море, но всё-таки, — констатировал Николай.

— Это Большой Вудъявр, — сказал Валька, — озеро.

Валька и Серёга уже бывали тут. У Вальки старший брат в техникуме на четвёртом курсе учится. Они из рыбоколхоза, что на самом берегу Белого моря...

— Как тут комбинат-то открыли — все, кто помоложе да пограмотней, сюда стали перебираться... Чего там в деревне-то... — говорил Валька.

Выяснилось, что ребятам по четырнадцать лет, сразу после седьмого класса поступают. Коля старше их на два года, потому и выше на голову. А уж по опыту, по тому, где бывал и что видел, он не на голову, а на все три выше этих деревенских парней-поморов — невысоких, но крепких уже по-мужицки.

Между делом, идя по мягко пружинящим под ногами деревянным мосткам, он рассказывал им про Архангельск, про Мурманск, про Ленинград (который почти и не видел, но его поразило и то, что успел увидеть, пока переезжали с вокзала на вокзал), про траулер...

Уже белая мутная ночь опустилась на город. Дома, всё двухэтажные деревянные бараки, тянутся унылыми рядами вдоль грязных, с разбитыми дорогами улиц, кое-где желтеют окна. А там, у гор, где-то за городом слышен постоянный гул, похожий на шум прибоя, и будто откуда-то из-под земли вырывается свет и озаряет жёлтым и красным небо...

— Комбинат! — говорит Валька. — А вот и общага, — он сворачивает к тёмному, бревенчатому, длинному барaku.

«Общежитие № 1» — на табличке у входа. Под козырьком крыльца горит фонарь в стеклянном колпаке и металлической сетке... И как-то не по себе становится Кольке от этого барака, от этого фонаря в сетке.

Валька уже дёргает дверь. Заперто.

Николай на правах старшего берёт инициативу на себя, уверенно стучит. И ещё раз. У ближнего к двери окна на первом этаже сдвигается шторка. Приоткрывается форточка:

— Чего стучите-то? А? Чего гремите? — строгий хриплый женский голос.

— Откройте, пожалуйста, мы поступать приехали, — уверенно говорит Николай.

— Поступать... Стойте, щас открою...

За дверью слышны шаги, стучит об пол скинутый длинный металлический крюк, дверь открывает невысокая женщина с жёстким лицом, в платке, покрывающем голову, в кофте зелёной.

— Ну, заходите, мазурики. Знаю, что поезд только пришёл, уж жду. Каждую ночь и едете.

Ребята стояли в тесном коридорчике, переминаясь с ноги на ногу...

— Подождите, сейчас выделим вам комнату...— деловито говорит женщина, листая толстую тетрадь. И сообщает: — Меня зовут Зинаида Николаевна, я комендант, слушаться меня, как отца!.. Вот в девятую вас пока поселю, пошли.— И шагнула к лестнице, ведущей на второй этаж.

Коля успел увидеть длинный коридор с рядом дверей. Одна дверь приоткрылась, выглянула девчонка и спряталась. Значит, на первом девушки живут.

По лестнице навстречу им бежал белоголовый крупный парень:

— Ну, здорово, орлы! — тряхнул за плечи Вальку, ткнул в плечо Серёгу. Николаю протянул руку: — Валерий. Старший брат вот этого индивидуя,— кивнул на Вальку.

— Николай.

— Он в тралфлоте служил! — сообщил брату Валька.

Валерий кивнул уважительно и вроде шутливо одновременно — не поймешь...

Поселились в пустой ещё комнате, в которой стояли восемь кроватей.

— Бельё и матрасы завтра выдам, если документы возьмут ваши,— сказала комендантша, которую нужно было слушаться, как отца.

Парни так устали от всех впечатлений дня, что сразу же растянулись на голых пружинных кроватях и, вроде бы и продолжая ещё говорить, засопели, уплывая в сон.

— Ну, спите, если что — я в четвёртой,— сказал, видя такое дело, Валерий и ушёл.

У парней под головами были их мешки. Николаю и подложить было нечего. Он лежал на спине, закинув за голову руки. Не спал он, перебирая в памяти события сегодняшнего дня и всякое-разное из жизни своей.

Опять вспомнил ту воспитательницу — Ольгу Сергеевну. Она очень любила стихи. И его, Колю, любила за то, что он сочинял стихи.

Да, с ним это уже давно бывало — возьмёт да и скажет что-нибудь складно. Потом ещё в школьную стенгазету писал... В Риге, когда шли из училища на вокзал (а уехали в тот же день), она, может, стараясь отвлечь его от переживаний после неудачного поступления, рассказывала:

— Я читала, что здесь лечился раненый поэт Батюшков, здесь он полюбил девушку, но не смог жениться на ней...

Коле тогда было не до Батюшкова, и он плохо слушал воспитательницу. Но заинтересовался, когда она сказала:

— Родом Батюшков был из Вологды, как и ты... У него сам Пушкин писать учился... А могила его — в Прилуцком монастыре.

Родом Коля вообще-то был не из Вологды, но спросил:

— Так это было давно?.. Монастырь-то я знаю...

И сейчас, в голой комнате кировской общаги, как тогда, посреди красивого нерусского города Риги, память унесла его в тот светлый день, под древние прилуцкие стены... Они жили там, в Прилуках, когда переехали из Няндомы. Домик их (снимали, кажется, у кого-то) был неподалёку от монастыря, и рядом была ещё церковь, Никольская, и кладбище. И река Вологда была рядом. Только почему-то недолго пожили в том домике (а несколько месяцев, проведённые в нём, помнятся как самые счастливые), переехали в Вологду, в страшный барак. Потом война началась, мама умерла, отец на фронт ушёл. Первый детдом, второй... Мама раскинула на травке скатёрку, выложила из корзины какую-то еду — хлеб, огурцы... Отец купался, Коля пытался схватить в траве кузнечика, боялся его — треугольного и большеглазого, но всё равно хотел схватить и с восторгом наблюдал, как делал кузнечик гигантские прыжки... А потом от монастырской стены бежал какой-то человек, а за ним другой человек, в форме, но не мог догнать. А его отец вылез из реки и догнал, приказал стоять. И беглец остановился.

Больше он ничего не помнил о том дне. Только осталось щемящее чувство того, что и в самое доброе счастье всегда может ворваться что-то непонятное и недоброе...

Так вот за теми-то стенами — могила Батюшкова... Когда-нибудь он побывает там, нужно побывать...

Потом уже, в Архангельске, был у него период — месяца два, когда он снова не поступил в мореходку, но ещё и не устроился в тралфлот: ему подсказали, что есть место в библиотеке в Соломбале... Добрая вахтёрша из училища увидела его, едва не ревущего, попыталась утешить:

— Да будет тебе, поезжай домой, через год поступишь.

— Нет у меня дома...

Тут-то она и сказала: мол, дочь увольняется, и освобождается место библиотекаря — и жильё прямо там, и, пусть небольшая, зарплата.

— Потому как на судно-то когда тебя ещё возьмут... — покачала головой. — Ты там годик поработаешь, подготовишься да на следующий-то год и поступишь...

Вот и стал он там жить-работать. Неплохо, в общем, устроился. Главное — книг много. И он читал. Там-то и попался ему том Пушкина из собрания сочинений 1937 года выпуска. И в этом томе подробный разбор «Опытов в стихах и прозе» Батюшкова. Так там Александр Сергеевич «учителя»-то своего «под орех» разделявал! Но и восхищался удачными стихами и строчками... Никаким Батюшков учителем Пушкина не был. Но учился Пушкин на нём, и на Вяземском, и на всех тех книгах, что читал... Вот именно тогда Коля понял это про Пушкина и Батюшкова. И сам, между прочим, старался уже читать по-пушкински... Потом, на корабле, конечно, долго не до книг было. Ну, теперь-то уж он начитается... И, кстати, там же, в той архангельской библиотеке, нашёл книгу Всеволода Гаршина (знал этого писателя по сказке «Лягушка-путешественница», которую читал ещё в детдоме) с его обжигающими рассказами. А в предисловии вычитал, что какое-то время Гаршин жил в усадьбе Красково под Вологдой. А ведь детдом, в который поначалу его и брата Бориса привезли, в Краскове и был, в усадьбе... Может, в той самой... Тесен всё-таки мир. Всё близко в нем, надо только чувствовать. Давнее становится вдруг осязаемым, твоим.

Он поднялся, вышел из комнаты, пошёл по длинному коридору в дальний его конец, откуда пахло уборной — хлоркой и куревом.

Тут и кучковались старшекурсники. Курили, говорили о чем-то громко и весело, явно не думая о том, что могут кому-то мешать спать. Впрочем, общежитие было ещё почти пустым. Тут был и Валерка, Валькин брат.

— Этот, что ли? — спросил у него невысокий, широкоплечий, курносый парень, кутивший папиросу.

Валерка кивнул, но и как-то отвернулся сразу, будто и не знал вовсе Николая.

— Здорово, морячок! — окликнул курносый и выдул дым в сторону Коли.

— Здорово...

— А чё, на флоте хорошо зарабатывают?

— Нормально получают.

— Так поделись, — напрямую сказал парень, и двое его дружков заушмылялись, а третий, Валерка, пробубнил:

— Да ладно, Седой, не надо...

Но Седой не слушал его. Спрыгнул с подоконника, шагнул к новичку.

Николай знал, что именно сейчас, сразу, нужно поставить себя так, чтобы больше уже не трогали. Вспомнил приёмчики, которым учил его на траулере Вовка Девятов (похожий, между прочим, на этого Седого). Вспомнил и то, как дрались ребята с траулера в пивнухе в Мурманске, и он даже пытался помогать им...

Он сам шагнул навстречу Седому и не ударил, а ухватил за чуб, спадающий на глаза, и резко вниз потянул, так, что парень сразу на колени опустился — Девятова наука. Дружки дёрнулись к нему, но Николай ещё раз резко потянул волосы:

— Ему же хуже будет.

— Отпусти,— прохрипел Седой.

Николай отпустил, ожидал, что сразу будет удар, но виду не показал, не отшатнулся, заговорил миролюбиво:

— Ребята, давайте забудем это. Дайте лучше покурить. А то я вторые сутки без курева, а у тех малолеток только конфеты.

Седой сам дал ему папиросу — выщелкнул из пачки «Беломорканала».

Николай, уезжая из Архангельска, задумал бросить курить, всю дорогу не курил, и вот — опять... И уже он рассказывал парням, как работал на сейнере, к месту вставил и про то, как дрались в Мурманске...

— В поезде вот обокрали — совсем на мели.

— Ничего, здесь не пропадёшь — кормёжка казённая, не ахти, но с голодухи не помрёшь.

— Ещё поступить надо.

— Поступишь.

— Напишу братве на сейнер — выручат деньгами,— ещё похвастал Николай.

...Он вернулся в свою комнату, лег на взвизгнувшую пружинами кровать. В окно вливался серый свет белой ночи. Да-да, никакая она не белая — серая эта ночь, серая...

Горько было Коле, грустно. «Ну почему же так? Неужели всю жизнь надо будет что-то доказывать, отстаивать право на своё место... Вот что я им плохого сделал?! И почему стал хорошим только когда плохо сделал? А?...» Но постепенно успокаивался, и мысль уже другая пришла: «Ну, хорошо хоть я, а не меня. Больше не сунутся. Можно спокойно устраиваться, готовиться к экзаменам, учиться». И как удар: «А надолго ли здесь-то?» И что это за сила гонит и гонит его с

места на место, срывая, когда уж вроде бы устроился, прижился... Поступил вот в Тотье в лесной техникум — учился легко, друзья были, крыша над головой, в будущем — хорошая специальность. Но бросил всё, в Архангельск поехал. О море мечтал. И добился же своего! И на судно попал, и в коллектив вписался, и в работу втянулся. Но опять бросил всё — сюда приехал... Неужели всю жизнь так? Неужели бродягой быть?..

Уснул, когда все-то уж просыпаться начали.

— Колька, пошли документы подавать, — Валька толкнул.

— Ага, сейчас, — отвернулся к стене и попытался накрыть голову несуществующим одеялом.

— Вставай давай, пошли!

— Ну, пошли, пошли...

А когда возвращались в общежитие, их поджидала уже комендантша Зинаида Николаевна:

— Хватит вам бродить без дела, красавцы, — строго сказала и определила фронт работ — пилка брёвен и колка дров.

Брёвна были свалены неподалёку от общаги. Ничего не поделаешь: взяли у Зинаиды Николаевны пилу, колун... Коля, когда получал в кладовке пилу, весело говорил:

— Это ж моя любимая работа, я ж прирождённый пильщик дров!

И строгая Зинаида Николаевна, глядя на него, вдруг улыбнулась и сказала:

— Ишь, какой!.. Ну, давайте, ребята, давайте, а я вам к чаю печенья дам.

Валька встал с Колей к двуручной пиле, Серёжка за колун взялся. Деревенские ребята, конечно, умели с этими инструментами обращаться. Да и Коля не зря хвастался — пилить доводилось и в детдоме, и в Тотье. Там они с Серёжкой Багровым целую делянку, десять кубов леса на корню, спилили — было дело, без этой нормы не отпускали на каникулы...

Подходили ещё ребята, тоже в работу включались. По ходу дела и знакомились. И девушки вышли (комендантша никого без дела не оставляла), стали складывать наколотые полешки в поленницу...

На перекуре Валька сбежал за гармошкой. И Коля, пристроившись на чурбаке, растянул меха: «Шумел камыш, деревья гнулись!..»

— Давай повеселее, Кольша!

— У нас, когда камыш только шумит — деревья гнутся!.. Ну, держись!

И тут сами, одна за одной, вспоминались частушки, что пелись на гулянках в Николе...

*Нам хотели запретить
по этой улице ходить.
Наши запретители,
по морде не хотите ли!*

*Из тюремного окошка
вижу город Вологду.
Принеси, сударка, хлеба,
умираю с голоду.*

Когда кто-то из ребят хотел перебить его, своё спеть, Николай сразу откликнулся:

*А ты не пой, а ты не пой,
У тебя голос не такой,
Есть такие голоса —
Дыбом встанут волосы.*

*На столе стоит бутылка,
А в бутылке лимонад.
Девки юбки разорвали,
Председатель виноват.*

Тут и девушки ответили:

*Гармонист, гармонист —
Рубашечка моряцкая,
Почему же у тебя
Морда-то дурацкая? —*

грубовато спела высокая чернявая красавица. Вторая — светленькая, худенькая — попыталась смягчить неловкость:

*Хорошо парнёк играет,
Хорошо и слушать-то!
Задушевная подруга,
Игроки и сушат-то!*

— Хорошо поёте, да надо и дело делать, — нестрого сказала появившаяся вдруг комендантша и даже положила пару поленьев в поленицу.

Николай ещё пропел, подыграв маршево: «Нам песня строить и жить помогает!..» — и отложил гармошку.

А вечером вышел Коля на крыльцо покурить, а из окна ему Зинаида Николаевна:

— Кареглазый, иди-ка сюда,— и подала в раскрытую форточку пачку печенья...

...И вот — экзамены сданы, на стене приказ: «Зачислить...» И долгий список. На «Р» — вот он: Рубцов Николай Михайлович.

Будет теперь учиться на маркшейдера.

— Ну, что, братва, отметим! — хлопнул по карману своего флотского бушлата. Он ведь на второй день по приезде, и правда, написал письмо своему кочегару. И вот вчера получил перевод — больше, чем при расчёте денег друзья-моряки ему выслали. Он был рад и говорил: «Вот это морская дружба!» И в кармане его сегодня не только звенит, но и шуршит.

— Отметим! — тут же подхватил идею новый приятель, тезка — Колька Шантаренков.

В комнате их теперь уже семь человек. Кроме первой заселившейся троицы (Коли, Серёги и Вальки), — Колька Шантаренков, Женья Ивановский, Васька Потапенко и Эдик Гольдберг. Восьмая койка почему-то так и осталась пустой.

Общага теперь гудит, как улей — во всех комнатах живут: на первом этаже девушки, на втором парни. Старшекурсников перевели в другое общежитие.

Не заходя в общагу, компания — два Николая, Валька и Женья Ивановский — отправилась на рынок.

Уже две недели как они здесь. Поиздержались, домашние припасы приели. Но сегодня Коля «на коне»! Сегодня он угощает.

Шли центром города: памятник Кирову, дом культуры, кинотеатр. Ровными линиями — полтора десятка новых пятиэтажных домов. Никто из парней таких домов раньше не видел. И думалось, что вот она здесь, на их глазах, зарождается новая прекрасная жизнь, о которой пишут в газетах и показывают в кино. Город — совсем молодой, вырос вместе с рудником и комбинатом: стране нужны минеральные удобрения! Да, они уже знают, что начинали его строить заключённые, и сейчас там, внизу, «зеки» работают, лагерь неподалёку от города. Но ведь есть и «комсомольцы-добровольцы»!

Кончились пятиэтажные красавцы, и потянулись ряды бараков. Но вон и красивое здание вокзала, строенное, видно, с расчётом на рост города. И сбоку от него — базарчик, ларьки пивные, рыбные, овощные.

Купили еды. Коля, как старший, пошёл вино покупать. Зашёл в низкий деревянный магазин, попросил две бутылки плодово-ягодного.

— Тебе сколько лет-то? — спросила моложавая, румяная продавщица в грязноватом халате и в колпаке.

— Девятнадцать. Да я ж моряк — не видно, что ли?

— Моряк — с печки бряк! — откликнулась молодуха, напомнив детдомовскую дразнилку. — Каким же ветром к нам-то? — выставила вино на прилавок.

— Попутным! — ответил Николай и взял бутылки.

— Ему пятнадцать, тётенька! — подал тут голос, тихонько до этого стоявший у двери Шантаренков. — Но мама ему уже разрешает...

Коля лихо засунул бутылки в карманы бушлата. Погрозил пальцем тёзке. Настроение у него было задорное, и даже случайное упоминание матери сейчас не задело.

Он развернулся снова к прилавку:

— «Беломора» ещё две пачки и коробок, — сказал, выкладывая на блюдце деньги.

Продавщица усмехнулась, ничего больше не сказала, подала папиросы и спички.

— Пить будем, гулять будем! — приплясывая, напевал Шантаренков, когда шли в общежитие.

— Держите себя в руках, молодой человек, — строго сказал Рубцов...

Глянул он сейчас на своих «собутыльников» (совсем ещё детишки, все младше его) и сказал:

— Валька, беги-ка к брату, пусть свою партию ведёт!

В комнате разложили еду, открыли вино... Не заставили себя долго ждать старшекурсники, пришли из своего общежития Седой, Валерка и ещё один парень, подвинули мелкоту.

— Ну, за нашу новую жизнь, — торжественно сказал Николай, и разномастные чашки, кружки, стаканы сдвинулись с глухим звоном...

Старшие парни, в общем-то, всё вино и выпили. Они вскорее удалились. Николай подумал и не пошёл с ними.

— Доставай гармошку, Валька, пошли к девчатам!

Собрав оставшиеся продукты, ребята пошли этажом ниже.

Смелости им прибавляло и то, что комендантши не было на месте, её комната у выхода была заперта на замок.

С девчатами-однруппницами парни за дни экзаменов уже познакомились и потому направились прямо к ним в комнату.

— А мы в гости! — Коля развернул гармошку:

*Машина ехала,
Колеса тёрлись,
А вы не ждали нас,
А мы припёрлись!*

— Угощайтесь, девчата!

Девочки стеснялись, но старались показать себя хозяйками. Быстренько освободили стол, разложили еду по тарелкам и блюдам.

Коля гармошку из рук не выпускал. Сначала плясовую выдал... Но плясать никто не стал, хотя кое-кто заулыбался, запритопывал.

И тут Николай замер, будто вслушивался в себя, все почему-то тоже замолчали и замерли, а он начал негромко:

*Ветер под окошками, тихий, как мечтание,
А за огородами, в сумерках полей
Крики перепёлок, дальних звёзд мерцание,
Ржание стреноженных молодых коней...*

Дальше не пел, а только мычал мотив, потом перестал играть, замолк.

— Это чьё? — спросила девушка с внимательными глазами, имя которой он ещё не запомнил.

— Да это так...

— На Есенина похоже, — сказала другая девушка, — я читала...

— Да это же твоё, Колька! — Шантаренков крикнул. — Это он пишет. У него целая тетрадь...

Николай резко встал, скинул ремни гармошки с плеч, сунул её Валентину и быстро пошёл к двери.

— Да ты чего, Коль...

Хлопнул дверь. Выскочил на улицу, пошёл куда глаза глядели. Оказалось, что в сторону гор, подковой огибающих город. Ветер быстро выдул лёгкий хмель, остудил. И уже не было никакой обиды, и даже сам себе удивлялся — чего сорвался-то? Смотрел на горы и думал: хорошо бы подняться на них, посмотреть оттуда на город, на озеро... Ещё поднимется когда-нибудь.

«А девчонки ничего есть... Конечно, не как Таня. Надо будет написать ей. А ведь ей ещё год учиться в Тотьме, а потом куда она? А я куда? Здесь буду?..»

— Вон он! — услышал голос Жени Ивановского.

Догнали. Шантаренков и Ивановский.

— Ну, ты чудак, — Колька Шантаренков заговорил. — Чего обиделся-то? Пошли в общагу, а то комендантша пришла, запрёт двери, останемся на улице.

— Ну и ладно... А ты... трепло, — Коля улыбнулся. — Пошли!

Он закурил, отвернувшись от ветра и прикрыв огонёк спички ладонями.

— А вот придумайте-ка мне рифму на слово «идиот», — сказал ребятам.

— Пароход!

— Бегемот!

Смеялись, кричали возбуждённо — то ли от предчувствия счастья, то ли от чего-то ещё...

— Ну-ка, потише, — прикрикнула на них комендантша из своей комнаты.

— Всё-всё, Зинаида Николаевна, — ответил Шантаренков, состроив при этом дурацкую рожу. И тихо добавил: — Отец ты наш родной.

Коля строго погрозил ему и палец к губам прижал — молчи. В комнате продолжился конкурс по придумыванию рифм.

— Ну-ка, на слово «рубка»! — Коля задание дал.

— Рубка леса, что ли?

— Рубка на корабле...

— Будка! — Гольдберг первым сказал.

— Нет, не то...

— Юбка!

— Покупка!

— Трубка! — Женя Ивановский последним голос подал.

— О! Вот это железная рифма, — похвалил Коля и тут же добавил: — Но мне не подходит. — Уже не скрываясь, достал купленную сегодня же тетрадь в чёрной обложке и что-то записал в неё тоже новой чернильной ручкой. Старая тетрадь, которую ещё в Тотьме завёл и таскал везде с собой, даже на траулере, давно кончилась да и поистрепалась.

Засыпая, он ещё подумал, что надо будет стихи из старой тетради в новую переписать.

3.

Началась учёба и повседневная жизнь. Программа первого курса в основном совпадала с тем, что учил и сдавал Николай в лесотехническом техникуме. Так что учился он легко,

не напрягаясь — отличником не стал, но и двоечником не был. В комнате убирались по очереди, подметали и мыли пол, уже в конце сентября начали топить печь. Дрова надо было принести из поленницы во дворе. Печь дымила, ребята, боясь угореть, оставляли трубу открытой, пока угли совсем не остывали. Конечно, и тепла от такой топки было не много...

Но даже такую плохонькую печь Коля любил топить. А точнее — любил он сидеть перед топкой, подбрасывать полешки, глядеть на огонь... Тут же и читал, и писал тоже.

Как и думал — записался в городскую библиотеку.

В первый раз Николай взял сборник Некрасова. А когда второй раз пришёл — Фета попросил... Когда через неделю сдавал книгу, впереди него у стола библиотekarши — очкастой худой женщины, с седыми волосами, собранными в кучку на затылке, — стоял невысокий паренёк. Он сдавал какую-то явно старую книгу...

Коля сразу же и взял эту книжку посмотреть. Да это ж чудо! Альманах «Серебряный ветер», 1924 год. Николай отошёл к окну, стал листать. Есенин! «Выткался над озером алый свет зари...»

— А я предпочитаю Северянина, — раздался негромкий голос совсем рядом, сбоку. Коля повернулся. Тот мальчишечка и стоял — волосы светло-русые, хохолок торчит, глаза голубые-голубые. Вроде бы серьёзно сказал он, и смотрит вроде бы серьёзно. Но и усмешка какая-то чувствуется.

— Чего?

— Северянина предпочитаю.

— Какого ещё северянина?

— Игоря, поэта. Вы что, не знаете? Здесь есть, — кивнул на книжку.

Коля перевернул страницу. И правда — Игорь Северянин.

*Она вошла в моторный лимузин,
Эскиза страсть в корректном кавалере,
И в хрупоте танцующих резин
Восстановила голос Кавальери,—*

прочитал Николай.

— Да, ярко. Но, знаешь, как-то без души...

— Ребята, вы бы потише, — сделала замечание библиотekarша.

Они быстро взяли книги — Коля сборник «Серебряный ветер», а парень, фамилию которого успел прочитать Николай в карточке — Ерофеев, взял Гёте.

Вышли на улицу.

— Веня,— первым подал руку парень.

— Николай. Рубцов.

— А ты, похоже, и сам пишешь...

Они шли по дощатым мосткам, и доски приятно качались под ногами, и это даже напоминало Николаю то, как плавно покачивалась палуба в спокойную погоду, при хорошем быстром ходе траулера...

— А ты тоже, наверное, пишешь,— он Вене ответил.

— Пробую. А ты дай своё почитать.

— Да я тебе и так почитаю: «Ветер под окошками, тихий, как мечтание...»

Ерофеев выслушал и проговорил с усмешкой:

— О пастухах достаточно сказал ещё Виргилий.

— О каких пастухах? — Николай даже опешил от такой наглости.

— Ну, кони там у тебя ржут...

— И чего?

— Есенинщина — вот чего.

— А в лоб? — остановился и насупился Коля.

— Гляжу я на тебя, Рубцов, и думаю: ну почему все великие люди так плохо воспитаны? — сказал Веня и обезоруживающе улыбнулся.

Они остановились перед деревянным двухэтажным домом с табличкой, на которой написано: «Детский дом...»

— Ну, пока, Николай.

— Подожди, так ты тут, что ли?

— Да.

— А я ведь тоже... Детдомовский.

И они пошли дальше, к озеру. Остановились на берегу — камни серые, розовые, по воде волны невысокие (в сравнении с морем, конечно) с белыми шапками пены. Серое небо, горы за озером...

— Вода — моя стихия,— сказал вдруг Рубцов.— Река, озеро, море, да хоть — пруд! Это моё... И огонь моя стихия! Люблю костёр на берегу, огонь в печи. И ещё ветер люблю... Люблю ветер, больше всего на свете!

— А горы? Ты ж на горняка учишься?

— Не знаю. Пока не знаю, Веня... Было мне лет пять, и я три дня в лесу жил, ушёл из дома и жил под ёлкой — ягоды ел, пил из речки и костёр разжигал. И не боялся ничего. Вот с тех пор я знаю, что не пропаду у реки, у костра. Это моё... А потом вернулся домой, там сестра уж в милицию заявила. Я в Вологде жил. Слышал такой город?

Веня кивнул и спросил:

— У тебя совсем никого?

— Совсем... Нет — братья есть, сестра... Я их найду.

Про себя Веня ничего не сказал, а Николай не спросил.

Они вернулись к детскому дому, попрощались. И больше они никогда уже так не разговаривали, хотя виделись довольно часто — в библиотеке, в кинотеатре «Большевик»... Почему-то больше не говорили.

Коля шёл из техникума в общежитие. Стало скучно, и он просто ушёл с математики. Хотелось побыть одному, полежать на койке, не слыша разговоров и беготни в коридоре. Просто — подумать...

Он подходил к общежитию и вдруг понял, что это длинное тёмное здание очень похоже на тот дом, в котором... В котором столько несчастья было! Который хочется забыть ему. Из которого ушёл и больше не вернулся отец, из которого ушла в больницу и уже не вернулась смертельно больная мама, в котором умерла крошечная младшая сестрёнка, из которого забрали в детдом сначала братьев, а потом, когда тётка взяла к себе сестру, забрали в детский дом и его... Он ненавидит этот дом. И вот он — перед ним.

Коля не пошёл в общежитие, обошёл здание... За их домом был дворик, тополя, сарайки, кусты... Там, у стены дома, за кустами, рос цветок, на который он ходил любоваться, набирал из лужи воду в банку и поливал его... Маме подарить хотел...

Тут никаких деревьев и кустов не было... Да и трава-то пожухла уже. Снег вот-вот выпадет. Зима за Полярным кругом рано приходит.

Коля поправил шарф, застегнул верхнюю пуговицу бушлата, закурил. Выкурив папиросу, он пошёл в общежитие, в свою комнату, по пути набрал под лестницей охапку дров, чтобы затопить печь.

Он уже знал, что долго здесь не проживёт.

Сидел перед топкой, огонь лизал поленья, ветер гудел в трубе, на коленях Николая лежала тетрадь в чёрном переплете. И был он, Николай Рубцов, в этот миг далеко от этого барака, от этого неуютного мира...

...Из стипендии вычиталась плата за общежитие и за питание в техникумовской столовке. Остававшейся мелочи хватало разве что на курево. Конечно, те, кому приходили

посылки из дома или кто сам ездил на выходные домой, вечерами, когда садились за общий чай, делились продуктами. Но не мог же Николай всё время на чужом сидеть, хотелось и ему одноклассников угостить... В общем, нужны были деньги.

От Вальки он узнал, что техникумовцы давно уже подрабатывают на железнодорожной станции. Разгружают вагоны. Ещё и не попадешь просто так в бригаду-то. Но у Вальки же старший брат, Валерка, на четвёртом курсе...

И вот с Валькой идут вечером на станцию — холодно, пахнет углём, сыростью... Из своей общаги подходят старшекурсники, всё та же компания во главе с Седым — Васькой Седовым.

— А, морячок, привет... — смотрят на него, не богатыря с виду, с сомнением, но и помнят, как поставил Седого на место, знают, что работал в тралфлоте...

И пошла вскоре работа! Разгружали вагон с картошкой. Тяжеленные мешки двое, Седой и Валерка, с площадки вагона водружали на подставляемые спины. Четверо таскали.

Коля довольно быстро втянулся, бегом от вагона под крышу склада залетал. Когда же все уже явно устали (но отдыхать было некогда, начальник склада подгонял, надо было убирать вагон), он и начал по своей привычке выдавать частушки. Потом вспомнил читанного недавно Некрасова: «Выдь на Волгу, чей стон раздаётся!» — выкрикивал на бегу. «Эх, дубинушка, ухнем!» — говорил, подставляя спину под мешок. «Эх, зелёная, сама пойдёт!» — орал, отбегая от вагона.

А когда мешки кончились, и они, покачиваясь, шли в комнатку начальника склада за расчётом, он продекламировал:

*Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идёт, и плачет, уходя!*

— Ну, ты уж загнул, чего-то... — покрутил пальцем у виска Седой.

— Это же поэт Фет! Деревня! — добродушно откликнулся Коля.

Получили по тридцатке и к дому двинулись. Обошли какой-то состав, перешли через пути... Гуднул маневровый тепловоз, тащивший один вагон. Встал на площадке, обнесённой колючей проволокой. Ребята притаились за вагоном,

глядели. По периметру площадки стояли солдаты в длинных шинелях, в зимних шапках, с автоматами наизготовку, у некоторых на поводках овчарки. Брякнул засов, отъехала дверь.

— Пошёл!

Человек выпрыгнул, отбежал от вагона и присел на корточки, руки за голову убрал. И второй так же, и третий... Лай собак, выкрики, пар из десятков ртов... Холодное чёрное небо над холодной землей.

— Зеков на рудник привезли,— сказал Седой и скомандовал: — Пошли.

Ребята, стараясь оставаться незамеченными, быстренько уходили от страшного места.

— Внизу, в руднике больше двух месяцев никто не работает,— говорит Седой, когда шли уже по улице.— Или в больницу, или на кладбище...

— Ну, ты дак всё знаешь.

— Люди говорят. Да у меня ж брат сидит.

— А у меня дядька вышел,— кто-то сказал.

По чёрному небу пробежал блик какой-то, и ещё, и замигало, заиграло небо синим, жёлтым, розовым. Мальчишки заворожённо смотрели.

— Сполохи!

— Полярное сияние!

— Вот это да, я никогда раньше не видел...

— А у нас часто...

— Здорово!..

Коля сказал:

— Я в прошлом году в Баренцевом море видел. Море, небо и сияние...

Небо погасло, но парни ещё постояли, покурили... Пошли дальше, поскрипывая первым снежком.

— Как тебя взяли на корабль-то?

— Не хотели. Повезло, там бывший юнга попался...

...— Давай возьмем, нам помощник кочегара нужен,— сказал молодой весёлый парень.

— Ну, ладно,— махнул рукой капитан. И сказал, обращаясь к кадровику треста: — Оформляйте, я беру его.

Потом уже этот матрос, Вовка Девятов, рассказывал:

— В сорок третьем году отец у меня погиб, мне четырнадцать лет было, я старший, ещё трое у матери. Ну, в колхозе работал, конечно. Голодали. А тут в райком комсомола вызывают — набор, мол, в школу юнг. Я и пошёл! Хотелось

ещё и повоевать успеть, за отца отомстить гадам-немцам. Ну, и на море — форма, романтика. Взяли меня и ещё двоих из нашего сельсовета, я ярославский... А школа-то на Соловках была. Там монастырь раньше-то был, потом тюрьма... Вот там. Летом хорошо — ягод полно, а зимой всё метели. Год там учились — ох, гоняли же нас! А бескозырки были не с ленточкой, а с бантиком...

И фотокарточку показывал, на которой, и в самом деле, худенький паренёк в форменке и в бескозырке с бантиком.

— Вот с тех пор я мореман! Повоевать, правда, не успел. На севере в сорок четвёртом война закончилась, ну, правда, подлодки ихние ещё долго шарились, и мин много было... У нас один катер налетел — ничего не осталось!..

Рассказов о войне за месяцы работы на сейнере Коля много наслушался — почти все в команде воевали...

— У меня отец тоже, в сорок третьем... — сказал тогда Девятову.

На Новый год делали праздничный концерт. Девочки из их группы, занимавшиеся в секции гимнастики, показывали упражнения, Колька Шантаренков читал рассказ Чехова «Хамелеон». Потом девушки пели, Коля подыгрывал им на гармошке. А после концерта были танцы.

У Коли прекрасное настроение, звучит радиола, он приглашает Олю Смирнову, потом Галю... Хорошо, что ещё в детдоме научился, преодолел стеснение и научился танцевать. В Тотье, уже понимая, что танцует лучше многих, совсем не стеснялся. И тут тоже сразу показал себя... Да ещё чувствует, понимает как ладно сидят на нем курточка и флотские брюки, как ботинки, тщательно начищенные, блестят... И вспоминает, как танцевал с Таней и как прощался с ней, уезжая в Архангельск...

— Коля, ты о чём думаешь? — спрашивает обиженно очередная партнёрша.

— О законе Ньютона! — неудачно шутит он и ещё больше обижает девушку. И тут начинает стесняться и уже злится на себя...

— Белый танец!

Он отходит к окну, делает вид, что уже натанцевался...

Не сразу, постепенно, выходят на круг пары...

— Николай, можно вас пригласить?

Улыбаясь, на него смотрит их учительница литературы.

Он кивает и берёт её за руку...

— А танцуете вы, Николай, не хуже, чем стихи в стенгазету пишете.

— Лучше!..

Музыка умолкает, и они останавливаются.

— Да, вы хорошо чувствуете музыку... И слово,— добавляет учительница.

— Я не просто чувствую, я этим живу,— вдруг совсем серьёзно отвечает он...

...Из всех преподавателей больше всех понравилась ему учительница литературы: молодая, красивая, увлечённая и увлекающая своим предметом, похожая своей молодостью и увлечённостью на Ольгу Сергеевну из детдома.

— Кем бы вы ни стали в жизни — литература, книги всегда будут с вами,— говорила она на первом уроке.— Ребята, представляете, что было бы, если бы Александр Сергеевич Пушкин не написал об Онегине, Татьяна Лариной, Дубровском, Петруше Гриневе, если бы Лев Толстой не рассказал нам о Наташе Ростовой и Пьере Безухове, если бы не переживали мы судьбу Павки Корчагина?.. Ведь мир наш был бы беднее...

Так говорила эта учительница. И Коле хотелось сделать ей что-то хорошее и показать, что для него не пустой звук имена великих писателей и их героев и что и он — думает, мечтает, мыслит. Он знал, что сочинения у него хорошо получаются, ещё по школе и по «лесному» техникуму. И тут тоже старался.

...Ирина Олеговна читала его сочинение, и даже не верилось ей, что пишет это Коля Рубцов — лопухий, с длинной и тонкой шеей, с хрупким горлышком, а в общем — обычный мальчишка. Да нет, не совсем обычный. Глаза у него — тёмно-карие, цепкие, внимательные, и то озорные искры в них, то вдруг грусть, а когда пишет сочинение в классе, поднимет лицо от тетради, и по глазам видно, что далеко он...

«...Село Никольское, в котором прошло моё детство, стоит на высоком берегу шустрой речки Толшмы. С берега этого далеко видны заречные дали — леса, крыши деревень, поля, просёлочные дороги... Мой друг, что стоит рядом со мной, говорит вдруг: “Всё это мое, всё это я должен понять и вобрать в себя. Когда у тебя есть родина — ты можешь быть строителем, или крестьянином, или поэтом, ты можешь путешествовать по всему миру. Ты знаешь, для чего ты живёшь. Ты живёшь для родины, как и она живёт для тебя”. И я

благодарен моему другу за то, что он выразил словами то, что и я чувствую.

И по тропке, вьющейся в мягкой зелёной траве, мимо пасущихся коней, мы сбегает к нашей реке, скидываем одежду и ныряем в ласковую воду.

Мы долго купаемся, а потом лежим на берегу и смотрим в синее небо, по которому плывут белые, лёгкие, как мысли в этот момент, облака. Посмотришь на воду, а там тоже облака плывут вниз по течению.

И мы мечтаем о том, как по этой реке уплывём к океану.

Так с речки детства начинается для человека океан жизни. А в океане — и шторма бывают, и штиль... Всё бывает.

И настал день, когда я простился с моим другом и со всеми друзьями и подругами детства, с учителями, с жеребёнком нашим, с деревней и уехал далеко.

Продолжается моё плавание по океану жизни. Каким-то оно будет?..»

Ирина Олеговна, недавняя студентка и школьница, только-только ещё начавшая свое «плавание по океану жизни», надолго задумывается над сочинением Коли Рубцова. Как сложится её жизнь? Она ещё не знает. Кем станут все эти ребята — её ученики? Кем станет Коля Рубцов?.. Как-то не представляется он ей человеком, работающим маркшейдером. Вот именно само название специальности — не для него...

Впрочем, всё это посторонние сейчас мысли, отвлекающие от работы. Ирина Олеговна ставит в конце пятерку за содержание, задумывается на мгновение, вставляет синими чернилами пропущенную Рубцовым запятую и за грамотность тоже ставит пятерку...

Послесловие

На береговом откосе, на ветру стоит он над рекой Вологодой, которая впадает в Сухону, а та в Северную Двину, а та в Белое море... Он смотрит на заречный храм, на пристань, от которой ночами, скрытые туманами и временем, отходят неслышимые пароходы и теплоходы...

Навсегда стали эти берега ему родными, и он стал родным этим берегам, лесам, полям и деревням на этих берегах, и городам, и тысячам людей стал он родным, близким, необходимо нужным...

Не зря же написал: «Я уплыву на пароходе... И буду жить в своём пароме». И живёт...

**БАБКА ГОРОШИНА
И ДРУГИЕ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА**

Повесть
(В сокращении)

Глава 1.

**Бабка Саня читает Мишке Варфоломееву лекцию
по истории ВКП(б) и о происхождении человека**

Бабка Саня Титова, прозываемая в деревне Горошиной, в длинном до колен пиджаке, красных шароварах, заправленных в большущие резиновые сапоги, держась за стожар, уминала в недомётанном стогу сено. Стоговала она одна, с помощью приставной лестницы, поэтому, увидев Мишку Новосёлова, вышедшего с топором из леса, обрадовалась.

— Ну-ко, ты, Мишка, окидай мне скуды две остатние копейшки,— сказала она, воодушевляясь.

Мишка не стал возражать. Играючи молодой силой, он в два приёма перекидал наверх сено, и бабка быстро завершила стог.

— Ну, ты и стриптизёрша, бабка Саня! — одобрительно сказал Мишка.

Но бабка не отреагировала.

Почти сразу же тёмная туча накрыла пожню, и на землю обрушился весёлый летний ливень с далёкими раскатами грома.

— Ой, Мишка, вот спасибо тебе, а то не успеть бы. Сгноила бы сено,— радовалась бабка Саня, увлекая Мишку в шалаш, устроенный под старой разлапистой ёлкой.

В шалаше было сухо, пахло сеном и еловой смолой. Здесь бабка Саня отдыхала от трудов и залоговала. На охалке сена лежала белая наволочка, из которой Санька-Горошина извлекла две присолённые скипы хлеба и остатчик водки в заткнутой обрывком газеты «Красный Север» бутылке.

— Ты как Ленин в Разливе,— похвалил её Мишка, устраниваясь на сене.

— Топере я правик,— отвечала довольно бабка Саня.— Топеря я с сеном. На-ко, Мишка, похмелись,— добавила она угодливо, подавая Новосёлову остатчик.

Мишка опять не стал возражать, опрокинул остатчик из горла в горло и понюхал протянутый бабушкой хлеб.

Дождь уже стеною нависал над входом в шалаш. После выпивки мир для Мишки стал уютным и многообещающим. Обоих потянуло на разговор.

— Так чего ты там, Михайло Ворфоломеевич, говорил-то на поэне? — вспомнила бабка Саня, жуя с аппетитом хлебную скипу.

— А говорил: мол, на стриптизёршу похожа.

— Это как, Мишка?

— Да это в городе по ресторанам девки такие вокруг шеста крутятся на потеху...

— Танцуют что ли?

— Радеваются.

— Разоболокаются? А на что?

— На что, на что! Старая ты, бабка. Ни к чему тебе это...

— Нет, уж ты скажи...

— Да вот говорят, есть по городам такие места, где девки голые вокруг шестов крутятся, а мужики им за это деньги кидают...

Бабка Саня примолкла, видимо, пытаясь поставить себя на место этих девок, которые зарабатывают деньги не работая, а только раздеваясь у шеста...

Но Мишка уже сменил тему.

— Голосовала на выборах нынче за кого, спрашиваю?

Бабка Саня насторожилась и отвечала уклончиво:

— Да какие нынче, Мишенька, выборы? Вот раньше были выбора так выбора. Как навезут в магазин товару всякого. Пойдем мы с бабами голосовать да накупим пряников глазурированных да резиновых сапогов... А топеря уж и магазина нет. Вот бы то время вернуть хоть на недельку,— вздохнула бабка Саня.

— Я бы тоже не отказался денёк-другой в вашем времени погостить. Пару фуфаяк купил бы по старой цене...

— Что говорить, прежде товар был — не чета нынешнему. Вон у меня клеёнка на столе ещё при товарище Сталине была, а всё как новая.

Мишка посмотрел на бабушку Саню с сомнением.

— Так ведь Сталин-то, говорят, тиран был... Да и в отношении Ленина большие сомнения,— сказал Мишка.— Ты-то больше знаешь. Пожила...

— Верно, Мишка, знаю. Всё на моих глазах проходило,— согласилась Санька-Горошина. Единственный уцелевший на лесоповале глаз её идейно осветился.— Тятя мой тоже на партийного учился. Правда, на большое правление не попал, до сельсовета только и дослужился: мироедов кулачил. Вот от него я политграмоту и знаю.

Самой главной, Мишка, у них тамо Карс Марс был. Боро-дища экая густущая, чернушная. У него две дочки, говорили, были. Одну Женей звали, а вторую не помню... Уж не Танька ли?

— Я, бабка Саня, в истории не силен,— отвечал Мишка.

— Вот я тебе и говорю: слушай, коли так. У этого Карса Марса и обучались за границей Владимир Ильич Ленин с Осипом Виссарионовичем. Вот они оба два и вышли на большое правление. Уж ни про одного ничего плохого не скажу.

Мишка, лёжа на сене, прислушиваясь к выпитому и рассказываемому одновременно, млея.

— Ленин, скажу тебе, Мишка, тот болел шибко, дак последние два года страной руководил с койки.

— Как это так, с койки? — снова больше для поддержания разговора усомнился Мишка.

— А вот так. Лёжа.

— А Сталин чего?

— А Осип Виссарионович представительный был мужчина. С усами. Он умственно правил, безо всяких там министров и секретарей... Единолично. Ему только Каганович помогал да Ворошилов... И всю-то жизнь он с врагами да шпионами боролся. И Берий был шпион. Окружил, слышишь, Кремль. Хотел Сталина изничтожить. А Сталин вышел на крыльцо и говорит солдатам: «А взять этого врага народа!» Вот Берию и взяли...

— Это я видал по телику,— согласился Мишка.

— А Сталин был друг, учитель и вожжь народа. А топеря вожжей нет, вот и нету управления...

Бабка Саня замолчала. Молчал и Мишка, думая о чём-то своём.

Наконец Мишка очнулся.

— Так ты за кого нонче-то голосовала?

— За кого, за кого,— отвечала раздражённо бабка Саня.— За его лешего, сотону. Знала ведь, что омманет. Вот и омманул.

Опять помолчали.

— Автобус не ходит уж который месяц, магазин закрыли. Куда жаловаться идти, Миша?

— Бесплезняк! — махнул Мишка рукой.

— Нет, в райком надо идти. Это непорядок, — не согласилась бабка Саня.

— Нету, бабка Саня, теперь райкома, ликвидировали давно.

— Тогда в райисполком, — не сдавалась она.

— И райисполкома нету. Тоже ликвидировали.

— Тогда в леспромхоз пойдём. Автобус-то леспромхозовский был.

— Ну, ты даешь, баушка. Про Сталина всё знаешь, а что леспромхоза нет, не знаешь. Продали леспромхоз в Швецию вместе с нашим автобусом. И вместе с тобой.

— Как это со мной? — возмутилась бабка Саня.

— А так. И с тобой, и со мной. Не ты ли в клубе голосовала?

— Дак все голосовали, как сказано было.

— Ну, я и говорю. И ты, и я теперь акционеры общества «Викинг хворост лимитет...»

— Пионеры?

— Тьфу ты, глухая тетеря, — заругался Мишка.

— А ты, Михаил Ворфоломеевич, не слыхал в районе: думают ли там наверху советку власть восстанавливать, либо не стоит и дожидаться. При демократии будем помирать?

— А ты что, за советскую власть? — удивился Мишка. — А чего голосовала супротив?

— А словно, Миша, омморок какой напал. Вот и проголосовала. А по-хорошему-то, гнать надо всех этих политиков поганой метлой. И идти по пути, который завещали наши учителя и вожжи: Карс Марс и Финдрих Энгельс, — подытожила бабка.

Мишка посмотрел на неё уважительно.

— А вот ты мне скажи, Ивановна, — заговорил доверительно Мишка. — Ты про теорию Дарвина слыхала, что человек от обезьяны произошёл?.. А теперь под сомнение и Дарвина поставили. Ты-то как думаешь?

Мишкин вопрос нисколько не смутил бабку Саню. Она строго глянула на Мишку всё тем же единственным уцелевшим на лесоповале глазом.

— А я так думаю, Михайло Варфоломеевич. Это дело надо было ещё нашим советским ученым решить. Вот, скажем, Са-

харову. Какой большой ученой был: водородну бомбу сладил. А здесь недоглядел. Вот ему, Сахарову, и надо было взять простого советского целовека и осеменить облизыню...

— Ну, ты экспериментатор! — захохотал Мишка. — Эко, куда загнула. Обезьяну осеменить... Это ж кто согласится?

— Дурак! Осеменить искусственно, я говорю, Мишка. Взять сима и осеменить.

— Ну, ежели только сима, — согласился Мишка.

— И посмотреть: получится чего либо ничего не получится. А ужели получится, то посмотреть, какое у него будет обличье. То ли облизыня, то ли человець? Тогда, может, и откроется загадка...

— А ты-то сама как думаешь? Откуда произошли все мы, человеки, если не от обезьяны? — спросил Мишка, напряжён-но морща лоб.

— Я вот чего кумеаю, Михаил Варфоломеевич. Вот, скажем, мы, труженики. Мы произошли из земли. Из земного праха. А вот поэты всякие, генералы, начальство большое — эти, может, произошли от Адамы и Ева... А вот брокеты, пьсьдесмены и хермеры разные, воры да жульё — эти точно от облизыны... — Бабка Саня подумала. — И ещё эти самые... Как ты сказал?

— Стриптизёрши...

— И стриптизёрши, Мишка, твои тоже от облизыны...

Бабкина теория настолько поразила Мишку, что у него отвалилась челюсть. И бабка Саня, довольная произведённым эффектом, мелконько засмеялась. Но Мишка, увлечённый столь стройной теорией происхождения человека, не унимался.

— А вот Васька Гусаков, этот от кого произошёл?

— Этот-то? Мало что от облизыны, так он ещё, я смеаю, шпион.

— Шпион? — дёрнулся Мишка. — Ну, ты и загигать, бабка Саня. Чего тут у нас шпионам делать? Да и какой разведки?

— Шпион, Мишка, шпион. Ты про пришьельцев-то слышал? — бабка Саня перешла на шёпот. — Только я косить на пожни соберусь, так он тут же корзинку на руку повесит — и за мной в лес. Там всяко у него рация. Вот он информацию передаст пришьельцам, те хренакнут на нас водородну бомбу... Вот она и льёт, и льёт... Эвон дождина опять какой хлещет. Так у нас всё сено и погниёт...

— Так ведь он и сам без сена сидит, — покачал Мишка головой, усомнившись в бабкином открытии.

— Так ему что, ежели он у пришельцев на содержании! Видел, какие штаны ему из-за границы прислали? Все в медных заклёпках. Гаманитарная помощь, сказывал. Тебе вон не пошлют, Мишка... И мне не пошлют.

— Не пошлют,— задумчиво согласился Мишка.

— То-то и оно.

...Дождь так же неожиданно, как и начался, кончился. Промытый небесной водой мир сиял на солнце мириадами живых алмазов.

Мишка с Санькой-Горошиной вылезли на волю и остановились, зачарованные.

— Ты, Мишка, куда это с топором направился? — спросила деловито бабка Саня, вдыхая с наслаждением ароматы речной долины.

— Жерди фермеру рубить,— отвечал Мишка.— Да чего-то вот расхотелось. Может, завтра пойду, а может, и не пойду.

— Верно, Мишка, нечего на мироеда горбатиться.

Они ещё постояли немножко.

— Ну, пошли коли так домой,— скомандовала бабка.

Они вышли на дорогу. Хороша, однако, была эта парочка. Мишка — с топором, высокий и тощий, и рядом крохотная бабка Саня в пиджаке до колен, с вилами и граблями на плече.

— Чего, Мишка, молчишь? Запевай, давай!

— Нашла Киркорова,— недовольно буркнул Мишка.— Тебе охота, так пой.

Бабку Саню не надо было упрашивать. Она выровняла шаг и бодро затянула:

*Дан приказ ему на запад,
Ей в другую сторону.
Уходили добровольцы
На гражданскую войну...*

...Речная долина парила. Ласточки, устроившие в береговой осыпи колонию, носились в лазурной вышине с весёлым гомоном, вылавливая в поднебесье насекомых, поднятых от земли восходящими потоками.

И в это время в стороне Медвежьего болота родилось среди ясного неба какое-то необыкновенное зеленоватое свечение, а вслед за этим до слуха наших героев долетел протяжный глухой гул, будто где-то там, на болоте, грузили гигантские камни.

— Свят, свят,— испуганно перекрестилась бабка Саня.— Гли-ко ты, Мишка, чего над Медвежьим болотом деется! Не

дай бог, светопереставленье! Придется помирать, не дождавшись пензии. А мне сулили сотенку набавить...

Мишка снисходительно остановил бабку Горошину.

— Молчи знай, не каркай! Это опять как-нибудьную уразину в космос шарахнули. На каждой их чих не наздравствуешься.

— Верно, Мишенька, верно. Уж больно все пугают планетянами-то.

— Инопланетянами,— поправил Мишка.

— Сказывали, что видели их будто бы в Харовском районе. Села этакая то ли тарелка, то ли блюдо. Будто бы вышли из неё длиннорукие мужики. Будто бы оне одну бабу словили — она, сказывают, из магазина шла — да будто бы робёночка ей ищо сделали. Дак топерь и бабу ту, и робёночка в институт забрали, где учёные за ними приглядывают...

— Не боись, бабка Саня, всяко ни я, ни ты не нужны им. Ты старая, я безработный. Меня поймай, так кормить, поить надобно...

Бабка Саня успокоилась.

Когда-то здесь по реке были обширные монастырские огороды. От реки к искусственным озёрам были устроены перекосы, по которым рыба заходила весной в озёра на нерест. Отнерестившуюся рыбу монахи ловили у запоров в большом количестве и отвозили на ледники. Теперь нечищенные перекосы заросли. Огороды стали деревенскими сенокосами.

На заливных лугах поднималось медовое буйство трав, от запаха которых кружилась голова и радостно билось сердце. Долина гудела от пчёл и земляных шмелей, тяжело нагруженных сладкими взятками.

А над всем этим счастливым миром, промытым дождём, высоко в небе кружил ворон, похожий на маленький чёрный крестик. Ему, наверное, оттуда далеко и широко видна была наша грешная, измученная неустройством и небрежением, и всё же прекрасная земля с её медоносными лугами, шатровыми борами, багряными от клюквы и брусники болотами, звонкими харьюзовыми реками.

...Говорят, что вороны живут до трёхсот лет. Какие события проходили здесь под приглядом этой вещей чёрной птицы? Может быть, видела она со своей высоты царя Петра, обедающего со свитой на речном берегу стерляжьей ухой, может, видела деревянные кочи русских мореходов, отправляющихся в рисковый путь по студёным морям к загадочным

берегам страны Аляски. Или, может, видела этапы раскулаченных крестьян, гонимых в тайгу в наспех сколоченные бараки.

— Кру-ук,— отмечает в поднебесье быстротечное время ворон. Внизу, под крутым берегом, перебирает замшелые камни река. Нет-нет, протаранит льдина весной береговую кручу, и падут на дно, отбелятся рекой и песком то бивни мамонта или шерстистого носорога, то ещё чьи-то горемычные кости. А то выплеснет на берег волна диковинный камешек с дырочкой посредине — амулет древнего человека, некогда обитавшего в этих краях и в этих лесах, где нынче аукаются отпускники-грибники, на этих лугах, где ставят сенокос из последних сил последние деревенские старики.

Глава 2.

Как бабка Саня олигархом была

Вообще-то бабка Саня-Горошина была самой обыкновенной одинокой старушкой, каких у нас на Севере, слава богу, пока ещё что волнушек по березнякам.

Как и весь деревенский люд, носила она резиновые сапоги летами, зимами катаники с калошами и круглый год «ватну куфайку» — «полущубок стёганой», спала на печи, питалась скудно. Чтобы зимой не голодомориться, садила она пластину картошки, пластушину капусты, пару гряд моркови и лука. Что ни лето страдала в комарином и оводовом аду на сенокосе, несла повинность на пастьбе: корова с телёнком, стадо овец, коза Маля с козликком Яшкой... Надо поробить, чтобы такую артель содержать...

Тащит она, бывало, из последних сил с подгорья на коромысле воду и революционные песни распевает:

*Помнят польские паны,
Помнят псы атаманы
Конармейские наши штыки...*

Правда, росточком Александра Титова не вышла, а вот характер Бог дал ей боевой и упорный. Вот и упирается всю жизнь без выходных и проходных, без отпусков и праздников...

До того как на пенсию выйти, работала бабка Саня сучкорубом в лесу. Должность тяжёлая, но и денежная. Хватило бы ей, одинокой, на хлеб с маслом. Но как без скотины-то?

Без бычка да коровки и дом сирота, тем более барак казённый. Скособоченный дворик за бараком и делал бабку Саню человеком с положением и даже со сберкнижкой, на которой нашли прописку более сорока быков, не считая мелкой скотинки, сданных Александрой Титовой государству. Не бабка Саня-Горошина, а настоящий олигарх советских времён... Бабкиных денег хватило бы купить не какую-нибудь «Волгу», предел мечтаний восьмидесятых, а целый таксопарк...

А уж про быков, каких откармливала бабка Саня, всей округе известно. Как-то один мужик в магазине хвалил:

— Пока папиросу раскуривал, Санькин бык ведро пойла опистонил, пока докуривал — второе опорожнил...

Кому не лестно такие похвальные речи слушать! Однако не каждый такую похвальную речь от чистого сердца скажет. Другой и чёрную зависть под рубахой затаит. Комбедовские настроения в деревне и по сю пору сильны. Да и Владимир Ильич Ленин, видимо, прав был, опасаясь, что мелкобуржуазная стихия крестьянства будет ежечасно, ежедневно рождать капитализм.

Хотя, на первый взгляд, капитализмом в деревне Конеч пока и не пахло. Сучкоруб Титова наёмной силой не пользовалась, а горбатилась самолично. И всё же некоторые сельчане этот самый загиб в действиях гражданки Титовой, природной беднячки, усмотрели.

Помните, с чего начинал Михаил Сергеевич Горбачёв? Ага! С борьбы с нетрудовыми доходами.

К тому времени приспела Александре Титовой пора выходить на пенсию. А без работы ей день — чернее ночи. Устроилась она на лёгкую — ассенизатором в своей же деревне от леспромхоза. Дали ей полставки жалованья, бочку с черпаком, сивого мерина в подчиненье да все выгребные ямы в веденье.

И стала она трудиться на этом поприще истово, как умела.

Черпает «ночное золото» да на ближайшие покосы возит. Бочку соседям — да две себе. Как русскому человеку положением не попользоваться? Своя рубаха-то, она ближе к телу.

И попёрла по всей округе на покосах трава, а у самой Титовой не трава, а травница. Раз косой махнёшь — и копна. А сено такое, что не надышишься — чистый мёд.

Вот и стало завидно некоторым гражданам. Сочинили заявление насчёт нетрудовых доходов, пошла бумага в район, там ей ход дали, комиссия с разбирательством приехала. Проверила досконально и сивого мерина, и бочку с черпаком, и наличие «ночного золота» в выгребных ямах, и покосы...

Факты были налицо: трава на титовских покосах стояла стеной и прочую траву в окрестностях превосходила.

Так Александру Титову, носительницу революционной памяти, раскулачили первый раз. На самой заре перестройки. Мерина угнали на колбасу, содержание сняли. С той поры выгребные ямы в деревне не чистились, а окрестные сенокосы стали год от года хиреть.

Года не прошло, как подкатила к квартире бабки Сани новая волна раскулачивания. Приехала из района опять же выездная сессия районного суда разбирать дело гражданки Титовой, «допускавшей факты кормления продуктами хлебопечения крупно-рогатого скота».

Народу набилось в старый, давно уже не работавший клуб видимо-невидимо. Гражданка Титова топталась перед судебским столом в новых, ещё необмятых катаниках с калошами, почти неношеной плюшевой жакетке, доставшейся ей ещё от матери.

— Так вы признаёте изложенные выше факты? — грозно спрашивал её прокурор.

Бабка растерянно стояла перед судебством, ещё не понимая до конца, что судят здесь не кого-нибудь, а именно её, гражданку Титову.

— Скотину хлебом, спрашивают, кормила? — весело подсажали из зала.

— Так как же, чудак-человек, — обращаясь к прокурору, удивилась бабка Саня. — Ты сам-то разве к бычку без корочки пойдешь?

Учитывая чистосердечное признание, дали гражданке Титовой пятьсот рублей штрафа, который, впрочем, финансового положения подсудимой не пошатнул.

А деревня? А что деревня! Как кормила скотину хлебом, так и продолжала кормить. А чем же ещё скотину кормить? Не пирогами же?

Но скоро уж и демократические перемены подкатили. По деревням заговорили, что за дело в стране взялись тимуровцы. А раз так, то жди, что старухам старым и дров навозят, и расколют, и в поленицы уложат.

И верно, приезжают из районного собеса специально к бабкам в деревню пенсию вручать. Прибтели бабки в старый клуб, а там... радость великая. За все труды их тяжкие доброе правительство такие пенсии отвалило, что и не высказать. Получали какие-то рубли жалкие, а теперь даже не сотни, а тысячи!

Загудели радостно. Кто дом собрался подрубать, кто двор ставить, кто баню... С такими деньгами как теперь не жить! Понесли тысячи свои жалованные по домам — кто в чулок прятать, кто в матрац, кто за божницу...

Через три дня приехала в деревню автолавка... Кинулись наши богатейки за продуктами — и ничего в толк взять не могут. Цены-то такие, что глаза на лоб лезут. Пошли назад по домам: может быть, по радио чего скажут, может, ошибка какая вышла...

Включили приёмники, а там и слова по-русски не услышишь: приватизация, ваучеризация, инфляция да консенсус...

Короче говоря, одномоментно раскулачили всех бабок деревни Конец. И нашу ударницу Александру Титову, по прозвищу Санька-Горошина.

Она одна дольше всех упирается. Скот растит, государству сдаёт, хотя и государства того давно уже нет, а бычков, что на её сберкнижке паслись, давно уже пасёт кто-то другой, кто оказался проворнее Саньки-Горошины.

Глава 3. Страда сенокосная

Лёха точно помнил, что с вечера в пол-литре у него остался одёнок граммов на сто пятьдесят. Он проснулся с рассветом на полу своей конуры, не понимая: жив он ещё или уже умер... В груди стоял могильный холод, словно там давно уже всё остановилось, опередив теплившееся ещё сознание.

Он попытался пошевелить рукой, рука бесчувственно повиновалась. Живой! Теперь остатки его жизни зависели от того, как скоро найдёт он, и найдёт ли, одёнок. Замирая сердцем, Лёха пощупал карман фуфайки. Здесь! В груди его потеплело чуть. Нужно было ещё заглотить махом остаток и удержать в себе, чтобы не вырвало. И ждать, когда внутри загорится огонь, побежит по жилам, толкнёт сердце, просветлит голову...

Лёха вытащил из кармана пол-литру — и похолодел от тревожных предчувствий. Карман фуфайки был влажным, а бутылка слишком легка. Так и есть, водка вытекла ночью через свёрнутую из «Красного Севера» пробку. Леденящий смертный ужас пополз по ногам Лёхи, снова захватывая тело и грудь. Голова его глухо стукнулась о грязные доски пола.

Он очнулся от нестерпимой жажды. Внутри на этот раз палило адским огнём. Лёха попытался встать, но его бросило

на стенку и снова на пол. Сердце подкатило к самому горлу и, казалось, вот-вот вырвется наружу.

Он переждал и толкнул дверь: утренняя прохлада, наполненная ароматами лугов, ворвалась в его убогую каморку. Лёха с трудом вывалился на улицу. Мир радовался утру и солнцу. Речная долина звенела птичьими хорами, травы сверкали бриллиантовыми россыпями, туманились низины. Лёха пополз к реке, сдерживая рвущееся из груди сердце, оставляя на росном лугу тёмный след. Потом, припав по-звериному, долго пил на приплеске пахнущую тиной воду, медленно оживая.

Лёха уже месяц сенокосил на этих заливных лугах, некогда давших славу вологодскому маслу. Раньше луга принадлежали крупному совхозу, и в страдную пору здесь было тесно от тракторов. Потом совхоз развалился, луга перешли в пользование местного населения и выкашивалась едва ли на треть. Густые, сочные травы уходили под снег, луга зарастали, заболачивались. Уже о вологодском масле и не вспоминали.

Клубилась вокруг Лёхи роем деревенская неработь да опойки. Сами-то они давно потеряли доверие у стариков, единственного на деревне платёжеспособного населения. Едет Лёха за сеном — вокруг его трактора человек пять тусуются. Кто вицей со стога снег сбивает, кто трос заводит, кто отмашку даёт. Вроде как все при деле, и стакан литошный заработан.

После стакана Лёху славить начинают. А доброе слово и кошке приятно. Вывернет Лёха из кармана последнюю копейку: «За компанию, говорят, и колобок удавился. Гуляй, народ!» Всех Лёхиных трудов достало только на водку. Закусь — мануфактурная: рукавом. Вчера снова пили до умопомрачения. Неработь кой-как до дому убралась, а Лёха в покосной будке, словно бомж, всё лето на полу вальком.

...Сегодня нужно было косить бабке Сане-Горошине. Полета она на луга бегают, Лёху тормозит: успеть бы до осенних дождей траву свалить, высушить да состоговать. Не на кого ей, старой, опереться, не к кому головушку пришатить. Всё одна, всё одна... Сена не будет — надо козу со двора сводить, а без молока в деревне зимой голодомористо.

Лёха с трудом поднялся на ноги, отдышался и побрёл к будке. За ней горемыкой стоял Лёхин трактор с распахнутыми дверцами и спущенным колесом. Преодолевая разгулявшееся в груди сердце, Лёха долго рвал верёвку пускатча, наконец луга огласились радостным треском мотора, и по низинам

поплыл сизый солярный дым. Пока накачивалось от компрессора колесо, отдыхал. Залез в кабину и снова долго переводил дыхание...

Когда в лугах появилась праздничная бабка Саня в малопошленном мужском пиджаке, доходившем ей почти до колен, красных шароварах, белом платке, с большим еловым батогом в руке и наволочкой за спиной вместо мешка, Лёха скосил уже половину бабкиного надела.

Бабка Саня пощупала траву в валке и встала на краю покоса, поджидая трактор. У Лёхи вновь расходилось сердце.

— Есть чего в мешке-то? — кинул он взгляд, подрулив, на бабкину наволочку.

— Есть, есть, кормилец. Не тужи. Весной ещё брала на рынке у грузинских мужиков. У тех хошь она подешевле. Вот и берегла для тебя, — радостно заговорила бабка, суетливо снимая и развязывая наволочку.

...Унимая внутреннюю дрожь, Лёха опрокинул махом стакан вонючей маслянистой жидкости из бабкиной пол-литры, понюхал протянутый хлеб, долго сидел без движения, тревожно прислушиваясь к себе.

— Езжай, езжай, кормилец, — торопила его бабка. — Докошишь, так ищо выпьешь.

Лёха пустил по покосу трактор, застрекотала косилка, трава покорно падала в валок, и сердце старой крестьянки ликовало. Но что-то в один миг в этом мире переменялось. Она подняла голову и увидела, что трактор потерял управление и едет сам по себе в сторону реки. Вот он взбежал на пригорок, накренился, и из открытой дверцы тяжело вывалилось уже холодеющее Лёхино тело.

Жаркое солнце выкатилось из-за леса, и задымились маревом росные некошенные луга...

Глава 4. Последний приют бабки Горошины

Всему в этой жизни свой срок. Железо и то ломается от усталости, не только человек. А бабке Сане Горошине на восьмой десяток круто повернуло. Из них двадцать в колхозе на свинарнике, двадцать в лесу сучкорубом, да все шестьдесят на своём подворье. Сорок семь быков выращено этими вот болезнью скрюченными руками, выращено и государству «сдадено» считай что безвозмездно. Бычки те на сберкнижке

прописаны были. Кто и где сейчас этих бычков пасёт, неведомо бабке. Санькиных сбережений теперь и на похороны не хватит.

Всю прошлую зиму Александре Титовой недужилось. Воды с колодца на коромысле натаскать — испытание, сена с подгорья в корыте привезти — мука.

— Задний мост у меня полетел, а запчастей не наделано! — жаловалась она соседям. По утрам всё реже и реже курчавился дымок над её избушкой, а к февралю и вовсе перестала бабка смогать невеликим своим хозяйством управлять, слегла.

Лежит бабка Саня в холодной постели своей, прежнюю жизнь поминает. Худого-то и не помнится. Вроде только хорошее на ум падает.

Быки поминаются. Таких быков, как у неё, ни у кого в округе не бывало. Не быки, слоны чистые. Сам председатель колхоза Жданов, куда бабка быков сдавала, приезжал в деревню и признавал бабкино первенство.

Кому не лестно? В полукомоднике у бабки ещё и грамота почётная от колхоза «За большие трудовые достижения в области производства сельскохозяйственной продукции». Было пороблено! В глаза людям не стыдно поглядеть...

Закружилась у бабки голова от добрых мыслей. Только забылась во сне, как слышит, на коридоре ведра пустые загрохотали, притвор дверной стукнул.

Васька вражина, рожка «хермерская» на пороге проявился. Глазами по углам зыркает.

— Кой леший принес! — буркнула бабка. — Никто и не звал...

— Ты это, не дури... — сказал строго Васька. — «Супцю» вот тебе принёс с баранинкой. Да молока поллитровку. Давай, поправляйся.

Не один месяц vyhаживал Васька-«Хермер» врага своего классового. Обряжал козу Мальку с козлом Яшенькой, печку топил, «супцю» варил, бегал на телефон, хлопотал перед собесом о бабкиной судьбе. К зиме дело обрешилось-таки. Дали бабке Сане направление в дом престарелых. Куда ещё с таким «мостом задним» бабке деваться? Всплакнула.

— Ты уж, Василей Иванович, меня прости. Я тебе за доброту свою Мальку с Яшкой отдам и всё свое именьё подпишу.

День-деньской собиралась бабка в неведомый дом престарелых. Ночь не спала, паковала чемоданы. Один чемодан у

неё деревянный был, в тридцатые годы на заказ сделанный, другой — новомодный, фибровый, при Сталине в пятидесятые брат.

В один чемодан загрузила бабка выходные платья свои, жакетку плюшевую, калоши и катаники, фуфайку. В другой, деревянный, — серп, две новые ненасаженные лопаты, молоток, коробку с гвоздями, клещи, лопатку для точки кос, двадцать пар двойных рабочих рукавиц металлургических. Отдельно увязала косы, грабли и вилы.

Утром она уже сидела с чемоданами на крыльце, ожидая из района машину. Скоро пришёл Василий, оглядел бабкино имущество и чуть не заплакал.

— Оставь этот инструмент, баушка. Отработала ты своё.

— Нет, — решительно оборвала его Александра. — Не возьмут — так и я не поеду. Чего я там делать-то стану? Мне такая богадельня без надобности...

Подлетел к дому уазик. Два сноровистых мужика выскочили на волю.

— Титова? Александра Ивановна? — развернул один из них бумаги. — Собирайся.

Бабка ухватила за чемоданы.

— Ничего брать не надо, — строго остановили её мужики. — Документы и всё, что на себе. Едем!

...Через месяц в деревню на имя Василия Гусакова пришло письмо из дома престарелых.

«Уважаемый Василий Иванович! Не держи на меня, дуру старую, зла. Пропиши, как там живёт Яшенька, да ежели путь выпадет, завези мне косу да тяпку. Я летом хошь картошку обваливать стану».

Глава 5. Ночь светла

Ну, вот и ещё одна зима пришла в деревню Конец. Суровая, малоснежная, студёная.

Мишка проснулся затемно. Печь была чуть тёплой, в избе выстыло, и окно покрылось толстой шубой инея. Только вверху оставался чистым островок, в который заглядывала утренняя звезда и колюче подтыкала лежебока: «Что, Мишка? Понял, почём фунт лиха?»

На душе у Мишки и без того студёно. В доме ни есть, ни пить. Последняя картошка в мешке под лавкой замёрзла.

Осенние заготовки — ягоды да грибы — выменяны на вино ещё до Нового года у кооператоров: ведро уходило за бутылку. Зарплаты в леспромхозе не давали уже с год. Перед праздниками Мишка уволился, продал Федору Гусакову, разбогатевшему на торговле с Китаем и переселившемуся на Тот Угор, купленный ещё до реформ с больших денег телевизор и отправился к сестре в Питер подкормиться.

Но сестра сама сидела без работы. Мужик у неё уже с год как ушёл в магазин, да так и пропал без вести. Жила она с ребятишками на пособие: хлеб и тот не каждый день. Так что Мишке в Питере сытой жизни не выгорело, только зазря деньги прокатал да картошку заморозил. Да хуже того, на вокзале вытащили у него паспорт и трудовую, и стал Мишка без пяти минут бомжом, хорошо, что ещё крыша над головой осталась. Но и та не своя, леспромхозовская. Выгонят за неплату — хоть землянку в лесу рой.

— Эх, жизнь бекова,— вздохнул Мишка и стал думать, как выкрутиться из положения.— Надо поставить верши на реке. Налим на нерест пойдёт — уши наварю,— решил он и пошевелил ногой под рваным одеялом. Стужа тут же поползла по телу. Мишка замер, снова набирая тепло, и стал сладко думать о том, что хорошо было бы поставить ещё петли на зайца. Зайчатину можно выменять на хлеб и картошку, хорошо бы ещё и капустой квашеной разжиться. Так, глядишь, и протянет до весны, а там уж рыба пойдёт, потом грибы, на огороде чего-нибудь да нарастёт...

От этих добрых мыслей стужа на душе стала постепенно истаивать, и даже чувство голода притупилось.

Тут очнулось на стенке давно молчавшее радио. Захрипело, затрещало и сказала медовым голосом дикторши:

— Говорит радио России! С Новым годом вас, дорогие друзья! С новым счастьем!

— Ни хрена себе! — поразился Мишка.— Видать, ветром провода разомкнуло на линии.

Радио замолчало вновь. Но Мишка теперь радостно напрыгся и стал ждать нового сеанса радиосвязи с миром. Прошло в ожидании минут пять, и вновь, потрещав, динамик заговорил.

Та же дикторша, сменив тон, сказала:

— А теперь перейдем к новостям криминальным. Как стало известно из достоверных источников, вчера из Санкт-Петербурга в Финляндию был угнан пассажирский самолёт с сорока пассажирами на борту. Ведётся следствие.

«В Финляндии, наверно, хорошо»,— подумал Мишка, насколько не возмущившись очередным террористическим актом.

Финны работали у них в леспромхозе на своей технике. Все упитанные, под два метра, комбинезончики на них — хоть под венец. Только вот пить не умеют, с одной пол-литры в «аут» уходят.

Мишка пил с ними, когда на пилораме работал. Финны хвастали, что у них безработные лучше наших бизнесменов живут. На одно пособие можно «тачку» купить поддержанную.

— В Финляндии я бы жил как король,— сказал сам себе Мишка гордо.

— Известна фамилия угонщика,— продолжала дикторша обзор неспражничных новостей.— Это тридцатилетний безработный Михаил Варфоломеевич Новосёлов, уроженец деревни Конец Вологодской области.

На этом радио вновь умолкло. Мишка лежал на печи, словно поражённый громом. Страх сковал всё его тело.

— Да ведь это про меня говорят. Это я самолёт угнал! — ужаснулся он.— Что топеря со мной сделают?

Он подумал, что из района сразу после такого сообщения вышлют наряд и верняком загребут его на нары. А потом кто будет разбираться: угонял ты самолёт или нет, когда вот он ты, Михаил Варфоломеевич из деревни Конец, собственной персоной!

— Бежать надо! В леса! — твердо сказал Мишка и решительно спустил ноги с печи в избяную настуду.

Деревня была темна. Он сторожко прошёл улицей и свернул к крайнему подъезду барака, где пустовала квартира после отъезда бабки Сани-Горошины. Двери не были заперты. Мишка шагнул вовнутрь, забрякал в темноте пустыми вёдрами.

— Кто? — скрипуче, но громко и строго спросили Мишку.— По кой лешой несёт?

Мишка вздрогнул. Голос был бабки Сани. Он попятился было в страхе к дверям, но одумался и взял себя в руки.

— Ты что ли, бабка Саня? — выдал он из пересохшего враз горла.

— Я, Мишка, я,— ответствовали ему с печи.— Ну-ко, вздуй лампу карасиновую. Лепестрическая у меня ищо в прошлом годе перегорела.

Мишка пошарил в штанах спички, запалил фитиль.

Бабка Саня сидела на печи в полушубке, валенках, на голове у неё была надета шапка-ушанка с распущенными ушами, перетянутая для тепла алюминиевой проволокой.

И странно: из-за спины бабки сверкали недобро большие глаза-лупыши, слышалось надсадное сопение.

Мишка поднял лампу и чуть не выронил её на пол. На печи рядом с бабушкой Саней сидел самый настоящий чёрт. С рогами, бородой, копытами...

Мишка попятился и левой рукой начал неумело осенять себя крестом:

— Чур, меня, чур,— прошептал он еле слышно.— Богородица дева Мария, владычица милосердная, спаси меня грешного.

— Ты чего это, Мишка, крестишься? Никак пьяной из-утра? — спросила строго с печи Санька.— Ишь, как у меня ребёнка испугал.— И обернулась назад к рогатому, приговаривая: — Не пужайся, Борис Яковлевич. Вот мы Мишку-то сейчас ухватом потурим из избы. Пошто пьяной ходит, народ смущает.

— Ну, ты, бабушка, даешь! — наконец, выдохнул Мишка.— Откуда ты взялась здесь, пошто козла на печь затащила? Уж я думал — сам чёрт к тебе посватался.

— Молчи, пустой! — махнула бабушка рукой.— Убегла я, Мишка, из богадельни. Не климатит. И Бореньку у Василья забрала. Только вот кабинет у Бореньки совсем худой стал. Студёно.

— Чего ты бредишь! Какой ищо кабинет?

— Сам дурак! — огрызнулась с печи бабушка.— У меня козел, смотри, не простой. Из ума сложен, и выходка чисто генеральская. Ему бы не козлом родиться, дак, может бы, страной управлял. Вот я и говорю, что двор у меня весь на подпорках. Подрубать надо, а и средств нету. Я бы тебя подрядила, так всяко дорого возьмешь.

Мишка оживился. Разговор принимал для него положительный ход.

— Ты, бабушка, вот чего. Двор я тебе весной вычину. А ты мне задаток дай. У тебя в яме всяко и картошка, и капуста осталась. Морковь опять жо,— скороговоркой выпалил Мишка.— Лады?

Бабушка на печи задумалась.

— А ты, Мишка, пошто же это ероплан за границу угнал?

— Не угонял я! — Мишка вздрогнул, словно током ударило.

— По радику здря не скажут. А тут специальное сообщение было. Мол, Мишка Новосёлов из Выселок...— сказала бабушка Саня убеждённо.

Мишка сник.

— Вот что я скажу: жениться тебе, Мишка, надо,— подытожила бабка Саня беседу.— Сёдни ночью сон мне был... Вещой. Будто женился ты на моей козе Мале. Украли-то которую летось... В сельсовете расписывались. Будто она — девица красная. Платье белое, фата. Только вот по рожкам и узнала Мालю-то...

— Тыфу ты, старая! — плюнул Мишка.— Плетёшь тут...

— Ладно. Вон ключ на стенке, полезай в погреб, накладывай картошки, да смотри всю не унеси.— Бабка обняла сопевшего рядом козла за шею.— Вот робёнок-то мой самолучший. Он картошечку у меня только чищеную да резаную ест. Он с ошолушками не будет. Благородной. Ему бы не козлом родитча!

...Солнце ещё не встало, а Мишка уже был на Барсучьем бору. Там, километрах в трёх от деревни, стоял пустующий домик серогонов. Мишка сделал ещё ходку до деревни, притащил рыбацкие снасти и, вернувшись назад, замёл еловым лапником свои следы.

Теперь он чувствовал себя в безопасности, затопил жаркую буржуйку, наварил картошки, с аппетитом поел.

Солнце стояло уже высоко, когда он отправился к речке ставить верши. С высокого берега открывалась неопиcуемая красота лесной речки, укрытой снегами. Мишка долго стоял, как зачарованный, любуясь искрящимся зимним миром. На противоположной стороне речки, на крутом берегу стояла заснеженная, рубленая в два этажа из отборного леса дача бывшего директора леспромхоза, а ныне крутого бизнесмена-лесопромышленника. Окна её украшала витиеватая резьба, внизу у реки прилепилась просторная баня. Дача была ещё не обжита. Когда Мишка уезжал в Питер, мастера из города сооружали камин в горнице, занимались отделкой комнат. Теперь тут никого не было. И Мишка даже подумал, что хорошо бы ему пожить на этой даче до весны. Всё равно, пока не сойдёт снег, хозяевам сюда не пробраться. Но тут же испугался этой мысли, вспомнив, что за ним должна охотиться милиция.

Он спустился к речке, прорубил топором лёд поперек русла, забил прорубь еловым лапником так, чтобы рыба могла пройти только в одном месте, и вырубил широкую полынью под вершу.

Скоро он уже закончил свою работу и пошёл в избушку отдохнуть от трудов. Избушка была маленькой, тесной. Но был в ней особый лесной уют. Мишка набросал на нары лапника и завалился во всей одежде на пахучую смолистую подстилку, радуясь обрётённому наконец покою.

Проснулся Мишка от странных звуков, наполнивших лес. Казалось, в Барсучьем бору высадился десант инопланетян, производящих невероятные, грохочущие, сотрясающие столетние сосны звуки. Мишка свалился с нар, шагнул за двери избушки.

— Путана, путана, путана! — гремело и завывало в бору. — Ночная бабочка, но кто ж тут виноват?

Музыка доносилась со стороны речки. Мишка осторожно пошёл к берегу. У директорской дачи стояли машины, из труб поднимались к небу густые дымы, топилась баня, хлопали двери, на всю катушку гремела музыка, то и дело доносился залиvistый девичий смех.

У Мишки тревожно забилось сердце. Он спрятался за кустами и, сдерживая подступившее к горлу волнение, стал наблюдать за происходящим...

Он видел, как к бане спустилась весёлая компания. Впереди грузно шёл директор их леспромхоза, следом, оступаясь с пробитой тропы в снег и взвизгивая, шли три длинноногие девицы, за ними ещё какие-то крупные, породистые мужики. Скоро баня запыхала паром.

Изнутри её доносилось аханье каменки, приглушённый смех и стенания.

Наконец распахнулись двери предбанника, и на чистый, девственный снег вывалилась нагишом вся развесёлая компания. Мишкин директор, тряся отвислым животом, словно кабан, пробивал своим распаренным розовым телом пушистый снег, увлекая компанию к речке, прямо в полынью, где стояла Мишкина верша.

Три обнажённые девицы оказались на льду, как раз напротив Мишкиной ухоронки. Казалось, протяни руку и достанешь каждую.

От этой близости и вида обнажённых девичьих тел у Мишки, жившего поневоле в суровом воздержании, закружилась голова, а лицо запылало нестерпимым жаром стыда и неизведанной запретной страсти.

Словно пьяный, он встал, и, шатаясь, пошёл к своему убогому пристанищу. А сзади дразнил и манил волнующе девичий смех и радостное повизгивание...

В избушке смолокуров он снова затопил печь, напился чаю с брусничным листом и лег на нары ничком, горестно вздыхая по своей беспутной, никчёмной жизни, которая теперь, после утреннего заявления по радио, и вовсе стала лишена всякого смысла.

Мишка рано остался без родителей. Мать утонула на сплав, отец записался. Сказывают, что у самогонного аппарата не тот змеевик был поставлен. Надо было из нержавеющей, а Варфоломей поставил медный. Оттого самогонка получилась ядовитая.

Никто в этой жизни Мишку не любил. После ремесленного гулял он с девицей и даже целовался, а как ушёл в армию, так тут же любовь его выскочила замуж за приезжего с Закарпатья шабашника и укатила с ним навсегда.

А после армии была работа в лесу да пьянка в выходные. Парень он был видный и добрый, а вот девиц рядом не случилось, остались в Выселках одни парни, девки все по городам разъехались. Тут поневоле запьёшь! Уж лучше бы ему родиться бабки Саниным козлом! Сидел бы себе на печи да картошку чищеную ел. Ишь, в кабинете ему студёно!

Мишке стало так нестерпимо жалко самого себя, что горячая слеза закипела на глазах и упала в еловый лапник.

...Ночью он вышел из избушки. Всё та же песня гремела на даче и стократным эхом прокатывалась по Барсучьему бору:

Путана, путана, путана...

Ночная бабочка, но кто ж тут виноват?

Столетние сосны вздрагивали под ударами децибел и сыпали с вершин искрящийся под светом луны снег. Луна светила, словно прожектор. В необъятной небесной бездне сияли лучистые звёзды, и ночь была светла как день.

Мишку будто магнитом тянуло опять к даче, музыке и веселью. И он пошёл туда под предлогом перепроверить вершу. Её могли сбить, когда ныряли в прорубь, или вообще вытащить на лёд.

Директорская дача сверкала огнями. Мишка видел в широких окнах её сказочное пиршество, столы, уставленные всевозможными яствами. Кто-то танцевал, кто-то уже спал в кресле. Вдруг двери дачи распахнулись, выплеснув в морозную чистоту ночи шквал музыки и электрического сияния.

Мишка увидел, как кто-то выскочил в огненном ореоле на крыльцо, бросился вниз в темноту, заскрипели ступени на угоре, и вот в лунном призрачном свете на льду реки он увидел девушку, одну из тех трёх, что были тут днём. Она побежала к черневшей полынье, в которой свивались студёные струи недремлющей речки, и бросилась перед ней на колени.

Мишка ещё не видывал в жизни таких красивых девушек. Волосы её были распущены по плечам, высокая грудь тяжело вздымалась, и по прекрасному лицу текли слёзы.

Вновь распахнулись дачные двери, и на крыльцо вышел мужчина:

— Марго! — крикнул он повелительно. — Слышишь? Вернись!

Видимо, он звал девушку, стоявшую сейчас на коленях перед полыньей.

— Маля! — повторил он настойчиво. — Малька! Забирайся домой. Я устал ждать.

Девушка не отвечала. Мишка слышал лишь тихие всхлипывания. Мужчина потоптался на крыльце, выругался и ушёл обратно. Девушка что-то прошептала и сделала движение к полынье.

Мишке стало невыносимо жалко её. Он выскочил из кустов и в один миг оказался рядом с девицей.

— Не надо! — сказал он деревянным голосом. — Тут темно.

Девица подняла голову.

— Ты кто? — спросила она отрешённо. От неё пахло дорожными духами, вином и заграничным табаком.

— Мишка, — сказал он волнуясь.

— Ты местный?

— Живу тут. В лесу, — всё так же деревянно отвечал Мишка.

Девица вновь опустила голову.

— А я Марго. Или Маля. Путана.

— Это стриптизёрша, что ли?

— Да нет. Путана.

Мишка не знал значения этого слова и решил, что путана — это фамилия девицы.

— Ты, это, не стой коленками на льду-то, — предупредил Мишка. — А то простудишься.

Девица вдруг заплакала, и плечи её мелко задрожали. Мишка, подавив в себе стеснение, взял её за локотки и поставил рядом с собою.

— Слышишь, Мишка, — сказала она вдруг и подняла на него полные горя прекрасные глаза. — Уведи меня отсюда. Куда-нибудь.

И Мишка вдруг ощутил, что прежнего Мишки уже нет, что он весь теперь во власти этих горестных глаз. И что он готов делать всё, что она скажет.

— У меня замёрзли ноги,— сказала она.— Погрей мне колени.

Мишка присел и охватил своими негнушимися руками упругие колени Мали. Ноги её были голы и холодны. Мишка склонился над ними, стал согревать их своим дыханием.

— Пойдём,— скоро сказала она.— Уведи меня отсюда скорее...

Они поднялись по тропе на угор. Неожиданно для себя Мишка легко подхватил её на руки и понес к своему лесному зимовью. А она охватила его руками за шею, прижалась тесно к Мишкиной груди, облечённой в пропахшую дымом и хвоей фуфайку, и затихла.

Когда Мишка добрался до избушки, девушка уже глубоко спала.

Он уложил её бережно на укрытые лапником нары и сел у окошечка, прислушиваясь к неизведанным чувствам, полчаса назад поселившимся в его душе, но уже укоренившимся так, словно он вечно жил с этими чувствами и так же вечно будет жить дальше.

Маля чуть слышно дышала. Ночь была светла, как день. За окошком сияла прожектором луна.

Местные слова, использованные автором

Залоговать — отдыхать во время перерыва в работе.

Катаник — валенок.

Коч — одномачтовое парусно-гребное судно.

Литошный — из угощения при сделке, найме на работу.

Одёнок — остаток.

Опоек — пьяница.

Пластина — полоса.

Пластушина — грядка.

Подгорье — местность у подножия возвышенности.

Правик — закончивший работу.

Приплеск — часть берега, омываемая волной.

Серогон — человек, занимающийся заготовкой смолы хвойных деревьев (серы).

Стожар — шест в середине стога для придания ему устойчивости.

ГАММА

До-ре.

До реки несвоих ожиданий и нечужих слов.

До-ми.

До миров, неохватных и ярких, где холодно и чужеродно
и пахнет осинкой.

До-фа.

До фасадов потерянных мною лиц, что успели калиной
и мхом порастить.

До- соль.

До сольющихся в будущем в Лету лесных ручейков.

До-ля.

Мне бы ползти.

А я

учусь

говорить.

Бедный калека, твержу: это не смерть,
вставать не смей.

Выдавливаю полуслова, полужвуки, роняю их обессиленно.
«Мама вымыла Раму». И Кришну, и Раму.

Отмыв до костей.

Так ещё больней,
ты не находишь?..

До-си.

И потише, потише...

Бьются птицы. И падают.

Тонкий и чёткий, прозрачный ритм.

А я понимаю, чей это голос кричал внутри.

Вот до этой черты понимаю — до.

До.

ИНОГДА ВСЁ ЖЕ ПРИХОДИТСЯ

Иногда всё же приходится
восставать из ила, всплывать со дна.
Жадно булькать, хрипеть, хватать воздух над.
Хочешь — глотай «найз», хочешь — залей по макушку вина
И доставай наряд.
Маска — она на тот случай, если больна.
Самая старая, самая крепкая, сбоку подклеена,
И изнутри, где папье-маше,—
Обрывок Ленина
И заголовка на слове «открыто плена-...»
Но не ходи по Вернадского и не ищи, не нать,
Все уже умерли, ты забывай, как звать.
Там не растёт ни хрена,
Там никого, там давно не пахана целина,
И если бабушка наша твердила:
«Только бы, Надь, не война, только бы, Надь, не война»,
То дети не помнят, зачем нам её не на...

СТОЙ. ПОЙ. ПЕЙ

Каждый из нас умрёт,
Проще говоря — все.
Сперва наигрался Тот —
Теперь
Наиграется Сет.
Где-то в пустыне есть город,
Где спрятана кнопка Reset.
Говорят,
Чтобы остаться на месте,
Нужно бежать,
А чтобы дойти —
Бежать в два раза быстрее.
Я говорю: стой.
Пой.
Пей.
Бегущие
Встретятся в лобовом
На выделенной полосе.
Поиск
Нового бога,
Который ещё не рождён,

Которого с нами нет.
Не исключён
Вариант,
Что ты просто стоишь на нём.
Ещё
Ни один не нашёл.
Поэтому: стой.
Пой.
Пей.
Легенда гласит:
Армагеддон
Произойдёт в одном
Человеке, в одной душе.
Смотри между рёбер,
Помни:
Возможно, в твоей.
Стой.
Пой.
Пей.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Вот и ты! Ты же помнишь неделю в Греции?
В этом году ещё жив был сосед... Память в заплатах!
Но точно — солнечный год.
Аукционная редкость, сосед просил — «для коллекции».
Он тебя никогда уже не заберёт.
Помнится, он всегда с гримасою знатока
мелкий глоток покатывал по щекам, дёргал потом кадыком
и полоскал рот.
Вот идиот!
Разве затем тебя старый Эжен хранит, раз уж другого не смог
сохранить?
Только тёплые капли в объятьях лозы-петли...

Как же давно? Поди вот теперь, посчитай.
Кровь застоявшаяся из-под стекла мерцает в ответ.
Век прожит — а не знаешь, как...
Рой мошкары рвётся к лампе: тук-тук, огонь, открывай!
Мелом на полке — против нечистого знак.
Это почти ежедневный мой ритуал:
пальцами горлышко сжал — замереть и на два такта
вдохнуть. Не забудь, дурак!
Не забыл?

Пальцем стереть пыль. Ну, как там ты? Я? Ещё бодр,
только — память, очки да вчера простыл.
Вкус я запомнил. А год сослепу не различить...

В прошлую зиму артрит. Так скрутило... Прости.
Пахло лавандовым маслом. Молчу, молчу. Помню, лежу,
стрижи гомонят...

Дочь кричит — потеряла. Когда успевают расти?
Лестница скрипом заходится, как и я.
Смазать замок? В спину из стылых каменных стен,
чудится, шёпот летит, догоняет и... где-то в груди: «Эжен!
Не уходи! Эжен!

Кровь моя!
Боль моя, плоть моя, позови меня!» Что-то стучит и плачет
в узлах вен.
Руки дрожат. Любовь моя... Подожди три дня...

ДУЭНДЕ

Толпа собирается в круг. Нет,
Не так быстро.
Шаг. Шаг.
Под шёпот бабушкиных кастаньет.
Давай, родная. Не подкачай.
Небыстро нашла по руке стилет.
Быстрее нашла по себе палача.

Доска прогнулась — щёлк! Шаг.
Немного быстрее.
Чак. Чак.
Не чуя ног. Не считая нот.
Он рядом, твой враг, и кивает в такт.
Вдыхай. Дешёвое пиво. Пот.
И медленно-медленно... выдыхай...

Щёлк. Щёлк. Чак. Чак.
Взгляд подними.
Давай.

ЩЁЛК-ПОЩЁЛК ПАЛЬЦАМИ

Щёлк-пощёлк пальцами —
Никого не осталось на моей ладони.
Только следы птичьих лапок впитаны и отпечатаны.

Но и их скоро не будет,
Хоть память пальцев и велика.
Обожжённое хочет жить
И, может,
Однажды будет —
Вслед за падающими в землю каплями,
Вслед за шорохом мокрых листьев,
На ветру летнем, но ледяном.
Улетай, моя птица.
Даже теперь
Я не имею сил,
Чтобы сжать кулак.

МНЕ СНИЛОСЬ, Я БЫЛ

Я был гол, бел.
Я стоял, я вращал на груди мир.
Я пел.
И мир отзывался звоном и дрожью земли,
И кто-то сказал: пли!..
И несколько невозможных дыр
Лохматыми астрами расцвели,
И закричал коростель,
И загремел костыль,
И по миру, как по воде, пошли
Актёры, лавочники и короли
Пятнами потных тел.
Неужели я был?
Неужели пел?
Был ли?
Я — был ли?..
Я не хотел, извини меня, я не хотел...

КТО ЗА МНОЙ?

Кто за мной? Что, совсем никого? Да, совсем никого.
Неуютное ощущение.
Я, пожалуй, была тем, чем все. Не более, но боюсь,
что не менее.
А теперь остро хочется глупых стихов, хотя бы из пальца
высосанных,

хотя бы дурных,
потому что надо же чем-то занять голову,
в которой звенит и ничего не живёт хорошего.
Потому что нельзя быть стеклом, это только на вид монолит,
но в нём до поры до времени прячется
критическая точка
среди сотен прямых и кривых
линий.

Попадёшь — и полна ладонь мелкого злого крошева.
Тебе половинку горсти, и мне половинку. Поровну.
Нигде не болит. Ничего не болит.

Индивид
имеет свойство, не думая, плакать навзрыд.
Это ли не война — за один день потерять всех, это ль не бой?
Только куда, куда мне прийти и поплакать над вами?
Над ним, над ней, надо мной, над тобой?
Где стол, на который поставить гранёный стакан
с коркой хлеба?
Какому врагу невидимому потрясти кулаком
и потребовать мщения,

повыть на пороге какого неба?
Кто за мной? Что, совсем никого? Да, совсем никого.
Неуютное ощущение. Паршивое, надо сказать, ощущение.
Острого, горького, бешеного, живого мне бы.
Человека мне бы —
остановить падение...

...ение...

...ение...

...ение...

КТО ТЫ?

Кто ты, человек, во мне живущий,
Кто ты, кричащий, кто ты, зовущий?
Ты, кто прочнее моей тоски,
Ты, сжимающий мне кулаки,
Но вдруг поднимающий руку навстречу чужой руке?
Чей голос эхом, чей пульс на виске?
Кто ты — в грудной клетке, в сердце на самом дне,
В рёбра мои, как в решётку, вцепившийся,
Кто ты, несмолкший, неосвободившийся,
Кто ты, рождённый, чтоб быть извне?

АРБУЗ

*«...видно, его такая судьба...
Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий».*
Н. В. Гоголь

Дениска купил арбуз. Тяжёлый, зелёный, с жёлтым бочком, арбуз еле-еле уместился в сумке. На всём рынке это был самый большой арбуз, самый дешёвый большой арбуз. Самый дешёвый, потому что Дениску приучили всегда находить самое дешёвое. Даже на рынке. Есть гнилые яблоки — покупаем их. Они в два раза дешевле, но, если вырезать гнилые места, не хуже хороших яблок. Если есть гнилые бананы — и их покупаем. Ведь никто не знает: гнилой это банан или перезревший? Никто не знает. Всё потому, что никто в северных городах не знает, как выглядят перезревшие бананы и какой у них вкус. И так далее.

А дело было не только в воспитании. Родители Дениски не вылезали из долгов, потому что бабушка Дениски потеряла документы на квартиру и за каждую новую справку пришлось выкладывать четверть бабушкиной пенсии. Справок оказалось четыре, поэтому бабушкина пенсия исчезла в один момент. Мама с папой были учителями и зарплату видели последний раз пять месяцев назад. От занятых же денег осталась одна десятка, которую на семейном совете решили истратить на арбуз. Дело в том, что Дениска целое лето мечтал об арбузе, но просить боялся. Он только издалека смотрел на эти зелёные громадины с красным сахаром внутри и завидовал огромным мухам, поедавшим лакомство совершенно бесплатно и безнаказанно. Однажды мать Дениски заметила взгляды сына и спросила:

— Хочешь арбуз, сынок?

— Не-е, мам,— поспешил ответить Дениска, сглатывая предательски набежавшую слюну.

Но мать запомнила взгляды сына и к середине сентября решила на покупку. Дениска долго отказывался от этой десятки, так долго, что мать даже рассердилась.

И вот он пришёл на рынок. Два года назад Дениска уже покупал арбуз и знал, как его покупать. Правда, тогда всем руководил отец. Теперь Дениске предстояло самому сделать это.

И он это сделал.

Сперва Дениска «приценился». В ужасе он увидел, что арбузы подорожали. Неделью назад они стоили рубль тридцать, а сегодня стали стоить два рубля за килограмм. Дениска испугался, что десятки не хватит на самый большой арбуз.

И вдруг на отшибе он увидел дяденьку с усами, который отдавал арбузы по рубль пятьдесят. Дениска задумался: ему показалось, что такого не может быть. Как это так: везде по два — и только у одного по рубль пятьдесят.

Но продавец успокаивал народ:

— Бери, не волнуйся. Арбузы сочные, сладкие. Дёшево отдаю, потому что последние. Бери — не пожалеешь.

Наконец, Дениска решился. Он гордо и громко попросил повесить самый большой арбуз и с удовольствием заметил, как на него кто-то оглянулся.

— Восемь рублей, парень. Возьми два — не пожалеешь.

— Да нет, спасибо,— замялся Дениска и доверительно сообщил: — Мне мама только десятку дала.

Он замялся, потому что считал, не обвесили ли его. Но таблица умножения не приходила в голову, к тому же Дениска нечаянно уронил с прилавка кусок картонной коробки с ценой, на обороте которой мелькнуло: «Арбузы сочные, сладкие, астраханские. 1 р. 40 коп.» Он спросил продавца:

— Что, арбузы подорожали?

— Теперь всё дорого, дорогой,— ответил дяденька с усами, поправляя ценник, точнее — проверяя, той ли стороной его поставил Дениска.

Дениска попытался поймать глаза продавца и с душой сказал ему:

— Спасибо.

Но глаза продавца почему-то убегали в сторону, и он только кивнул в ответ на благодарность Дениски.

Первый квартал Дениска летел. Он чувствовал свою приподнятость ясно и радостно, он пел какую-то песенку, слегка подпрыгивал на правой ноге и, главное, заглядывал в сумку: на месте ли он, тяжёлый, зелёный, с жёлтым бочком.

Вдруг Дениска остановился. Он вспомнил, что не выполнил главную часть выбора арбуза: не попросил вырезать «пирамидку»!

Идти обратно и просить было уже стыдно. Странное предчувствие охватило Дениску. Как быть? И он поплёлся домой.

Постепенно Дениска стал себя успокаивать, что он зря так терзается: такой тяжёлый и крепкий арбуз не может быть незрелым. Но на поверку арбуз оказался не таким уж и крепким: он чуть прожимался как раз на жёлтом бочке. А тяжесть, возможно, и есть признак незрелости — ведь красная, созревшая мякоть арбуза менее плотная, чем белая, а значит, и меньше весит. Действительно, даже для своих размеров он был тяжеловат.

Тяжеловат... Дениска припомнил все подробности взвешивания. Так. На весах маленькая и большая гири — всего три килограмма. Маленькую гирю продавец убрал, но поставил ещё одну большую. Стрелка оказалась где-то посередине. Значит, четыре килограмма. Четыре килограмма и восемь рублей. Два рубля за килограмм вместо рубля с полтиной...

Дениска остановился. Он всегда останавливался, когда ему вдруг становилось плохо. Останавливался и стоял, брал себя в руки, закрыв глаза и сжимая зубы. В последнее время он часто останавливался.

Дениска снова начал себя успокаивать. Он упрасивал себя отбросить глупые мысли: все арбузы на рынке хорошие, а насчёт весов — он придет сейчас домой и проверит на старом безмене. А раньше времени трепать нервы нечего, они ещё пригодятся.

Как всегда, Дениска мысленно просил помощи у своей подруги Сонечки. Он вспоминал её милое лицо и просил помощи. Это всегда выручало Дениску.

Помогло и сейчас. Дениска вдруг задумал пригласить Сонечку в гости и угостить арбузом. Ведь арбуз большой — всем хватит: и бабушке, и родителям, и Сонечке. Нет, конечно же, нужно поступить именно так. Тем более, что на оставшиеся два рубля можно купить сливочное мороженое за рубль шестьдесят. На пломбир, естественно, не хватит, а дешёвое сливочное пока ещё можно купить. А как это будет здорово: арбуз, мороженое и Сонечка! К тому же Дениска сочинит какое-нибудь стихотворение в честь Сонечкиного образа и прочитает ей... И прочитает ей под «Серенаду» Шуберта — ведь мама только что взяла эту пластинку в библиотеке. Как будет здорово!

«Но нет,— решил Дениска,— вначале нужно проверить этот арбуз». И он прошёл мимо ларька с дешёвым мороженым, намереваясь обязательно туда вернуться.

Ему вдруг стало грустно. Он уже прошёл квартал с того места, где остановился, и ему захотелось вновь остановиться. Но Дениска теперь экономил время: ему нужно было успеть вернуться в дешёвый ларёк до закрытия.

Ему вдруг опять стало грустно, глядя на автомобили, проезжающие мимо. Дениска задумался, почему многие его друзья родились и сразу стали ездить на машине, кушать кексы и пить лимонад, а он не может купить себе Толкиена у букиниста. Дениска был неглупый парень — они же в большинстве своём почти всегда списывали у него. Да, у него хорошие отношения с друзьями, но он не понимал, почему в этом мире такая несправедливость. Он гордился своими родителями, но не понимал, почему кому-то дают на карманные расходы без разговоров и помногу, а он боится даже попросить, потому что может расстроить маму.

Дениска размышлял: скоро он заработает много денег своим умом, и их семья наконец-то заживёт по-новому. Дениска видел, что есть люди, которые живут ещё хуже, но это, по его мнению, были люди, не желающие работать. А его-то родители работают! Они делают своё дело, отдавая себя другим, так же, как бабушка и дедушка, которые всю жизнь проработали в колхозе и честно заслужили нормальное существование. Заслужили, но не получили его.

А вот Дениска получит всё, что захочет. Он даст своим детям возможность спокойно глядеть в глаза «новым русским», выбив из рук последних главное — всепожирающие деньги...

Дениска вбежал в подъезд, открыл дверь. Никого. Бабушка ушла в церковь. Можно со спокойной душой испытать арбуз. Сначала — проверим вес.

Первый, вполне ожидаемый удар Дениска выдержал спокойно. Четыре килограмма. Его интересовало другое — пусть даже арбуз вышел по два рубля за килограмм.

Большой острый нож, доска под хлеб. Дениска глубоко вдохнул, резко выдохнул и начал резать. Нож предательски туго вошёл в арбуз. Сквозь первую рану было уже видно, что арбуз незрелый, но Дениска, нарочно стараясь не заглядывать под нож, дорезал всё до конца.

Чуть розовые две половинки, отброшенный нож и слёзы. Слёзы, которые хотят прорваться и не прорываются сквозь яростное лицо, сжатые зубы и кулаки.

Ненависть. Ненависть ко всему: к дядьке с усами, к себе, к миру...

Дениска хотел вначале съесть весь арбуз, чтобы мать не увидела его позора. Потом он понял, что тогда не сможет

объяснить, куда дел деньги. Занять, купить другой, хороший арбуз! Но у кого? И как вернуть потом эти деньги?

Дениска забрался у себя в комнате на кровать и долго сидел. Сидел, пока не вернулась с работы мать. Он слышал, как она прошла на кухню и некоторое время стояла. Мама не заглянула в Денискину комнату, пока не пришёл отец.

— Денис, иди кушать! — вдруг крикнула мама.

Дениска не шевельнулся. Мама заглянула в комнату.

— Ты что, сынок, брось. Из-за арбуза, что ли? Так у нас с папой часто так бывало. Пойдём.

Просидев ещё минут пять, взяв себя в руки, Дениска полплёлся на кухню. Мать с отцом о чем-то разговаривали. Дениска услышал всего несколько фраз:

— Просто он такой же, как мы,— сказала мама.

— Какой? — спросил отец.

Дальше вошёл Дениска. Отец, видимо раздражённый, отправился курить в туалет, а мама, пододвинув сыну тарелку с супом,— в другую комнату. Дениска вопросительно и жалко посмотрел ей вслед, но мать ответила ему лишь слабой улыбкой.

Арбуз стоял на том же месте — родители словно не пожелали дотронуться до него, сдвинуть и освободить стол. Как хотелось Дениске, чтобы арбуз вдруг покраснел! Но нет, он оставался таким же чуть розовым, и от грустного человеческого взгляда в нём не прибавилось ни кровинки.

Внезапно Дениска понял, чего он хочет сейчас на самом деле. Он хочет, чтобы мама и папа помогли ему, чтобы они все вместе посмеялись над его злоключениями и сообща съели этот чуть розовый арбуз. Но он вспомнил теперешнее состояние родителей, их голоса. Там были только усталость и нервность. Дениска понял ещё одно: ни у кого в семье сейчас нет сил, чтобы пожалеть его и помочь ему.

Арбуз ели только Дениска и бабушка. Даже она, не видящая истинный цвет арбуза, почувствовав его жёсткость и пресность беззубым ртом, не пожурела внука, как бывало — с лёгкой, присущей старикам насмешкой,— а как-то неприязненно грустно вздохнула и сказала:

— Да, Денисок, несладкий у тебя арбуз-то.

ИНТЕРЕСНО

У неё были огромные глаза. Такие огромные, что я вначале даже подумал, что она их специально так открывает. Оказалось, что нет.

В неё все влюблялись. Но она умела мягко и ласково отстранить чужие ухаживания, если у неё уже кто-то был.

Однажды этим «кто-то» стал я.

Мы познакомились в музее Скрябина. Шли по Арбату, по осенним бульварам. Я узнал, что она первый раз слушала музыку «вживую» и задал обычный вопрос:

— Ну и как?

— Интересно,— отвечала она.

Осень была дождливая. Снег выпал только в ноябре. Зато надолго.

Она куталась в короткую дублёнку на сером меху. Мы ездили гулять в Коломенское. Я спросил, почему она уделяет мне столько внимания.

— Интересно,— отвечала она.

Мы поехали ко мне. Она молчала и испуганно глядела на меня. Потом я понял, что она глядела не испуганно, а очень-очень доверчиво.

У неё была родинка на левом бедре. Я подумал, что кто-то до меня тоже очень любил целовать эту родинку. Вначале эта мысль не задевала меня.

Она вглядывалась в моё лицо. Ласкала подушечками пальцев губы, глаза. Мне нравилось смотреть на неё сквозь дождь её волос, мягких, пахучих, осенних.

И вдруг я заметил, что она улыбается. В ответ на мой немой вопрос, она прошептала:

— Интересно...

Она бегала за мною по всем вечерам, концертам и футбольным матчам. По-настоящему бегала. Ей ничего не стоило вдруг запрыгать рядом со мной, схватить меня за руки и закружить.

Везде, везде она смотрела на меня пристально и изучающе. Я уже не спрашивал почему, потому что и так знал ответ.

Я ревновал её до смерти. Я ревновал её ко всем мужчинам и даже к ней самой. Она была моя, но не моя — мне же хотелось иметь её всю без остатка. Я старался быть благо-разумным, но моё бессилие перед её независимостью и невинностью всё чаще и чаще бесило меня.

Однажды при её друзьях я что-то сказал ей в тоне приказа. Её глаза расширились, она покраснела, но встала и сделала то, что я велел. После она спросила, зачем я так поступил. — Интересно! — прошипел я.

Затем были ещё два месяца ненависти и любви. Когда мы решили расстаться, она вдруг заплакала. Глаза её стали как серые озёра. Она была очень красива тогда, хотя я уже этого не понимал.

* * *

Прошло двадцать лет, прежде чем я снова встретил её. Я был с женой, она — с мужем. Моему сыну было семь лет, её дочери — шесть.

Мы сидели и разговаривали о чем-то постороннем, как приличные, едва познакомившиеся люди. Мы уже умели не показывать своих чувств. Но каждый сказал, что хотел. Мы знали, как нужно рассказывать, чтобы понимали разговор только двое.

Я счастлива. Я не знаю, счастлив ли я. У тебя красивая жена. У тебя великолепный муж. Он бежит вприпрыжку вместе со мной. Не сомневаюсь в этом! Я очень рада видеть тебя... Кажется, я люблю тебя... Не надо. Всё-всё, я не буду, я понял. Не ищи встреч со мной. Я сказал, что всё понял... Помнишь нашу первую встречу? Зачем ты спрашиваешь? Интересно...

Нам с женой нужно было уходить. Им с мужем тоже. Я пошёл за детьми. Олежку встретил в детской, но он играл там один. Я отправил его к матери и пошёл искать Веру.

Вера была в соседней комнате. Она сидела у ночного окна, подогнув под себя ноги. Свет был погашен, и маленький силуэт ребёнка четко вырисовывался на звёздном небе.

Я тихонько подошёл к ней, на ходу спросив, что она там делает.

Вера недоуменно посмотрела на меня своими огромными серыми глазами, приложила пальчик к губам, подозвала к окну и, показав на далёкие звёзды, шепнула:

— Интелесно...

* * *

Прощай, инерция,
Паденье градуса!
Просила сердце я:
Давай жить радостью.
Пусть самой крошечной,
Пускай с горошину:
Смотри в окошечко —
Не заморожено.
Звонится — просится
В дверь письмоносица.
Приму писёмышко
С родной сторонущи,
А в нём «приветствия»
От сосен-ёлочек.
Как тут засветится
Судьбы осколочек!
Румянец бросится
На щёки-впадины.
Немало просим мы —
Нам больше дадено!

8 МАРТА

Пьянят мимозы ароматом,
Сугробы оттепелью смяты,
И белолобы облака,
И синька неба глубока.

Синь-синь — приветствуют синицы,
В ответ весёлое: чив-чив!
Друг друга окликают птицы:
Весна, весна! Мы живы! Жив!

Жива — поддакиваю пташкам,
Сладимым воздухом дыша.
Душа сегодня нараспашку —
И жизнь ужасно хороша!

АПРЕЛЬ

Ещё в оцепененье вяз
Среди берёз в саду пустом,
Где чайки носятся, сердясь,
Над нарастающим прудом.
А в белоствольных бродит сок,
Бурлит берёзовая кровь.
Он позади, унылый сон,
Воскресший сад цвести готов.
Подкрашивая облака,
Закатный свет на землю лёг.
И к вербе тянется рука
Погладить тёплый хохолок.
Весна! Признаться я должна:
Твоих мелодий слыша медь,
Как школьница, я влюблена,
Душа по-прежнему юна
И ей не хочется взрослеть!

МАЙСКИЙ ВЕТЕР

Ветер дверью играет,
Та отходит, скрипя,
И волна ветровая
Накрывает тебя.

Томно веет сиренью
И цветущей травой.
Накрывает волнение
Всю тебя с головой.

Клён в смятенье зелёном —
Будто рвётся в полёт.
Кто-то там под балконом
Тебя выйти зовёт,

Шепчет о половодье
Безоглядной любви.
Это молодость бродит
Жарким хмелем в крови.

В РОЩЕ

Луга цвели, щедроты лета
Вбирая каждым стебельком,
Вдали за быстрой Ёмой где-то
Ворчал по-стариковски гром.

И так дышали мёдом травы,
Так лопотали тополя,
Так птичий говор, чуть картавый,
Баюкал, душу веселя,

Что мне в плену июльской лени
Мечталось только об одном:
Нет, не остановить мгновенье,
А навсегда остаться в нём!

ЛИСТЬЯ ПАДАЮТ

Ненадёжно золото несмелое,
Что дрожит на вязовых ветвях.
Налетают ветры ошалелые,
Обращают золотинки в прах.
Льнут к земле листья, уже бездомные,
С ними вязы были — терема.
Обронила крупку туча тёмная —
Погрозилась пальчиком зима,
Словно сходу выдала гарантию
Воцаренья в северном краю:
— Близко я, уже не за горами я,
Скоро-скоро вьюгой запою.
То-то я снегами вас порадою,
Теми, что собольих шуб теплей.
...Ветер свищет. Листья, листья падают,
Прижимаясь к матушке земле.

ЗИМУШКА

День ко дню — жемчужина к жемчужине:
Серебрянка — главная из красок.
Из каких полузабытых сказок
Эта бахрома, ажур и кружево?
Кто их сочинял ночами стылыми,
Торопился кончить труд под утро?
Каждый куст украшен перламутром,
Выбелен волшебными белилами.
Редкостной картиной огорошены,
Даже птицы тишины не рушат.
Тишина оглаживает душу
От шумов уже полуоглохшую.
Не спеши растаять, вереница
Дней, великолепием одетых.
Дай налюбоваться белым светом,
Чистоте и тайне причаститься!

У НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ

Золотой, зелёный, васильковый
Крутятся на ниточках шары.
Набежавший ветер бестолково
Треплет блёстки лёгкой мишуры.
Кружатся детишки возле ели —
Куколки-зверушки манят взгляд.
Вот уже снега поголубели,
Скоро опустеет зимний сад.
Тишиной поистине бесценной
Насладится чуткая душа.
На какой же нити во Вселенной
Крутится земной тревожный шар?..
Прочь, мои непраздничные мысли,
Тяжела мне ваша злая кладь!
Много есть обитателей у жизни:
Столько, сколько звёзд,— не сосчитать.

* * *

Не надо ни шляпки, ни модного платья —
Могла бы лишь вволю бумагу черкать я!

Мешает черканью плотина рутины,
Опутала душу сомнения тина.

Неверие в силы — тяжёлая ноша,
Когда же поклажу проклятую сброшу?

Ответы я в собственном сердце черпаю:
Нахлынуло слово — черкаю, черкаю!

* * *

В школе я все правила блюла.
Только жизнь — лукавая наука:
Если б я по правилам жила,
То причиной смерти стала б скука.

ПУСТЫРИ

Пустыри лебяжьи-лебединые,
Ибо зарастают лебедой,
Всё ещё живут, непобедимые
Городской прожорливой средой,
Что уже готовится, бесстыжая,
Под асфальт загнать весь шар земной.
Супеси, подзолы, глина рыжая
Пустырей, любимых с детства мной.
Донник да лопух, крапива жгучая
И полыни горькой аромат...
Шёлковая травка ли, колючая —
Каждый стебелёк приволью рад.

Я хожу сюда не за букетами —
Пробую осмыслить злобу дня.
Здесь одна я с батюшками светами —
Ветру, птицам, камушкам родня.

* * *

Хотя и каждая копейка на счету,
Я, кажется, впадаю в нищету.
От нищеты нет у меня щита,
Но, в сущности, и нищета — тщета.

* * *

На овсяную кашку
Налегаю с утра.
Жизнь моя, замарашка,
Ты глупа и мудра.

Я едва ли справляюсь
С мельтешением дней,
Как по речке сплавляюсь,
Опасаясь камней,

Доверяясь оплошно
Перепаду глубин.
Ты смешала нарочно
Черноту с голубым.

Жизни-головоломки
Нерушимая власть,
Подстели мне соломки
Где придётся упасть,

Обнеси горькой чашей,
Чуть послаще налей.
Видно, нет тебя краше,
Ненаглядней и злей.

ЭЛЕГИЯ

Лист сбежал из дворового сора
И притих в уголке коридора,
Где и ветер его не нашарит,
Золотого с каёмочкой карей.
Сердобольной подобран рукой
В старой книге найдёт он покой —
Будет нежиться в тёплых объятьях
Молчаливых бумажных собратьев,
Будет годы считать, одинокий,
Время выпьет из жилочек соки.
Он истлеет, от мира укрытый,
Всё забывший и всеми забытый.

* * *

Голым в мир пришёл — уйдешь без скарба,
Отжалев, отмучив, отлюбив.
Чёрная сильнее красной карта.
Предназначен ниточке обрыв.
С возрастом мы это понимаем:
Всё едино, наш удел един.
Только вдруг зимой повеет маем,
Искупленьем наших детских вин.
Пусть на миг, а всё-таки повеет,
Вкус вина приобретёт вода,
И Фома неверящий поверит,
Не на миг поверит — навсегда.

* * *

Встала несмело почти у порога,
Пламенем свечки трепещет душа.
Что бы я знала о милостях Бога,
Если б лукавый не искушал?

Я ли тебя не искала, мой Боже,
В муках житейских криком крича?
Смотрят святые угодники строже,
И песнопенья печальней звучат.

Ближе теснится народ к аналою,
Шепчет молитвенные слова.
Вспомнив своё помышление злое,
Клонится ниже моя голова.

Чаешь из мёртвых ли ты воскресенья,
Глядя на тающий столбик свечи,
Слышишь ли ангелов кроткое пенье?
Кайся, душа моя, плачь и молчи.

КОСНОЯЗЫЧИЕ

Бабушка разучивает с семилетней внучкой четверостишие для групповой декламации на выпускном детсадовском утреннике.

*Волшебное слово «Спасибо!»
Хотим всем сегодня сказать.
Успехов в труде благодарном,
Удачи в делах пожелать.*

Простые на первый взгляд строчки никак не хотят укладываться в детской головке нужным образом. Внучка выкатывает глаза, набирает побольше воздуха в лёгкие, даже приседает от усердия, но снова и снова путает слова:

*Волшебное слово «Спасибо!»
Хотим мы сегодня сказать.*

Ребёнок бессознательно проговаривает лучший вариант, но на листе в руках у бабушки не так, а значит — неверно.

— Ну почему «мы», если «всем»? — бабушка заметно нервничает, заучивание идёт уже более получаса.

Это же надо было кому-то сочинить: «Хотим всем сегодня сказать». «Шла Саша по шоссе и сосала сушку» из того же теста леплено. Героически осилив две первые строчки, бабушка и внучка переходят к двум другим. Но и здесь не всё так просто. «Успехи» в труде благодарном (лучше было бы — благодарном) путаются с «удачами» из четвёртой строки. Разницы, в принципе, никакой, но самовольничать нельзя. Девочка в очередной раз запинается на последней строчке. После «удачи» она, потеряв концовку, растерянно смотрит себе под ноги, словно надеется её там увидеть.

— Удачи морковку сажать! — не выдерживает, наконец, бабушка, и обе хохочут. Разрядившись таким образом, они снова принимаются за зубрёжку. Девчушка устала. Она уже

балуется, предлагая новые, но уже не оригинальные варианты: «картошку сажать» или «капусту сажать». Смеха это не вызывает.

Кто выдумывает эти опусы? В каких головах рождаются такие, с претензией на искренность и доброту, а по сути ужасные и по смыслу, и по звучанию строчки? Почему для работы на детской кухне принимают лишь квалифицированного повара со стажем, а не первого попавшегося прохожего с улицы? А стихи стряпать без таланта и специальной подготовки можно?!

Детские поэты — ау! Где вы?

ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ

— В деревню ты этим летом не поедешь. Ты в лагерь поедешь.

Решение родителей на этот раз было окончательным и бесповоротным. Для меня, даже если принимать во внимание все мои прегрешения, замена поездки в деревню к деду и бабушке на пионерский лагерь была неоправданно суровым наказанием. Я начал мечтать о деревне уже с сентября, сразу же, как только вернулся оттуда после летних каникул, мечтал всю долгую зиму и всю долгую весну. Теперь исполнение этой мечты откладывалось в лучшем случае до августа, а там опомниться не успеешь — опять в школу. Походы в лес, купание, рыбалка, катание верхом на лошадях — всё это отодвигалось в неопределённое будущее. Лагерь, с его режимом и дисциплиной, заранее вгонял в тоску, хотя там я ещё ни разу не был.

Мы долго плыли на небольшом теплоходе, пили лимонад, лениво жевали печенье и конфеты. Сладости, собранные в дорогу родителями, настроение не поднимали. Берега реки казались бесконечными и уныло одинаковыми.

Нас расселили в маленьких домиках, по шесть-восемь человек в комнатах, называемых почему-то палатками. Я попал в палатку с ребятами, которые были младше меня на целый год. С ровесниками-пионерами не поселили, хотя я, как и они, был переведён в четвёртый класс.

Уже на второй день я попал в чёрный список. Во время тихого часа никто, разумеется, не спал. Мы рассказывали по очереди анекдоты, пели озорные дворовые песни: «Жора, поддержи мой макинтош», про Костю-атамана и другие.

С этими песнями меня познакомили соседи по палатке. Ничего подобного раньше я не слышал и, как губка, восторженно впитывал в себя весь «лагерный» репертуар. Вставать с койки во время тихого часа было запрещено категорически. Но вот один из ребят выпорхнул из-под простыни, проскакал по палатке, изображая лошадь и хлопая себя по задку, после чего быстро юркнул на свою койку. Все расхохотались, по достоинству оценив едва ли не геройский поступок. Быть на вторых ролях я не мог и раньше, а уж теперь и подавно. Скинув трусики, я сделал полный круг по палатке, выбивая пятками по полу и ладошками по коленкам и голому задку ритм «собачьего вальса». Воспитательница, читавшая за стенкой книгу, услышала шум, пошла к нам разбираться и явилась как раз вовремя... Остаток тихого часа я простоял в коридоре лицом к стене, увенчанный лаврами заслуженной, но не очень завидной славы. А за дверью нашей палатки творилось невообразимое. Ребята, обессилев от неудержимого смеха, катались по койкам, размазывали по щекам слёзы, судорожно икали. Воспитательница ничего не могла с этим поделать и благо-разумно ретировалась.

Я очень боялся неотвратимо приближающегося родительского дня. К тому времени грехов у меня накопилось уже на вагон и маленькую тележку. Но все они ни в какое сравнение не шли с безумной пляской во время тихого часа. Правда, папа и мама обошлись со мной на удивление мягко. Поругали, конечно... Но суровых мер применять не стали. Может быть, вспомнили о том, какими сами были в моём возрасте.

День в лагере обычно начинался с линейки, то есть, с общего построения.

*Раз, два, три, четыре,
Кто шагает дружно в ряд?
Это смена комсомола —
Пионерский наш отряд.*

Когда хором декламировали этот стишок, я между первой и второй строчкой приглушённой скороговоркой успевал вставить ещё одну, собственного сочинения:

*Раз, два, три, четыре,
Лихо ж... оттопырив,
Кто шагает дружно в ряд?*

Ребята смеялись, воспитательницы на них шикали.

Несмотря на жаркую погоду, купались мы только два раза за всю смену. Но что это было за купание?! Речка Лежа и так очень мелкая, но глубже, чем по колено, в воду нас не пускали. А на линейке одному примерному пареньку дали грамоту за то, что он хорошо плавает. И ещё сказали, что он и речку Лежу смог бы переплыть, если бы разрешили... Стоять и слушать такое было невмоготу. Я к тому времени уже реку Вологду переплывал в одиночку. А скажи об этом — только хвастуном обзовут. Никак ведь не докажешь.

Есть в лагере хотелось постоянно. Кое-кто из ребят тёрся возле кухни, клячил сухарики. К концу смены, после взвешивания, воспитатели очень удивились: все дети потеряли в весе, а этого не должно быть. А мы не удивлялись.

Были и светлые моменты. Для какого-то мероприятия нас нарядили пионерами-тельмановцами. Выдали синие галстуки. Не будучи пионером, я целый день ходил в галстук. Пусть и не в красном. Это был для меня праздник!

Почти все ребята нашей группы были влюблены в считавшуюся красавицей Любу Колесову. Она, чувствуя внимание к себе, держалась королевой. А мне нравилась Оля Вагенгейм, тоже красивая, но очень скромная.

Приятеля Лёшку, влюблённого в Любу, я как-то очень выручил, можно сказать, даже спас. Однажды утром, когда Лёшке было приказано вынести для просушки на веранду намоченный им ночью матрац, он отказался. Неслыханное дело! ЧП! Кое-кто из нас мог себе позволить пререкаться с воспитательницами, но чтобы отказаться наотрез... Я знал причину Лёшкиного упрямства. На крыльце, против веранды стояла Люба. Я взял свёрнутый Лёшкин матрац, отнёс и бросил на перила веранды. Люба, увидев это, ехидно заулыбалась:

— Твой, да?

— Не мой.

Ответ, видимо, прозвучал настолько правдиво и естественно, что Люба сразу поверила и потеряла к происшедшему всякий интерес.

Самой почётной наградой в лагере считалось поднять флаг на утренней линейке. Полотнище флага при помощи блоков и тонкого тросика поднимали на высокий шест каждое утро. Это священнодействие разрешалось произвести только за особые заслуги. Нередко в число таких счастливых попадали наши рыболовы — несколько мальчиков примерного поведения, постоянно отдыхающие в лагере и заблаговременно запасавшиеся удочками. Их, на зависть другим ребятам, часто

отпускали на рыбалку за территорию лагеря. Но всё же и мне однажды посчастливилось поднять флаг.

Между возрастными группами постоянно проводили различные соревнования — спортивные и всякие другие. Мы выиграли конкурс художественной самодеятельности по театрализованному исполнению патриотической песни. Ребят нашего отряда нарядили пограничниками, выдали деревянные автоматы, обмотанные чёрной изолентой. Когда решался вопрос, кто же будет шпионом-диверсантом, физрук предложил меня, и все сразу одобрили. Я пошёл мастерить себе пистолет. Группа ребят старше нас исполняла «Песню о Щорсе». Одетые красноармейцами, они медленно брели по сцене и пели:

*Шёл отряд по берегу,
Шёл издалека,
Шёл под красным знаменем
Командир полка.
Э-э-э-э...*

Впереди отряда шёл красный командир Щорс с перевязанной головой, а ему навстречу парень и девушка. Голые ноги у обоих по колено, до закатанных брючин, были измазаны глиной. С глиной ребята явно перестарались, и жюри из воспитательниц и пионервожатых смотрело на них неодобрительно. Это было нам на руку.

Следующими выступали мы. Я лежал на краю сцены, ожидая начала второго куплета:

*Вот кто-то крадётся
В кустах у колодца,
Ползёт осторожно
В траве у ворот,
Он ловко крадётся,
Но в плен попадётся —
От нас не проскочит,
От нас не пройдёт.*

Я, в трико, берете и чёрных очках, с деревянным пистолетом ползу по сцене.

— Стой, кто идёт?!

Поднимаюсь, у меня отбирают пистолет, выкручивают руки, уводят. Аплодисменты!

Конкурс мы выиграли. Более того, флаг на утренней линейке было поручено поднять командиру погранотряда и... диверсанту. И вот мы идём к шесту с флагом. Я ловлю

восхищённый взгляд Оли Вагенгейм, и меня переполняет восторг.

Прощальный костёр был большим, но нас к нему близко не подпускали. Мы сидели рядами поодаль и по команде пели пионерские песни.

Раздачу прощальных подарков превратили в мучительную для нарушителей дисциплины процедуру. Нас по очереди вызывали к столу выбирать подарки. Сначала самых достойных, по мнению воспитателей, потом менее достойных — и так далее, по убывающей. Я был третьим с конца. Взял маленький резиновый мяч. В магазине такой стоил тогда десять копеек. Самому последнему досталось ведёрко с совком для песочницы.

Обратный путь на теплоходе мне уже не казался скучным. Я чеканил о стенку каюты свой резиновый мячик. Ребята завидовали, предлагали поменять мячик на школьный пенал. Я отказался.

Больше в пионерский лагерь меня не отправляли.

ЧАЙНИК, ТРУБА И КУВАЛДА

— Чайник, ко мне!

Сержант смотрел поверх нас, поэтому определить, к кому он сейчас обращался, было сложно. Я и мой напарник — оба без году неделя в армии — поставили на бетонный пол носилки со шлаком и опасливо смотрели на сержанта. Кроме нас в кочегарке никого не было.

— Я что, б.., неясно сказал?!

Мой напарник среагировал быстрее.

— Товарищ сержант! Рядовой...

— Ты чайник?

— Никак нет...

— Так какого хрена прёшься, когда тебя не спрашивают?

— Товарищ сержант! Рядовой Земцов по вашему приказанию прибыл.

Я, как «второй из ларца», вырос рядом с напарником.

— Почему сразу не доложил?

— Так... ведь...

— Оба вы — чайники. Короче, ты, «с тормозом», иди и найди трубу крепкую метра на полтора. А ещё лучше — ломик.

— А где искать?

— Шчас я тебя учить ещё буду, где искать. Свистни где-нибудь. Пошёл!

— Есть!

Я решительно направился в сторону угольного склада, однако, выйдя из зоны видимости сержанта, остановился. Где искать?.. Только вчера весь металлолом до последней ржавой гайки собрали и вывезли. Разве что в автопарке спросить?..

Через несколько минут, слоняясь безрезультатно по территории автопарка, я привлёк внимание дежурного.

— Ты что тут нюхаешь? Наверное, Васильков послал что-нибудь свистнуть?

— Мне бы трубу метра на полтора. Ненужную какую...

— Ненужного нет, а что есть — всё нужное. Не вздумай ломик унести. Башку с пилоткой выщипну. Погоди... За воротами в канаве труба какая-то валялась. Посмотри...

В канаве, неподалёку от ворот, действительно лежала труба, но сильно погнутая — разве что узлом не завязанная. Взял. Попробую выправить. Кувалду надо бы...

В кочегарке, где уже прошла пересменка, дежурный ефрейтор ловко забрасывал широкой лопатой уголь в пышущую жаром топку.

— Саша, у нас есть кувалда?

— Вон там, за котлом должна лежать. Только она плохо насажена — смотри, чтоб в башку не прилетела.

Кувалда действительно отыскалась за котлом, но рукоятка её была такая кривая, словно предназначалась для ударов из-за угла.

— Иди правь на улицу, не то убьёшь ещё кого ненароком.

Труба никак не хотела выпрямляться и после каждого удара кривой кувалдой, спружинив от бетонки, норовила дать сдачи, поэтому приходилось уворачиваться и отскакивать.

— Ты где этот штопор откопал?

Сержант ехидно разглядывал принесённую трубу.

— У автопарка. Выправил, сколько удалось...

— Ну, мастер! Левша вологодский. Ладно, свободен. На-призывали чайников...

ДЖЕНТЛЬМЕН

Пригородный автобус берут штурмом. Похоже, что все не влезут. Перспектива остаться на остановке ещё более чем на два часа никого не устраивает. И всё же я перепускаю рвущихся в салон: расталкивать пенсионеров — последнее дело. Надеюсь на испытанный приём: когда автобус набьётся людьми до отказа и все оставшиеся за бортом бросят попытки втиснуться, я, уцепившись за поручни, поднажму и уплотню стоящих на ступеньках ровно настолько, чтобы за мной закрылись дверцы.

Крепкий мужичок, лет двадцати с небольшим (молодой, да ранний) попал в автобус одним из первых, занял целое сиденье и призывно машет жене, худенькой и растерянной, с сумками в обеих руках, стоящей позади всех. Люди в автобусе старательно уплотняются и совершают почти невозможное — входят все, кроме двоих: меня да жены мужичка-проныры, который, стойко держа два места, кричит ей, чтобы скорее садилась.

— Хороший вам муж достался. Настоящий джентльмен, — начинаю язвить я, но тут же осекаюсь, видя, что женщина готова разреветься.

— Давайте багаж...

Взяв сумки, передаю их над головами пассажиров, после чего втискиваю худенькую женщину между двух полных дам, стоящих на нижней ступеньке. Попытки самому попасть в автобус оказываются тщетными. Монолитная людская масса не поддается ни на сантиметр. Неожиданно те, кому повезло, сами приходят мне на помощь. Взывая к совести друг друга (не оставлять же одного человека), они делают дружное общее усилие, место рядом с мужем худенькой женщины, невзирая на его протесты, кто-то занимает, и за мной захлопываются двери. Автобус трогается. Все молчат, слышно только тяжёлое дыхание стиснутых со всех боков и обливающихся потом пассажиров. Дышать становится легче только на подъезде к городу, после того как автобус освобождается примерно на четверть.

Доехав до конечной и оказавшись на свежем воздухе, я стою в сторонке и наблюдаю сцену: женщина, которой я помог попасть в автобус, вырывает у мужа обе сумки и резко бросает ему:

— Давай! Надержался уже в автобусе! Коленки не устали?..

ВЕДЬМА

Впервые за два месяца мы были сыты. Наша бригада из четырех человек, беззаботно пропив предыдущий заработок, давно питалась только дикорастущей зеленью и недозревшими овощами с забытого на лето опытного школьного огорода. Пятёрку, которую удалось занять, бригадир тратил только на «Приму» и выдавал сигареты строго по установленной норме. На этом рационе мы вкалывали как проклятые от зари до зари, и работа медленно, но шла к завершению. И тут — такая удача! Знакомая женщина из местных попросила покрыть рубероидом крышу её избы. Затемно перетащив к ней на двор несколько «сэкономленных» кусков рубероида, мы с утра начали и к вечеру закончили работу. Рассчиталась она с нами первоклассно. Мы сидели за столом, заставленным всякой снедью: свиная печёнка, салат, тушёная с мясом картошка, и даже водки столько, что можно было не сомневаться — останется и на утро. Там, за неторопливым разговором, хозяйка вроде бы в шутку сказала:

— Таких хороших работников и отпускать жалко. Надо бы вас приворожить. Вот накапаю месячных в водку, и будете ходить кругами возле моего дома.

Все только посмеялись, но меня зацепило. Я, не веривший тогда ни во что, кроме собственных сил и наглости, стал до сырых портков доказывать, что привороты — полная чушь, и готов спорить на что угодно — меня не взять. Хозяйка Вера, женщина лет тридцати, хитро улыбалась, шуря и без того узкие глаза-лодочки. Затем разговор перешёл на другие темы и о приворотах забыли...

Я проснулся за полночь от сильного страха. Непонятный, беспричинный ужас проник в кровь, в мозг, сковал всё тело. Страшно было даже пошевелиться. Рядом на койках мерно похрапывали трое сильных и надёжных мужиков, но смелости это не добавляло. Немалых усилий стоило собраться с духом и встать, чтобы включить свет. Я сел на койке и закурил. Мужики недовольно зашевелились, сонно шурясь на горящую лампочку, но скоро затихли. Я курил сигареты одну за другой. Страх не отпускал. Очень хотелось по малой нужде. Выйти на двор было жутко. Я всё же вышел. По сторонам не смотрел, только себе под ноги. Вернувшись, сел на койку — лежать уже не мог. Где-то совсем рядом, прямо под окнами, мерзко выла собака. Я отвернул занавеску. Светало. На дороге перед домом издыхала боль-

шая рыжая сука. Время от времени она поднимала морду и истошно, тоскливо выла. Вокруг неё сидело несколько местных кобелей, спокойно наблюдая за происходящим. Собачья панихида! У дома напротив отворилась калитка. На улицу вышел скотник Вадим, наш сосед, с толстым колом в руках. Он подошёл к собаке, размахнулся и точным ударом размозжил ей голову. Кобели кинулись врассыпную. Вадим достал из кармана веревку, накинул петлю на лапу собаке и поволок её в прогон между домами — видимо, зарывать.

Страх прошёл неожиданно быстро, как проходит боль после сильнодействующей таблетки. И тут же навалился сон.

На другую ночь моё состояние повторилось, но страх был меньше и прошёл быстрее. Я уже не включал свет, а только курил, сидя на койке, глядя сквозь окно на пустынную деревенскую улицу.

Работа наконец была завершена, и мы получили расчёт. Безотлагательно устроили праздник «сытого живота». С консервами, решётками яиц и ящиком водки мы закатились к Вере. Довольны были все, включая двух Вериных дочек, получивших шоколад и конфеты. Уже изрядно подвыпив и чувствуя, что пережитые некогда страхи уже не тревожат меня даже в воспоминаниях, я спросил Веру:

— Ну, что, приворожила? Или попугала только?

Она посмотрела на меня неожиданно серьёзно.

— Попугала. А привораживать тебя мне незачем. Ты мне не нужен. Я Лёшку люблю. А ты не блатуй — не твоё это... Себе соответствуй.

Я задумался.

Лёшка — видный парень из соседней бригады, непостоянный Верин сожитель. Он вечно ссорился с Верой, даже бил, пытался уходить от неё, но, выпив, непременно к ней же и возвращался.

ТОЛИНА МОГИЛА

Кладбищенский художник Толя очень хотел быть похороненным рядом с Рубцовым. Днём он, как и другие художники из той же конторы, гравировал портреты умерших людей на граните и мраморе, а после работы ходил вблизи рубцовой могилы, облюбовывал место для себя, вымерял. И добился-таки желаемого на правах работника кладбища.

Толя сам вырыл могилу. Дно и стенки ямы укрепил, обшил досками. Накрыв листом древесно-стружечной плиты, на насыпанном сверху высоком холмике водрузил простой железный памятник с табличкой, на которой вывел своё полное имя, только после даты рождения и тире, там, где обычно пишут дату смерти, оставил пустое место.

Кладбищенские художники и копатели могил смирились с Толиным чудачеством, но однажды, взъевшись за что-то на Толю, решили его проучить. Взяли и продали готовую могилу очередному клиенту. Ничего не подозревавший Толя находился в то время в запое и на кладбище не появлялся. Одолев наконец похмельный недуг, он вышел на работу и сразу же был огорочен страшной новостью.

Толя стоял над украденной у него могилой с чьим-то свежим крестом, обложенным венками, и горько плакал, размазывая крупные слёзы по опухшему лицу. Плакал о своей неудавшейся жизни, о поэте Рубцове, которого боготворил, о той мечте, что была так реальна, но выпорхнула, как мотылёк из раскрытой детской ладошки.

Через два года Толю зарезал собутыльник. Где похоронили — неизвестно.

ПИНОККИО

Бомж копается в мусорном баке. Проходящий мимо подросток из озорства пинает бомжа под зад, но убежать не успевает — сам получает крепкий пинок от шедшего за ним мужчины. Отбежав на безопасное расстояние, пацан возмущённо кричит:

— Мне-то за что пинок?!

— Это ещё не пинок. Это так... пиноккио. А пинок получишь, когда повзрослеешь... Если ума к тому времени не наберёшься.

НАЛИМ

Начало 1980-х годов. В специализированном магазине «Океан» — очередь. Продают речную рыбу. Щука уже кончилась, осталась плотва и несколько крупных налимов. И вот последний налим ложится на весы.

— Интересная рыба — налим,— подаёт голос высокий мужчина в бушлате.— Всю гниль поедает. Санитар! Утопленников тоже вот...

Взвешенный было налим отправляется обратно в таз. Берут плотву. Наконец очередь доходит до мужчины в бушлате.

— Налима, пожалуйста, подвесьте.

МАТРАЦ

К подъезду панельной пятиэтажки подъезжают две автоцистерны. Хлопают дверцы, отсеки. Пожарные устремляются вверх по лестничной клетке. Растёт толпа любопытных прохожих. Вскоре распахивается окно на втором этаже. Сначала высовывается голова в каске. Её обладатель, убедившись, что внизу никого нет, на несколько секунд исчезает в задымлённой квартире. Потом из окна вылетает тлеющий матрац. Он падает, цепляясь за ветки растущей у дома берёзы, и плюхается на газон, где его сразу же обрабатывают струей воды из пожарного ствола. Через несколько минут из подъезда выходят пожарные. Старший снимает каску, не спеша закуривает. К нему подбегает девица из толпы зевак:

— Скажите, а от чего матрас загорелся?

— От чего, от чего... От трения...

НА ЗАВОДЕ

— Скоро твой дурацкий боевик кончится?

— Ещё минут пять. Уже на заводе...

Почти все зарубежные (да и наши) боевики похожи, как близнецы-братья. Сначала убийство (варианты: ограбление, похищение). Далее следует неминуемое возмездие, растянутое на одну-две серии. А в конце — рукопашный поединок главного героя-мстителя с маньяком, главарём банды или другим мерзким типом — сильным и опытным. Происходит этот поединок (почти всегда) на заброшенном заводе или другом объекте, изобилующем механизмами, кранами, крутыми металлическими лестницами. Даже такой замечательный отечественный фильм, как «Бриллиантовая рука», не обошёлся без «заводской» сцены.

СОВРЕМЕННОСТИ

Современники — это люди, жившие или живущие в одно и то же время. На этой Земле, на этом Свете. Мне немногим более полувека, но я современник Ахматовой, Пастернака и даже Бунина! Современник, хотя их жизненный путь шёл к завершению, когда мой лишь начинался.

Я — современник Рубцова. Видел ли я его? Не знаю... Поэт около пяти лет прожил в Вологде, да и раньше часто приезжал. Я мог встречать его на улицах города, мог видеть, пусть и не зная, кто это. Так же, как не знал и поэтому не помню художницу Генриетту Бурмагину, хотя, конечно же, видел её, причём часто — она больше года преподавала в нашей школе, когда я учился ещё в начальных классах.

Я видел Льва Николаевича Гумилева в Никольском соборе Петербурга (тогда ещё Ленинграда) на панихиде по Анне Ахматовой, устроенной в день её столетия. Лев Николаевич, поддерживаемый кем-то из престарелых друзей или учеников, молился стоя. Наши глаза встретились на две-три секунды. Во взгляде его были лишь грусть и усталость.

Моему младшему внуку нет ещё и четырёх лет, но он — современник Солженицына.

Можно ли гордиться этим? Можно и нужно.

ЛИШЬ ВЕТЕР И ВОДА

Открой чуть-чуть окно. Так холодно снаружи.
Так благозвучен мир. Лишь ветер и вода.
Стоишь лицом к дождю, и чист, и безоружен.
Я спрашиваю:
— Льёт?..

Ты отвечаешь:
— Да.

Который день, второй?.. За шум благодарю я,
ложусь в свою постель, как в белую листву,
голубку сна легко и бережно целую
и по реке времён в забвение плыву.

Бегут по желобку разлука и утрата,
дрожит намокший лист, в зарытых сундуках
то золото, то прах неведомого брата
с колчаном стрел в руках.

Красавица венок когда-то заплетала,
и он теперь на дне, где мертвенных сестёр
вода в себе несёт, вода собой питает
и пожирает их, как голубой костёр.

Что видим мы во сне? Кто за руки берёт нас
и в темноте ведёт по комнатам пустым?..
Я слышала лишь стук — стучали ночью в окна,
я видела лишь дым.

А это речь была, а это говорила
придонная трава, утопленница, там,
где за спиной стоит таинственная сила
и ходит юркий бес за смертным по пятам.

А это жизнь росла, сквозь слёзы проступая,
печальная моя, и просыпалась я,
как вечная весна, зелёная, слепая,
а это — жизнь моя.

* * *

В железнодорожном саду образцовом,
с утраченным временем, в облаке тлена
весь день под дождём в палантине лиловом
гуляет сирень, и сминается пена
листвы. Потемнели трава и тропинки,
вокруг ни души, потому прояснилось,
и капли бегут по лицу без запинки,
как будто хорошее что-то приснилось.

Быть может, выходишь ты утром из дома
и смотришь на свет, открывая впервые
страницу беспамятства или надлома,
быть может, тебя провожают живые,
но некому встретить, когда у замочной
ключи превращаются то в соловья,
то в белую шапку головки цветочной
и жизнь начинает двоиться твоя.

Но если я встречу тебя за чертою —
в запущенный сад отведу за собой,
ты станешь прорехами в кронах, водою,
роящимся светом, травинкой любой.

* * *

Слоистый жар разреженных акаций.
Последний образ лета на «зенит».
И счастья нет, и некуда податься,
и ничего в себе не изменить.

Великий возраст, детство наизнанку,
и шалостей видны цветные швы.
Уже последний бражник пойман в банку,
но нет рисунка мёртвой головы.

В погоне за многостраничной сказкой
в многострадальном будущем — не впрок —
легко ли спутать искренность и маску
и победить, не выучив урок?

Героев нет. Они остались где-то
смотреть с неподражаемой тоской
на синее засушливое лето
в потерянный давно «калейдоскоп».

Покрутишь вправо, выпадут осколки,—
зелёный сразу зрения лишит.
В карманах — что? — сосновые иголки.
А во дворе во вторник ни души.

Так почему мозаика сложилась,
а зрение и до сих пор при мне,
скажи скорее, бражник, сделай милость,
очнись от сна и покажись в окне.

Шуршит ли ночь, пугая голосами,
стучит ли день, собою оглушён,
как выросли — так пропадайте сами,
а праздник — был, но в прошлое ушёл.

Должно быть, там светлее и свободней,
и воздух чище, и платки белей,
и все выходят на один субботник
под облака высоких тополей.

* * *

Два разных языка
для будущего, что издалика
шумит,
я берегаю,
по лестнице засвеченной сбегая
и выхожу во дворик поутру.
Всей жизнью — целиком — располагаю
и никогда, наверно, не умру.

Так много света. Всё растворено
в ненастоящем золоте полудня.
Апреля в мир ведущее окно,

и ветра ненавязчивая лютня,
протяжная,— в ней гласным нет конца,
как нет конца разлуке и печали.

Не вижу в свете дня я твоего лица,
а голос еле слышный различаю.

Ты говоришь со мной и также — без меня.
Но всё равно — со мной. Невидимые сети
раскинуты везде, и клетки их, звеня,
улавливают всё возможное на свете.
А птичка не поёт, когда она одна
железных прутьев ряд обходит круг за кругом,
когда ей из окна луна вдали видна.
А птичка не поёт. Но следует за звуком.

Какой-то человек, потёртое пальто,
и «маечкой» пакет с продуктами, с багетом,
вчера меня спросил: «А Вертер — это кто?
Вы не хотите (нет?) поговорить об этом?»

Но «ветер — это кто» я различила в спешке
и удивилась вдруг, что ветер тот живой,
и человек — живой, в неряшливой одежке,
стоит передо мной, качая головой.
Холодный сон плодов. Рисунок на коробке
и жёлтые бока лимонов чуть видны.
О чём он говорит, рассеянный и робкий,
и нужен ли ему ответ со стороны?

Держи себя в руках, не говори с чужими,
не возвращайся за полночь, не забывай про газ.
«А как вы без меня всё это время жили,
куда вы шли по улице, не поднимая глаз?»

«Я шёл в каком-то сне, я жил, переживая,
а там, смотрите, в облаке мне чудится беда.
Оно напоминает мне...» — и линия кривая,
по воздуху прочерчена, уходит в никуда.

* * *

А. Ч. и А. Ч.

У Антона и Антонины
праздник снега и новизны.
Они оба сидят, невинны,
за столом из простой сосны.
Время трогает их руками,
оставляет на них следы.
На столе — только хлеба камень
и прозрачный цветок воды.

Свет дыхания, глина плоти,
белоснежная лента дня.
Бросьте хлопоты и заботы,
отвлечитесь от их огня.
У грядущего свойства Леты —
всё забудется, но пока
рано видеть его приметы,
вас обходит его река.

Праздник вышел, и снег случился.
Декабрём завершится год.
Остальное всего лишь числа.
Счёт предметам, событий ход.
Стол и стулья, окно, дорога.
Это где-то совсем нигде.
Простодушного диалога
колокольчики в темноте.

* * *

Ни малейшего намёка
на крошечное, ни звука.
Горе — это всё от лука,
это слёзы о высоком.
А когда зима нагрянет —
да! огромная! нагрянет! —
будет всё: мороз и вьюга,
вологодская эклога,
свет стихотворений Блока,
годовщина смерти друга.

Ничего не происходит.
Ничего не происходит.
Снег то падает, то тает,
но всегда он только снег.
Говорит со мной соседка,
точно ветер или ветка
днём, на улице, простая,
но она же — человек.

Идиллическая сценка,
отвратительная пенка,
утро праздника и казни,
ни одной строкой не лгу.
День на сладость проверяет.
Воздух х-хлопает дверями.
Призрак слабенькой приязни
лишь в собаке на бегу.

А куда бежит собака?
Вдруг она подобна знаку,
что уходит, не прощаясь,
время, времени в обрез?
Нет, не стоит волноваться.
Надо радостно смеяться.
Надо заходить, смущаясь,
в зимний невесомый лес.

* * *

Как будто меня не задело,
но — воздуха долгий глоток.
Верните мне прежнее тело.
Я слабый осенний цветок —

не ветер, не чёрные птицы,
не общий широкий поток.
Я первого снега крупницы
увидел сквозь свой лепесток,

и, силясь очнуться, качнуться,
приблизиться, стать наравне,
душа моя, словно из блюдца
вода, убежала вовне.

...и слёзы нахлынули с третьим ударом,
и музыки нет тяжелей.
«Налей,— говорю,— мне, налей.
Я больше не знаю, что делать мне с даром,
что делать мне с садом,
что делать мне с адом,
кого опалить мне бессмысленным жаром,
как сделать ещё больней...»

Последнее, это бесчувственный вывих,
встать в угол и видеть спиной
ужасные тени в безлиственных ивах.

Зачем вы пришли за мной?

Кого эти чёрные мальчики лепят
из снега у нас во дворе?
С утра я, расплакавшись, падаю с неба.
Я тающий снег в ноябре.
Едва меня схватишь, и пальцы немеют,
капли бегут в рукава.

Как они над исчезающим смеют
произносить слова?..

Люди, люди мои, не мои вы
соловьи, не мои семена.
Вы... а чьи вы теперь, чьи вы?
Вам — червонные имена,
вам — червонные одеянья,
раны червонные, ягод сок,
смерти багряной над всем сиянье —
вам выходит последний срок.
Кто жалеть вас не перестанет,
по волосам проведёт рукой,
кто любить вас да не устанет?

Есть ли ещё такой?..

ПО ЗАЯВКАМ СЕЛЬЧАН

Вечером на исходе зимы в Евсеевку вошёл незванный гость — невысокий и крепкий дед лет семидесяти. Вадим как раз чистил снег в аулке, когда истошно задаяли лайки Тобол с Ямалом. Чужак без разбору тыкался в каждую избу, будто не замечая, что к ним не ведут натоптанные тропки, а стекла заклеены кружевными салфетками инея. Продравшись через сугробы к крыльцу давно умерших Мыльниковых, незнакомец отчаянно забарабанил в дверь:

— Анна Степановна! Анна Степановна! Не надо ли дров поколоть?!

В пустой промёрзшей избе, проданной горожанам и оживавшей только в дачный период, на этот стук отозвалось, заворчало сердитое эхо, недовольное, что его разбудили, не дождавшись лета. Дверь, потревоженная ударами, жалобно задрожала.

— Анны Степановны нет! — крикнул Вадим бодрому старичку. — Пять лет как умерла!

В абсолютной тишине, в первых голубоватых сумерках его голос подхватило неуместно весёлое эхо. В отместку за прерванный сон оно непристойно задрало юбку девственной тишины и крикнуло прямо под подол разнузданное: «Ла! Ла! Ла!» И на этот звук новым приступом лая захлебнулись собаки. Среди белого безмолвия их напугали громкие голоса, запах незнакомца. Обычно псов тревожили лишь зайцы и лоси, да изредка в погоне за длинноухим в деревню забегала лиса. В Евсеевку редко заходили люди.

Вадим называл себя в шутку последним из могикан. Он был совсем ещё молод по деревенским меркам — и сорока не стукнуло, — крепок, высок и статен, но жил бобылём, зимогорил один в малюсенькой деревеньке. На такой подвиг затворничества решались обычно дышащие на ладан старики, которых переезд в город страшил сильнее смерти. И все в округе удивлялись: как только не скучно молодому мужику куковать в Богом забытой Евсеевке? На это у Вадима были

свои причины. «В городе я буду кто? Шиш да никто! А здесь я комендант Евсеевки», — улыбался он на вопросы любопытствующих. Дедок, неловко барахтаясь, выбрался из сугроба, подошёл к коменданту.

— Здорово, хозяин! Не нужен ли работник дрова колоть? А хочешь, снег тебе враз откидаю! Я хоть и стар, но работник крепкий. Пусти, Вадимко, переночевать, я тебе песен спою, — улыбаясь беззубым ртом, попросил странник, и тут Вадим узнал его.

Это был Женя Иванов — деревенский дурачок из деревни Васильевское, на месте которой теперь осталось только небольшое поле в окружении еловых лесов. Когда-то Женя жил вдвоём с матерью Манефой Николаевной. Летом пас скотину, а зимой подрабатывал тем, что нанимался к соседям колоть дрова.

Был у Жени и ещё один вид заработка: на всю округу славился дурачок как искусный певец. Хочешь — русские народные исполнит, а хочешь — эстраду, да что там эстраду! Даже оперные партии! Один-единственный из всех местных жителей Женя радовался, когда по телеку или радио передавали оперы. Он каким-то чудесным образом умел их слушать и понимать: пусть ума и не дал ему Бог, но зато дал чуткий слух и богатый голос.

Дурачка приглашали как певца на свадьбы и юбилеи и немного платили за выступления. Женя раскланивался перед народом и важно объявлял: «Начинаем концерт по заявкам сельчан. Первая песня — для молодых!» Затем следовала вторая песня — для родителей жениха, третья — для родителей невесты, четвёртая — для свидетелей и так далее для каждого гостя. Но теперь где те молодожены? Где те юбиляры? Лежат под крестами и памятниками. Когда Манефа Николаевна, последняя жительница Васильевского, умерла, Женю увезли в дом инвалидов в райцентре, откуда он примерно раз в год сбегал.

У дурачка никак не укладывалось в голове, что его деревни больше не существует. Он думал, что однажды вернётся туда, а все избы стоят целёхонькие на месте, и снова можно будет летом пасти коров, зимой колоть дрова и развлекать сельчан своими песнями.

— Женя, твою ж мать! Ты что, опять из дурдома сбегал? — вместо приветствия нахмурился Вадим, воткнув лопату в снежную кучу у калитки. Он сразу представил, как придется завтра звонить в райцентр в «дурку», рассказывать,

что беглец найден. Приедут Женю забирать, а он же добром никогда не сдаётся: санитары руки заламывают, а Женя в голос ревмя ревёт, как раненая корова, не хочет из родных мест уезжать. Раз на такое полюбуешься — долго потом вспоминается.

— В Васильевское-то вон дорога есть от Евсеевки, — вместо ответа на вопрос про дурдом Женя показал в поле за околицу. Там действительно вилась лентой тракторная дорога по снегу. — Избу свою провожаю.

— Дурында! Лес там валят. Гусеничниками таскают. Нет никакого Васильевского — сугробы одни. И нет твоей избы, Женя. Сколько уж раз тебе объясняли! Давно нет, — Вадим достал пачку «Балканки» и закурил.

— Это всё Жара, Вадимко, — с уверенностью заявил старичок-дурачок, снял голицу и деловито высморкался.

— Какая ещё жара? — рассмеялся Вадим, но в памяти после Жениных слов тут же зашевелились любимые когда-то в детстве бабкины байки, что жил-де в деревне Бакшейка ведьмак по имени Иван Жара. Мол, мог он так людей заколдовать, что не узнавали они своих деревень и не могли без чужой помощи найти родную избу. — Сказки всё это, Женя. Легенды. Понимаешь? Неправда это.

— А мать сказывала, что правда. А бабушка, та и видывала его. Заколдовал меня Жара! Вот и не могу избу свою найти. Помогите мне, Вадимко. Пойдём вместе в Васильевское, ты-то не заколдован, в избу меня приведёшь.

— Да этот Жара умер хрен знает в каком году, за сто лет до твоего рождения! — махнул рукой Вадим, но про сказки уже не заикался.

— А что это, Вадимко, за будка красная? — Женя указал на красную телефонную будку посреди деревни.

Когда-то о телефонной связи сельчане могли только мечтать: заветные аппараты в лучшем случае работали в колхозной конторе или на почте. Потом появились сотовые, и все деревенские обзавелись ими. И вот тут оказалось, что наконец-то и до медвежьих углов дошла очередь телефонизироваться. Уличные телефонные будки установили в каждой деревне. Правда, чтобы звонить, требовались какие-то особые пластиковые карточки. Что за карточки? Где их покупать? Никто не знал. Все по-прежнему пользовались сотовыми. А будки краснели, как диковинные язвы: летом — среди зелени, зимой — среди снега.

— Это, Женя, власть о нас, крестьянах, вспомнила. Телефоны поставили, — объяснил Вадим.

— Да ну?! — обрадовался Женья. — Как в конторе у председателя! А куда звонить можно?

— Напрямую к Богу, — усмехнулся Вадим, сплюнул под ноги и прижиг белёсое тело сугроба своим чинариком.

— А номер какой набирать? — ничуть не усомнился в его словах дурачок.

— Да любой жми. Не ошибёшься, — рассмеялся Вадим. — А ты чё, цифры знаешь?

— Нет, — честно сознался Женья.

— Тогда тем более. Жми подряд все кнопки! Ну что с тобой делать? Пойдём в избу, накормлю, да и спать будем.

О том, что завтра придётся звонить в «дурку», Вадим благоразумно не стал сообщать своему гостю, а то Женья из Евсеевки сбежит, ещё, не дай Бог, замёрзнет где-нибудь в лесах у бывшего Васильевского.

В избе оказалось, что валенки у Жени обуты на голые ноги, и ступни чёрные от валяной шерсти, рубашка рваная, а шея коричневая от въевшейся в неё грязи.

— Ёкарный бабай, Женья! Да вас что, там не моют? А носки-то где? — всплеснул руками Вадим.

— Носков... нет, — выдержав паузу, застенчиво признался дурачок и шмыгнул носом.

— Твоё счастье: я вчера баню топил. Воды там осталось. Сейчас полешек в печь кину, подтоплю заново, и помыться сходишь.

Вадим быстро истопил баню, ещё не вполне успевшую остыть со вчерашнего дня, и отправил гостя на помывку, выдав ему смену одежды со своего плеча. А потом, глядя, как жадно Женья уписывает за обе щеки рис, сваренный с лосятиной, осторожно поинтересовался:

— Женья, а как вас там кормят? Хорошо, плохо?

— Когда капусту дают — так худо, Вадимко. А когда селёдку с перловкой — так хорошо.

— Понятно, — кивнул Вадим, думая, как же надо изгодаться, чтобы перловка с селёдкой попадала в категорию «хорошо». — Долго до Евсеевки добирался?

— Утром ушёл. На дороге голосовал, доехал до Первача, а оттуда — пешком.

— Санитары-то вас не обижают?

— Нет. Только танцевать водят.

— Как это?

— На женское отделение с бабами танцевать ночью. Стыдно, — поёжился Женья, и Вадим прекратил расспросы. Вместо

этого налил большую кружку чёрного, как деготь, и сладкого до густоты чая, выдал гостю пряников из райпо. Наевшись, Женя встал из-за стола, чинно перекрестился у иконы в красном углу:

— Слава Богу! Спасибо, хозяин! Чего тебе спеть?

— Спеть?! — расхохотался Вадим. — Да ничего не нужно. Песни эти мне по барабану!

— Так положено: отплатить за ужин, — строго объяснил Женя и уже помягче подсказал: — Мужики-то, Вадимко, обычно частушки просят, ну, или про войну.

— Вот только не про войну, — сразу остановил Вадим, — и не частушки. Надоел юмор: по телеку только его и кажут. Давай про охоту, что ли. Про охоту знаешь чё?

— Знаю колыбельную, — строго кивнул Женя и запел чистым тенором. Голос его неожиданно утратил старческую скрипучесть и стал чистым и нежным, будто у совсем молоденького юноши:

*На чистой пушистой постели,
Примятой следами зайчат,
Уснули красавицы-ели,
И сосны могучие спят.
Бай-бай, засыпай!..*

Вадим пристрастился к охоте ещё в раннем детстве. Он родился в Евсеевке и рос обычным деревенским мальчишкой: как и все, любил с техникой возиться, как и многие, после школы выучился на тракториста в райцентре. До армии по примеру большинства успел в колхозе чуть-чуть поработать, а потом призыв, отвальная, военкомат...

Попал Вадим в самое пекло — в первую чеченскую кампанию. А когда после контузии и госпиталя вернулся домой, оказалось, что восемнадцатилетний период до армии сжался и усох до размеров табачной крошки в солдатском кармане, а сама война — всего-то несколько месяцев и успел прослужить до контузии! — наоборот, расплзлась, будто гангрена, и вытеснила все остальные воспоминания. Евсеевка и деревни в округе остались теми же, и люди не сильно изменились, но вот сам Вадим не принадлежал больше этому миру, словно злой колдун выгрыз у него частичку души и разума.

Хуже всего, что Вадим, как ни силился, не мог облечь в слова произошедшие в нем перемены, да и вообще не мог про Чечню рассказывать, не знал, с чего начинать и чем заканчивать. Жалел, что на расспросы деревенских нельзя ответить,

как киношному брату: мол, «в штабе писарем отсиделся». Спросят мужики: мол, как, Вадимко, там было-то? А он помычит, замямлит что-то непонятное, так и спрашивать перестали, только удивлялись: почему балагур Вадимко вдруг и двух слов связать не может?

И только в одиночестве в лесу Вадим не чувствовал груза воспоминаний, на охоте лишь тяжесть ружья и рюкзака за спиной оставалась с ним. Слушая колыбельную, Вадим представлял, как сейчас за Евсеевкой дремлет еловый лес и зайцы с лисами в их вечной погоне опять изрешетили следами весь снег под раскидистыми лапами. Мелодия колыбельной показалась ему смутно знакомой. Вадим закурил у шестка русской печки.

*И только голодные волки
Добычу выходят искать,
Но спят все ребята в посёлке.
Пора и тебе засыпать.
Бай-бай, засыпай!..*

Сквозь клубы табачного дыма Вадим увидел прочно утнувшийся в безднах памяти зимний вечер: бабушка брякает коклюшками, мама и папа ещё на ферме, коров доят, а они со старшим братом и младшей сестрой сидят на печке. Греются после долгого катания на санках. Посреди кухни стоит Женя. Он весь день колол дрова: отец его нанял. Теперь дурачок поужинал и забавляет ребятешек. И тут голос Жени из воспоминания слился в унисон с песней Жени из сегодняшнего дня:

*А вырастешь сильным и смелым,
И тайны лесные поймёшь.
Охотником станешь умелым.
За зверем по следу пойдёшь.
Бай-бай, засыпай!..*

Когда певец закончил, Вадим решительно произнес, не глядя ему в глаза:

— Хорошо, Женя. Потешил — спасибо. Телек давай смотреть. Да и спать будем.

Посмотрели какой-то сериал. Вадим хотел устроить дурачку постель на диване, но Женя попросился спать на русскую печку, заставленную пятаками с растянутыми на них шурами белок и куниц. Хозяин пятаки отодвинул к стене, бросил на лежанку старое одеяло и подушку, и дурачок блаженно растянулся на горячих кирпичах.

В полудрёме Вадиму всё чудилась колыбельная, и под её мелодию, звучащую в голове, вспомнились дочери-пташки. Когда-то Вадим был женат. Поначалу после армии он честно пытался стать нормальным парнем, чтоб всё как у людей, чтоб не хуже других. Так и обещал себе, даже проговаривал вслух, троекратно, нараспев, когда не слышал никто: «Буду нор-маль-ным! Буду нор-маль-ным! Буду нор-маль-ным!» Но эта мантра не дала результата. Пробовал залить так и неназванное горе водкой, но, напившись, впадал в бешенство.

Тогда ещё жили в Евсеевке вместе с Вадимом его родители. Раз залег за пленницей, а чудилось, что лежит в укрытии, и метал дровами в родных отца да мать, а казалось, что гранаты кидает... Слава Богу, дело было на выходных, в отчем доме гостил старший брат, приехал на выходные из города. Братан с отцом и скрутили Вадима, связали, отнесли в баню да окатили ледяной водой, чтоб очухался... Пришёл в себя вояка, а что с ним происходило сегодня и вчера, не помнит. Вадим сообразил, что это, должно быть, последствия контузии. К врачам обращался, так те чуть в психушку его не закатали, еле отбрехался потом, что, мол, от пьянки в мозгах случилось короткое замыкание.

Решил женитьбой спастись. Расписались с одноклассницей Светкой Иволгиной, она Вадиму ещё в школе нравилась. Худенькая, невысокая, на птичку похожая, Иволгой её и дразнили. Попробовали жить своей семьёй в посёлке Первач за десять километров от Евсеевки. Квартира у Светки двухкомнатная, от бабки в наследство осталась, двойню родили — дочек Таньку и Наташку. Вадим слесарил на ферме, жена продавцом в магазине работала. Что ещё надо? Казалось бы, живи — не тужи! Но водка и приступы беспамятного бешенства разбили семью. Улетела Иволга жить в Вологду, квартиру продала и дочек-птенчиков с собой увезла.

Вадим вернулся в Евсеевку, устроился сторожем в тракторные мастерские в соседней большой деревне. Иногда уходил в запой, но выучил свою норму, тот предел, за которым — Вадим знал — его ждёт окончательное безумие.

Дочек в городе он навещал редко, но исправно платил крохотные алименты. В трактористы его из-за контузии больше не брали, из слесарей за пьянку уволили, а у сторожа велик ли доход? Но Вадим всегда был удачливым охотником. Зимой он добывал пушнину, весной продавал её скупщикам из Москвы и, накопив энную сумму, каждой дочке вёз «денежек с калыма». Так и говорил девчонкам: «Танька, Наташка, де-

нежки с калыма! На куклы и платья!» А Иволге передавал мешок с «лесным» мясом — лосятиной или кабанятиной.

А потом последние соседи по Евсеевке — старики Мыльниковы — умерли, родители состарились, и старший брат на зиму стал забирать их к себе в город. В октябре увозил отца с матерью с внуками водиться, а в апреле привозил обратно: родители тосковали по своей избе и на лето возвращались в деревню. «Перелетные у меня предки, будто гуси», — шутил Вадим. Так и повелось, что полгода он жил в Евсеевке с семьей, а полгода — в полном одиночестве. Компанию ему составляли две лайки — Тобол и Ямал, да ещё кот Рыжко. «Скоро весна, пора шкурки продать, съездить и проведать. Кукол купить. Сладостей. “Денежки с калыма” поделить между Наташкой и Танькой поровну, — размышлял Вадим. — Давно не навещал. Хорошо, что Светка замуж пока не вышла. Когда в доме появится другой мужик, неизвестно, как оно будет».

При одной мысли о чужаке у Вадима вдруг сжались кулаки. Но он оговорил сам себя: виноват, виноват! Сам пил и бузил. Вот и упорхнула Иволга! «Да и что об этом думать, пока, пока-то она одна! И девки-птихи ждут», — и Вадим провалился в чуткий, некрепкий сон.

Очнулся среди ночи и резко вскочил, будто кто пнул под рёбра. В похолодевшей избе сиял неземной свет: в окно заглядывала полная луна с россыпью свечек-звёзд. Вадим глянул на печь, где спал гость, и сразу же вскочил на ноги. Жени на месте не было! И гадать нечего — сбежал в Васильевское. Вадим по-солдатски скоро оделся, на всякий случай взял одностволку с патронташем из сейфа: по ночам в округе, как в той колыбельной, бывает, что и «голодные волки добычу выходят искать». Прихватил фонарик, хотя нужды в нём в такую светлую ночь не было.

Быстро, будто новобранец кросс бежал, Вадим преследовал беглеца по лесной тракторной дороге и, как и предполагал, нашёл его на месте нежилого Васильевского. Дурачок свернул с тракторного следа и прямо по сугробам поплёлся к тому месту, где когда-то стояли избы, а теперь сохранился лишь остаток чьего-то сада с десятком яблонь да торчала из снега нелепым мухомором красная телефонная будка. Она появилась здесь из-за бюрократической ошибки: в нежилой деревне всё ещё числился прописанным давно умерший Женин отец — дядя Матвей. В каждой деревне, где по бумагам оставался хоть один житель, положено было установить такой аппарат — вот и поставили, а что звонить давно некому, кто ж об этом задумался?

Дурачок почти не проваливался в снег. Наст сверкал под луной, как морская гладь, и Женя шёл по снежным бликам, будто по воде босиком ступал. Вадим спрятался за придорожным сугробом. Интересно стало: что дурачок дальше делать будет? Да и неловко как-то сразу-то окликнуть. Человек даже из «дурки» сбежал, если не с родными людьми, так хоть с родными местами повидаться.

Женя добрался до телефонной будки, снял трубку и беспорядочно понажимал на кнопки. Затем внятно и громко произнес:

— Алё, Боже? Это я, Господи, Женя из Васильевского. Помогите мне, Отец Небесный, домой вернуться, избу свою отыскать.

Вадим разом покрылся холодным, противным потом, сполз по снежному боку, как подстреленный, и зажал руками рот: то ли чтоб не заплакать, то ли чтоб не рассмеяться.

— Господи, я знаю, что ты людям не отвечаешь. Мать рассказывала, что глас Твой не можно нам вынести. Ты её там береги у себя, Господи, рабу Божью Манефу и всю деревню нашу...

И тут Женя начал перечислять имена умерших односельчан, всех до единого, и никого не забыл. Вадим почувствовал, что по щекам течёт что-то липкое, горячее, он схватил зубами кулак, чтоб не завывать, а Женя продолжал:

— Передаю, Господи, им концерт. Прими, Боже, по заявкам сельчан. Первая песня — для мамы моей, Манефы Николаевны.

Вадим ждал, что Женя запоёт что-то церковное, но он тихо и торжественно завёл песню о первом, что увидел вокруг:

*В лунном сиянье снег серебрится,
Вдоль по дороженьке троечка мчится.
День-день-день, день-день-день!
Колокольчик звенит.
Этот звон, этот звон о любви говорит.*

Благовестом зазвучало «день-день-день» под куполом небесного свода. У Вадима словно сжалась внутри живота горькая спираль, а потом разом выпрямилась, больно ударив под дых. Скрючившись, он упал на дорогу, захлебываясь в безголосых судорогах, как в спасительной рвоте, и чувствуя, как слезами выходит наружу застарелый яд, не имеющий названия, яд от гадюки-войны. Беззвучно корчась на дорожной ленте, Вадим уже понимал, что не сможет сдать Женю

в «дурку» ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц и будет отстаивать и дурачка, и Васильевское, и Евсеевку, и дочек-пташек до последнего дыхания, как и положено всякому воину. «Я-то тоже заколдованный! В родной избе живу, а с войны не вернулся!» — понял Вадим, крепко зажимая себе рот ладонью, чтобы нечаянным всхлипом не помешать певцу.

Над вековыми лесами дерзко полетели к звёздам частушки. Это Женя объявил и начал исполнять вторую заявку: для отца своего, контуженого фронтовика дяди Матвея, Женя пел любимые батины частушки:

*Раскачу я нынче избу
До последнего венца.
Не пой, сынок, военных песен,
Не расстраивай отца...*

ДРЕВО ЖИЗНИ

Дядя Гриша тащил домой только что срубленную ёлку. Она, как дикая кошка, цеплялась колючими лапами за обледенелую дорогу, будто даже сейчас продолжала борьбу за жизнь, будто бы мстила за то, что ей придется погибнуть ради одной новогодней ночи, ради людского обычая.

Дядя Гриша боролся с ёлкой за каждый следующий шаг. Временами он припечатывал её горячим отборным словечком. Материться так, как дядя Гриша, не умел ни один мужик в его деревне. В юности дядя Гриша служил на флоте, и боцман весьма охотно обучал салаг искусству брани. Как-то раз этот морской волчище на спор матерился десять минут, а матросы следили, чтобы за это время ни одно ругательство не повторилось. Боцман выиграл две бутылки кубинского рома и контрабандные джинсы.

Сейчас дядя Гриша вновь ощутил на своих губах солёный вкус, но не от морской воды, как в юности, а от крови. Он был тяжело болен и стар. Его мучили рак печени и сахарный диабет, и иногда, особенно от тяжёлых усилий, из носа или губ начинала сочиться кровь. Дядя Гриша не обращал на это внимания. Он мог бы выбрать деревце поменьше, но не стал. Дом у дяди Гриши был большой, и ёлка требовалась дому под стать: чтобы выше человеческого роста, чтобы хватило места встать в хоровод всем восьмерым внукам. Поэтому дед упрямо тянул за собой по обледенелой дороге такую же упрямую ель.

В этом году старший сын предложил купить искусственную сосну: высмотрел в универмаге в райцентре. Ох, и досталось же ему от дяди Гриши, даром, что парню давно за сороковник перевалило! На сыновей дядя Гриша сейчас особенно злился: перед Новым годом запили все трое, что нередко случалось с деревенскими мужиками, да и с самим дядей Гришей, когда он был моложе. Однако молодо — зелено, и глава семейства, желая предостеречь новое поколение от старых ошибок, ругался на чём свет стоит, не щадя ни жену, ни детей. Когда старший предложил купить искусственную сосну, дядя Гриша схватился за топор: «В моём доме — не бывать! Леня за ёлкой пойти, спились совсем! Ну, так я сам пойду». Ему не посмели перечить, за ним не решились выйти следом, и только старший внук, девятиклассник, когда за дедом закрылась дверь, горестно выдохнул в воцарившейся тишине: «Да я бы сам сходил! Дедон ведь опять не ёлку, а баобаб притащит — надорвётся!»

Внук, конечно, был прав: «дедон» выбрал непосильную ношу. Дядя Гриша срубил раскидистую ель, выросшую на дне мелиоративной канавы. Ров тянулся вдоль просёлочной дороги. Весной местным дорожникам всё равно предстояло очистить канаву от деревьев, чтобы поросль не мешала по весне оттоку талых вод. Дядя Гриша по-хозяйски, но не без романтики, рассудил, что если ёлке всё равно суждено погибнуть, то пусть она сделает это красиво. Теперь ему предстоял самый трудный участок пути — свернуть с дороги и по лесной тропе дотащить новогоднее деревце до дома.

В лесу дядя Гриша, вконец измучившись, остановился отдохнуть под огромной елью. Она совсем не походила на ту, что только что была принесена в рождественскую жертву. И даже само определение «она» к этой ели словно бы не относилось. Это было «оно» — древо. Его ветви раскинулись настолько широко, что к подножию ствола почти не попадало снега. Корни казались живым переплетением костей, жил и нервов. Они питались из самого чрева земли, скрытой под белым покровом. Вершина подпирала небо, протыкала серую хмарь, и как будто именно через эту дыру и вывалился вниз целый ушат пушистых снежных мух. Дядя Гриша осторожно, чтобы не закружилась, запрокинул голову, и посмотрел вверх — прямо туда, откуда падал снег.

Он внезапно почувствовал на губах не надоевшую кровавую соль, а странно знакомый свежий вкус. Он не сразу вспомнил, что это, а как вспомнил, невольно улыбнулся — это

же арбузный сок вперемешку с дождем! Эта же та самая ель! И события юности, как картина в кинозале, ожили на белоснежном экране его памяти.

Лето клонилось к концу, когда они с Танькой, беременной вторым сыном, поехали в райцентр за коляской для будущего новорождённого. Долго выбирали обновку в универмаге. Решили собрать коляску прямо в магазине, поскольку везти её в родную деревню предстояло на рейсовом автобусе. Так уж лучше катить, чем тащить на себе! Дядя Гриша до сих пор помнил запах нового дерматина, исходивший от «детской кареты». Им было весело с Танькой катить эту коляску по городу. И они зашли на рынок и купили огромный арбуз. В два раза больше Танькиного живота. И шутили, что прямо сейчас проведут испытания коляски на прочность. Арбуз положили в «карету» и везли этот крупный плод, как зелёного полосатого младенца. И на них, молодых и весёлых — и с первого взгляда понятно, что деревенских! — с улыбками оглядывались горожане-прохожие. Арбуз был главным гостинцем для всей семьи — для тётки и первенца, для них самих, для младшей Танькиной сестры, которая тогда ещё не вышла замуж и жила с ними в няньках. И приятно было представлять, как обрадуются, удивятся и восхитятся этим лакомством родные!

Так на рейсовом автобусе доехали до своей остановки, но от шоссе предстояло ещё топать до дома километров пять сначала по полю, а потом через лес. Ни проселочной дороги, ни мелиоративной канавы тогда ещё не существовало. Коляска, не предназначенная для штурма деревенских тропинок, с трудом ехала по дёрну, по корням и травам, по сучьям и комьям сухой пыли, и Гриша (тогда ещё вовсе не дядя, а просто Гриша) с весёлым остервенением толкал её перед собой. Собирался дождь, небо темнело, но грозы ничто не предвещало, наоборот, сразу было ясно, что пролётится тёплый и ласковый поток, безмятежный и нежный. Так и случилось. Дождь застал их в лесу.

Они побежали к огромной ели, чтобы спрятаться от струй, глинистая тропка, как змея, юлила под ногами, и Гриша не удержался на её скользкой шкуре — грохнулся, и коляска упала, и арбуз выпал на землю и раскололся на розовые, исходящие сладким соком, неровные и крупные куски. Они с Танькой хохотали, как сумасшедшие. Уже не обращая внимания на ливень, добровольно сдавшись в плен нежному потоку, собирали осколки арбуза и складывали их в коляску. А потом, стоя под елкой, обнявшись, откусывали от одного

ломтя по очереди, и арбузный сок мешался на губах с дождём.

Дядя Гриша очнулся от воспоминаний. Снова посмотрел вверх на снежную лавину. Погладил шершавое могучее дерево, как старого друга. Вдохнул, взялся за свою новогоднюю ношу и потащил её вдоль по тропке — домой.

Этим же вечером ель воткнули комлем в деревянную крестовину, и когда запахло на всю избу хвоей и лесом, на деревце прежде всего накинули переплетение электрических гирлянд. Дядя Гриша лично проверил все лампочки на исправность: всё горело и сверкало как положено. Теперь пришёл черёд Таньке и внукам нанизывать на ветви шарики и сосульки, снегирей и шишки, медвежат да зайчиков... В картонной коробке, где весь год хранились игрушки, пластиковый новодел мирно соседствовал со старинными украшениями. Коллекция пополнялась каждый год на протяжении десятилетий, а часть игрушек и вовсе досталась в наследство от покойницы-тёщи. И всё это лежало в одном ящике, который теперь напоминал Ноев ковчег. Кого и чего тут только не было! Зверей — каждой твари по паре! А также свёкла и груши, огурцы и яблоки, птицы и сказочные герои, часы и свечи! Ярko блестел новый заснеженный домик, привезённый из города в прошлом году старшей внучкой, тускло светилась плоская рыбка из плотной фольги, купленная тёщей едва ли не сразу же после военных лет...

Старший, четырнадцатилетний Данька, самый высокий внук, взобрался на стул, а Танька и остальные дети копошились внизу у подножия ёлки, смешались в весёлой сутолоке и по очереди подавали Даньке украшения, чтобы он развесил их на колючей макушке. И у каждого ребёнка был любимый шарик, а чаще всего — какая-нибудь старинная зверушка, и каждый стремился, чтобы его фаворит попал на самое удачное и выгодное место на ветке.

— Дед, ну ты и великаншу притащил! — нахваливали внуки и внучки. — Такую хоть гирями украшай — ветки выдержат.

— А хотите анекдот? — вдруг спросил дядя Гриша

— Хотим!

— Знаете, как Мичурин умер? Приспичило ему салатика поесть. Полез он на ёлку за петрушкой, тут его арбузом-то и убило.

— Мичурин — это учёный, который овощи изобретал, — объяснил старший внук бегавшей внизу мелюзге.

Все заулыбались, дядя Гриша лукаво подмигнул Таньке. Она единственная поняла, о чем это он на самом деле. Дядя Гриша щёлкнул по округлому животу красного стеклянного космонавта. В аляповатом скафандре космонавт напоминал беременную доярку в кумачовом сарафане и наглухо повязанном платке. Щелчок волшебным звоном отозвался в других игрушках.

— Весной арбузы посажу,— ни с того ни с сего вдруг сообщил детям дядя Гриша.

— Круто! Свои арбузы! — одобрили внуки.

— Не вырастут, Гриша,— покачала головой Танька.— Какие арбузы у нас на севере? Хоть бы картошку вырастить.

— Ну вот и вырастим вместе с картошкой,— упрямо заявил дедон и тут же рассмеялся.— Если что — на ёлку привью. На ней всё растёт.

...К весне сыновья дяди Гриши дружно «закодировались» и бросили пить, как обещали матери и жёнам. А в мае на подоконнике огромного окна — в доме дяди Гриши всё было огромным, даже окно — появились горшочки и ящики с рассадой. Среди помидоров и перцев, курчавились три веточки арбуза, заботливо рассаженные каждая в свое ведёрко из-под майонеза.

МАТРАЦ

Марии Солнцевой

На чердаке нашего деревенского дома живёт отправленный в отставку полосатый матрац. Он списан на пенсию по выслуге лет. Матрац зарылся в опилки, будто доисторическое животное в колючий песок ледникового озера. Его «шкура» — обивка из холстины — стала серой, словно поседела от времени, и теперь лишь смутно угадывается, что спину и бока когда-то украшали продольные зелёные полосы.

Когда-то матрац лежал на металлической кровати, а кровать стояла в бабушкиной избушке. Это было родовое ложе, украшенное так, как и положено ему по чину. Понизу — подвесы с вологодским кружевом, в узорах которого зашифрована вся жизнь человеческая от рождения до смерти. Снежинки — морозные модели мироздания. Павы — прародительницы, берегини семейного очага. И эти бесконечные извивы плетешков, дорожек судьбы: для каждого новорождённого — свой узор, свой путь.

На спинках кровати — круглые блестящие шарики да занавеси из тюля с пышнотелыми, будто беременные молодухи, розами и пионами. В изголовье — высокая горка из трёх подушек. Все подушки бабушка делала сама. Она держала кур (именно кур, гусей в нашей деревне не разводили) и собирала их пух и перья, постепенно накапливая целую гору мягкой подушечной «начинки». Птицы теряли пёрышки то во время прогулки в палисаднике, то во время ночёвки на насесте, и их пёстрый наряд превращался в свадебный подарок: каждой своей внучке в приданое на свадьбу бабушка приготовила по самодельной подушке.

На горке красовалась вышитая бабулей накидка: два кота, один с зелёными глазами, а другой с голубыми. Котейки залегли в зарослях ярко-алых цветов, «выращенных» на белом поле из ниток мулине. Кажется, погладь чуть-чуть — цветы от прикосновения закачаются, а коты лениво заворчат-замурлычат.

На этой кровати родились все мои тётки, моя мама и некоторые из моих родных и двоюродных братьев и сестёр. Появление на свет каждого нового представителя рода сопровождалось легендой. Бабушка рассказывала: «Твой брат Женька родился в рубашке, потому и удачливый такой, что на охоте, что на рыбалке!» Или: «Уж как отец о тебе молился, чтоб дочь у него была после двух сыновей! Парням так не радовался, как тебе! В твой день рождения сколотил столы, выставил прямо на улицу, накрыл пир на весь мир, всех прохожих угощал!» Или: «Когда родилась двоюродница твоя Танька, такой ветрище выл! Вот и росла крикливой, сладу с ней не было! Всей деревней водились».

Последним ребёнком, родившимся в бабушкиной избушке, была моя племянница Маша. Это случилось ещё в Советском Союзе, на закате эпохи. Праздновали «октябрьскую» и одновременно день рождения моего старшего брата Сашки. Его жена Наталья ходила на сносях. Ласковая и приветливая, она полюбилась нам ещё при сватовстве. Наталья с первого дня называла наших родителей «мамой» и «папой», умела варить необычайно вкусные супы и делала со мной «домашку». Мне в ту пору было лет восемь.

Отчётливо помню нашу деревню в тот ноябрьский вечер: двенадцать домов тянутся сизыми дымами к звёздам под небом прозрачным и водянистым, будто течение реки Паутинки. В каждой из двенадцати изб тогда ещё было кому протопить печь. Теперь старики ушли к праотцам, а их дети разлетелись по городам, продав отчие гнёзда под чужие дачи.

Но в те предзакатные годы ещё и слова-то такого «дачник» в нашей деревне не звучало и принято было собираться всем вместе: и соседям, и родным, близким и дальним. И шумел, гремел праздник не в бабушкиной избушке-невеличке, но в огромном доме моего отца, выстроенном напротив. И ломились столы от крестьянских яств: тушённая в печи картошка с говядиной, неперенные винегрет и холодец, и селёдка под шубой, и оливье, и котлеты. Украшение стола — большая щука, пойманная отцом ещё в начале осени и теперь зажаренная целиком. И, конечно, домашняя колбаса. Её очень вкусно делал мой дядя Володя. И грибы, огурцы солёные, пироги с морковью, яйцом, малиной, морс из клюквы, сироп из смородины, и при этом ни одной бутылки, лишь ковши и графины. Пили брагу и самогон, сваренный тайно: в разгаре была антиалкогольная компания. Брагу готовили из сладкой, как мёд, патоки, которой кормили колхозных коров. Мне кажется, что я и сейчас помню запах этого напитка: что-то среднее между мёдом и карамелью.

Но и под «паточную» вечеринка удалась. Танцевали под песни с бобинного магнитофона, плясали под гармонь: на ней играл то Сашкин друг Колян, то дедушка Саша, мамин дядя. Пели хором, и как всегда солировала моя тетушка Лида, чей сильный и уверенный голос для каждого из нас был желаннее и нежнее, чем ковш воды посреди знойного сенокоса. Частушки веселее всего получались у соседки — тёти Сани, но когда она, девяностолетняя, сухая и высокая, похожая на лучину от берёзового полена, выходила плясать, мама зажимала мне уши ладонями, потому что из нематерных выражений в этих частушках присутствовали только союзы и предлоги. И всех-всех без исключения охотно фотографировал Сашкин друг из Вологды — Лёшка.

Спать легли за полночь. А утром меня разбудило ликование взрослых: и шум, и крик, и смех, и такая бешеная пляска под гармонь, какой мне не доводилось видеть прежде. Ночью у Натальи неожиданно начались роды, и прежде чем успела до нашего медвежьего угла добраться «скорая», под утро прямо в бабушкиной избушке на родовом ложе появилась на свет моя племянница. Её тут же нарекли в честь бабушки — Марией.

Это имя носили многие продолжательницы нашего рода, и дело было вовсе не в уважении к почтенному возрасту и даже не в бабушкином непререкаемом авторитете. Бабулю просто любили. В этой простоте и был ответ на вопрос: «А почему

у вас в семье ещё одну девочку называли Маней». Любили за все спетые ею песни и рассказанные сказки, за припрятанные для детей конфеты в сундуке, за четвертинку водки, выставленную мужикам при тяжком похмелье, за умение улыбаться в такие времена, когда, казалось бы, страшно даже и заплакать, за приветливое слово и мудрый совет...

Даже когда моя бабушка была совсем ещё девчонкой, её часто звали в крёстные. В деревне это считалось знаком особого уважения. И крестниц тоже называли Мариями, вернее, Марусями. За долгую бабушкину жизнь крестницы-Маруси расселились по всей России. Была, например, Маруся Подмосковная — та, что приезжала помогать при ремонте дома. Она мастерски клеила обои и научила меня петь «Сняла решительно пиджак наброшенный...» Геройская Маруся Ленинградская — та, что не захотела эвакуироваться в блокаду. Маруся Мурманская, у которой бабушка с детьми спаслась от колхозного голода во время войны. Маруся из-под Комёлы — та, для которой бабушку наняли в няньки, и она «выводила», как говорят в деревне, то есть вынянчила эту Марусю.

Бесконечная череда Марусь, Маш и Мань представляется мне гирляндой из маленьких звёздочек. Гирлянда наброшена на древо жизни, замаскировавшееся под новогоднюю ель. В тускло сверкающей цепочке зажёгся ещё один светлячок — восьмого ноября появилась, чтобы жить на земле, ещё одна Маша.

«Скорая» увезла молодую маму и младенца в райбольницу, но выписали их очень скоро, потому что обе были абсолютно здоровы. Наша Маша вплоть до первого класса никогда и ничем не болела, даже простудой. Она училась в школе только на «четыре» и «пять», и все уже думали, кем же она станет, когда вырастет, юристом или экономистом? Но она выросла и стала мамой для трёх сыновей и дочки.

...Я сижу на чердаке на старом матраце, вдыхаю запах опилок и смотрю чёрно-белые фотки, сделанные другом Лёшкой в ту «октябрьскую». Вот Сашка держит на руках тугой свёрток из клетчатого одеяльца, в котором безмятежно спит новорождённая дочь. Брат высок и красив не вологодской а, скорее, южной красотой. Это потому, что отец наш родом с северных предгорий Кавказа, а прадед, тот и вовсе был перс, и вот — горячий южный привет от дедушки Аббаса! — у Сашки чёрные, как смоль, волосы, слегка удлинённые по тогдашней моде. Он тонкий и гибкий, как те юноши, которых на нашей второй родине мне доводилось видеть в жарких, как

русская печь, аулах. Сашка светится от счастья и скрывает, что немного испуган, и я с ужасом понимаю, что я сейчас старше, чем он, на этом чёрно-белом снимке. На меня смотрит малышка, очумевший от радости неожиданного отцовства.

А вот мы с младшей сестрой Маринкой и старшей Нинкой крепко, будто рыбки-прилипалы, обнимаем с двух сторон нашу бабушку Маню. На мне белая «пионерская» рубашка, которую я донашиваю за средним братом Женькой, на Маринке — зелёная кофта, которую она донашивает за мной, а на Нинке — новёхонький, удлинённый по моде 80-х, свитер. Нинка ходит в невестах, и ей уже не положено донашивать, её дело — «красоваться в девках», и у бабушки почти готова подушка на её свадьбу. Мы с Маринкой потихоньку таскаем из недоделанной подушки самые длинные перья, окунаем их в акварельные краски и пытаемся научиться писать «как Пушкин» — его сказки бабушка знает наизусть и рассказывает нам по вечерам, но в странном варианте, не похожем на тот, что печатают в школьных учебниках по чтению. Стихи Александра Сергеевича в деревне передавали из уст в уста, и вологодский говор причудливо менял их звучание. Округлялись и выпячивались все «О», а некоторые слова подменялись диалектными. Да и сама биография поэта в изложении народа стала сказкой: Дантес напоминал злодейского Кощея или Чудо-Юдо заморское, Наталья Гончарова — похищенную царевну, лицеисты — братьев-богатырей, Пушкин — былинно-го Садко.

Жаль, что бабушкиных снимков сохранилось так мало. Вот и на общей фотографии её нет. На этой фотокарточке, как обычно, уместились далеко не все родные и близкие. Вечная проблема наших семейных праздников: даже километры плёнки не в силах объять бесконечные линии жизни, замысловатые ответвления нашего родового древа. И вот в первом ряду, в самом центре этого неполного снимка, стоит мой отец, пьяный не то от «паточной», не то от восторга. И он ещё здоров: у него ещё нет рака, да что там рака, у него даже язвы желудка ещё нет! Молодой дед весел и пьян, смеётся и грозит пальцем в объектив. И рядом с ним три его племянника — мои ослепительно юные двоюродные братья. Чернобровые, кудрявые красавцы. Все трое «ходят в парнях», только, если честно, Юрка уже не ходит: застудил ногу, модничал в кроссовках в сильный мороз. Сначала он стал хромать, потом совсем потерял способность передвигаться. Юрка так и не смог поправиться. Брат наш истаял постепенно, растворился

в воспоминаниях, став ещё одной семейной легендой, горькой, как вкус полыни....

На фото Димка с Вовкой поддерживают Юрку под руки с двух сторон. И Вовка ещё очень полный и слишком добрый, как слон-пацифист. Это он до армии. Там, на службе, его много и часто обижали, и вернулся он совсем другим — не юношей, но мужчиной, умеющим защитить себя. И Димка, ещё не знающий, что совсем скоро в недалёком будущем его ждёт мучительное расставание с первой любовью, настолько тяжёлое и болезненное, что семейное счастье он обретёт только много лет спустя в солидном уже возрасте. Димка мастерила для меня деревянные игрушечные бульдозеры, ладила для каждого из своих братьев острейшие охотничьи ножи. И нет ни которого теперь уже: ни Димки, ни Вовки... Обоих увела на кладбище самая непобедимая вражина деревенских мужиков — разлучница-водка, из века в век проклинаемая женщинами по всей России.

И вокруг братьев, вокруг отца — тётки и сёстры, дядья и племянники, деверья и кумовья, крёстные и сваты... И ближние рода нашего — друзья и соседи. И у каждого своя судьба, и нужны бесконечные свитки бумаги, годы труда, непреодолимая страсть к начертанию букв и верность долгу, как у древнерусского летописца, чтобы рассказать историю каждой жизни.

И мне хочется взять два тетрадных листа в клеточку приставить с обеих сторон к этой «не общей» фотографии и, как умею, дорисовать всех, кто был на той «октябрьской», но не поместился в кадр. И, конечно, особенно тщательно изобразить, словно перечислить поимённо, тех родных, кто по каким-либо причинам восьмого ноября не смог попасть на праздник в Паутинку. А потом окунуть куриное перо в акварельные краски и сверху написать неровными печатными буквами: «С днём рождения, Маша!» И чтобы «С» была повернута в «неправильную» сторону», а буква «Д» напоминала огромный отчий дом, где зарылся на чердаке в опилки старый матрац.

СОЛОВЕЙ

Я сидел на берегу, поёживаясь от холода. Костёр разводить смысла не было, да и, к слову сказать, не из чего. Всегда так. То рано приедешь, то поздно. А уж как сегодня, так и вообще непонятно что.

Светать, вроде, как будто и не собиралось. Место моё любимое оказалось занятым ещё с вечера, а я так старался, прикармливал едва ли не целую неделю. Разводить дипломатические беседы на тему «эй, ребята, это моё место» с подвыпившей, пусть небольшой и на первый взгляд спокойной, но компанией, было бы излишне самонадеянно, если не сказать глупо. И мне ничего не оставалось, как пристроиться неподалёку, стараясь не обнаруживать до поры до времени своего присутствия.

Надеялся я на том месте на одну небольшую рыбацкую хитрость, применить которую меня надоумило само его происхождение. Были здесь пруды рыбного хозяйства. Три вида рыбы когда-то для начала. Карп. Карп-карась. Зеркальный карп. Потом и белый амур был, и толстолобик. Что ещё — не знаю, но эти виды были точно. Под перестройку хозяйство загнулось, хозяина нового не нашлось. Сначала персонал охранял пруды на чистом энтузиазме или по привычке, а потом... Всем жить хочется. Открыли один, ловить по путёвкам, десятка — зорька. Потом второй. Десятка — зорька. Даже объявление в газете дали. Желающих — море. Знакомые рассказывали, на берег было не ступить. Плечом к плечу, но не более пяти килограммов на путевку. Ага! Или не в России живем?

Потихонечку, не за сезон конечно, но разъехались бывшие работники из своего маленького посёлка. Дамбы прудов размыло, но пара осталась, что от реки подальше. Сейчас здесь никаких путёвок, и людей гораздо меньше, и рыба стоящая повывелась. Впрочем, нет-нет, да и выловит кто-нибудь экземпляр этак кг на десять-двенадцать. А то всё больше мелочь по тридцать грамм, сетками всё повыбивали, и выбивают... и

будут выбивать. Или не в России живем! Зброшенные плавающие кормушки, как памятники, торчат то тут, то там на месте бывших рыбных прудов, изъеденные ржавчиной. На этом сохранившемся их две, значит, пруд был не откормочный, мальков растили. У одной из них я и выбрал себе недели полторы назад место, надеясь на удачу и генетическую рыбу память. Когда прикармливал, постукивал по полузатопленному поржавевшему поплавку бывшей кормушки.

И вот такое дело, заняли моё местечко. А посмотреть на результаты труда своего всё равно хочется. Да и ревность рыбацкая покою не даст. Это как же? Кто-то больше меня поймает? Да на моём месте! Пусть и не всегда я на рыбалку за рыбой езжу, да не тот уж случай. Это одному отдыхать можно, когда конкурентов нет. А они вот — трое с той стороны кормушки, метрах в пяти от меня, за камышами. У них костёр. Им тепло. По выговору — не местные, по разговору — нетрезвые слегка. Один вроде заикается чуть. Всё слышно. Ночью, да над водой, далеко слышать. И принесла ж меня нелёгкая ни свет ни заря. Снасти не приготовить даже, разве что на ощупь... Рано! Вроде и май давно уже, а свежо. Испортили настроение. Да ладно! Ещё приеду.

Говорят, подслушивать нехорошо. Знаю. А на моём месте вы бы что делали? Закрыли бы уши ладонями или заткнули чем-нибудь? На другое место отошли бы из вежливости и в силу природного человеколюбия? А я нет, не отошёл, уши не закрыл и не заткнул. Сигаретку прикурил, зажигалкой ещё долго щёлкал: типа, господа, вы теперь не одни в этом квартале. Покашлял даже для приличия. Поначалу они — да! Вроде как насторожились, но успокоились быстро и по новой, не вполголоса, а по-нормальному говорить стали. Слова всё знакомые, анекдоты не травят. Сидят, разговаривают. Темы, как всегда у пьяных — с осины на под венец, и с вдоль дороги на красно-синее. Но вежливо. Никто друг друга не перебивает зря. Один расскажет — посмеются. Другой расскажет — помолчат. Даже того, который заикался, не перебивают. Значит, не пьяные, так — для разговору только, да по традиции ещё. Знают, что рыба посуху не ходит.

Помолчали очередной раз, и один спохватился с чего-то. Что это, мол, птицы не поют? И действительно не поют. Я и то прислушался. Ну, у них, конечно, очередная тема. А как это про птиц про певчих и не про соловьев? Какаду у нас не водится. Один вспомнил что-то, второй, очередь третьего. Говорит третий.

— Наслушался,— говорит,— раз даже там услышал, где и не ждал.

А мне слышно всё, доносится...

— ...да всё как всегда было. Утро как утро, да и ночь была как ночь. Так. Пара обстрелов, вежливых таких. Та-та-тах — они. Та-та-та-та-та-та — мы. Они — бух. Ну и мы тоже — бух. И всё. Кто спит, во сне подушку целует. Кто стоит, во сне тоже, автомат ищет. Кому что приснится.

И вдруг — тишина такая. Кто и спал — проснулся. Вылезли все. Туман сползает, на глазах прямо. И соловей запел, чёрт бы его... Рядом... Ладно я, не привыкать. Так ведь городских половина, как не больше. Соловьев никогда не слышали. А тот так, как завёлся. И этак. И снова. Ну, блин, и расталяли все, уроды. Хоть бы выматерился кто. Хрен. Ленка, б... наша походная, за два лимона недавно купили, и та вылезла. Ногу свою простреленную волочёт, по-русски десять слов знает и туда же, что-то поняла, видать. Молчит. Только щурится. Как замерло всё. Не бывает такого. Долго не бывает.

Сошёл туман, ну и дали нам под соловья тоже — фьють. Сразу и не поняли. Консерваториев не заканчивали. Снайпер у них, видать, косой, а может, издевался. Любили они иной раз. Иногда по делу: одного подобьют и ждут. Знают, что вытаскивать полезем. Рядом с ним ещё парочку положат, где один был — там уже трое. А когда уже дым и весь лес в дырках кругом, первого и завалят. Вот, мол, вам. А не по делу тоже. Хуже когда не по делу. Всё поверху, да поверху. Привыкаешь, блин. А потом — раз. А то и два. Больше не бывало. Не помню такого. Хрен с ними.

Ну и попало, короче, «фьють» второе парню в ногу. Тьфутьфу. Не в ногу, в каблук точненько. Тот, как стоял, рот открывши, так и нырк — мордой вниз. Пару секунд все дальше соловья слушают, потом дошло, конечно. Кто куда, кто за что, и шмалять. Враз про соловья забыли. Флаг у нас над блоком. Знатному трактористу, красный. Сбили. Всегда так. Сначала по дурости шмалят, потом только по уму. А ум-то где? Килограммов десять патронов улетело куда-то. Командир, конечно, орать давай. Типа, хорош стрелять. Смотри, слушай. А кого слушать? Соловья? Уже послушали. А смотреть? Тут и первые, и вторые номера лупят во все дыры. На север, запад, восток и юг, и всё что между ними. Ленка по-пластунски к нам ползёт, причитает что-то. Витька выбежал. За шкуру её да за штаны, как щенка прямо, волочёт. Смех, если со стороны. Успокоились все, короче.

И опять тишина. Как и не было ничего. Сменились. Вернулись. Тут и смех разобрал. Ага, дом вспомнили. А с комендатуры мужики всё допытываются. Чего, мол, ржали-то? А мы — анекдот, типа, вспомнили. Тем любопытно, тоже посмеяться хочется. Всё, как на подводной лодке третий месяц, сказано-пересказано. Историю тут наскоро сочинили, да их не наколешь так просто. Один одну историю послушал, второй — вторую, третий — третью. Не сходится. Колитесь.

Короче, соловьи у нас на блоке. Так Ленка и погорела. В смысле попалась. Комендачи вначале в атаку. Духу чтобы не было. А нам её что? Обратно продавать? Так и отпросили. Ну и что? Баба при деле. Сварить там чего, простирнуть, если вода есть, зашить. Магазины зарядить и то руки лишние. Комендачи, конечно, комендачи. Работа у них такая. Но мужики хорошие, поняли. Порывался там, правда, один — соловьев послушать. Деньги даже предлагал. Ему свои же быстро мозги на место вправили.

Так и жила у нас, от кого теперь прятать-то? Туалет ей отдельный выкопали, мешками заложили, ядерный гриб выдержит. Угол на блоке за плащ-палатками. Они без этого не могут — женская половина. От ихних прятали поначалу: мало ли что? Обжилась, совсем хозяйкой себя почувствовала. Хоть на привязи держи. За веник и на народ. Блок подметает. Половик перед шлагбаумом — типа, ноги пусть вытирают. А разобраться, так сопля ещё, шестнадцать лет. Бабы местные ей даже оброк платили. Придут, та в камуфляже вылезет, гыр-гыр. Глядишь, у нас и сыр, и лепёшки горячие. Ну, а когда кому приспичит, это уж извините... Был из комендачей мужик один, раз только с ней поговорил просто. Так себе, неплохой, в общем. Мы что-то замечать стали. Он на блоке — она сразу к себе и зырит через дырку. Песню раз запела, грустная такая. Раз, второй.

Попала девка. Поменялся он, она пометалась-пометалась, раз в своё с утра переделась и пошла. На бэтэзре догнали, вернули. К нему собралась! Спрашиваем: куда? В Россию — говорит. Тоже мне деревню нашла! А зачем? Лопочет что-то, на живот показывает и на титьки. Кое-как, да через колоду-пень, карту перевернули рисунками, допетрили. Ребёнка хочет ему родить, любовь. А дальше что?

Командир у нас хороший был.

— Хрен, — говорит, — с тобой, девка. До России доведу, а дальше как знаешь. Нашёл того мужика, аж чуть ли не через Москву. Объяснил ему ситуацию. Тот его послал, конечно.

А слово не воробей, да и все мы не шилом бриты. Менялись, было у нас в отряде вроде как больше на одного. Когда возвращались, добрые все. Скинулись с командировочных — и дом ей в деревне купили. Ну, не совсем дом, но жить можно. Сказали ей: жди — приедет.

И ждёт ведь дура! Во всей деревне три бабки и она. Ждёт! И соловьи там тоже есть. Ага, точно! Должны быть.

Мне послышалось бряканье кружек. Уже светало. Я осторожно встал, растянул удочку. Разгладил, нагревая, чтобы расправилась, озябшими враз руками леску. За камышами зашевелились тоже.

— Эй, мужики! — позвал я осторожно.

— Чего? — ответил мне тот, кто рассказывал последнюю историю.

— Начнёте ловить... — я коротко объяснил, куда бросать прикормку, по чему и как стучать.

Видимо, мне поверили не сразу. Однако часа через три, после поднявшегося враз ветерка, кто-то из них окликнул меня:

— Эй, сосед!

Я отозвался.

— Спасибо тебе! За подсказку! Неплохо взяли.

— Да ладно! — ответил я.

Пусть, я ещё приеду.

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО...

Наведение конституционного порядка было в разгаре. Кто-то там на кого-то наступал... Видимо, успешно, потому как каждую неделю минимум по два раза объявлялось перемирие. Мы же решали свои проблемы... Обзывалось это сокращённо ПРМ. А на русский переводилось как поисково-розыскные мероприятия. Попросту говоря, мы по непонятному «лотерейному» графику летали и ползали по определённой нам зоне ответственности. Искали схроны, склады, тайники, держали под контролем вероятные места минирования, встречали и сопровождали колонны в качестве полузаложенников, сами гордо именуясь комендатурским прикрытием. Искали пленных и рабов. Искали их хозяев. Да много чего... Две роты взвэшников. Два-три отряда ОМОН. И мы — типа главные. Штаб.

Мы все здесь сейчас живем. Войсковая комендатура ВВ МВД-района. Мы тут советская власть. Псы Родины, привязанные железными цепочками присяги, уставов, своим

воспитанием, своими песнями и принципами. Ну и, конечно же, скудными подачками в виде денег и обещаний к самому основному своему понятию — Долг перед Родиной. Мы — и никто больше!

Однако с нашими утверждениями многие были не согласны. Не только непримиримые. Вы не поверите... Одной из наших основных задач было не допустить продажу или иную какую утрату средств вооружения в нашей зоне ответственности. Мы не раз пресекали попытки так называемых федеральных войск поделиться боеприпасами и кое-каким оружием с местным населением. К весне девяносто такого-то года эта тенденция приняла едва ли не безудержный характер полуэпидемии-полураспродажи. Причем противодействие этому всеобщему сумасшествию зачастую обеспечивалось нашими стволами и всё ещё остававшимися у нас деньгами...

Мы купили через агентов из местных пару бронежилетов 5-го класса, немеряно всяких ВОГ и патронов 5,45. Один КПВТ купили сами (правда, в самой Ханкале). Выкупили пару бойцов, организовавших самостоятельно блок-пост на параллельной дороге ночью вдвоём... Их штатные автоматы тож купили. И те купили, что нам предлагали взамен. Лирика, блин — смеялись над купцами-взвэшниками матёрые менты из бывшего ГУОШа, при нас именуемого уже более гордо Временным управлением ГШ МВД по ЧР. Смеялись не очень долго. После того, как мы чуть было не купили за 400 (!!!) долларов БРДМ у одной из частей Минобороны (денег не хватило, как мы ни торговались), — нам на эти самые ПРМ Родина взяла да и подкинула кое-что. От было счастье!.. Первое, что мы сделали, это купили на них с пол-ящика водки... Нам там же танк предлагали за 800 баксов. Новый. И «Град» БМ-21 за 4 000. У местных такая хрень популярностью не пользовалась. Групповое оружие всё-таки. Это ж не за дровами ездить... Вот СВД за штуку — эт да!

Служебное совещание по этому поводу затянулось почти на сутки. Кое-кто вышел с него с разноцветными участками лица. Бывает. Нохчи уверенно сеяли зубья дракона в наши ряды... ещё и успешно. Всячески способствовало этому наше родное телевидение. Одинаково неподкупно и предвзято мы смотрели и НТВ, и ЧеченТВ. А вечерний выпуск последнего без нашего внимания совсем никак не обходился. Разницы особой между федеральным и чеченским не было. На песне

*Я чеченец молодой,
Не боевик и не крутой.
Всю войну прошёл я в партизанах,
Обещаю, молодым,
Если буду я живым,
По Москве пройду я без нагана*

мы обычно дружно показывали в 37-ми сантиметровой чёрно-белый экран фига и мечтали, как будем взрывать их ретрансляторы. Однако пропаганда (со всех сторон) делала своё дело. Мы не верили своему командованию. Оно не верило нам. Мы знали и понимали больше, чем многие. Командование знало больше нас. Какая разница?! Нам наконец-то дали более существенное оружие, чем наши автоматы и пулеметы. Нам Родина денег дала. Эксперимент? Да и чёрт с ним. Нужны были конкретные результаты деятельности.

Условия, под которые нам выделили некоторую сумму денежных средств, были ужасающими. Я присутствовал при их передаче, мало того, я пересчитывал всё, что нам отвалила Родина (сколько-то российскими, сколько-то американскими). И у меня сразу возникло желание отдать всё обратно и ваще никогда-никогда ни за какую хрень не связываться больше с этой стороной жизнедеятельности ВВ. Хоть чеки, блин, спрашивай! Угу! Расходные ордера и приходные ордера.

Мы поматерились, конечно. Любовь к Родине и успокоения вручавшего победили. Откат он не потребовал, что нас воодушевило. Неважно. Пол-ящика практически кончились. (Игорь, конечно, заныкал пузырь, да и я, не коммунист, ни хрена... Я два заныкал. На чёрный день и на случай непредвиденных обстоятельств.) В общем, обратного пути уже не было. Ханкала требовала конкретных результатов. А мы тут в переводе на автоматы Калашникова, две с половиной штуки пропили уже. Стоило задуматься... Работа пошла. Однако не оставляло чувство, что что-то идёт не совсем так...

— Значит, здесь... Третий раз уже парень по одной дороге ездит и останавливается в одном и том же месте... Чё делать будем?

— Сначала посмотрим.

— Смотри. Он выходит вот здесь и идёт туда... Уже три раза.

— Периодичность есть какая-то?

— Нет. И его поездки ни к чему по событиям не привязаны. Однако. Он не выполняет схему поездок. То есть, совсем не выполняет. Он делает всё наоборот.

- Против схемы?
- Именно.
- Он делает всё против схемы???
- Крот?
- Кротов душат. Я качал его. Не должен, блин...
- Сколько всего твоих?
- Я и ещё четверо.
- И моих около... и других нет.
- Чё тут ответить?
- Иди и делай!!!

Я и пошёл. Назавтра же. Выскочить на повороте не стоит большого ума и труда. Намного сложнее сесть на обратном пути незамеченным и чтобы никому, кроме своих, на глаза не попасться. А в остальном всё просто. Иди и гуляй. Это уже наша школа. Это тебе не немцев строим пугать, кто кого круче... Меня, конечно, прикрывали двое. Один из них мой. Ага! Чтобы и меня потом не проверять. Грамотно, не спорю. Я оглянулся. Шифруются как надо. Шарахаясь по другой стороне заборов, мой риск сорвать растяжку был минимален. Но никто пока не отменял собак. На них был стечкин с глушителем, однако утешение это слабое. Так, скорее для самоуспокоения. Попробуйте на раз или на два попасть в нападающую собаку. Мне так оба раза не удавалось ещё. Что ж, тренировки ещё никому не навредили...

Вот с такими мыслями я и продвигался, забросив автомат стволом вниз за спину и держа «успокоитель» с глушителем в правой руке. Идти пришлось метров пятьдесят. Меня разбирал смех. Посмотреть бы на себя со стороны! Страж конституционного порядка, как сельский почтальон, боится собачки... У-тю-тю, милая. А вдруг такса какая-нибудь? У них же ноги короткие. В траве и не увидишь...

Я подошёл наконец. По всем расчётам подопечный должен был вот-вот появиться. Видно было плохо. Я переместился на пару метров в сторону. БТР батальона подъехал осторожно. Не так, как они умеют. Это когда при остановке десант ОМОНа слетает — стряхивается с брони.

*Визг тормозов, но уже слишком поздно,
Чуть занесло и вдруг бросило вбок,
И удержаться никак невозможно,
А оставался последний рывок,—*

вдруг всплыли сами собой написанные мной в юности строчки одной из забойных песенок для группы «Страховое агентство»...

Что я увидел... Лучше бы я этого не видел.

Прапорщик с нашего бата передал сидящей перед домом женщине какой-то пакет.

Та благодарно кивнула и что-то его спросила. Он без ответа забрался на свою броню, сука! Среди нас завелась сука.

Приехав, я подтвердил все подозрения. Более того, мы козырнулись парой наиболее приближённых. Тех, которых вы ненавидите, и тех, без которых мы не можем обойтись. Мы выполнили ряд мероприятий, которые сделают честь любой разведке и контрразведке. Нашли попутно одну дыру, о которой даже и подумать не могли. Он не был к ней никаким боком... Скорее, это я к ней был. Всё что под носом — видишь крайним. Мои же связисты за горячие лепёшки и чайники с вином меняли аккумуляторы чеченскому наблюдателю, сидевшему в соседнем доме. Вычислил я его довольно просто, обнаружив...

Я не буду об этом рассказывать. Всё-таки это была война. Хорошая или плохая, правильная или не очень... Неделю инициатор просидел в яме. Надеюсь, что он кое-что понял. Дай бог, чтобы у него было хорошо всё в дальнейшем и он не поменял свой Долг перед Родиной на вражеские, пусть и горячие, лепёшки. От которых не отказался бы и я. Но не на таких условиях.

Я отвлёкся? Продолжаю про Сашу.

Сплошные загадки природы прямо. Да уж, не всё в порядке в королевстве датском. И уж действительно случайно вышло так, что этот подопечный, Саша, поехал со мной на ПРМ буквально через день. Он спросил меня, можно ли там остановиться... Угу. Именно там, где я разок его видел уже. Опять головоломка. Или меня кто-то всё-таки сдал, или он сам чего-то заподозрил? А иначе вы когда-нить такое видели? Я практически не колебался. Я, конечно, ему разрешил.

Я пошёл вместе с ним.

Она сидела рядом с открытой калиткой. Просто женщина. Просто в чёрном. До этого момента я не видел её лица. Лет тридцать, с поправкой на отсутствие косметики и неевропейскую одежду. Вымощенная камнем дорожка вела к её дому. И калитка, и дверь в дом были открыты. Кажется, так обозначается траур. У мусульман траур — пятьдесят пять дней, в отличие от православных. Он передал ей такой же пакет, как и тогда. Женщина аккуратно достала содержимое и, свернув пакет аккуратно, протянула его Саше. В нем, оказывается, были... консервы. Это то, что наши наблюдатели ошибочно

(или всё-таки не очень) приняли за ПМН первоначально. Килька в томате и чего-то там ещё, такое же рыбное.

Он отрицательно покачал головой. Она сказала, что оплакивать своего мужа ей осталось ещё три дня...

— Он был очень похож на тебя.

Она сказала это мне.

— Вы убили моего мужа и должны на мне жениться.

Сашка не стал слушать, ушёл.

Я чуть позже тоже. Но позже... Я ещё о чем-то говорил с ней. Так — полупесни, полусказки...

В обед их комбат вспомнил, что у Саши день рождения. Ему перед строем подарили австрийско-китайский магнитофон тысяч за сорок. С одним из наших штабных и просто наших мы попали вечером в их палатку. Ни для кого не секрет — алкоголь развязывает длинные языки. У них был телевизор. Я переписывал на кассету видека с камеры кое-что из снятого мной за крайние пару-тройку дней. Пригодилась одна из заныканных мною ранее бутылок.

Сашка похвастался нам подарком. Воткнул какую-то кассету. Подарок немедленно зажевал ленту. С трудом её удалось освободить. Воткнули другую. Та же история. Извлеченная и на сей раз кассета была немедленно расколота им об колено. Магнитофон-подарок был разбит о дощатый палаточный пол. Нескольким раз для верности он ударил его ногой сверху. Я увидел его белые, полностью безумные глаза. Он начал крушить всё вокруг себя. Втроем мы кое-как смогли успокоить его, привязав к койке португезами и вафельными полотенцами. Это стоило нам немалых трудов.

— Завтра же немедленно убываешь в ППД! — едва отдышавшись, произнес комбат, держась за поправленную скулу. Я утирал красные сопли из разбитого носа. Серега облизывал разбитую губу. — Бессмысленный и беспощадный... — всплыло откуда-то из подсознания.

Назавтра я провожал их до Северного. Того, кто поможет ему добраться, и Сашу. По его поведению чувствовалось, что он раскаивается в произошедшем. Именно поэтому я даже ничего не сказал ему, загнавшему патрон в патронник, едва он поднялся на броню. Он сел спиной ко мне. Не боится — значит, верит. Перед Северным они разрядились, просто отстегнув магазины и передёрнув затворы своих автоматов. Ещё двумя невыстреленными патронами на чеченской земле стало больше...

История требовала продолжения. Притом немедленно...

Кусочек неприятного разговора с его комбатом.

— Да я его раньше отправить должен был... Это уже второй у него срыв... Сын у него родился недавно. А тут накануне он через журналистов как-то с женой поговорить смог. Жену из общаги выгоняют. Его не меняют никак. Одни обещания, как всегда... С местными?.. Нет. Ах, эта... У неё на глазах муж погиб. Да он зачем-то на обочину съехал... ей ничего, просто выкинуло. Она и того малость... Так Сашка им медиков ихних и привез тогда... Не, не боевик. Хотя — кто ж толком-то знает... Да мы у них на рынке раньше покупали всё. Оттуда и знакомы...

Мы переглянулись. Нажимать — не наша кафедра. Мы войска, а не органы. Отмахался — считай Брат. Получи подарок. С крючка соскочить сложно. А амнистию за бездействие ещё заслужить надо...

— Неважно как. Через своих продашь нохчам вот эти вот гранаты и вот эти вот выстрелы к РПГ. Только в розницу. Понял или?..

Хорошая такая штучка для продажи непримиримых — скажу я вам. Гранаты взрываются сразу, без замедления. Выстрелы РПГ ровнёнько сносят голову гранатомётчику. Хорошие примочки против спекуляции... Их нам навалили вместе с деньгами. Тож отчитываться надо.

Приехав через три дня, я её в том месте уже не увидел...

Я был очень раздражён. Я бросил у дома приготовленный мной чёрный пакет с банками...

Мои инженеры попрыгали потом в этом доме всё, что можно, и сказали мне, что здесь ловить нечего. Уходим...

Скорее всего, её забрала её старшая. Или младшая, или... Что ей оставалось? Быть тенью в доме своих родственников до конца своих дней... Или надеть пояс шахидки и отправиться вслед за мужем? У нас были уже другие проблемы...

— Смотри. Он выходит вот здесь и идёт туда... Уже три раза.

Перед моей командировкой у нас была обязательная отвальная пьянка. Она немножко затянулась. Мы разговаривали, оставшиеся впятером всю ночь... Обрывки. Как заклинание.

— Я знаю тебя уже пять лет. Ты можешь сломаться... Ты пишешь неплохие стихи. Они тебя и подведут. Ты видишь в людях хорошее или пытаешься это увидеть. Это очень хорошо. Но только не на войне. Как только ты получишь оружие, забудь все свои человеческие и душевные устремления. Время

баронов Унгернов и офицерских рот, идущих на красные пулеметы в психическую атаку, потому что они не желают стрелять по своим, уже прошло. Если ты не будешь жестоким и злым, ты погибнешь сам и потянешь за собой ещё сколько-то. Ты обязан сделать всё что надо, всё что можешь, и ещё столько же... Умирать ты права не имеешь. Это не последние наши бои. Запомни это. И запомни: мы с тебя за это спросим...

Родина определила нам участок. Зону ответственности. Родина она такая. Она привыкла уже определять каждому свою зону. Мы в неё попали разом. Мы в ней и жили. Как могли, и кто как умеет и может. Я считаю, что жили мы в ней достойно.

При мне ни один из проезжих не умер в нашей зоне. Раненые — да, были.

Даже когда их прикрывали мы. Один, два или три раза, щас и не помню. Но, как правило, без нас. Ага. Аналог польской кавалерии атакующей с пашками наголо немецкие танки... Без карты, без знания местности — ну куда ты лезешь, командир? На минное поле, услужливо предлагаемое тебе после короткого и глупого обстрела? Нас слушали. Может быть, поэтому при нас на сопровождениях колонн никто не умер? Или просто выходило так, что в нашей зоне ответственности превентивно умирали мы?

*Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот дом, у которого снайпер тебя завалил...*

Это перепевка из Высоцкого. Извини, классик. Время наших песен тогда ещё не пришло. Мы пели твои песни. Пели песни афганцев. Потом мы написали свои песни. Потом. Потом.

Потом. Когда перестали быть жестокими и злыми. Когда мы приехали домой. Потом.

А тогда. Это наша зона ответственности. И мы в ней — единственная Советская власть. И пошли все: телевиденье, предприниматели, несогласные и правозащитники! Все... С нас по приезде спросят. Да и мы сами спросим. Тем более, есть с кого.

Что сказать ещё? Сказать, что я её помню? Помню эту женщину в чёрном?

Я её помню.

Моя смена.

Телефонный звонок. Удивлённый голос.

— Ты знаешь — окопка с Беркемом конкурс объявили...

— Первый раз что ли? — поинтересовался я без никакого интереса. Какой к чёрту интерес, если я всю ночь просидел на покере и даж занял там какое-то призовое, во второй, кажется, сотне, место.

— Ты не понял, брат, они про нож конкурс объявили.

— И чё? — вновь поинтересовался я, но всё-таки отдёрнул штору и рассмотрел на стенке часы.

Тыды ж! Выспался, блин. Лёг в шесть, щас девять. Хватит на...

Ритуальный вопрос.

— Чем занят?

— Да сижу вот и думаю — подавать рассказ, не подавать? Правду писать или так, как им хочется?

Я, уже в полуприсяде, принимал решение. Две пустые полторашки напоминали о прекрасном вечере. К сожалению, вчерашнем.

— Двигай ко мне. Меня ещё от тырнета не отключили. Там подумаем.

— ОК,— в ответ.

Елыть! Это мне Пашка звонил. Наш старлей. Ваще-то он майор. Как и я майор.

Но мы ваще-то на «вы». Прикол, да. Два майора друг к другу на «вы». Устав, бя. При людях, конечно. Когда один на один, мы вполне такие сами себе люди. Только всем об этом знать не стоит. Братья??? Братья? Да, братья. По оружию, блин. Но у меня ревность. Он хоть и майор по жизни — всё одно для меня старлей. Почему? Да потому что...

Паша из скороспелых. Литёхой ходил год. До капитана два. (Для меня эта дорожка, кажись, подлиннее была. Я за две полоски на погонах лет больше десятка отходил, им же от Ельцина подарок вышел.) Ну, а вторая Чечня у него считай с начала. Точнее, до начала. Он её с Дагестана начал. Потому и майор сейчас. А я первую ближе к концу, ну и вторую... в общем, всегда есть о чём поговорить с ним.

Время до Ч? На его подлёт мне спать 20 минут. Потом я торжественно встаю и не менее торжественно встречаю дорогого гостя, блин. Его, Пашу, с его долбанутыми, как правило, идеями... Это мои 20 минут...

Проспал, конечно. Звонки в домофон. Открыл. Встретил.

О спокойном утре можно уже и не думать, Пашка заведён. Он даж кричит. Я этак вежливо из-за двери указываю ему направление дальнейшего наступления. Типа, нах... — на кухню, мне штаны обуть надо...

Он опять кричит:

— Это ты меня учил, что пехоту нельзя лишать штыка. Это ты меня учил, что нож при пехотинце — это готовность к драке и рукопашной. Это ты меня учил, что только при условии наличия штыка можно воспитать и сделать нормального бойца. Я им это щас и напишу.

Это он мне кричит. А я с бодуна. Я пива хочу. Угадайте, кто пойдёт за пивом?

Вы не угадали. Тут мы оба майоры. Мы идём вместе. Для меня. Долго ходили, но пришли.

— Достань свой — говорю я ему.

Достал.

— Положи на стол,— говорю я ему.

Он выполняет. Куда он денется! Хотя бы потому, что я придержал его в походе за пивом, когда он чуть было не бросился под колёса проезжающей машины перед пешеходным переходом.

— Щас делаем так,— говорю я ему.— Это твой нож, щас я достану свой.

Употребив пива по дороге, я нахожу свой нож довольно быстро. Не более двух раз Пашка заходил посмотреть, что ж я там делаю...

— Во! — гордо говорю я и показываю бережно спелёнатый свёрток.

— Щас мы с тобой...— я подозрительно смотрю на него.— А бутылку ты принёс?

— Давно уже в холодильник положил — говорит он мне, с опаской поглядывая на то, что я достал.

Я кладу свёрток рядом.

— Я смотрю твой, ты мой. Согласен?

Он соглашается.

Я, практически не напрягаясь, могу определять характер человека по многим вещам. ВВ, заставшее старую школу, — чё там говорить! Паша тож ВВ, но новорождённый. Был придурком — шёл бы лесом. А так — пусть сидит. Тем более, водки принёс. Я рассказал ему его биографию и его преспективу аж до смерти. Просто я его знал и так. Нож, который выбрал он — подтвердил мои измышления.

Ёжится. Но слушает. В общем, и Пашке, и его стандарту, купленному в Моздоке, видимо, на распродаже, досталось...

Долбанули по полстакана. Я предложил ему оценить мой нож. Распеленал сам.

А вот тут, господа и дамы, начался концерт.

Паша отличный, по крайней мере от других, парень.

Он наш. Он ВВ-эшник. Но он не служил с мужиками, имевшими отметины от холодного оружия.

— Майор! — объясняю я ему. — Нож — это либо понты, либо часть тебя. В идеале своём, — объясняю я ему, — выбор ножа — это как выбор жены. Нож можно купить, и иногда этот выбор будет удачен. Даже в большинстве случаев удачен. Но!

Пашка внимал, сосредоточенно разливая водку в 30-ти мм стопки.

Я подождал.

Выпил. Выдохнул. И...

Повторил фразу, которую я держу в сознании всю жизнь:

— Нож — это как жена. Либо ты жизнь выиграл, либо ты её проиграл.

Пашка затряс понятно чем. Не каждый майор выдержит с девяти до одиннадцати утра по пол-литра пива и по паре стопарей водки — точно. Но бутылка у нас литровая — успею прояснить.

Мне лучше с ним похмеляться, чем без него. Меня аж прёт от внимания, с которым меня слушает сменившее меня поколение ВВ. Поколение, не знавшее охраны ИТУ и прелестей конвоирования.

Война? Он родился — она шла. Он вырос — она шла. Так что нам война!

Она была, есть и будет. Всегда. Не здесь, так где-то. Удивили, бля.

Но Пашка не так прост. Оценив и обозначив уважение к моему ножу, он свой просто так критиковать не позволит.

Устав слушать его адвокатские речи, я достал всё для своего любимого когда-то трюка. Если бы только Пашка знал, на какую подготовленную тему он попал. Да откуда ему знать-то? По возрасту старлею, по погонам майору.

Предлагаю пари. Всё в рамках застолья. Кто быстрее пережет по полбуханки хлеба своим сокровищем, вскрыет банку консервов и нашинкует пару луковиц.

Цена пари: если не хватит чё выпить — тот и идёт за добавкой.

Пашка выиграл, но я улыбался. Я проиграл бой, но не битву. Раздачу, а не кон.

Разговор, естественно, крутился вокруг ножей.

И вот тут-то я Пашке и рассказал одну примочку, о которой говорить ваще-то не принято.

Но он мне земляк почти — можно, значит.

Мы с ним связисты. А это значит: куда нас только не занесёт! Ну и меня раз занесло в компанию одну. Ждал попутную колонну на пересылке ханкалинской на второй войне. Кто был, тот знает. Пятая направо палатка. Типа, офицерская. О ней отдельный разговор. Три дня и четыре ночи я там пережил. И Пашка тож бывал. В ней. Но раньше меня. Он-то знает.

Пересылка и есть пересылка.

Обнищал я там на второй же день донельзя. Оба пайка сожрали сразу, я и кто был. Эти кто-то разъехались. А мне опять облом. Хрен, типа, а не колонна на Толстой-Юрт. Стоп, типа, колёса, и стоп, типа, винты. А пешком одному идти как-то ссыкотно, если честно. Хоть и не так далеко вроде.

В общем, оставалось у меня полблока гуманитарных польских сигарет, зажигалка и ни хрена такого ценного ничего больше.

И этот вот нож.

Тут и новенькие привалили. Нас троих, старичков палаткинских, конечно, к столу позвали.

Они при жратве, мы, типа, незваные, но для ихнего стола вроде как гости. Ну, вскрыл я банку. Один из них, из консервных хозяев, руку тянет: «Дай ножик посмотреть». И резко так. Я машинально отдёрнул. Второй ему по рукам кааак даст. И попросил вежливо посмотреть. Но только, чтобы я на стол положил. Стол не я накрывал. Неудобно как-то. Я положил. Посмотрел мужик этак внимательно на нож и спросил.

— Казак?

— Не,— говорю.— Я с Волги, с верхней.

— Казак! — и утвердительно так.

А мне-то что: водка их, пожрать тож их. Не стал я спорить и ничего доказывать.

В общем, как всегда, вечер в пятой направо. Выпили, закусили — и спать на сетки эти устраиваться кроватные. А я покурить вышел, пока народ устраивается. Чего жопами-то толкаться? Ну, мы с ним и попали курить. С этим, что казаком меня назвал.

Пашка там был — знает. Там на линейке курить отчего-то не принято. Надо обязательно в курилку пройти. Что от входа налево. Ну, дёргается мужик, ну, явно поговорить хочет. Ну, и начал он этак осторожно.

— А я,— грит,— этот нож знаю.

— Откуда ж ты знаешь? — говорю. А сам напрягся малость, нож этот ко мне при интересных обстоятельствах попал.

— А это,— говорит,— брат мой делал. И ни хрена ты,— говорит,— не с Волги, с Севера ты.

И имя моё называет — прикинь.

— И что? — я тут закипать начинаю.

— А ничего,— говорит,— мало ли что в жизни бывает, только привет тебе и долгих лет.

Пашка конвойные байки любит. Романтика, блин. Мы с ним ещё, конечно, выпили. Я специально паузу такую интригующую забавал, по Станиславскому, чтоб налить и выпить успеть.

В общем, мужик этот старлей по званию. А по возрасту я напротив него, как против меня Пашка. Достал он свой нож и мне показал. Ну, единоутробные братья-близнецы и то больше различий имеют. По второй закурили.

Рассказал он мне, почему казаком меня попервоначально назвал.

Сам он с верхнего Дона. Волгоградская область. Не принято у них тоже нож из рук в руки передавать. Который СВОЙ нож. И ещё рассказал, как припёрло раз его контрактную полуроту под какой-то чеченский хрен на окраине Грозного к концу первой. Отчего полурота? А как ещё назвать, что в два Урала помещается? Двое раненых уже, Уралы в решето, и свалить некуда. И их поливают там с двухэтажки кирпичной. Контры в ответ — без толку.

Старлей этот прикинул, в общем, ботинок к носу. Ну, тока вперёд. Темнеет, и помощи хрен на ночь дождёшься.

А подними-ка пехоту свою за просто так? Сам с «ура» пробежал метров пять. Оглянулся. Ну, хоть бы кто встал. Ну и, рассказывает мне, хочешь верь — хочешь нет. Достал, говорит, ножик этот, перекрестился и заорал:

— Сарынь на кичку! На нож! На нооооооож!

И пошёл. Не оглядываясь, говорит, пошёл. Пьяный, говорит, был, а сам смеётся.

Встала полурота его за ним. «На нож!» — орёт.

Никого они не убили там. Не нашли никого в двухэтажке этой. Потом спрашивал он, типа, у своих: кто с Дона в роте? Ни одного не оказалось. Волгу из окна вагона все видели, а вот на Дону не бывали. А вот встали ведь...

Ага. Это он так ко мне в доверие входил.

Спросил потом, конечно, откуда у меня нож этот. Я податый, расслабился, в общем. Рассказал я ему, как раз мне в мотрису зэка посадили. Там, на лесобирже, на 22-м пилу циркулярку сорвало. Зэк под неё и попал. Ровненько так ему

черепушку вскрыло. И живой. Хоть бы что. Километра четыре его солдат вёл. А метель была, руку вытянешь — перчатку не видно. Налил я тому зэку чаю, да ещё, чего греха таить, водки плеснул в чай чуток. Не каждый день увидишь, как шапку вместе с черепом снимают. И мозги такие серые в синеву. Одеялом укрыли. Он мне и сунул:

— На, говорит. Сохрани. Пока я жив — пусть тебе послужит.

Я не стал брать сначала.

— Да бери, говорит. Ты не возмёмшь, на шмоне в больничке всё равно отберут.

Я и взял. Зэк мне сказал этот, что на спор за три хода банку с килькой разрезал этим ножом. Я не поверил, конечно. Кто ж в такое поверит?

— А пойдём,— говорит старлей этот,— выпьем. Есть у меня там ещё. Брат мой и есть.— Даж по имени назвал братца своего.— Всю жизнь, говорит, только по тюрьмам и живёт. Приедет, погулеванит и опять сядет.— Это он мне говорит.— Такая вот, мол, судьба у нас. Либо служить, либо сидеть.

Мы с ним выпили — и спать. Потом уехали они.

— А?..— Пашка протянул мне уже налитую стопку.

— А ты и поверил? — засмеялся я,— я ж сказочник. Верь только себе.

— Андерсен, блин,— обиделся на меня Пашка, цепляя своим сокровищем кусок уральской тушёнки.

Я подождал, пока он прожует, после чего сказал серьёзно:

— Угу.

И очень аккуратно за три движения разрезал вскрытую консервную банку пополам.

Я с Волги. С верхней. И с Севера. И я, если в принципе смогу хоть как-то стоять, точно встану, когда услышу:

— Сарынь на кичку! На нож! На нож!!!

Значение аббревиатур, малоупотребительных слов и выражений

БРДМ — бронированная разведывательно-дозорная машина.

БТР — бронетранспортер.

ВВ — внутренние войска.

ВОГ — осколочный боеприпас для гранатометов.

ГУОШ — Главное управление оперативных штабов.

ГШ МВД по ЧР — Главный штаб Министерства внутренних дел по Чеченской республике.

ИТУ — исправительно-трудовое учреждение.

КВПТ — танковый крупнокалиберный пулёт Владимирова.

Крот — тайный агент противника.

Мотриса — моторный самоходный железнодорожный вагон.

Нохчи (нохчий) — самоназвание чеченцев.

ПМН — противопехотная мина нажимного действия.

ППД — пункт постоянной дислокации.

РПГ — противотанковый гранатомет.

Сарынь на кичку! — Клич волжских разбойников во время нападения на торговые суда (в буквальном значении: «Бурлаки и работники — на нос судна!»).

СВД — снайперская винтовка Драгунова.

Стечкин — автоматический пистолет Стечкина.

В ОЖИДАНИИ ОНО

Чудесные стихи — Ольги Максимовой,
монолог записан Ольгой Олевской.

*Женщина — ОНА, в халате и бигудях — у себя дома, у стола,
на столе ноутбук, рядом мобильник. Перечитывает СМС.*

Ну, спасибо за подарок! Обрадовал! «Еду, жди». Я просто визжу от счастья. Я задыхаюсь от нетерпения. Ведь Само Его Величество прибудет, Оно Само желает меня видеть. А меня ты спросилО, Ваше ВеличествО, я готова ли тебя принять? Мужики нынешние обнаглели в корень. Возвели себя в степень подарка. Мужик теперь и Дед Мороз, и подарок в одном флаконе. Причем, что он там за спиной в мешке держит — большой секрет. Может, там жена, с которой он и не думал разводиться, или кредит невыплаченный, а то и... топор. Знакомимся ведь по Интернету. А кто там на самом деле тебе писал — вскрытие покажет.

Набирает номер.

Вне зоны доступности... Вот гад... Ну, если едешь, то позвони, расскажи обстоятельно: как едешь, с чем, зачем, как надолго. А то СМС он прислал... Уже этим он мне не нравится. Так ему и скажу, когда припрётся: «Вот что, Николай из Твери, если и была у меня слабая надежда, что мы с тобой можем общаться, то сейчас я убедилась: ты не моя крышечка от кастрюльки». Мы уже не юнцы, а весьма взрослые солидные люди. Нужно всё делать основательно и продуманно. Да, про кастрюльку... Хоть бульон сварить что ли на всякий случай. А то явится голодный, всё-таки Тверь не ближний свет.

*Достаёт кастрюлю, между делом готовит бульон.
Потом начинает машинально вытирать пыль.*

Мы всего и знакомы-то месяц. Несколько раз по телефону поговорили да пару вечеров попереписывались в Инете. Это подруга уговорила меня зарегистрироваться на сайте знакомств. Говорит, дочь ты вырастила, замуж её выдала, уже внук намечается — пора тебе для себя пожить. Я лично в эти игры «для тех, кому за...» не верю. С другой стороны, почему бы не рискнуть. Вот и рискнула: фотографию свою вывесила с научно-практической конференции, я там — просто модель. Правда, конференция была пять лет назад, но неважно. Я и сейчас, когда выплусь, подкрашусь, приоденусь — вполне себе ягодка. Ну вот, зарегистрилась я на этом сайте, косяком пошли письма. Я человек конкретный, всякие пустые предложения сразу отмела. Мне нужны серьёзные отношения, а не встреча на ночь. С первым кандидатом вышел просто анекдот. По анкете — нормальный персонаж, за пятьдесят, меня на четыре года старше, работает в Газпроме, разведён, живёт один да ещё и земляк. За одни эти данные можно влюбиться. Стали переписываться, потом созваниваться. Голос, правда, мне его не очень понравился. Для меня это очень важно — голос. Голос ведь половину информации выдаёт: дребезжащий, суетливый или барственный, местный или приезжий, молодой или старый — всё по голосу узнаешь. У Николая из Твери, к примеру, голос глубокий, уверенный, прям генеральский... А газпромщик этот каким-то фальцетом говорил, экал-мекал... наверное, и потел во время разговора. Но решила всё-таки встретиться с ним. Думаю, кофе попью в кафешке — от меня не убудет. Накануне встречи сходила сделать маникюр, волосы подкрасила. В общем, вся такая из себя красивая отправляюсь на встречу, а место он выбрал — скромную такую кафешечку на пять столиков. Заглядываю: сидит у окошечка грустный мужичок, серенький, помятенный, волосёнки жидкие топорщатся. Естественно, никакого намёка на букет, да и на кофе для меня вряд ли у него деньги есть. И тут вижу — из внутреннего кармана чекушку достаёт и украдкой к ней прикладывается. Я задом-задом и вывалилась из дверей на улицу. Просто наутёк пустилась от этого кавалера. Сначала разозлилась, потом дома пришла в себя, подружке рассказала о своём свидании — нахохотались от души. А ночью у меня родилось стихотворение. Я ведь пишу стихи. Хотя это громко сказано — стихи, я себя поэтессой не считаю. Но с детства в голову сами по себе приходят рифмованные строчки, я их потом записываю, часто даже не правлю. Нигде и никогда их не печатала раньше, только близким читала.

Теперь есть возможность в Интернете выкладывать, всё-таки читательские отклики хочется получать... Это стихотворение буквально целиком родилось, ни буквы в нем не меняла.

*Жила в мечтах о нашей встрече:
Иду — проходишь ты, красивый,
Привет иль добрый день, иль вечер!
А дальше: «Ми-ла-я!»
Я улыбнусь, скажу — скучала,
А ты — что никому не нужен.
Я приглашу на чашку чая,
А может, ты меня — на ужин.
И будем мы болтать, хмелея,
И диалог наш не порвётся
Моим вопросом: «Как ты с нею?»,
Не спросишь ты: «Как с ним живётся?»
Сбылось! Но часто так бывает:
Сбылось, как Бог располагает.
Сегодня ехала в трамвае
И вдруг... его напоминает
Вот этот пьяный в теле хилом...
Ужели это мой любимый?
Я из трамвая выходила,
А в спину: «Ми-ла-я».*

Вот так, из такого «сора» и растут стихи...

Попутно подметает, собирает сор на совок.

Вроде всё прибрала, хоть не стыдно будет, если это Тверское Великолепие ко мне заявится.

Прополаскивает тряпку и вешает сушиться. Машинально достаёт всё для пирога: муку там, дрожжи. Раскатывает тесто...

Да, «газпромщик» этот мне потом перезвонил, спрашивал, почему не пришла. Соврала, что на работу внезапно вызвали. И заодно уточнила, что к Газпрому у него отношение косвенное — работает сторожем на станции, где населению газовые баллоны заправляют. Нет, как хотите, это не мой уровень. Муж мой бывший, конечно, тоже не велика птица был, зато красивый, такой красивый — все бабы головы сворачивали. А голос — песня! Просто завораживал! Но как супруг вообще-то немногоголосный был. Так и полагается настоящему кра-

савцу. Одно повторял: «Я тебе никогда не изменю». Ну и с первого же года понеслось: с работы задерживается, соседки доносят: там его видели с одной, а сям — с другой. Застукала я его с моей приятельницей, когда дочке три годика исполнилось... Вполне банальная история. Правда, я после этой банальщины лет десять жила словно с пулей в сердце. Любила его безумно, слушалась во всём, как самая что ни на есть гаремная жена. А он мне пощёчину залепил, когда я его с этой горе-приятельницей выследила. У меня искры из глаз. Думала, умру от горя, от позора, от предательства. Но воистину — время лечит. Дочка, Лялька моя, выросла пусть без отца, зато умница и красавица. О, бульон готов, пора пирог ставить...

Хлопочет с готовкой.

А мне однажды такие строки приснились:

*Прощай. Что было, то прошло
И мной забыто.
Стихи записаны в тетрадь,
Тетрадь закрыта.
А в ней лишь несколько страниц
Счастливых строчек,
Где было много запятых
И мало точек...
Потом наш общий милый мир
Мы рвали в клочья.
Он захворал и разлетелся
В многоточья.
И долго многоточья те
Просились в строчки.
Но что могло бы быть точней
Обычной точки?*

Всё, после этого стихотворения — как отрезало, ни слёз, ни стонов. Стали чужими. Не видимся. Не созваниваемся. Аминь. С тех пор мой закон: никогда ни одному мужику мной командовать не позволю. Я их на раз отшиваю, любителей покомандовать. Но и серых мышей-алкоголиков рядом со мной тоже не будет. Лучше быть одной, чем с кем попало. (Смотрит в зеркало.) Боже, ну я и крокодил!

*Снимает бигуди, начинает краситься, снова звонит
(всё делает одновременно).*

Опять вне зоны. Нет, ну как так! Практически без предупреждения завалиться в гости. Можно подумать, тут ждут не дождутся это Тверское Сокровище. С ним, с этим Николаем, у нас правда сразу завязалась хорошая переписка. И разговор сразу склеился. Бывший военный, в разводе, дети взрослые, живёт один. Работает. Сразу стал меня в гости звать в Тверь. Но я ему сама условие поставила: пусть сначала он сюда приедет. Да, было такое условие, не отпираюсь, но не через СМС-ку ведь о приезде оповещать, правда? Никак не красит его такое наплевательское отношение к первой встрече. Нет, голубчик, если и появишься, скажу: «Вот Бог, а вот порог. Здесь тебе не приют для одиноких странников». Знаем мы таких настоящих полковников. Меня не проведёшь. Мне, чай, не шашнадцать.

Заканчивает макияж.

Естественно, у меня были романы. Я женщина интересная, самостоятельная. Домой, конечно, никого не приводила, даже и не думала Ляльке отчима искать. Но были встречи, была и любовь... Короткая, зато огненная. Человек был во всём мой, но поздно судьба нас свела. У него семья, у меня дочка. Ни он, ни я рушить ничего не хотели. Да он и не мог, тогда бы его карьера рухнула. А он был государственным человеком в масштабах нашего города. И этот государственный человек любил японскую поэзию, особенно Басё, и умел находить радость и красоту жизни в самых простых её проявлениях. Мы уезжали за город и зимой, и летом. Он часто повторял: «Девочка моя, мы из одной детской...» И проникновенно читал Басё:

*Топ-топ — лошадка моя.
Вижу себя на картине —
В просторе летних лугов.*

Достаёт скатерть, начинает сервировать стол на двоих.

Так наша любовь и проходила — на тихих полянах в солнечных лучах и садах, где раскрылись ирисы, летом. В случайных квартирах зимой. Но и туда мы шли «по первому снегу, пока не свалимся с ног». Мой блестящий друг мог обыденность превратить в японскую изысканную картину. Потом ехидная подруга — да-да, та самая, что заставила меня зарегистрироваться на сайте, — говорила, что он просто жа-

дина и ему со мной было легко — не требовала ни подарков, ни другой помощи, витала, как бабочка в полёте над лугами и снегами. Мне же и мысль не приходила о том, что я могу как-то использовать высокое положение моего любимого в своих целях. Может, на самом деле, дура была... Но и это всё уже в прошлом. Роман как-то сам собой сошёл на нет. У него участились поздние заседания и дальние командировки. А мне не надо всё объяснять по два раза. Я по взгляду всё понимаю. А стихи... да, стихи родились:

*Со временем забуду всё,
Все мелочи последней встречи:
Огонь, и общий плед на плечи,
И лаконичный мир Басё,
Где старый пруд и всплеск воды,
Банан над камышовой крышей,
Где звон цикад под утро тише,
И выше Фудзи рвётся дым,
Где след монаха на песке,
Где отощавший кот над кашей...
О чёрт! Теперь под плодом нашим
Стихи Басё читаешь с кем?*

Больше никому я так себя не раскрывала и не доверяла. Были случайные встречи, случайные ночи. Кто без греха, пусть бросит в меня камень... Но я дала себе слово: пока дочка замуж не выйдет, никакой личной жизни. Один товарищ всерьёз меня домогался, намекал, что женится. Я уж и так на него, бывает, посмотрю, и эдак. Мозги включу, как вечно мне подруга подсказывает. Это её любимая песня: «И умная ты баба, и красивая, и талантливая, а в личной жизни дура дурой. Давно пора не сердцем, а умом жить. Включи мозги!» Вот я пробовала включить. Он был нежадный, меня всё в рестораны водил, кормил как на убой, словно в этом, в жратве, какой-то ключ к счастью. А мне не есть хотелось, а напиться. Разговоры мы с ним разговаривали ровные, умные. «А если мою комнату и твою квартиру мы продадим и купим себе трехкомнатную», — фантазировал он. Да-да, это для него был самый безумный полёт фантазии. «А давай плюнем на все эти обмены и слетаем в Париж?» — как-то предложила я, хлопнув из его графинчика стопку коньяка. Обычно он, не спрашивая, мне заказывал сухое вино, которое я терпеть не могу, а себе брал коньячок (это он так ласково его называл). Так вот: я хлопнула, а он аж поперхнулся. Тогда я темп

сбавила. Говорю: «Ну, не в Париж, так хоть в Сочи!» Он всё глаза округляет, откашляться не может. Я его по спине хлопала, выпила ещё рюмку, встала и ушла. Подруга сначала тоже глаза вытаращила, когда я ей рассказала, чем мой «умный» роман закончился. А потом расхохоталась вместе со мной. Я ведь ему тоже стихи читала, с выражением...

*Начинает, паясничая, читать свои стихи,
потом становится серьезной.*

*Я жду тебя,
Я жду, и жду, и жду.
Как сладки мысли долгих ожиданий,
И ожидания твоих желаний,
И твоего лица,
Румяного с мороза,
И сто ответов на мои вопросы
Про путь ко мне
С начала до конца
По поездкам.
За сотни километров
Твоё желание разгонят ветры.
Растаял снег, течёт дождя вода
По тёмному стеклу.
От расставания до встречи долог день,
Но ожидания так упоительны,
Как долгий поцелуй.*

О боже, этой мороженой рыбе я зачем-то читала стихи! В молодости я своим поклонникам всегда читала стихи — молодые парни ещё как-то умеют слушать поэзию. Лет с тридцати у большинства, видно, уши захлопываются... (*Показывает как.*) Баба-поэтесса — это уже почти диагноз. Это уже странно, непонятно, и, значит, пусть лучше не будет.

Звонит телефон. Она бросается к нему.

О... подруга дорогая за меня волнуется, я ей, конечно, уже сообщила о грядущем событии... (*В трубку.*) Слушаю... Нет, не приехал, нет, не звонил... Да ты что: я кремень. Ты ж меня знаешь, никому из себя верёвки вить не дам. Какие пироги? Ты что? У меня и хлеба нет, забыла купить. Конечно, пусть едет в гостиницу. Да-да, буду держать в курсе. Пока. Перезвоню обязательно. (*Кладет трубку.*) Я подруге всё рассказываю. Хотя, может, всё и не надо. Опыт с приятельницей меня

не очень научил. Но эта подруга прошла испытание временем. Она в вопросах любви большой теоретик, так как в юности очень увлекалась русской классикой. Всегда мне нужный пример приводит в сложной ситуации. А вот как практик, сама говорит,— ноль. Тридцать лет замужем. Живут ни шатко ни валко, по её словам. Она очень любит мои стихи. Правда, мужикам не советует их читать. А я её не послушалась. Николаю одно своё стихотворение по телефону прочитала. И зря. Он прямо сказал: «Прости, ничего в стихах не понимаю. Я военный человек, и интересы у меня простые: люблю рыбалку, лес, футбол по телевизору смотрю...» А я для него специально старалась, сочиняла про нашу интернет-любовь:

*Между нами случился контакт
И разлился по клавишам томно,
В сердце кровь разогналась нескромно
И в виски барабанит не в такт...*

Ну, не шедевр, я не спорю, зато на злобу дня и ему лично посвящено...

«Нет, не могу оценить»,— талдычит своё. А, собственно, почему не можешь? Напрягись или включи мозги, как мне подруга приказывает, и оцени... В принципе не так уж и плохо написано. *(Напевает.)* «Между нами случился контакт и разлился по клавишам...» Эх, такого ценителя поэзии, как любитель Басё, я вряд ли встречу. В одну реку дважды не входят. Ну и ничего. Лес я тоже люблю, будем за грибами с Николаем ездить, за ягодами. В конце концов я могу и на рыбалку с ним ходить. Почему нет? *(Кружится, напевая.)* «Между нами случился контакт...» *(Резко останавливается.)* Боже, как я хочу встретить своего человека! Так трудно быть одной: и мамой, и папой, и ответственным квартиросъемщиком, и ведущим специалистом, и сам-себе-водителем-столяром-маляром... Как в частушке: «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Хочется доверять, опереться на плечо и самой заботиться о любимом, даже носки стирать хочется. Мужу ведь стирала — и за проблему не считала. А сейчас — бросил в стиральную машину и всё. *(Проверяет телефон, раздражённо бросает трубку.)* Но обмануть себя я не дам. Зря подруга насчёт моих мозгов беспокоится. Я теперь злая стала и ух какая меркантильная! Я вот сейчас здесь одна прописана, квартира приватизирована. Уверена, много желающих сюда въехать найдётся. Я и у Николая прямо спросила: «Тебе есть где жить?» Говорит: своя однушка,

а там — кто его знает. Машина вроде у него есть. На машине хотел ехать. Ну вот где он сейчас? Почему не звонит? Это просто неприлично. Конечно, с дороги сразу я его не выгоню, супчика плесну — и пусть убирается в гостиницу.

*Ставит на стол подсвечник, два бокала...
затем и шампанское...*

С годами понятие о счастье становится другим — проще и яснее. Стихи давно уже не пишутся, не льются, а вот буквально вчера увидела на улице картинку: идёт девушка под дождём, ведёт собаку. Вернее, собака тащит девушку. А у хозяйки ветер зонтик в руках выгибает, пальтишко раздувает, и, кажется, так и поднимет сейчас в небо и девушку эту, и её мокрого пса. И родилось неожиданно:

*Снова ветер щёки дует,
Над дорогами колдует,
Свистом нагоняет страх.
Зонт мой задрожал в руках —
Полетел! И было б глупо
В день такой за ним лететь
И на встречу не поспеть.
Дома ждёт меня любимый,
Крепкий чай, пирог с малиной
К Дню Влюбленных,
К Дню Цветов,
К Дню Летающих зонтов!*

Что бы я сама себе ни говорила про рыбалку и квадратные метры, хочется, хочется летать, читать стихи и любить, и, несмотря на годы, желание это не угасает.

Пикает мобильник. ОНА читает СМС.

О боже! Он приехал! Сейчас будет!

Сбрасывает халат, под ним красивое платье. Зажигает свечи.

Ну, Николай Тверской! Что ждёт нас с тобой — вдохновение, уважение, разочарование, обожание или ...расставание?

В дверь звонят. Она нарочито медленно идёт открывать.

НАКАРКАЛА!

— Скучно мы живём, неправильно,— заявила я мужу и даже стёрла несуществующую слезу.— Работа. Дом. Телевизор. А время уходит, мы стареем...

— Ты что ли опять книжечку начиталась? — иронично спросил муж, меняя позу на диване.— Нормально живем. Как все.

Я и правда начиталась. Такие есть люди интересные — личности, одним словом, а мы...

— У нас даже хобби никакого нет: ни шьем, ни порем... Абсолютно бездарны,— тут у меня и вправду выкатилась слеза.

Муж поморщился: слёз он не любит.

— Ну, давай хобби придумаем,— согласился он.

— Может, нам стать театралами? Давай каждую субботу ходить в театры. Во-первых...

— Нет, только не это! — вскрикнул супруг и даже побледнел. — Давай другое...

— Ну, будем собирать что-нибудь... недорогое,— уточнила я, зная возможности семейного бюджета.— Вот Пельш разными головными уборами интересуется, а Макаревич вообще всем подряд. Ещё многие кружки коллекционируют.

— Лучше уж фантики — меньше пыли,— зевнул муж и опять сменил позу.

— Как ты не понимаешь — всё это и создает атмосферу в доме: картины, фотографии, кружки. Правда, кружки это избито. Что бы такое собирать?

— Ничего я не буду, а ты как хочешь,— быстро сказал муж.

— А я буду... свистульки. Во... Соберу двести штук...

— А потом чего?

— Расставляю их: птичек к птичкам, котиков к котикам, или по месту изготовления — северные отдельно, южные отдельно... В общем, подумую.

— Ну, подумай,— согласился муж и щёлкнул пультом от телевизора, словно выключая меня.

Как человек слова я за полгода собрала нужное число глиняных фигурок с дырочками для свиста. В этом мне активно помогали дети и друзья. Расставила в стенке: сначала по видам, как хотела — птичка к птичке, потом по цвету — пёстрые отдельно, однотонные отдельно. Потом на них быстро осела пыль, и я заскучала: свистульки ничего не изменили. Муж уже пролежал в диване ямку. Подходила очередная скучная зима, а смысла в жизни не прибавилось.

...За окном мела метель, по телевизору шёл очередной сериал из жизни простых русских бандитов, когда с работы пришёл муж с огромным свертком.

— Подарочки!? — обрадовались дети и я.

— Как сказать,— двусмысленно ухмыльнулся муж.— Подарочки будут завтра. А это моё снаряжение. Я еду на зимнюю рыбалку.

Он стал выгружать какие-то огромные сапоги, к ним прилагались меховые чулки... нет, гольфы что ли.

— Это роксы! — с нежностью сказал муж.— Мне Петрович одолжил, надо будет потом себе такие же купить.

— Никогда не понимала, какое удовольствие сидеть в мороз над лункой. «Ловись, рыбка, большая и маленькая»,— фыркнула я.

— Потом поймёшь,— пообещал муж, а я, к сожалению, не уловила зловещего смысла его слов и не пресекла страшное дело на корню.

Уже на следующий вечер я узнала, что супруг подразумевал под словом «подарочек». Когда он ввалился в прихожую, провонявший водкой и чесноком, с пакетом, в котором лежала пара замёрзших ершей, но довольный и бодрый, я поняла, что наша жизнь изменилась.

Обычно некрикливый муж расхохатывал на всю квартиру, рассказывая с ненужными подробностями, как они с мужиками вертели лунки, как выпили по первой, как Петрович упустил леща, а потом муж чуть не вытащил щуку... Но уж в следующий раз...

— А он будет, следующий раз? — с тоской в голосе спросила я.

— Непременно! — поклялся муж и завалился на диван, откуда через минуту послышался громкий нахальный храп.

Теперь каждую субботу чуть свет, в любую погоду муж отправляется на рыбалку. Он приобрёл не только роксы, но и огромный костюм в буро-зелёных пятнах, который не влезает ни в один шифоньер. Его лицо приобрело устойчивый красный цвет от сидения по десять часов на морозе и от водки.

— Смотри, какой ты стал,— грустно роняю я, когда муж бреется. Но он разглядывает себя с нескрываемым удовольствием.

— Я даже поправился, правда? — любитесь он собой.

Ещё бы не поправиться! У нас хранятся уже несколько десятков фотографий с места событий, и я знаю, что такое зимняя рыбалка. На всех снимках муж в своём надутым пятнистом костюме сидит на ящике с рюмкой в руке, перед

ним сумки со снедью, по бокам Петрович и Гурьянов. Иногда в центре сидит Петрович, а муж с рюмкой позирует сбоку. Гурьянов — самый молодой, поэтому всегда на ногах. К тому же он за рулем.

В морозилке у нас теперь бывают довольно крупные рыбки, но редко. Муж как-то проболтался, что они покупают по дешёвке щук у смекалистых местных жителей, которые приносят готовый улов прямо на реку и продают городским рыбакам. Сам он обычно ловит ершей и отдает их нашему дворнику. Тот уже привык к нехитрому лакомству и каждый понедельник часов в семь утра звонит к нам в дверь, требуя свою порцию и сто рублей на портвейн.

Уже накануне рыбалки муж становится невменяемым. Он перезванивается с Петровичем и Гурьяновым, набивает едой сумку, достаёт из загашника бутылки. В комнату торжественно вносятся пятнистые одежды...

Раньше я любила субботы, теперь ненавижу. Они для меня испорчены запахом ледяной речной рыбы, водки и табака.

Мужа не пугают ни тридцатиградусные морозы, ни оттепели, когда лёд на реке трещит.

Прошлой весной он, загибаясь от хохота, рассказывал, как они с мужиками раздевались до трусов, чтобы добраться до берега.

— Представляешь: туда шли — всё нормально, возвращаемся — полынья... Ну, Петрович с себя первым всё срывает...

— Пишут, пишут про ошалелых рыбаков, которых вечно на льдинах уносит, и всё без толку, — вздыхаю я. Теперь я понимаю, что муж у меня попал в секту. Точно: зимняя рыбалка — это секта, зло для семьи. И никто не убедит меня в обратном.

— Хобби, хобби, чёрт бы побрал это хобби, — ворчу я, убирая рыбацкий костюм до очередной субботы. — Ни к чему мужику хобби. Лучше б лежал на диване да телевизор смотрел, как все нормальные люди.

Но «Аннушка уже пролила масло», и, как ни печально, всё это накаркала я сама.

СПЛОШНОЙ ПОЗИТИВ

Аня Синцова, женщина передовая — как теперь говорится, продвинутая, — прошла семинар по перестройке сознания и, окрылённая открывшимися возможностями, решила незамедлительно сменить обветшавшие взаимоотношения в семье на новые, позитивные.

— Дорогой мой,— мурлыкнула она, усаживаясь рядом с мужем Мишей на диван.— Любимый...

— Ты чего это? — Миша подвинулся и недоверчиво посмотрел на жену.

— Да так,— ещё нежнее мурлыкнула Аня.— Давай жить дружно.

— Давай,— повеселел Миша, чмокнул жену в макушку и снова впился в экран телевизора.— Ты смотри: на МКАДе опять 10 машин «поцеловались»... Даже жертвы есть...

— Фу, дорогой,— Аня решительно взяла пульт и выключила телевизор.— Зачем загружать себя чёрной информацией? Надо мыслить только позитивно!

— Ты чего это? Дай пульт,— не понял Миша.— Это же новости!

— Бери, пожалуйста,— пожала плечами Аня.— Хотя смотреть катастрофы и аварии — это напрасная трата времени. Надо думать о хорошем.

Миша надулсЯ и снова включил телевизор. Аня стала листать журнал.

— Ну что за дела! — через минуту взревел супруг.— Опять наши... португальцам... Ну... Играть не умеют...

— Миша,— Аня отложила журнал.— Нельзя браниться, такие слова загрязняют твою ауру.

— А что тут ещё скажешь! — ткнул Миша пальцем в экран.— Сама подумай! Тут только матюги подходят...

Аня вздохнула. На семинаре всё получалось так легко и гладко, а в реальности даже самого близкого человека подвигнуть к позитиву оказалось весьма непростым делом.

— Вот будут у нас дети, а ты при них начнешь выражаться. Какой урок они получают? — сделала Аня новый заход.

— Ну, это да,— согласился Миша.— При детях, конечно, не буду... Но тут по-другому и не скажешь...

— Никогда не говори «но», дорогой,— Аня, почувствовав, что муж с ней хоть в чем-то согласился, решила одержать ещё одну победу.— «Но» — это препятствие, понимаешь? Лучше «и»... «И по-другому тут не скажешь»...

— Ань, дай отдохнуть,— с досадой сказал Миша.— По хорошему прощу. На работе устал чертовски...

— Ми-и-ша, чёрное слово! — перебила Аня.— Мы же решили их не употреблять.

— Ну, ладно, но...

— Миша, «и», — с нажимом снова перебила мужа Аня.— И, и, и!

— Ты меня весь вечер словно камнем по башке долбишь,— вскипел муж.— Что ты ко мне цепляешься?

— Миша! Ни в коем случае нельзя употреблять такие выражения — «камнем по башке»,— испугалась Аня.— Слова материальны. У тебя и правда может заболеть голова.

— Она уже и так болит, отстань, а! — взвыл Миша.— Прилипла как банный лист к...

— Только не продолжай! — замахала руками Аня.— Ты не должен себя сравнивать с... низменными предметами, это удар по самооценке.

— Да где ты набралась всего этого, чёрт возьми! — взвился Миша, швырнул пульт на пол, поднялся с дивана и зашагал по комнате.— Чёрт-те что! Ни минуты покоя! Работаешь, работаешь как вол, и дома отдыха нет...

— Не провоцируй меня на скандал! — повысила голос и Аня.— Из пульта батарейка выскочила, между прочим. Мы телевизор вместе покупали, не ты один... «любимый»,— вспомнила она семинар и закончила фразу всё-таки нежно.

— Я что тебе сегодня сделал, а? — Миша сжал кулаки.— Чего ты ко мне привязалась? Сажу тихо, смотрю телевизор. Даже пиво не пью. Что тебе нужно? Опять к Маринке приревновала, так клянусь: не было у нас ничего ни-ког-да! Хватит меня этим долбить! Или денег опять мало принес? Говори прямо!

— Да при чём тут Маринка! — глаза Ани наполнились слезами.— И про деньги я тебе ни слова не сказала...

— Ага,— язвительно сказал Михаил.— Про деньги нет, а про телевизор — да. Очень даже сказала. Жалко тебе, что я его смотрю, что ли? Я могу и не смотреть, но тогда чем мне заниматься? Давай, к соседу уйду!

Очередное «но» Аня проглотила безответно, слишком уж абсурдными и тяжёлыми были обвинения мужа, чтобы реагировать на «но».

— Я хотела по-хорошему,— дрожащим голосом начала она.— Позитивно хотела, а ты всё портишь. Ведёшь себя, как дурак...

— Ага, дурак у нас — хорошее слово,— ехидно засмеялся Михаил.— Тебе, значит, можно выражаться, а мне нельзя. Нет, дорогая. Если я дурак, то ты — дура.

— Да как ты можешь такое говорить! — рука Ани самопроизвольно швырнула пресловутый пульт в наглеца.— Да ты вообще!

— Я тебя пальцем не тронул! — заорал Михаил.— А ты руки распускаешь, чтоб они отсохли!

— Не смей прогнозировать мне болезни! — уже во весь голос закричала Аня и ринулась в бой за позитив.

...Обсыпанные пухом из распоротых подушек и мокрые от воды, которую Аня плескала из вазы с гвоздиками, красные, с воспаленными глазами, супруги уже были готовы перейти к метанию посуды из серванта, как вдруг трусливо молчавший телевизор вспыхнул голубым глазом, и красивая дикторша сказала, сладко улыбаясь: «Постройте свою любовь! Счастье в ваших руках! Главное, чтобы вы сами в это верили и думали о себе только позитивно!»

— Ты слышишь? — Аня опустила руку с фужером, уже приговоренным к уничтожению, и застыла посреди разгромленной комнаты. — Ты слышишь? Как он заработал, если пульт без батарейки? И мы же его не включали!!! Это знак, настоящий знак судьбы! Я же тебе это самое говорила!

— Слышу, — Михаил тоже застыл, исподлобья глядя на жену. — Если бы ты это говорила, я бы понял... Что я, совсем что ли...

Какое-то слово так и не слетело с его губ, он неожиданно улыбнулся, подошёл к растрёпанной жене, обнял её за плечи и сказал:

— А у нас и так сплошной позитив, правда, Ань?

— Угу, — вздохнула Аня и положила голову на плечо мужа. — Сплошной позитив, удивительно сплошной, самый позитивный позитив... Позитивней не бывает.

КАБИНЕТНАЯ НАУКА

Название моей новой должности звучало так красиво, а место работы находилось в таком шикарном здании, что я, подписывая договор о сотрудничестве, словно в тумане видела на бумаге слова «нормированный рабочий день», «материальная ответственность» и прочие скучные казенные формулировки, но в их суть не вникала. Новая начальница тоже казалась мне необыкновенной: улыбалась ласково, кивала поощрительно, когда я пыталась огласить свой подход к нашему общему теперь делу...

Проза повседневности дала о себе знать незамедлительно. Впервые в жизни я получила в своё распоряжение стол в кабинете, телефон, стопку бумаги и подставку для ручек. За все эти предметы пришлось расписаться на складе, и я осознала, что такое «материальная ответственность».

А вот что такое «нормированный рабочий день» я поняла

не сразу. Почти неделю я приходила на работу ровно к девяти, усаживалась за свой персональный стол и начинала ждать указаний. Но указаний не было. Душа же алкала подвигов на новом поприще.

— Сидите спокойно,— говорила мне моя соседка по кабинету Галина Ивановна.— У нас хорошо, тихо. В обед на рынок сходите. Если надо, всегда к врачу можно записаться...

«Я не хочу на рынок, а тем более к врачу,— ныла душа.— Я хочу действовать! Иначе зачем здесь я, такая чувствительная и творческая? Для сидения на стуле нужна совсем другая часть... организма».

К концу недели я начала чахнуть: заболела поясница, пролезался кашель, стало дёргаться левое веко.

«Ну вот, уже пора к врачу записываться,— мрачно подумала я, глотая слёзы и переворачивая листок календаря с надписью “пятница”.— Если я так и буду тут сидеть, считая часы, то превращусь в неврастеничку, а из часов, между прочим, складывается жизнь...»

Галина Ивановна услышала мой всхлип и оторвала взгляд от кроссворда.

— Что это вы расклеились? Вы, я вижу, просто не можете правильно организовать вашу работу, от этого и мучаетесь.

— Да какая работа! — взвыла я.— Перенести две бумажки в день из одного кабинета в другой? Отсиживаться за этим столом до обморока? Нет, я не выдержу...

— Зря вы так говорите,— Галина Ивановна назидательно подняла палец.— Если у государства есть необходимость платить вам ставку, значит, ваша должность ему нужна и важна. Просто вы ещё не вошли в курс дела.

— А вы вошли!? — закусила я удила.— Вам разве не скучно?

— Конечно, нет,— Галина Ивановна не обиделась.— У меня весь день расписан по минутам, мне тоску лелеять некогда.

— Ну и чем же вы заняты? — язвительно спросила я, поскольку весь день Галина Ивановна так же, как и я, читала газеты, переписывала рецепты консервирования или просто тихо куда-то сваливала, потом возвращалась с полными авоськами, из чего я заключала, что ходила она не по службе, а по личной надобности.

— Легко объясню,— моя напарница открыла толстый ежедневник, в который, как я подозревала, она пишет особые рецепты. Но, оказывается, я ошибалась...

— Вот, к примеру, 3 июня,— в голосе моей соседки по «камере» зазвучал официоз.— Девять ноль-ноль, беседа с сантехником о текущем ремонте...

Я вспомнила, что недавно Галина Ивановна действительно висела на телефоне, вызывая домой сантехника...

— С девяти пятнадцати до девяти сорока — обзор прессы по теме. Вот тут в скобках записано: «Труд» — о новых формах страхования, «Городские известия» — о требованиях по технике безопасности и т. д. С десяти до двенадцати — визит в управление. Опять же записано: поговорила с женщиной из смежного управления насчёт сметы, потом виделась с заведом, потом зашла в кадры... И так каждый день расписан, понимаете? В нашем деле нет мелочей. Важно всё.

— Зачем вы это пишете? — ещё не понимала я. В памяти всплывало то, что скрывалось за лаконичными строками. Действительно, совсем недавно Галина Ивановна ходила в управление и потом рассказывала, что встретила там соседку, которая работает в том же здании, и полчаса с ней проболтала. А в отделе кадров она узнавала насчёт возможного трудоустройства зятя да на обратном пути ещё купила свежего творога, то есть, сходила не напрасно... для себя. «Для себя» — это я так думала, а, выходит, визит этот принёс ощутимую пользу и нашему общему делу...

— Как зачем? Вы ещё не поняли? — Галина Ивановна уставилась на меня удивлённо. — Вот спросит меня начальница, что да как, а я ей за каждую минуту могу отчитаться. За каждую! Это очень важно, уверяю вас. Вот, например, сегодня...

— Обзор прессы, — подсказала я, глядя на кроссворд.

— И это тоже, но главное, я уже связалась с департаментом. Видите, пишу: беседовала по вопросу, но там идёт ремонт, поэтому решение откладывается... Буду звонить через две недели. Всё на карандаше. Никто не упрекнёт...

— А что я могу писать, если ничего не делаю? — мне уже стало казаться, что я просто не осознаю в полной мере, какую нужную и бурную деятельность рядом со мной ведёт Галина Ивановна, аутсайдером же быть не хотелось.

— Как ничего? — она всплеснула руками. — Вы вчера Титову звонили? Так? Об августовской поездке договаривались? То есть начали работу над перспективным планом. И связь с шефами осуществляете, что крайне необходимо, ещё вы при мне анкету потребителя составили...

— Там всего три вопроса, — вяло махнула я рукой.

— Ну и что? Вы же не из трех три сделали, а думали, отбирали, редактировали? Это ведь огромный мыслительный процесс! Надо свой труд уважать, — Галина Ивановна даже

встала из-за стола.— Я за вами наблюдаю, вы очень перспективный работник.

— Да? — я почувствовала, что от похвалы мои щёки зарделись.— Вы так и правда думаете?

— Конечно. Послушайте меня. Сегодня же купите ежедневник и начните систематическую деятельность. Скучать вам будет некогда. Запомните мои слова: такими местами не бросаются, у нас тут можно сидеть до пенсии очень даже неплохо. Главное — правильно организовать трудовой процесс.

...Теперь передо мной лежит толстый ежедневник в тигровой обложке. Он уже наполовину исписан. Моя мудрая коллега оказалась права. Это чрезвычайно захватывающее занятие: заполнять своё рабочее время записями о нужных делах. Сразу возрастает самооценка, а один раз эти записи оченьгодились, когда меня вызывала к себе на ковёр начальница. «Я же вам говорила»,— строго хмуря брови, начала она... «Нет, извините, я всё записываю,— поклонив палец, я открыла нужную страницу.— Вот, смотрите. С десяти до одиннадцати — обзор прессы, потом беседа с корреспондентом». (Корреспондент — моя школьная подруга, но об этом я, конечно, не докладывала.)

Самое удивительное, что начальница посмотрела на меня с уважением, и буря пронеслась мимо.

С Галиной Ивановной мы живем очень дружно, в обед пьем чай, в четыре часа полдничаем. Лично я в ежедневник эти мероприятия вношу под кодовыми названиями «беседа по обмену опытом» и «пятиминутка по текущим делам». Что пишет моя коллега, не знаю. Но в том, что эти часы и у неё не пропадают даром, я уверена.

БИЗНЕС-СОН

Могу порекомендовать хорошее средство для засыпания. Представьте себе, что вам неожиданно привалило наследство из-за рубежа. Или вы выиграли в лотерею, или нашли тугой кошелёк. В принципе неважно, каким способом вы разбогатели. Главное — в другом.

Вы мысленно начинаете планировать, как потратите приобретённые лёгким путём деньги. Сумма, конечно, произвольная, зависит от ваших амбиций и воображения. Я пять лет назад оперировала ста тысячами. Теперь в связи с инфляцией работаю с миллионом. Очень увлекательно, уверяю вас. И в какой-то момент от мозгового перенапряжения я засыпаю как убитая.

Но недавно выяснилось, что не одна я такая умная. Пришла ко мне Алёна, давняя подруга и коллега по школе. Чем я только с ней не делилась за годы дружбы, а вот о сновидениях речь никогда не заходила. А тут смотрю: Алёна бледная, под глазами круги — очень усталый вид.

— Взяла ты какая-то... вроде отпуск, лето,— заметила я.

— Не высыпаюсь,— пожаловалась Алёна.— В квартире влажно, душно. Комары ещё эти проклятые залетают. Мысли печальные в голову лезут...

— Я тебе помогу! — посочувствовала я подруге и охотно выложила свой рецепт засыпания без таблеток.

— Удивила! — хмыкнула Алёна.— Я этот способ давно знаю. Мне он уже не помогает, ещё хуже делается. Начну считать, сколько на аренду, сколько на налоги уйдёт — разволнуюсь, бегу курить. Кстати, ты с какой суммой работаешь?

— У меня миллион,— гордо сказала я.

— В какой валюте?

— В рублях, естественно. (Я и в рублях этот миллион сроду не видела.) А у тебя больше что ли?

— Естественно,— высокомерно ответила подруга.— Есть мнение: какие рамки ты себе мысленно ставишь, за такие и в реальной жизни не выйдешь. И как же ты своими средствами распоряжаешься, можно узнать?

— Мне скрывать нечего. Во-первых, выплачиваю ипотеку за дочкину квартиру, у нас ещё тысяч триста долга осталось. Во-вторых, покупаю нам с мужем две путёвки в Париж на две недели. А это, знаешь, как дорого сейчас выходит! Ещё ведь и с собой нужно денег взять. Потом копаю на даче колодец, ставлю душевую кабинку, ищу дочке шубку,— начала перечислять я.— Да, у мамы меняем кухонный гарнитур...

— Всё ясно,— скривила губы Алёна,— типичное совковое мышление. А основное правило бизнеса: деньги должны работать и приносить прибыль. Лично я первым делом арендую помещение и размещаю в нём парикмахерскую.

— Так у тебя, небось, и денег больше,— прищурилась я.

— Да,— кивнула Алёна.— Минимум в три раза больше. Потом открываю ещё одну парикмахерскую. А на виллу, мерседес и квартиру в Москве я заработаю сама.

— Ух, какие у тебя запросы! — поразилась я. Мне всегда казалось, что подруга не очень-то обращает внимание на бытовую сторону жизни. Живёт с семьёй в старой хрущёвке, ремонт в которой они не делали лет десять, ковыряется на убогой даче. А вот надо же, как раскрылся человек!

— Ещё я открою небольшое эксклюзивное кафе для избранный публики,— продолжала Алёна.

— И прогоришь! — выпалила я, задетая явным превосходством подруги.— Сейчас, наоборот, рестораны закрываются. Кто к тебе ходить будет?

— Ко мне будет кто ходить,— направила голосом на «ко мне» Алёна.— У меня есть соображения, как повести дело. Машина мне, конечно, будет нужна по работе, но я найму шофёра.

— Супер, всё просто супер! — раскипятилась я.— Настоящая бизнес-леди! А я глупая гусыня... Может, мы вообще зря в ипотеку влезли? По-твоему я глупо деньгами распоряжаюсь?

— Недвижимость всегда в цене, это ясно, но надо всё до тонкостей продумать, где и как её покупать,— снова свысока посмотрела на меня Алёна, и я на неё окончательно обиделась. Всё у неё по уму, а я, выходит, дура набитая. Профукала свои денежки и осталась на бобах.

— Каждому своё,— назло Очень Деловой Женщине сказала я.— Спущу все деньги в Париже на шампанское, тряпки и духи, а потом к тебе в кафе работать устроюсь. Возьмёшь?

Алёна внимательно на меня посмотрела, видно, прикидывая, какой будет от меня толк в её изысканном кафе. Мне показалось, что ей хотелось бросить в мой адрес едкую реплику, но она сдержалась и слегка кивнула. Наверное, годы дружбы всё-таки для неё что-то значили. На этом мы свернули тему, попили кофе, посплетничали об общих знакомых и простились тепло. Но осадок в душе у меня остался. Почти две недели мы не перезванивались, чего никогда не было раньше, и встретились снова в школе, где уже давно вместе работаем.

— Привет отпусникам! — обняла меня Алёна.— А я тут уже два дня вкалываю. Сегодня будем окна в кабинете мыть, надо всё приводить в порядок перед началом учебного года.

Когда мы до блеска натерли старыми газетами стёкла, подруга вдруг вернулась к тому бывшему разговору:

— Знаешь, с бизнесом этим одни проблемы. Аренда растёт, налоги тоже, бухгалтера надо толкового соответственно, и зарплату ему надо хорошую... Да ещё конкуренция, эти парикмахерские да салоны на каждом шагу... В общем, я теперь тоже наш отечественный «лимон» распределяю и закупаю легко. Спасибо за совет!

— Всё-таки мы с тобой родственные души,— улыбнулась я, и мы ещё яростнее заелозили газетами по стеклу.

«ТАЛИФА, КУМИ!»*

Она, наверное, полчаса, если не больше, с упорством, достойным лучшего применения, терзала меня. Втыкала в руку иголки. Воткнёт, потом вытащит, снова воткнёт. Пыталась попасть в вену, чтобы поставить капельницу. Сначала я молча терпела. Потом просила её прекратить. Затем обозвала душой и ревела в полный голос. А под конец по-щенячьи скулила. Она держала мне руку цепкой хваткой и орала, чтоб я не мешала ей работать.

Усилия её так и не увенчались успехом, но насладиться концом пытки она мне не дала. Капельницу так и не поставила и, уходя, пообещала, что мне вскроют руку и уж тогда найдут вену. После её ухода я заревела с новой силой и ревела до ужина.

На следующий день дежурила уже не эта тётка, а другая, которая ставила мне капельницу до этого и более успешно, но я, едва завидев её со сверкающим сталью подносом, подняла такой рев и визг, что в палату примчались ещё несколько медиков и медичек. Убежать я, к сожалению, не могла, я не вставала. Я вырывалась из всех сил. Разумеется, схватили, разумеется, прижали. И капельницу поставили. Но я тоже извела их ревом и безуспешными попытками избавиться от их крепких объятий.

Так пошло изо дня в день. Я ревела, визжала и рвалась как могла. Пару раз им, правда, удалось уговорить меня сдаться более или менее мирно, но, в основном, приходилось применять насилие. Они теперь и не ходили ко мне в одиночку, а всегда с целым эскортом, благо, народу для этого хватало — больница находилась при кафедре детских болезней медицинского института.

У меня тоже появились союзники. Девчонки в палате смотрели на меня, как на мученицу и героиню. А мальчик лет

* «Талифа, куми!» — «Девушка, встань!» (арамейск.).

пяти из соседней палаты с утра дежурил в коридоре и предупреждал меня, просунув голову в дверь:

— Начинай уже реветь, они идут.

Бедняге тоже делали какие-то внутривенные вливания. Однажды они так отвлеклись на борьбу со мной, что про него в суматохе забыли. Больше, разумеется, подобное чудо не повторялось, но он уверовал в меня свято. Помимо утреннего дежурства, он заходил ещё днём и вечером и рассказывал больничные новости:

— Лидия Сергеевна биксу опрокинула. А у нас сегодня Дима умер, у которого кровать напротив моей. Его мама так кричала в коридоре, а его увезли на каталке. А в седьмую палату дяденька горбатый приходил.

Общение с ним как-то скрашивало мои напряжённые будни. Я уже вошла во вкус и чувствовала, что, пожалуй, мало их извожу. И стала закатывать дополнительные истерики лаборанткам, которые через день брали у меня кровь. И тем тоже пришлось увеличить штат втрое. Перевязки и обычные уколы я переносила нормально, но всё чаще у меня появлялась мысль, что неплохо бы и здесь иногда повизжать для разнообразия.

Бог весть, к чему бы это привело.

Этого типа я сразу выделила в окружавшей меня свите сестёр и студентов. Был он долговяз, с нескладной фигурой, со слишком длинными руками. Халат висел на нём, как на вешалке. Несколько дней он слушал мои концерты и, наконец, однажды, подойдя ближе, произнёс:

— Что-то ты сегодня совсем не в голосе. Тебе помочь? — И он подвыл басом мне в унисон.

От неожиданности я замолчала. А он, отстранив их всех, цапнул меня за руку и ловко воткнул иглу в вену. Я попыталась рвануться, но он предупредил:

— Выпадет игла — придется снова ставить.

Это меня не устраивало, и я ограничилась тем, что облила его взглядом, полным презрения. Его это, кажется, только позабавило.

С этих пор он присутствовал при всех производимых надо мною процедурах и, стоило мне только открыть рот, заботливо предлагал:

— Давай я за тебя поплачу, а ты отдохни.

После этого, разумеется, пропадал весь эффект.

Я его возненавидела. Поскольку процедуры без истерик уже не отнимали столько времени, я могла вдоволь вынашивать и лелеять планы мести. К сожалению, все они были

малоисполнимы. Самый блестящий из них: превратить его сначала в крысу, а потом в паука — был, увы, неосуществим из-за отсутствия волшебной палочки.

Зато я щедро делилась этими планами со своим конфиден-том из соседней палаты. Он выслушивал со вниманием, но вставлял свои критические замечания. И вообще, я заметила, он не разделял моих чувств к моему врагу. Он даже заявил мне однажды, что Виктор Александрович — хороший.

Девочки в палате его тоже любили. С Лариской он разговаривал о школе и помогал решать задачи, Светку гладил по голове и советовал чаще использовать носовой платок, а двухлетнюю Наташку носил на руках, слушал её лopotанье и разговаривал с ней так, будто что-то понимал.

Однажды он и меня пытался погладить по голове. Но я схватила его руку зубами и укусила до крови. Присутствовавшая при этой сцене положительная медсестра Лидия Сергеевна воскликнула:

— Да что это такое! Как тебе не стыдно! Извинись сейчас же!

Я усмехнулась презрительно. Он тоже усмехнулся, посмотрел на укушенную руку и произнес:

— А ля гер ком а ля гер.

Эта фраза оскорбила меня тем сильнее, что я не поняла, как он меня обозвал. Я показала ему язык. Он мне тоже, что меня окончательно разозлило, и я отвернулась лицом к стене.

Капельницы, наконец, отменили и кровь стали брать реже. На перевязках тампоны заменили резинками, и меньше стало бинтов. Они сказали, что мне можно уже вставать. Но я не испытывала никакого желания. Стоило только поднять голову, и всё начинало кружиться перед глазами. Они долго меня уговаривали, но я закрыла глаза, чтобы их не слушать. Они отвязались и, наконец, ушли.

После тихого часа ко мне заглянул мой приятель и сообщил:

— Виктор Александрович сказал, что если не хочешь вставать, то и лежи себе хоть год, если так нравится в больнице.

Мысль о том, что я пролежу здесь так долго, меня ужаснула. Я заплакала и сказала ему:

— Я не не хочу, а не могу. Не буду я здесь лежать, мама придёт и заберёт меня.

— Как она тебя заберёт? На коляске что ли повезёт, такую большую? — резонно возразил он.

Три дня ко мне никто не приставал. Только Светка звала раза два идти с ней в седьмую палату играть в школу.

— Я не могу,— сказала я ей сердито, и она отступилась.

Лариску выписали. Светка, как всегда, пропадала в седьмой палате. Никого поблизости не было. Я лежала и рассматривала трещины в потолке. Наташка сидела в своей кровати и что-то говорила на своём непонятном языке. Странная она была девочка, и мама у неё была странная. За то время, что Наташка здесь находилась, навестила её всего однажды и принесла ей тапочки, которые были малы.

— Пить хочу,— сказала Наташка неожиданно ясно.

Я посмотрела на неё. Интересно, к кому она обращалась?

— Пить,— повторила она.

— Ты же видишь, что никого нет,— заметила я ей ворчливо.

— Дай мне.

— Я не могу встать. Подожди, кто-нибудь придет — и даст.

— Дай! — сказала она и заплакала.

Я подождала немного, надеясь, что кто-нибудь услышит её плач и придёт. Никто не приходил.

Делать было нечего. Ухватившись за столбик кровати, я приподнялась. Снова всё поплыло перед глазами. Я медленно вытащила ноги из-под одеяла и опустила их на пол. Голова, вроде бы, кружилась меньше, и я попыталась встать. Держась за кровать, а потом за стенку, добралась до тумбочки, где стоял графин с водой, потом сделала ещё три шага до Наташкиной кровати.

— На, пей, паршивая девочка,— сказала я ей.

Когда я ставила стакан на место, наконец-то разглядела картинку на тумбочке. Я столько времени гадала: что же там нарисовано? Оказалось, семья обезьян с бананами в руках.

В палату заглянул мой приятель.

— Встала уже? — обрадовался он.

— Да,— сказала я небрежным тоном,— не собираюсь я здесь год лежать.

За неделю я вернула себе прежнюю подвижность. Голова перестала кружиться, и ноги начали слушаться. Сначала я держалась за стены, потом этого уже не требовалось.

С девочками из седьмой палаты я так и не сблизилась, но вместе с моим пятилетним другом мы облазили всё отделение, побывали везде, где можно и где нельзя, от столовой до ординаторской. Только операционную обошли стороной, туда нам что-то не захотелось. Тем более, что там я уже дважды побывала.

У них появилась новая проблема: как заловить меня и уложить в кровать хотя бы на время врачебного обхода и процедур.

Я противилась этому с неменьшим упорством, чем прежде — попыткам заставить меня встать с постели.

Стоя у раздаточной и слушая разговор буфетчиц, не предназначенный для детских ушей, я углядела в конце коридора дежурную медсестру. Она явно разыскивала нас.

— Максим, бежим! — скомандовала я своему наперснику, и мы помчались в противоположный конец так, что только ветер в ушах засвистел.

Внезапно меня перехватили на полном бегу, и я очутилась в чьих-то объятиях.

— Тебе нельзя бегать, — услышала я знакомый голос своего лучшего врага. Он начал было говорить со мной доброжелательным тоном, но, заметив выражение упрямства у меня на лице, сказал насмешливо:

— Да бегай себе, пожалуйста, бегай! Разойдутся швы — сделаем ещё одну операцию. Снова капельницы поставим.

Тут подросла медсестра и потащила меня в палату, а он пошёл следом.

Недавно мне вполне хватало одной кровати, а теперь казалось тесным целое отделение. Впрочем, выяснилось, что оно не такое уж и большое. Длинный коридор, увешанный выцветшими плакатами, предостерегающими от курения, от алкоголизма и от мух, разносчиц инфекции.

Я прочла Максиму надписи на всех плакатах, а потом мы с ним подрисовали усы и очки всем мухам, курильщикам и алкоголикам. Они стали симпатичнее.

Один конец коридора упирался в холл, уставленный креслами и пальмами в кадках. Туда же выходили коридоры и из других отделений. Мне хотелось там побывать и потрогать пальмы. Но вход туда, разумеется, был запрещён. Мы наплевали уже на многие «запрещено», но в холле вечно торчал кто-нибудь из врачей или студентов. Почти все они, независимо от пола, всюду дымили сигаретами, явно пренебрегая плакатной мудростью.

— Наверно, читать не умеют, — ехидно заметила я Максиму.

Мы долго подстерегали момент, когда все они, наконец, разойдутся. И когда холл опустел, мы туда вошли. Друг мой уселся в кресло, а я ходила от пальмы к пальме и гладила их по мохнатым стволам. Они были такие красивые, с жёсткими и глянцевыми листьями.

Идиллия длилась недолго. В дверях появилась нескладная длиннорукая фигура в белом халате.

— А вы что здесь делаете? Ну-ка, марш отсюда, марш на отделение!

Я посмотрела на него с досадой, взяла Максима за руку, и мы пошли на отделение. Но в дверях я обернулась и, заметив, что он достал из кармана пачку сигарет, мстительно проговорила:

— Курить вредно. Курение сокращает жизнь. Капля никотина убивает лошадь.

Он засмеялся:

— Как приятно, что именно ты так обо мне заботишься,— но курить почему-то не стал, сунул сигареты обратно в карман. Подошёл к пальме, оторвал маленький листок: — Держи, и марш к себе в палату.

В палату мы всё-таки не пошли. Пошли в другой конец коридора. Стояли у окна и смотрели во двор, на другое крыло здания, на облетевшие деревья и серый забор.

— Смотри, чайка,— удивилась я, помахивая пальмовым листом.

— Здесь через несколько домов — Волга,— просветил меня мой друг,— а с другой стороны — бульвар, и на нем фонтан.

Мне очень захотелось увидеть и Волгу, и бульвар, и фонтан. Но когда это будет? К тому времени, наверно, уже снег выпадет и зима настанет.

Через три дня Максима выписали. Он зашёл попрощаться уже не в пижаме, а в нормальном костюме: в чёрных брючках и сером свитере. Держался он непривычно чопорно. Я подарила ему на память резинового страуса, и он ушёл.

Было очень скучно, не хотелось даже бродить по коридору. Я начала читать и, к удивлению, быстро добралась до конца книги. В одной сказке рассказывалось о злоключениях мальчика, превращённого злой феей в лягушку. Заканчивалось всё благополучно, но мальчика всё равно было жаль.

«Нет уж, не буду я никого ни во что превращать. Пусть себе этот Виктор Александрович ходит как есть»,— решила я.

Словно подслушав мои мысли, он зашёл в палату, взял Наташку на руки и сел около меня.

— Скучно? — спросил он.

Я ничего не ответила.

— Давай уж помиримся, подружиться уже не успеем.

Я глянула на него вопросительно.

— Выпишем тебя послезавтра, поедешь домой долечиваться.

— С этой дыркой? — буркнула я.

— Заклеим в лучшем виде, а там станешь ходить на перевязки. Всё будет нормально. Только не бегай пока и не прыгай. Успеешь потом набегаться.

Он ещё что-то говорил, но я уже плохо слушала, захваченная мечтой о свободе. Руку ему, правда, подала, как он просил, уходя.

Через день меня выписали. Я переделалась в голубое платье, которое стало мне слишком свободным. За мной пришли мама и дядюшка, и я наотрез отказалась остаться на обед, торопясь скорее покинуть надоевшее мне пространство. Прощаться я тоже ни с кем не стала. За меня это сделала мама.

Мы вышли на бульвар. Был солнечный октябрьский день. Деревья уже стояли голые, но трава на газонах ещё зеленела, а из фонтана били высокие струйки воды. Казалось, теперь всегда всё будет красиво, ярко и празднично.

Счастье, что человек лишен предвиденья, и я не знала, что мне ещё предстояло в ближайшие три месяца.

ИЗЪЯН В РОДОСЛОВНОЙ

Памяти Андрея Бруцкуса

Гольдфарб уехал в девяносто втором. Сначала казалось, что мир обрушился и невозможно собрать уже ничего из его обломков. Я ощущала себя гипсовой статуей, из которой вынули металлический стержень. Но прошло несколько месяцев, и я поняла, что существовать ещё можно. Жизнь с её мелочами и рутинной взяла своё. Пустота внутри медленно заполнялась, и то, что её заполняло, постепенно густело.

Прошло несколько лет, и я снова привыкла к спокойной, размеренной жизни, без взлётов и падений, без внезапного помешательства и стука крови в висках. Не то чтоб я забыла Гольдфарба. Нет, я желала ему всего самого хорошего. Но «моей части тут не было». И я спокойно восприняла весть о его женитьбе.

Кац, кажется, был даже слегка разочарован моим спокойствием. Он-то старался подготовить меня к этому убийственному, как ему казалось, известию.

Если временами меня и охватывала тоска, то это была тоска не по Гольдфарбу и даже не по несостоявшемуся счастью, а по тому беспокойному и щемящему ощущению горя и несчастья, которое я уже больше не испытывала.

*«Мой любимый! Мой желанный!»
Но слова мертвы.
Даже выветрился запах
У сухой травы.*

*Я всё реже вспоминаю
Мой цветущий сад.
Всё минует, всё проходит,
Всё — и рай, и ад.*

Я и вспоминала его уже с трудом. Даже фотографии не могли воскресить его неповторимую улыбку, его медвежью косолапость при ходьбе, прикосновение горячих губ у моего затылка...

Друзьями детства я в своё время не обзавелась, а за время моего бурного романа как-то подрастеряла институтских приятелей и подруг. Когда спохватилась, оказалось, что все они переженились и повыходили замуж. Им стало не до меня. Друзья Гольдфарба были вежливы, но я всегда чувствовала в их отношении ко мне некоторую насторожённость. После его отъезда мы только раскланивались при встрече. Впрочем, это меня не слишком огорчало. Я была привычна к одиночеству.

Единственным другом, перешедшим ко мне «по наследству», был Кац. До отъезда Гольдфарба мы были с ним едва знакомы. Так, сидели пару раз в одной компании. Гольдфарб был к нему очень привязан, хотя и относился слегка иронически. Дружили они чуть ли не с детского садика.

Возможно, перед отъездом Гольдфарб просил Каца как-то поддержать меня первое время. Возможно, Кац и сам скучал по своему лучшему другу. Он стал бывать у меня довольно часто.

Несмотря на свою неказистую внешность — маленький рост, лысину, крючковатый нос, — Кац имел у женщин поразительный успех. Правда, ни с одной из своих жён он не задерживался в браке более трёх лет. Зато имел множество «любимых девушек», всегда готовых его накормить, обогреть и разделить с ним ложе. Поначалу я не слишком верила его рассказам, считая их пустыми фантазиями, но позднее познакомилась с некоторыми из этих дам и поняла, что они действительно были от него без ума.

При всем при том меня Кац никогда не пытался обхаживать и очаровывать. Заскакивал он обычно мимоходом, сидел, пил чай собственной заварки, рассказывал, поплёскивая очками, бесконечные истории вперемежку с историческими экскурсами в Античность и Средневековье, а также цитатами из Талмуда, который умудрился прочесть, высидев полгода в читалке. Тору он знал почти наизусть. Правда, в синодальном переводе.

Изредка, когда он начинал вещать чересчур высокопарно, я, чтобы сбить его на обыденный тон, спрашивала у него совета по какому-нибудь мелкому хозяйственному делу. Он охотно переключался на быт, но при этом способен был даже вопрос о подметании полов поднять на такую принципиальную высоту, что впору было снова переводить разговор на Рамбама и Спинозу.

Именно Кац и затащил меня в ульпан при открывшемся в городе отделении «Сохнута». Сам он даже английского не сумел одолеть, но решил, что мне надо учить иврит, сославшись при этом на кого-то из цадигов и приведя длинную цитату, смысл которой сводился к банальному «век живи, век учись».

Впрочем, я не пожалела, что пошла туда. По прошествии лет было интересно снова учиться, выполнять упражнения, готовить домашние задания, отвечать у доски. Иврит оказался не так уж и труден. Заодно я занялась и традицией.

За отсутствием более крупных специалистов вела оба цикла занятий двадцатичетырёхлетняя Инна, которая продвинулась в изучении языка лишь на ступень выше нас, начав изучать его два года назад в Москве. Так что обучение шло почти по ланкастерской системе. Та же Инна, за неимением прочих кандидатур, возглавляла агентство. Пока что большинство предпочитало уезжать через столичные филиалы, и отчётов у неё на первых порах не требовали.

Группа была разновозрастная и разношёрстная. Среди прочих талмидим были, например, две интеллигентные семидесятипятилетние старушки-кузины. В языке они особо не преуспели, зато на традиции очень любили вспоминать о том, какой штрудель пекла их бабушка и какой набожный был их дедушка — знал Тору на иглу, — и о многом другом. Приходили они всегда очень нарядные, в туфельках на шпильках. Похоже, занятия в ульпане были для них прежде всего поводом выйти в люди и пообщаться.

Сюда ходил также четырнадцатилетний мальчик Дима, черноволосый красавец с тонкими чертами лица, посещавший помимо ульпана ещё и плавательный бассейн, английскую языковую школу, музыкальную школу, шахматную школу и, разумеется, общеобразовательную. Когда я попыталась посоветовать ему, он поделился своими дальнейшими планами: с нового года он пойдет на курсы по информатике, компьютер сэкономит ему уйму времени, и тогда у него появится возможность посещать лекторий по истории французского искусства.

Сверх меры занятой, Дима редко задерживался после занятий, но остальные, как правило, не торопились. Сидели, пили чай, болтали о том о сем, сплетничали понемногу, потом вместе шли домой.

Кац появлялся в агентстве редко. Инна побаивалась его приходов, потому что, оказавшись на уроке, он немедленно вгрызался в тему и затевал дискуссию, которая так далеко уводила от предмета изучения, что вернуться к нему было уже почти невозможно. Но на посиделках он был душой общества.

Вообще, там многие знали друг друга издавна, но постепенно складывались и новые отношения. У меня тоже. Я с радостью погрузилась в этот водоворот общения и, несмотря на двенадцатилетнюю разницу в возрасте, сблизилась с Инной. Атмосфера в агентстве была дружелюбная и лёгкая. Мужчины провожали дам до дома, даже если им было не по пути, распахивали перед тобой двери, подавали пальто. Дамы, стоило только похвалить их печенье или варенье, тут же записывали для тебя рецепт. Пожилые давали молодым советы, но в такой тактичной форме, что протестов не возникало.

Одно только вызывало во мне чувство неловкости. Я не могла называть тех, кто был много старше меня на «ты» и просто по имени. Через этот порог я так и не переступила. Семидесятипятилетние Софа и Мирра остались для меня Софьей Давыдовной и Миррой Соломоновной. Березник старший тоже не стал Яшей. Хотя у него-то шанс был.

Березники учились всем семейством: отец, сын и невестка. Молодые готовились к репатриации. Отец уезжать не хотел. Ему уже исполнилось пятьдесят, у него была солидная должность и связи. Овдовел он лет пять назад, и дамы вниманием его не обходили. Но, будучи человеком основательным, он хотел прочных отношений и намеревался жениться. Не на ком попало, разумеется, а на такой же основательной и серьёзной особе, как его покойная жена. Хотя, что касается возраста и внешних данных, он не настаивал на полном сходстве (ушедшая в мир иной супруга была на несколько лет старше его и, судя по фотографии, телосложения солидного).

Конечно, Березник не сообщал о своих матримониальных планах кому попало, он вообще был немногословен. Но с ним издавна дружили родители Инны, так что она была в курсе. А чужих секретов Инна принципиально не хранила. Своих, впрочем, тоже.

Инна была безнадежно влюблена в Михаила, сына Березника. Когда-то в детстве родители полушутя прочили их друг за друга. Но детская дружба ни во что более серьёзное у младшего Березника не переросла. К тому же недавно, вернувшись из Питера, он привез с собой жену, бывшую однокурсницу и (ах, какой пассаж!) татарку. Инна же, словно всё ещё на что-то надеясь, продолжала ходить за ним как тень, всегда норовила сесть рядом, носила ему чай, пирожки и даже провожала его (точнее, их) до дому. Они и жили как нарочно по соседству.

Дружба с Инной невольно сблизила меня и с Березниками. Несколько раз мы собирались у Инны все вместе. Однажды с нами пришёл и Кац. Он так увлёкся спором с Инниным папой о сионизме, успевая при этом наставлять Иннину бабушку, как правильно варить редьку в меду, что я поспешила уйти, а Березник-старший собрался меня проводить.

Если все члены нашего сообщества были неизменно доброжелательны и тактичны, то Яков Григорьевич Березник являл собой образец джентльмена. Всё в меру, всё в полном соответствии с нормами поведения, ни одного лишнего слова и даже движения. Рядом с ним было всегда спокойно, комфортно и даже уютно. Не вызывало ни малейших сомнений, что он в нужную минуту поддержит, защитит и не даст упасть на тебя даже капле дождя (если эта капля нежелательна, разумеется). Невозможно было представить, чтобы он позволил сопровождаемой даме нести что-нибудь тяжелее ридикюльчика. А если, упаси бог, даме при нём случилось бы оступиться, он не простил бы себе этого до конца дней своих.

Березник-старший не был красавцем, но выглядел импозантно. Его вкусу и такту любой мужчина мог бы позавидовать. Инна как-то две недели подряд терроризировала нас модной оранжевой косыночкой, которую повязывала поверх лёгкого розового платья на манер пионерского галстука. Кое-кто язвительно усмехался втихомолку, я медленно созревала, чтобы сказать ей вслух: «Сними эту гадость, идиотка!» Березник же просто подошёл, развязал узел косынки, элегантным движением снял её, аккуратно свернул и положил на стол.

— Я тут посмотрел украшения Тамары Менделевны и подумал, что вам хотелось бы иметь от неё что-нибудь на память. Она вас так любила! Конечно, это всего лишь бижутерия, но к вашему платью очень пойдёт.

Подаренное им ожерелье из искусственного жемчуга выглядело почти как настоящее и настолько подошло к про-

стенному платью, что оно стало выглядеть нарядным, а Инна в нём смотрелась элегантнее и строже.

Березник был настолько любезен со всеми дамами вообще, что когда он стал оказывать мне предпочтение, я не сразу заметила. Я думала, если он садится рядом со мной и провожает до дома, это обычная дань вежливости. Затем последовали приглашения на концерт, в театр.

Нет, я не испытывала к нему ничего похожего на чувство к Гольдфарбу. И даже давнюю свою школьную влюбленность переживала гораздо сильнее. Но так ухаживали за мной впервые. Вниманием мужчин я не была избалована. Мне ни разу ещё не доводилось отвечать на чьи-то чувства. Я всегда сама их добивалась.

И всё-таки полной уверенности в том, что Березник-старший мой поклонник, у меня не возникало. С ним было хорошо. Он не давал ни малейшего повода усомниться в его репутации интересного собеседника и внимательного слушателя. Он умел говорить о серьёзном серьёзно, а на мои подначки реагировать остроумными шутками. Дамские глупости вызывали у него лишь снисходительную, но необидную усмешку. Когда мне взбрело на ум разыгрывать из себя маленькую девочку, Березник-старший выступал в роли доброго папаши: мягко журил за шалости, гладил по голове и угощал конфетами.

Но вот однажды он пригласил меня к себе домой. Без Инны и Каца. Сын и невестка тоже отсутствовали. Мы обедали с ним вдвоём за прекрасно сервированным столом, пили красное вино. Потом смотрели фотографии. Он рассказывал о жене, о сыне, о своей работе, познакомил с богатой домашней библиотекой. Я удостоилась подарка из знаменитой шкатулки Тамары Менделевны. Это были бусы из горного хрусталя с аметистами. Наконец, мы долго пили чай, и уже я рассказывала ему про свою семью и про родственников. Было уже довольно поздно, когда он проводил меня до дома и поцеловал на прощание руку.

Мои знакомые дамы, вероятно, испытали бы разочарование после такой встречи. Но я ценила «высокие отношения» и была довольна вечером, проведённым у Березника. И самим вечером, и недвусмысленным намёком на возможность продолжения подобных встреч. Я даже подумала (не развивая, впрочем, эту мысль): если бы мне предложили когда-нибудь стать хозяйкой в таком доме, я бы не возражала.

Понимание того, что он дает «задний ход», пришло не сразу. Сначала я ждала очередного приглашения. Его не

последовало. Когда я сама попыталась пригласить Березника к себе, он ответил деликатным отказом, сославшись на огромную занятость.

Инна тоже перестала звать меня к себе и стала навязывать мне в провозятые совсем молодых мальчиков. Когда очередь дошла до Димы, я вспылила и сказала, что пока ещё в состоянии добираться домой в одиночку. Дима, впрочем, всё равно меня проводил и, как вежливый мальчик, сообщил, что ему было очень приятно оказаться в роли моего спутника.

Березник-старший тоже находился при деле: провожал Софью Давыдовну с Миррой Соломоновной. Придаться было не к чему. Да я и не придиралась. В конце концов, можно было посчитать мои предположения и надежды ошибочными. Навоображала себе невесть что, приняла обычные товарищеские отношения за проявление какой-то особой симпатии. Пригласил к себе? Так и Софью Давыдовну приглашал. В театр водил? Так и Кац пару раз ходил со мной на выставки. Бусы подарил? Инне тоже дарил. Шоколадом он всех угощает, услужлив и предупредителен со всеми. «И что же, прикажете плакать?» Честно говоря, я не очень-то и расстроилась. Бурных чувств к нему не испытывала. «Нет так нет».

Суккот в том году пришёлся на середину октября. Было холодно, и ночами подмораживало. Разумеется, о ночёвках в шалаше не могло быть и речи. Но Инна с присущим ей энтузиазмом организовала воскресный пикник в лесу.

Молодёжь приняла идею с восторгом. Я на пикник тоже поехала, несмотря на то, что у нас с Инной в последнее время разладились отношения.

Поставили палатку, нарубили еловых лап, разожгли костёр. Кто-то из мальчиков в поисках топлива набрёл на полутораметровой высоты муравейник и прибежал позвать всех желающих поглазеть на такое чудо. Юноши и девицы радостно побежали за ним.

Мне никуда идти, а тем более бежать, не хотелось. Инне тоже. Поэтому мы остались следить за костром и закипающим супом с сушёными грибами. Вяло переговаривались, перебирая последние новости и сплетни. Когда зашла речь о поездке в посольство молодых Березников, Инна сказала будничным тоном:

— Яше очень хотелось жениться на тебе. Он говорил, что ты ему нравишься больше, чем Элька, и больше ему подходит. Но у тебя нет права на выезд.

Я опешила:

— Яше-то зачем право на выезд? У него, слава богу, с бабушками и дедушками стопроцентный порядок. Да он, кажется, и не собирается пока никуда.

— Ну-у, ему всё-таки хочется, чтобы жена была из наших. То, что меня, как оказалось, считают «не нашей» или, в лучшем случае, «нашей, да не совсем», было обидно, но я старалась не подавать вида.

— А-а! Ну, пусть женится на Эльке. Или на Жене. Или на тебе,— постаралась я врезать пожёстче.

Инна густо покраснела.

— Ну, он уже стар для меня.

— Ничего. Зато оба чистокровные. И будешь мачехой Михаилу.

Если я хотела уязвить Инну побольнее, то своего достигла. Она сразу как-то сникла, и вид у неё стал жалкий.

Молодежь ещё часа два весело пела у костра, но день кончился к вечеру, начало сильно холодать, и мы вернулись в город.

Так мерзко на душе у меня не было уже давно. Я думала не о Березнике. Он уязвил мою гордость — и только. Я думала о Гольдфарбе. Я была ему не нужна. Он меня не любил. Ну что ж. Ладно, чего Бог не дал, того не дал. Но мне никогда не приходило в голову, что он мог считать меня неподходящей партией, потому что я была «не нашей», «чужой по крови».

Поздно вечером, как всегда мимоходом, ко мне заглянул Кац.

— Знаешь, что мне Инна сегодня рассказала про Березника?

— Знаю. Визу ещё не получили.

— Нет, не про Михаила, про его папу.

— Тоже едет?

— Да нет, жениться хочет.

— Правильно. В Торе сказано: плодитесь и размножайтесь.

— Оставь Тору в покое! Он на мне хотел жениться, да у меня, понимаешь, в родословной изъян — прародители не те. Он чистокровную ищет.

— Ну, вообще-то он прав. Частично,— спокойно сказал Кац.

— Да? Интересно. А Гольдфарб? Он тоже поэтому?

— Ой вз-эй! — протяжно вздохнул Кац, усаживаясь на стул и закуривая. — Хочешь знать, у нас с ним был разговор на эту тему.

— О чём, если не секрет?

— Да так. Я ему сказал, что, исходя из своего опыта, я ему не советую... на гоим. Да и в Талмуде насчёт жен-неевреек...

— Праведник ты наш!

— Я тебя тогда не знал почти. А он мой друг, я его обязан был предупредить.

— Предупредил, значит... Ну, спасибо тебе!

— Он мог бы меня и не слушать,— сказал Кац, пожав плечами.

— Ты прав, Кац,— усмехнулась я.— Гольдфарб достаточно умён, чтобы не слушать idiotские советы всяких шлимазлов. У меня тебе будет маленькое, но ответственное поручение. Если вдруг ещё какие женихи на горизонте замаячат, будь добр, предупреждай их заранее. Чтобы не тратили зря время и деньги. Да и сам бы реже ходил... ко всяким шиксам.

Я была, вероятно, не слишком справедлива к бедному Кацу. В тот момент мне хотелось сказать ему что-нибудь особенно злое и гадкое, оскорбить его так, чтоб он ушёл и навсегда скрылся с глаз моих.

Хватило и сказанного. Он не появлялся у меня очень долго. Впрочем, мне было уже не до того. Надвинулась беда, перед которой померк и этот последний запоздалый всплеск моей любовной обиды.

Оказалось, что смертельно болен отец. У него обнаружился рак, делать операцию было поздно. Умирал он в невыносимых мучениях. Я ухаживала за ним до последнего. А когда всё кончилось, заболела сама.

Я не могла ходить, каждый шаг причинял мне страшную боль. Едва передвигаясь, сжав зубы, я ходила от одного врача к другому. Помощи не было.

Одичавшая за несколько месяцев от боли и одиночества, я мечтала о том, чтобы опуститься на четвереньки, забиться в какую-нибудь тёмную нору и лежать там, не двигаясь, в тишине и покое. Но поневоле приходилось двигаться. Нужно было ходить по врачам, на работу, в магазин.

Однажды мне случайно попали под руку таблетки снотворного, оставшиеся после отца, и я машинально начала их пересчитывать. Таблеток было более чем достаточно. Но воспользоваться ими не пришлось.

Узнав о моём состоянии от случайных знакомых, Кац пришёл в тот же день. Он очень помог мне тогда. Заглядывал раза два-три в неделю, покупал продукты. Он же нашёл мне

и врача, который меня вылечил. Боль медленно отступала и, наконец, прошла. Свою обиду на Каца я так и не изжила, где-то в глубине души осталась памятная зарубка. Но всё же наши добрые отношения мало-помалу восстанавливались.

Освобождение от боли вызвало во мне эйфорию. Мир выглядел обновлённым и прекрасным. Я подолгу гуляла осенними вечерами, наслаждаясь самим процессом неспешной ходьбы, осознанием возможности самой, без посторонней помощи, преодолевать сотни метров. Почти год это было для меня неисполнимой мечтой.

Вновь объявились совсем было исчезнувшие знакомые лица. Я не стала рвать с ними отношения, просто перевела их из разряда друзей в иную, менее значимую для меня категорию.

В один прекрасный день я повстречалась случайно и с Инной. Она бросилась мне на шею и тут же выложила ворох новостей. Самая важная для неё была — о сыне Березника:

— Ты знаешь, Михаил наконец уезжает через неделю.

Я не могла понять, почему это долгожданное событие так радовало её. Но она пояснила:

— Знаешь, там он будет жить в моём доме.

— В твоём?

— Видишь ли, моя тётя Рива из Хайфы умерла. Все деньги и дом она завещала мне. («Молодец какая! Дай Боже ей здоровья», — мысленно сыронизировала я.) Они там будут жить. А через год-полтора я тоже туда приеду. У тётки Ривы большой дом. Помнишь, я фотографии показывала? Места всем хватит.

Бедная Инна продолжала надеяться и сражаться за своё счастье. Впрочем, подумала я, ещё неизвестно, кто при таком раскладе окажется бедным. И мне вдруг стало жаль молчаливую татарку.

— Придёшь на отвальную? — тормозила меня Инна.

— Если пригласят, — пожала я плечами.

— Ой, Михаил просил приглашать всех, кого увижу из наших. Ему сейчас так некогда. Приходи в четверг в агентство к шести.

То, что я вновь обрела право считаться «хоть не совсем, да нашей», меня ничуть не умилило и не обрадовало. Но я обещала быть и, по размышлении, решила явиться туда и на самом деле. С Михаилом у нас всегда были ровные, хорошие отношения.

Я пришла в четверг к назначенному времени. Как обычно в таких случаях, была вечеринка с напутствиями, добрыми

пожеланиями и передачей писем, приветов и маленьких презентов уже «восшедшим» друзьям и родственникам. Приятно было вновь окунуться в эту атмосферу мнимого, недолговечного, но всё-таки братства. Под конец все немного устали, часть народа разошлась. Старшего Березника на вечеринке не было.

Виновник торжества курил в коридоре, когда я понесла в мойку поднос с чашками. В течение всего вечера у меня не было возможности попрощаться с ним лично, и я решила сделать это сейчас. Подошла, пожелала ему и его жене всего хорошего в Земле Обетованной, счастья им обоим и будущему сабре (жена Березника-младшего была беременна). В пожеланиях я была неоригинальна, но вполне искренна. Улыбнувшись, я погладила его по руке, и тут он сказал:

— Папе теперь будет одиноко.

Я кивнула рассеянно, не придав никакого особенного значения этим словам, и снова погладила его по руке. В тот момент меня мало занимали мысли о Березнике-старшем, мне просто хотелось оказать Михаилу дружескую поддержку в переломный момент его жизни.

— Хорошо бы он наконец женился,— продолжил Михаил.

Я снова кивнула только для того, чтобы как-то отреагировать на услышанное. Всё, что касалось Березника-старшего, меня мало интересовало.

Между тем, как оказалось, мне было выдано благословение. Накануне прощального вечера в агентстве состоялся семейный совет, на котором была утверждена моя кандидатура на роль мачехи Михаила.

Михаил уехал через четыре дня, а ещё через три мне позвонил Березник-старший. Поблагодарив за участие в проходах («Они вас вспоминали, уезжая»), он поинтересовался состоянием моего здоровья и мягко упрекнул:

— Что же вы прямо ко мне не обратились. Вам бы не пришлось так долго мучиться. Я бы вас сразу устроил на приём к Андрею Семеновичу. С нервными заболеваниями шутить нельзя, ими нужно начинать заниматься при первых же симптомах.

Я поняла, что добрый Кац в поисках целителя для меня действовал через Березника, и не стала рассказывать ему, как полгода назад, когда от боли было впору на стенку лезть, обращалась за помощью к Мирре Соломоновне. До пенсии она была известным в городе специалистом по женским болезням. Мирра Соломоновна была со мной ласкова, сочувствовала, по-

советовала несколько «полезных», по её мнению, препаратов и составила для меня полную программу обследования. Этой программой я не воспользовалась. Чтобы пройти предусмотренные ею процедуры и потом получить заключения специалистов, нужно было ездить по медицинским учреждениям, расположенным в разных концах города. Общественный транспорт ходил туда плохо, частые поездки на такси были мне не по карману, а на пешие походы у меня просто не хватало сил. В разговоре с Миррой Соломоновной я заикнулась о Березнике, и та мне обстоятельно рассказала о недавней встрече в театре «с ним и с Эллочкой». Я поняла, что обращаться к Березнику она не рекомендует.

Кац тоже несколько раз вскользь упоминал о романе Березника с Эллой Львовной Гиршевой, которая в ульпане предпочитала именоваться Элькой. Эта сорокалетняя вдовушка, крашеная блондинка с невзрачным лицом и мелкими острыми зубками, симпатий во мне не вызывала, и я с ней не общалась. Кац тоже её не любил и как-то раз обозвал её «мадам Богомол».

Инна, отдалившись от меня, с Элькой сблизилась. Но мне это было уже безразлично.

Я поблагодарила Березника за сочувствие, и, в свою очередь, осведомилась о его здоровье — его и Эллы Львовны.

— Элла Львовна? А вы не знаете? Вот уже два месяца прошло, как она уехала в Москву. Вышла замуж. Теперь она у нас генеральша.

Мне показалось, что в голосе его прозвучала нотка обиды. А я даже восхитилась и воскликнула про себя: «Ай да щука, поймала карася! А Березника побоку, нашлась добыча получше. Так вот почему Михаил сокрушался по поводу папиного одиночества!»

— Завтра фортепьянный концерт в филармонии. Играет лауреат конкурса имени Чайковского. Вы не хотели бы пойти?

— Пожалуй.

— Так я достану билеты.

Он, казалось, ничуть не изменился. Был всё так же ухожен, элегантен, предупредителен, остроумен. «За ним, как за каменной стеной», — вспомнила я свою бабушку. Этими словами она всегда поминала деда, который не то что дедом, а и отцом почувствовать себя не успел, сгинув в сорок втором на Ленинградском фронте. Мама родилась уже после того, как пришла похоронка.

Глянув на Березника как бы со стороны, я остро ощутила, что могла бы, наверное, полюбить его, если бы не чувствовала

себя старой куклой-марионеткой, случайно вынутой из сундука. Бросили куклу в сундук и забыли надолго. Но вот невзначай обнаружили, вспомнили и снова играют с ней какую-то давнюю пьесу, где всё знакомо до боли в зубах.

Березник на этот раз позабыл про свою размеренную неторопливость и форсировал события. Через недолго после концерта он пригласил меня к себе.

Этот мой визит напоминал первый до деталей. Делалось так, по-видимому, умышленно, чтобы напомнить о былых отношениях и настроить меня на нужный лад. На этот раз он преподнёс мне кулончик с изумрудом на тонкой витой цепочке. Я подумала: видно, у покойной Тамары Менделевны был всё же неплохой вкус. Интересно, что из жениных запасов он дарил Эльке?

Мы пообедали, и Березник начал речь, неторопливую, обстоятельную и хорошо продуманную. Кажется, в моём согласии на брак с ним он ничуть не сомневался.

Вернувшись домой, я уткнулась лицом в подушку и долго плакала.

Через три дня мне позвонил Кац. Прервав в самом начале его монолог о пропавших коленях Израилевых, я сказала:

— Знаешь, Березник таки сделал мне предложение.

— Согласилась?

— Отказалась.

— Совсем?

— Совсем.

— Зря. Он мужик неплохой. Заботливый. Тебе было бы хорошо с ним. Да и материально тоже...

— Да, наверное. Но,— усмехнулась я,— если жених согласился на невесту с изъяном, то и сам он не первого сорта. Так я подумала: а на фиг мне второсортный жених?

Пояснения к тексту рассказа

Гоим — неевреи.

Ланкастерская система — система взаимного обучения.

...на иглу — досконально.

Рамбам — еврейский философ XII века.

Сабра — уроженец Израиля.

«Сохнут» — еврейское агентство, занимающееся репатриацией в Израиль.

Суккот — еврейский праздник кущей, во время которого следует, в память о скитаниях древних евреев по пустыне, жить в палатках (шалашах).

Талмидим — ученики.

Талмуд — свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма.

Тора — Пятикнижие, первые 5 книг Библии, трактуемых как совокупность иудейских религиозных законов.

Ульпан — школа для изучения иврита.

Цадик — праведник, духовный вождь общины евреев-хасидов.

Штрудель — рулет из листового теста с начинкой.

Шикса — девушка-нееврейка.

Шлимазл — неудачник.

Валерий Судаков

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *

Над крышами кремлёвских древних зданий
Кружится вологодская метель.
И Батюшков садится снова в сани,
Запахивая тёплую шинель.

Над рейдом, где зимуют теплоходы,
Висит луны туманное стекло,
И город, ожидая к сну отхода,
Ворочаясь, вздыхает тяжело.

Над Вологдой — небесный свод вполмира.
В морозной бездне стынет тишина.
Кружит метель, и звёздная порфира,
Как нищенка на паперти, — бедна.

И снова накатилась с лютой злобой
Рубцовская январская тоска.
На улице на Яшинской в сугробе
Застыла стихотворная строка.

Летит, кружит снежинок вереница,
Опять идёт в метели пешеход.
А рядом вьётся муза белой птицей,
И он судьбы поэта не клянёт.

* * *

Скрыт в тумане сонный берег,
Речки тихое стекло.
Сердце любящее верит,
На душе тепло, светло.

Утром зорька золотая
Алым пламенем горит.
Думы тайные сверяя,
Сердце с сердцем говорит.

Облака по небу катят,
Птичьи пары гнезда вьют
За любовь любовью платят,
Сердце сердцу отдают.

Пчёл жужжанье в луговине:
Носят в ульи сладкий мёд.
Сердце сердцу — именины,
Сердце с сердцем встречи ждёт.

Тёплым зноем доли дышат,
Травы дремлют на лугу.
Сердце любящее слышит,
Сердце сердцем берегут.

* * *

Вот в памяти встаёт картина:
Туманов сизые усы,
На камышинке паутинка
Искрится капелькой росы.

Сидит лягушка на зелёной
Корзинке лилии речной,
Как королевична с короной,
В рубашке шёлковой ночной.

Мир затаился. Он томится
У сказки утренней в плену.
А вечность тихая струится
С небес в речную глубину.

* * *

Ели в блёстках серебристых.
Город в белом спит снегу.
Под покровом белым пристань.
Ни души на берегу.

Обнимаясь с ветром шалым,
Дремлет мёрзлая ирга.
Белой лебедью бывалой
В город жалует пурга.

Поначалу чуть лениво
Сыпет колкая слюда,
Задевая боязливо
Ветки лип и провода.

А потом — крупнее, чаще
Из больших небесных сит
Выпадает настоящий
Снег, что в воздухе висит.

...Спят и взрослые, и дети.
Сон глубок, как зимний снег.
Завтра счастья на рассвете
Горожанам хватит всем.

* * *

Вот и метель, и снежинок покусыванье.
И на пороше чуть смазанный след.
Что-то во мне пробуждается грустное,
То, у чего и названия нет.

Тучки виною ли, низко бредущие,
Летний ли образ с цветком луговым?
Или метель затянула грядущее
Белым колючим платком снеговым?

Может, надежда назавтра отыщется.
Кто не теряет, так тот не найдёт.
Ах, белоснежное ваше величество,
Не заматайте мне путь из ворот!

Ната Сучкова

* * *

Говорит дед Никола, окая, давно уже мёртвому деду Борису:
«Лучше видно вот с этого облака — что в цветной тебе
телевизор!
Или с ДОТа того, непрочного, вон, всё в дырах залатанных,
в щелях.
Что ж ты плохо следишь за дочерью, или, как тут глаголят,
дщерью?»
Отвечает Борис вновь прибывшему бородатому Николаю:
«Здесь нельзя смотреть вниз, как по телевизору
про цыганей и Будулая,
Ничего здесь, прошу, не трогайте — эта оптика дорогая,
Я давно тут, и я на многое про живых глаза закрываю.
Если б жизнь на земле ворочалась волей нашей —
и нашей тоже,
Я бы вашего сына дочери пожелал бы в мужья?
Что ж — может...»
Пропустили бы, эх, по маленькой — со знакомством! —
пехота с танкистом,
Дед Никола — худой и старенький, дед Борис —
молодой, плечистый.
Обходя кучевые тучные только с краю, по бороздам:
«До чего ж хорошо окучено, я бы лучше не сделал сам!»
Так и ходят: у Николая в рукаве мельтешит пчела,
А Борису шинель полевая, ох, мала, и давно мала,
Собирают в кисет солдатский (табачку бы!) цветки акаций,
И никак не договорятся, и никак не наговорятся.

* * *

Хорошо да сладко спати, не бояся мёртвых,
в старом бабкином халате, на грудях протёртом.
Никого не узнавати, точно знать, наверно,
в новом матушкином платье — что твоя царевна.
В одеяльце тонкой байки спать да спать укрывшись,

в тяткиной линялой майке с лопнувшей подмышкой.
Хорошо да сладко спать, знать, что смерти нету,
пусть толпятся у кровати, согревают светом.
Но они кровать качают, одеялку тянут,
свет рассветный излучают, ждут, когда я встану.
Встану-встану, дорогие, наведу порядок —
прополоть приду могилок сумрачные грядки.
Вы теперь опять далече, оттого тиха я,
улыбнусь лишь, как замечу бабочку, жука ли.

* * *

*Стрекоцут старенькие ходики —
от сентября до сентября,
ночами духи второгодников
боятся пьяного тебя.*

Картинки выставить вдоль стен
(ох, петухи-певухи!) —
то первогодка, то интерн,
то школьник лопоухий.
Картинки выставить вдоль стен
(обои все облезли) —
то первоклассник, то интерн
и три с тобой балбеса.
Смеются: «Я сейчас помру!»
Дурачатся, хохочут,
на фоне надписи в углу
«Рентгенограмма почек».
На фоне надписи «Май. Труд»
кривляются, мешают,
потом и правда все умрут,
как ты ни воскрешай их.
За ними ангелы придут,
боящиеся крови,
всегда крутившиеся тут,
в дверях патанатомии,
тайком кутившие в углу.
И ты, молодой debil,
ещё — ты помнишь? — одному
«Родопи» прикурил?
Картинки выставить вдоль стен,
прикрыть неплотно двери,
а он потом тебя хранил,
а ты в него не верил.

* * *

На башенном кране написано «РЖЕВ»,
Два ангела — в шлёпках, в исподнем,
Не видно, прилипнув к стеклу, приржавев,
Что в облаке их происходит.
— Товарищ начальник, болит голова,
До пёрышка ватник промок!
— Какая погода, какая страна,
Какое столетье, милоч?
К ребру батареи приклеен носок,
Футболки на шконке навалом,
И серого неба колючий кусок,
Подоткнутый, как одеяло.

* * *

За железными засовами что ни век — идёт война,
Ненаглядные пособия, монохромная страна,
Сколько в парту ни засовывай — только мел и шелуха,
Всё серьезней, всё басовее пели строчки Маршака.
Всё грубее, заскорузлее — веселее пой, дурдом! —
Поднималась наша музыка над учительским столом.
И обменивались взглядами, и пускали пузыри
Чудо-рыбы ненаглядные, второгоднички мои.
А потом внести просили нас аккуратно-аккуратно
На наковки светло-синие в наши контурные карты
Красным, жёлтым и оранжевым, чёрным, серым и зелёным
Прошрое и настоящее, страны, города и сёла.

* * *

*Провались, земля и небо,
я на кочке проживу!*
Белозёрская частушка

И вот они плывут на плотике —
смеются, курят «Волгобалт»,
за трудодни колхоза «Родина»
на родину глядят.
На плотике, как пароходике,
пропахшем тиной и снетком,
на бабки Тоси огородике
сидит Садко.

Пиши стихи, слагай апокрифы!
Гони волну, их пароходик!
Переселенцы из затопленных —
родились в броднях.
Ворона с хрипом пролетает,
кружит над худеньким ковчегом,
и Волга в Балтику впадает —
дождём и снегом.

* * *

Живут на угоре два брата,
живут — ничего не надо.
От одной матери,
да от разных отцов,
каждый — в чужого отца лицом:
младший — красавец, старший — бугай,
один — светленький, другой — тёмненький,
одного мать назвала Николай,
а второго — Николенька.
Поднесла паспортистке, чтобы не кричала,
так как каждому из отцов обещала.

Месяц светит над трубой и трубой,
дом у них — добротный, красивый,
у Николеньки — забор голубой,
а у Николая — синий.
На чужое добро не зарятся
(да и проку-то в чужом-то в нём!),
у Николеньки — жена красавица,
ну, а Николай — бобылём.
Вот выходят они на собачий лай,
каждый от своей браги пьян:
— Ну, здорово тебе, брат Николай!
— И тебе не кашлять, Колян!

Так вот окрестила их мать,
ничего про святцы не зная,
не из чего тут выбирать —
сам заступник за тебя выбирает!

А сейчас — повяжет платок
и дрожит — травинка суха,—

вспомнит: в середу и в пяток
ни один не пил молока!
Старый фельдшер — дух упокой —
в бородёнку блял: «Свят-свят»,—
и махнул на девку рукой:
«В пост твои младенцы дурят».
И младенцы выросли, вот,
проводить её к праотцам:
Николай стоит у ворот
и Николенька — у крыльца.

* * *

Первый муж — Василий, и второй — Василий,
Первый нелюбимый, а второй — ох, сильно!
Васька — окаянный, Вася — золотой,
Не донезил первый, помер и второй.
— Ноги-то не ходят, ты уж отнеси
Свечку на медовый Васе-Иваси.
Сунула бумажку и конфет дешёвых:
— Да не перепутай, это — за второго!
Царствия небесного Васе попроси!
Ходят почтальонши по святой Руси.
— Да не перепутай! — Ну, уж, чай, не дура!
В первый раз как будто! Что ты, баба Шура!
— Тут тебе не почта, аккуратно надо,
Ну, как перепутаешь, Люся, адресата!
И всю ночь бродила — чаю напилася:
«Ох, Васюта-милый! Ах, скотина-Вася!»

* * *

После долгой болезни, ну — поймали — запоя,
Тормознёт у подъезда: чё тут, ёпта, такое?!
Пусть с утра он болеет, но к обеду наглядно
Поправляет на небе и земле непорядок.
Примотав изолентой, проколов в два стежка,
Стайка ангелов мелких — надо лбом, как мошка.
И висит над скамейкой на сопле, на припое
В пузырях самоклейки голубо-голубое.

* * *

Дыша духами и туманами,
одеколоном «Шипр» — без сдачи нам! —
здесь называют ресторанами
уборные, чуть отстоящие
от домиков кривых, потерянных,
но крепких дедовых, приземистых,
где сотни лет идёт по телику
прекрасное «Давай поженимся».
Где — прямо шёл, так и заблудишься,
а чуть свернул — всё ясно стало,
где разливают «Шипр» по блюдечкам
за неимением бокалов.
И тот альбом, где все покойники
отдельно сложены, припрятан,
и кролики с глазами кроликов
из клеток смотрят аккуратных.

* * *

Стоят, сполна всего помыкав
среди затоновской шпаны,
у бара «Золотая рыбка»,
торжественные, как волхвы,
чернее угря Вася-Череп,
белее моли Ваня-Хан,
стоят в рождественский сочельник,
фанфурик делят пополам.
И мимо них — куда им деться?
не раствориться никуда —
везут на саночках младенца,
и загорается звезда.

БАЛЛАДА О СТАРИКЕ С ВОРОНОЙ

Крещенский огненный мороз
Мир заморозил вдрызг.
И к небу намертво примёрз
Луны холодный диск.

Вот дом, построенный... но кем?
Неважно... и когда?..
Со стороны он мёртв и нем.
Зайдёшь ли ты сюда?

Глухая ночь, игра свечей
И странный индивид —
Старик с Вороной на плече
У зеркала стоит.

Он смотрит в зеркало, и он
Растерян, потрясён:
«Да кто же тут отображён?
Я сплю и вижу сон!

Свет-зеркало, скажи, ответь:
Ужели это я?
Когда ж успела пролететь
Вся жизнь, вся жизнь моя?

Роскошен я и молод был,
Как заболоцкий волк,
Вполне здоров, в общенье мил,
И в дамах знал я толк.

Я потерял победам счёт —
Моя Ворона мне
Их приносила на плечо.
Но что теперь оне?

Что, что в итоге? Я — старик!» —
Он вскрикнул... А потом —
Ворона каркнула и вмиг
Исчезла за окном.

А вместе с ней — душа в полёт
Отправилась туда,
Откуда к нам уж не придёт
Никто и никогда.

Прошли года, потом века...
Тот дом стоит ничей.
Живёт в нём призрак Старика
С Вороной на плече.

И если ты найдёшь тот дом —
В него не заходи.
А если и зайдёшь — то в нём
В зеркало не гляди.

МОНОЛОГ

Императрица Анна любила стрелять ворон
Из окон собственного дворца
В Петербурге, каждый раз нанося урон
Нашему поголовью; но истребить до конца
Нас, может, и не хотела (слава Богу, и не могла б,
Если бы и хотела); мнящий себя царём
Сверхчеловеком Ницше — тоже всего лишь раб
Времени, обстоятельств... Что говорить о нём?
Он (она) позабудется, станет одной строкой —
Дескать, «такой (такая) правили с... и до...»
Следом пришла другая или пришёл другой
(Их имена историки вспомнят потом с трудом).
Императрица Анна правила десять лет,
Пачкала руки убийством, развязав против нас террор:
Всюду сеяла смерть. Многих из наших нет
(Вернее, не стало) с этих кровавых пор.
На спор она попадала: выстрел — и точно в глаз...
И падала, снег кровавая, одна из нас...
Императрица Анна — от скуки (сука!), схватив ружьё,
Целилась быстро, нажимала, шути, курок...
Мы её пережили... мы всех вас переживём,
Воронофобы! Ибо за нас — Бог.

* * *

Из последней зимы я с большими потерями вышел:
С покорёженным сердцем и изрядно отъехавшей крышей.
Чем же занят я был? Да ведь всем чем угодно, помимо
Важных дел. В основном — ерунда ерундой.
Оказалось — бездарно профукал я целую зиму,
Что рассеялась дымом, растеклась мутноватой водой.
И теперь, озираясь назад, удивляюсь себе: да на что же
Оказалась зима, что уже завершилась, похожа?
Не на бег ли в мешке по глубокому снегу во сне?
Просыпаться пора, но глаза продирать что-то лень мне.
Что увидишь, открыв их? Всё тот же день серый весенний.
Или вдруг ничего не увидишь, поняв, что ослеп?

* * *

Ещё одна зима сползает старой кожей,
Ещё одной зимы безумие итожу:
Я вирус подхватил, и он ко мне прилип,
Как СПИД (хотя не СПИД), как грипп (хотя не грипп).
Он хуже. Он страшней. Он — опухоль в мозгу,
И сделать что-то с ним никак я не могу.
Он заполняет всё — внутри меня, вовне,
С утра велит читать известья о войне,
Отыскивая их на ленте новостной,
Откуда слышен вой и льются кровь и гной.
Делить людей на тех, кто «против» и кто «за»,
Глядеть на чью-то смерть, не отводя глаза,
Тем паче, что она не рядом, не вблизи,
И, нервы щекоча, не сможет укусить...
А мы открыли рты — и слушаем рассказ,
И радуемся, что есть кто-то «хуже нас».
Зима. Хрустящий лёд. Засада. Полынья.
Мне б воздуха кусок. Таблетку б от вранья.

* * *

Я курю на закате, твердя: «Хорошо, хорошо...
Что ушло — то ушло...», — и цитирую вслух Мандельштама:
«На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко...»
Вот тот вид... вот тот Понт... наслаждается глаз панорамой,

Убегающей вдаль... Яхты, словно ресницы в глазах.
Сколько их ни считай — непременно собьёшься со счёта.
Паруса, паруса, паруса, паруса, паруса.
Муравей непонятных времён, ты не знаешь про жизнь ни аза,
Лишь у края земли — ты пытаешься вымолвить что-то,
Как-то выразить нечто, сказать непонятно кому:
«Вот, я тоже здесь есть! Я живу в этом мире, замечьте...»
Те слова только ветер, услышав, уносит во тьму,
Что уже наступает от моря. Да, да, только ветер.

АСТРАХАНЬ

Оказавшись, под осень, на пыльной окраине мира,
славной рыбой и тем, что тут родина Х. Велимира,
и Кремлём белокаменным,
где побывали и Мнишек, и Разин,
знавшим бунты казаков, стрельцов
и расправы над ними, и казни,
с Колокольной, стремящейся — в неба открытое небо:
с многоглавым собором, воздушным, как пышная сдоба,
набродившийся вдоволь по улицам узким, под вечер,
ты подумай о том, как тебя занесло в Междуречье?
Вот стоишь, обалдевший, как раз посередине Кремля.
А от мыслей и видов из-под ног уплывает земля.
Солнце, плавясь, садится. Закат раскровавился раной.
И подъёмные краны вдоль Волги торчат, что твои пеликаны.
Нет, скорей — птеродактили, вымершие гиганты.
На их фоне, на фоне строений кремлевских, сам ты
ощущаешь себя комаром, почти незаметным при свете
(а тем более — в сумерках). Слепо несёт тебя ветер.
Непонятно, куда и зачем, но — всё дальше, всё дальше
от дома.
Впрочем, где этот дом? Чувство дома давно незнакомо
комару, жизнь которого — миг, а поляна, где вроде он
вырос —
и не скажешь уже — то ли есть где-то, то ли — приснилась.

* * *

На заре рыбаки снасти ладят свои вдоль реки
(Рыбы всё ещё много, стараньям людским вопреки).
За чертой городской — всё в точности так, как когда

Тут селилась Орда;
Святославовы струги неслись, чтоб по ветру пустить каганат;
И всего ничего — три лишь с хвостиком века назад —
Страшный вор и злодей, набивавший разбоем мощну,
Пьян от крови и власти, персидскую кончил княжну.
Много помнят всего и река, и её берега.
Память их за века превратилась в густой суррогат,
Где намешаны поровну небыль и всякая быль
И названья смешались — то Волга, то Ра, то Итиль...

* * *

...И август догорел сухой соломой
На резком и пронзительном ветру...
И, выпив кофе, рано поутру
На улицу выходишь ты из дома
И ничего вокруг не узнаёшь...
Выстукивает сердце кастаньетой
Безумный ритм.
Осенний мелкий дождь —
Совсем не то, что тёплый ливень лета.
Листва лежит на мокрой мостовой,
И обложной туман заполнил город.
Размыты краски, контуры... И твой
Усталый мозг пронизывает холод.

* * *

Осенняя шальная стрекоза —
Изящная, забывчивая дама —
Концу тепла не верила упрямо,
Порхая по веранде дачной, за
Которой — сад запущенный, как чаща,
Дождь впитывал и сумрак сентября,
И листьями, как временем, соря,
Напоминал всё чаще нам и чаще
О кончившемся лете, к чьим губам
Уже напрасно зеркало подносим:
Мы знаем, что не отразится там
Его дыханье... Наступила осень
Календарю согласно, и точь-в-точь
Как Чингисхан, овладевая миром —
Внезапно и стремительно... чифиром,
В саду густеет и чернеет ночь.

ЛЕТО-89

(«...в августе Густав очень грустен» — Ч. Л.)

прекрасны яблоки в саду
у дяди Мити
они на закуску нам пойдут.
всю ночь сидите
в беседке пьёте водку плюс
его настойки
у них был очень терпкий вкус
ещё какой-то
я был недавно рядовым
а он сержантом
а вот теперь мы вместе с ним
без вариантов
поэты барды и творцы
и сибариты
философы и мудрецы
возля корыта
страны в котором как назло
прогнило днище
а время взято на излом
и только свищет
из всех щелей его вода
вода и кроме
воды какая-то байда
что цвета крови

* * *

Ты помнишь, время хоронить
Мы выходили в сад...
Все это было, может быть,
Сто лет тому назад.
И я входил в полуподвал,
Садился у печи.
Чего я ждал, чего искал —
Не спрашивай, молчи...
Висел свидетелем немым
На стенке календарь.
Какой был год? — неразличим,
Да так... вообще... январь...
Вино — как кровь. И сизый дым —

Как нимб над головой.
Хозяин пьян. Простившись с ним,
Пойду к себе домой...
И падал снег. И снег валил,
Валил что было сил.
Меня трамвай на полпути
Полночный подхватил.
И он унёсся вихрем прочь
Навек из тех времён.
Была длиннее жизни ночь,
Похожая на сон.
Остались в памяти — лишь снег,
Трамвай, луны фонарь.
Какой был год? Какой был век?
Неважно... был январь...

ПОСТСКРИПТУМ

Молодой поэт, молодой поэт,
Да не важно, сколько тебе и лет —
Не по паспорту, нет, но на самом деле.
Но твой голос звонок и зорек взгляд,
Оттого и глаза у тебя блестят,
Когда стрелы твои достигают цели.

Кровь бурлит, и адреналин, небось,
Пробирает тебя насквозь.
Ты глядишь вперёд, а назад — ни-ни,
Лишь «сейчас и завтра» и есть одни,
А «вчера» для тебя ничего не значит.
Вот бы мне бы так же! — да не могу,
Не могу — и по кругу давно бегу,
И не в силах вырваться. Вот задача!
Чей быстрее, казалось, вперёд мой бег —
Тем верней попадаю я в прошлый век.
Я сажусь у Леты на берегу,
Своих призраков стерегу.
Вот один приходит, другой — за ним.
Соберёмся в кучку, и нам не страшно.
Обсуждаем вместе мы день вчерашний,
Прошлогодний снег, прошлогодний дым.
А когда над Летою встаёт рассвет,
Призраки исчезают. Их снова нет.

Павел Тимофеев

* * *

Я вернусь ненароком в родные места,
Я узнаю всё с первого взгляда —
Там в колодце вода холодна и чиста,
Там с утра благодатна прохлада.

Там все живы и счастливы видеть меня,
Там намыты полы в старом доме,
Там в распахнутом воздухе птицы звенят
И бежит муравей по ладони.

Там дороги скрываются за поворот,
Упираясь в лесные секреты.
Там черникой испачканы руки и рот
Плечи — солнечной сказкой согреты.

И приличная дырка на правом носке,
И сандалии в самую пору.
Можно грозные крепости строить в песке
Или палкой трещать по забору.

Целый справочник шалостей перелистав
И набегавшись без передышки,
Возвращаюсь устало в родные места,
И горят от крапивы лодыжки.

Поздний вечер. Комар. Голова набекрень.
Я, забыв простынею укрыться,
Засыпая, подумаю: «Славный был день.
Завтра заново всё повторится».

КОНТРАКТ

Тянулись года
В ожидании встречи,
И вот наконец-то — «Привет!»

Лёд смыла вода,
И дышать стало легче,
Но слов это высказать нет.
Ну что ж, посидим,
Головой покачаем,
Как будто нечаянно — в такт.
Молчаньем своим,
Обжигающим чаем
Подпишем негласный контракт.
Слепые метанья
Оставив снаружи,
Не будем на стук отвечать.
Чтоб наше молчанье
Никто не нарушил,
Ладоней приложим печать.
И что нам те люди
И глупости эти —
Интриги пустого двора?
Свидетелем будет
Звезда на рассвете,
Когда расставаться пора.
И снова разлук
Безразмерные сроки,
И будничный скудный улов,
Дрожание рук,
Беспокойные строки,
И снова не хватит нам слов.

БОЛЕЗНЬ

Лето песню свою спело, улетело.
Солнца стрелы не задели моё тело.
Я белею в полумраке, я болею.
Я к тебе бы улетел, да не умею.
Харю хмурю, чёрный чай цежу сквозь зубы.
Волком был бы, так завыл бы на луну бы.
Пусть не вороном, хотя бы воронёнком
Обернулся бы, рванул в твою сторонку.
Только нынче кашель, пот, температура,
Да луна в окошко пялится, как дура.
Чайник, кажется, остыл, да ладно, бог с ним.
Мысли вздорные свои в один клубок свил
И сижую, с ума схожу, гляжу в окошко,

Чай в стакане без конца мешаю ложкой.
И бредёт в окне луна своей тропой.
Неведомёк луне, что болен я тобою.

МЕБЕЛЬНАЯ СКАЗКА

У двух шкафов любовь была —
Такие вот дела.
И были больше чем друзья
Шкафы для книг и для белья.
И неизменно по ночам
По лаковым плечам
Бежала дрожь, когда слегка
Касались их бока.
Скользили тени по стене,
Жильцы ворочались во сне,
Светила за окном луна —
Шкафам же было не до сна.
Они шептались о своём —
О книгах, ящиках с бельём,
О разных мелких новостях,
О страшных кошковых когтях,
О полках, что порой, в пыли,
Подолгу говорить могли
До тех минут, когда рассвет
Плещёт в квартиру тусклый свет...

Но не всегда в любви везёт —
Произошёл развод.
Раздел добра, размен жилья,
Был увезён шкаф для белья,
И одинок стал шкаф для книг —
Он словно бы поник.
Прогнулись полки. От потерь
Перекосилась дверь.
Он стал разбит, сердит и кисл,
Вся жизнь вдруг потеряла смысл,
И где-то, тоже жить устав,
Другой сломался шкаф.
На свалке встретились друзья —
Шкафы для книг и для белья.
— Эй, сколько зим и сколько лет!
— Привет, Кривая Дверь, привет!

— Привет, привет Разбитый Бок! —
Такой забавный диалог
На старой свалке прозвучал.

Ну что ж, пора менять финал.
Шкафы нашёл один старик,
Их переделал. Так возник
Огромный дедушкин буфет.
Он, кстати, шлет вам всем... конфет!

АТТРАКЦИОН

Каждый раз, под куполом, перед праздной толпой
Он распиливает женщину звонкой пилой,
И она, улыбаясь, глядит, говоря,
Мол, ты не волнуйся, ты это зря.
Всё будет отлично, пройдёт на ура,
Мы купим вина кутить до утра,
Забудем боль, беспричинный страх,
Утопим печаль в блестящих глазах.
Нам звёзды зажгутся, что маяки,
Мы будем счастливы, будем близки...

И номер успешно подходит к концу,
Но тушь в гримёрной бежит по лицу,
Дрожит сигарета в уставшей руке
И что-то стучит в его левом виске.
Не могут помочь ни ночь, ни вино,
И страх свой осилить ему не дано,
Но он засыпает, и у неё, наконец,
Начинает разглаживаться свежий рубец.

МАЛЕНЬКАЯ ВОЛШЕБНИЦА

Дом, не новый, не старинный,
Зажигает утром свет.
Просыпается Полина,
Ей уже почти пять лет.

Просыпаться, умыться,
Ох, не хочется порой!

Только надо собираться
В сад со старшей сестрой.

Это кто же там зевает
По дороге в детский сад?
Пустяки! Полина знает,
Как настроить всё на лад!

Только способ тот секретный.
Нет секретнее его.
Нужно палочкой заветной
Дотянуться до всего:

До берёзы, до рябины,
До колючего куста,
До машины без кабины,
До собаки без хвоста,
До упавшего забора,
До лежачего столба,
До пустого разговора,
До нахмуренного лба!

Всё наладится, всё станет
На привычные места.
Солнце встанет и настанет
Шоколад и красота!

Распрекрасная картина!
Расписная благодать!
Очень круто, что Полина
Так умеет колдовать!

КОЛЯ

Каникулы. Напрочь забыты уроки.
Мы вышли к реке без забот и тревог.
Казалось, что мир сам ложится под ноги
И в мире немало прекрасных дорог.

- Я буду министром.
- Я буду артистом.
- А я с балансиром

ступать по канату.
— Я буду над миром
летать космонавтом.
— А я моряком побываю повсюду.

А Коля сказал: — Я просто буду.

На красное солнце наплыли вдруг тучи,
И мы поспешили обратно домой.
И каждый считал, что он станет круче,
И каждый забрал это солнце с собой.

Один стал шофёром.
Другой стал суфлёром.
А третий побрёл
в третью ходку на зону.
Четвёртый орёл
приобрёл Форд Аскону...
И каждый добился, насколько старался.
А Коля? Он так у реки и остался.

АЛАМБАШ

Всё позади. Скоро я успокоюсь.
Справлюсь с дыханьем, сердечным загоном.
Я опоздал, и отъехавший поезд
мне улыбнулся последним вагоном.

Я ему тоже соорил улыбку,
только немного с натяжкой и кисло.
В тысячный раз совершая ошибку,
тщетно пытаюсь собрать свои мысли.

В этой дыре куковать мне до завтра.
Здравые мысли, надеюсь, вернутся.
Можно в карьерный залезть экскаватор
или на лавке у кассы свернуться.

Только опять беспокойные ноги
выбрали тропку к еловой опушке,
где громыханье железной дороги
перемежается счётом кукушки.

Солнечный свет сквозь лесные прорехи
красит мой путь, навевая усталость.
Вот и костёр. Я снимаю доспехи.
Всё-таки счастья краюшка досталась.

Тонкий дымок устремляется в темень.
Сонно гляжу на весёлое пламя.
Вечно гоняюсь за собственной тенью,
не замечая алмаз под ногами.

Тихий костёр огоньками, тенями,
искрами пишет полночную повесть.
Я всё читаю и вдруг «догоняю»,
что обогнал свой отъехавший поезд.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Наступает рассвет, наступает закат.
Лето, осень, зима и весна наступает.
Колыбель, погремушка, горшок, детский сад,
Школа, девственность, et cetera отступает.

Отступают стремленья, желанья, мечты.
Люди движутся плотной унылой колонной.
Вот она, это он, это я, это ты...
Неуклонно, до самого до небосклона.

Как же сделать прогулкой тотальный исход?
Как убрать злые мысли, что всех угнетают?
Есть хороший рецепт, и он не подведёт,
И он очень простой, и здесь все его знают:

Надо ближних и дальних своих возлюбить
Не для выгоды вовсе, не ради награды,
И дурные привычки свои истребить:
Пить, курить, материться, налево ходить,
Бросить старшим грубить, бросить младшим грубить,
И завидовать бросить, и бросить сорить,
(Я боюсь, что чего-то могу упустить)
В общем бросить. Да! Надо бы, надо бы. Надо...

СЛУЧАЙНЫЙ ПАПА

Больше всего на свете Димка любил Новый год, деньги и того, кто его любит. До Нового года оставались две недели. Аванс в компьютерном магазине, где он подрабатывал после института, уже выдали, а полюбить его должна была печальная студентка с филфака. Сама она об этом ещё не догадывалась, а Димка пока поглядывал на неё только издали. Любовные отношения он планировал перевести из виртуальных в реальные на новогодних ёлках, которые проводил студенческий профком. Студентку, как ему сказали, назначили Снегурочкой. Димка вызвался быть Дедом Морозом. После ёлок, по краткосрочным Димкиным прогнозам, они должны были встретить Новый год вместе. И поцеловаться.

Димка долго копался в Интернете и, кажется, понял, как сделать так, чтобы его полюбила девушка, которую он выбрал сам.

Бег времени неумолимо приближал новогоднюю ночь. В день первой ёлки Димка не пошёл в фирму, отпросился. Он явился в профком, где ему торжественно вручили дедморозовский костюм. Димка напялил его и посмотрелся в зеркало. Себе он очень понравился, но без бороды. В длиннополом одеянии Димка был похож на молодого барина из старых фильмов про крепостное право. «Этим надо воспользоваться», — решил он и начал принимать разные картинные позы.

Напарница-Снегурочка застала его кривляющимся перед зеркалом.

Димка покраснел и промямлил что-то невразумительное. Их позвали на инструктаж и представили друг другу. Почему-то по фамилии. Всё начиналось совсем не так, как он планировал.

Вечером они поехали в детский дом развлекать малышню. Праздник был в разгаре. Всем заправляли воспитательницы. Одна из них заглядывала в составленный ею сценарий и подавала команды, кому что делать. Роль Деда Мороза в основном сводилась к «подай-принеси». Но ребятишки не сводили

с него глаз. У самой ёлки Димка тусовался мало. Его главное дело было важно выпагивать, выслушивать стишки и водить хоровод. Стихов дети знали бесчисленное множество. Снегурка оказалась не такой уж печальной, как думалось Димке раньше, и расхваливала чтецов на все лады. Димка постукивал посохом и одаривал их конфетами из мешка, а у самого скулы немели от скуки. Потом захороводили. Димка стал думать о том, как бы, словно невзначай, поменяться местами с ребяташками и оказаться рядом со Снегуркой. «Нужно будет снять варежку и взять её за руку. Горячую, наверное», — подумал он. Димка сделал шаг по направлению к Снегурке и... не смог двинуться дальше. Какой-то мальчуган крепко держал его за полу.

Димка осторожно попытался освободиться. Не получилось. Вырываться было бы смешно. Ну что ж, придется немного подождать. Димка внимательно посмотрел на парнишку. Счастливый такой, улыбается. И кого-то напоминает. Кого именно, Димка никак не мог сообразить. А уцепился так, что не знаешь, как освободиться.

— Тебя как зовут, дивный молодец? — стараясь не выйти из роли, спросил Димка.

— Саша, — ответил мальчишка. — Мне вот сколько, — он попытался изобразить на пальцах количество прожитых лет. Димка решил помочь:

— Пять.

— Ага. Скоро будет... У нас сегодня ещё будет торт, — разговаривался Сашка. — А у вас — мороженое?

— Ну, не только мороженое. Я думаю, и на пиво денег хватит, — сболтнул Димка, позабыв, с кем имеет дело.

— Так ты не Дед Мороз. Я знал! А у меня тоже конфеты есть. Давай-ка теперь я тебя угощу. Давай-ка!

Димка понял, что его раскололи. И кто! Четырёхлетний пацан. Он ещё раз посмотрел на мальчишку. Никакого злорадства от сознания того, что разоблачил фальшивого Деда Мороза. Только удивительно добрая улыбка да глаза сияют из-под чёлки. И тут Димка вспомнил, где он видел точно такое же лицо... На своих собственных детских фотографиях. На тех, где ему было столько же, сколько сейчас Сашке. «Сын, что ли?» — подшутил Димка над самим собой. Его фантазия мгновенно создала историю о том, как в шестнадцать лет он любил одну девчонку, а потом она уехала куда-то, родила, оказалась никудышной мамой, и её лишили родительских прав. Теперь их сын — такой умный,

симпатичный и добрый — в детском доме. Надо его отсюда забирать...

Стоп, стоп, стоп! Ничем таким в шестнадцать лет он не занимался. Но история-то душещипательная и поучительная! Случись она на самом деле, может, в газетах о ней написали бы. Публике такое нравится. Молодой папа, нашедший утраченного было сына...

— А ты не мой папа? — совершенно неожиданно спросил мальчик.

Димка даже вздрогнул.

— Н-нет,— неуверенно ответил он, и сам удивился, откуда взялась эта неуверенность. Может, ему и правда захотелось быть молодым папой?

Праздник подходил к концу. Детям пора было отправляться спать. Димка смотрел по очереди то на Снегурочку, то на Сашку. Ему было приятно смотреть на них обоих. Под занавес опять рассказывали стишки. Те ребята, до которых очередь не дошла раньше. Сашка читал стих Есенина про корову. Тот самый, в котором у дряхлой коровы выпали зубы, а ей не дали сына. Прочитав последнюю строчку, Сашка заплакал. Димка, который в другой ситуации рассмеялся бы, от умиления тоже чуть не пустил слезу. А Снегурка стала успокаивать Сашу и навывадала ему из сказочного мешка тройную норму подарков.

Всё закончилось. Димка снял бороду, Снегурочка — тесноватый кокошник. Саша провёл их по детдому, рассказал, как умел, где что и кто. Друзей у Сашки было много. Ни Димку, ни Снегурку никто не торопил, они с удовольствием ходили за Сашкой. «Какая бы семья была!» — подумал Димка. С Сашей они провели ещё час. Когда уходили, к ним подбежала воспитательница:

— Извините,— затараторила она.— Вы люди молодые, смотрю, к нашему Саше привязались. Вы внимания не обращайте, они всех папами и мамами называют, к кому-нибудь душой привяжутся, а те возьмут, потом бросят. Чужой. Вы не обижайтесь. Пара, смотрю, молодая, может, ещё свои будут... А Саша ещё к тому же и болен. Серьёзно болен. Охота ли свою молодость в больницах проводить?..

— Да что вы такое говорите! — возмутилась Снегурка.— У нас и в мыслях не было.

— Извините, извините,— опять затараторила воспитательница.— Я только, чтобы хуже не было.

Снегурка развернулась и почти побежала к выходу.

— Надо же так вечер испортить,— зло прошептала она.

Димка задержался. Хотел узнать, что за болезнь у Саши и нельзя ли ему как-то помочь. Но воспитательница была опшарашена поведением Снегурки и с Димкой говорить не стала. Ему ничего не оставалось делать, как последовать за Снегуркой. Димка догнал её, они поделились впечатлениями о вечере и познакомились короче, теперь уже по-настоящему. Сегодняшний вечер их сблизил. Снегурка стала для Димки Ольгой. А Саша... добрым ангелом.

Но про ангела Димка забыл на следующий день. Та, с которой он связывал свое представление о земном счастье, пообещала ему встречу в кафе. Димка настаивал на ресторане, поскольку парень он небедный (по меркам людей своего круга, разумеется). Но настойчивость в таких деликатных делах могла вернуть отношения на начальную стадию. Так думал Интернет. И Димка его послушался. Встретились в кафе. А ещё через неделю они с Ольгой стали друзьями. Оставалось шесть дней до перехода заветной черты.

Когда эта черта была уже совсем рядом, Димка встретил свою бывшую одноклассницу Таню Синицыну. Разговорились. Оказалось, что она работает в том же детдоме, где Димка впервые открыл себя в ролях Деда Мороза, молодого папы и счастливого влюблённого. Во время праздника Таня Синицына хотела, чтобы Димка её заметил. Но этого, по понятным причинам, не произошло. Таня не обиделась.

Димка вспомнил о Саше. Он был в Таниной группе. Как она сказала, мальчик каждый день и не по одному разу просил воспитателей снова устроить ёлку. На вопрос: зачем, разве одной мало? — не отвечал.

Димка всё понял, и они с Таней сразу же поехали в детдом. По дороге Димка в каком-то павильоне купил самый дорогой шоколад и игрушечный мобильный телефон.

Саша, вопреки ожиданиям, не выбежал навстречу. Остановился нерешительно на пороге холла и смотрел.

— А я плакал, что тебя не было,— сказал он.

Оправдываться было нечем. Димка мог бы придумать кучу правдоподобных историй. Но врать Саше... Он вдруг сообразил, что появился человек, которому он не может врать. В детстве таким человеком была мама. Потом он и ей стал говорить сначала полуправду, а потом и неправду... Честность, оставленная где-то в далёком детстве, вдруг напомнила о себе.

— Пойдём, я покажу тебе железную дорогу. По ней можно до Москвы доехать,— улыбнулся Сашка.

Таня Синицына, про существование которой Димка забыл, договорилась с дежурной, чтобы его пустили наверх, в комнаты. Правда, пришлось расстаться с шоколадом: порядки в детдоме строгие.

Они часа полтора увлеченно возились с железной дорогой на полу у Сашиной кровати. Саша по мобильнику связывался с диспетчерами на станциях. Димка переводил стрелки. Москвой была тумбочка. Жившие в одной комнате с Сашей ребяташки поглядывали на них с любопытством.

* * *

...Новый год Димка встретил с Ольгой. И хотя она ещё не готова была ответить на его чувство взаимностью, можно было не сомневаться, что скоро ответит. Так считал Интернет.

Свободного времени у Димки теперь вообще не оставалось. И он был счастлив. Ольга, подработки, весна — голова шла кругом. Но про Сашку он не забывал. Сашка стал частью его жизни. Первую половину выходных Димка непременно проводил с ним. Ему нравилось покупать своему маленькому подопечному подарки, нравилось, когда Сашке завидовали, что у него есть такой... знакомый. (Димка ещё не решил, какая роль ему подходит больше: друга или молодого папы.) Таня настойчиво просила не баловать парня. Но Димка видел, что парень — не жадина, не задавака и готов делиться со всеми своим добром.

Саша рассказывал Димке о любимых игрушках, о своих друзьях и обидчиках. Сашины обидчики вызывали в Димкиной душе негодование. Он понимал, что они — малышня и серьёзно относиться к их неурядицам и потасовкам нельзя. Но если бы это была не малышня... О, тогда бы Димка вёл себя совсем иначе... Впрочем, и детям не всё должно быть позволено... А Саша своих обидчиков прощал:

— Тёма прищемил мне палец в дверях, — говорил он. — Я плакал, сказал Тёме, что так нельзя.

— Ну и что понял твой Тёма? — раздражённо спрашивал Димка. — Тут не плакать надо, а...

— Поймёт когда-нибудь. Я не умею драться и не буду.

В этих вопросах Саша был принципиален.

Наступило лето. Ольга своих чувств пока не открыла, и Димка решил её не торопить. Можно подождать до следующей новогодней ночи. В ближайшей же перспективе намечался Сашин день рождения. Для Димки событие куда более

значимое. Отметить его решено было в летнем ресторане. Праздник так праздник! Приглашения получили Димкины друзья, работавшие на местном телевидении. Для имиджа. Пусть знают в детдоме, какие у Саши друзья. Правда, этих друзей Саша пока видел только по телевизору.

Димка рассчитывал взять Сашу на целый день.

— Это невозможно,— сказала Таня Синицына.

Димка выложил шоколадку.

— Ты знаешь, сколько бумаг надо оформлять! Тебе уже не успеть.

И ещё одну шоколадку.

— Ладно,— Танька убрала презенты в ящик стола.— Я скажу, что беру его к себе. Но вечером нужно будет привести обратно. Непременно.

На её столе появилась ещё одна шоколадка. Это был аванс. Димка хотел забирать Сашку на целый выходной день каждую неделю.

...Друзья принесли видеокамеру и фотоаппарат. Вместе с Сашей они сделали кучу видеоклипов и фотокомиксов. Все называли Димку молодым папой.

Он не возражал и даже, боясь себе в этом признаться, гордился, когда его называли именно так.

* * *

Был конец лета. Димка гулял с Сашей по парку.

— Давай дождёмся темноты. Говорят, здесь, когда включают подсветку, очень красиво,— попросил Саша.

Димка не хотел ждать темноты. Во-первых, по вечерам он обычно встречался с Ольгой. Во-вторых, эту подсветку он видел уже раз двести. Разочаровывать Сашу ему не хотелось, а врать он не мог.

Шли молча. Саша, по-своему поняв Димкино молчание, решил рассказать ему всё, что знал о тех башнях и стенах, которые должны были подсветить. Слушать его Димке было скучновато. И это ещё бы ничего... У выхода из парка Саша потащил Димку обратно. Димка понял, что его планы могут рухнуть и вечер пройдет совсем не так, как он хотел. «Наверное, я должен испытывать раздражение»,— подумал Димка. Раздражения он не испытывал. «Странно,— продолжал размышлять он.— Но разве можно испытывать раздражение по отношению к близкому человеку? К своему сыну, например?»

Димка разволновался. Он понял, что скоро ему придется принимать решение: или Сашка ему чужой, или надо... как бы это сказать... воссоединиться. Но сможет ли он сам, вот так... на всю оставшуюся жизнь... До конца Димка в себе уверен не был. Как и в том, что Сашу ему из детдома отдадут. Окончательное решение было отложено до Нового года.

* * *

...Димка водил Сашу каждый выходной на баскетбол, в бассейн или в кафе. Там они часто встречали Димкиных друзей. Быть молодым папой никто из них не хотел, но вот чтобы в их детстве был отец, который и мяч с ними погонял бы, и в кафе сводил, и в догонялки поиграл, — об этом помечтать задним числом каждый из них был не против. Ведь отец едва ли не каждого второго, пока они подрастали, проводил всё свое свободное время на диване, уставившись в телевизор, читая все газеты подряд или разгадывая бесчисленные кроссворды... Были, конечно, и такие, которых неудержимо тянуло в лес, на реку. Были и дачники, неутомимо возделывавшие свои шесть соток. Но ведь мальчишке — какая разница! Всё равно отец в его жизни участия не принимал.

Привыкнув часто видеть Димку с маленьким парнишкой, один знакомый сказал нечаянно Саше:

— Твоего папашу за пивом посылать, как за интервью с Генеральным секретарем ООН.

— Извините, не папашу, а папу, — ответил Саша.

* * *

Лето закончилось. А осенью... А осенью, 15 сентября его вызвала к себе директор детского дома. После долгого вступления о роли отца в жизни ребёнка она, делая над собой некоторое усилие, произнесла:

— Вы понимаете, что люди думают всякое... Некоторые, например, видя, как вы задариваете маленького — должна вам признаться, симпатичного — мальчика и потом его куда-то отводите, думают — уж вы извините — про так называемые извращения... Пока они делятся своими подозрениями только со мной, но если обратятся ещё куда-нибудь...

Димка готов был сквозь землю провалиться. Он уже жалел, что явился сюда. Нет, не сегодня. Вообще.

Он ушёл из детского дома, даже не поскандалив с директрисой. Даже не заглянув к Саше. Дома долго лежал на диване, уставившись в одну точку. Думал. К утру следующего дня всё разложилось по новым полочкам. Он решил, что вся эта затея с «молодым папой» была глупостью. У него всё отлично складывалось с Ольгой. И если это любовь, а он в этом не сомневался, то у него может быть свой маленький Саша. И он станет молодым папой. Настоящим. А что касается детдомовского Саши, то дружба, или что там ещё, так быстро возникнув, так же быстро могла и закончиться. Главное — больше там не показываться. Все попереживают. А потом забудут. Да, это не совсем честно и не очень красиво. Но уж лучше так, чем давать повод к разговорам о том, чтобы «некоторые» думали...

* * *

Нечестно и некрасиво удалось прожить всего неделю. Димка презирал себя за свой уход от директрисы, который больше походил на бегство. Он не мог найти себе места. Он не мог долго находиться в обществе друзей, которые не ходят по вечерам к древним стенам и башням, чтобы посмотреть, как они подсвечиваются, и ничего не хотят знать про историю этих самых стен и башен. Ему становилось тошно, когда Ольга успокаивала его тем, что Саша скоро о нём вспоминать перестанет. Он не знал, чем заняться утром в выходные, пока Ольга ещё спала, а он бродил вокруг её дома как потерянный. И если с Ольгой отвлечься от мыслей о Саше не удавалось, то не находиться с ней рядом вообще было сплошной мукой. Димка старался не бывать там, где они с Сашей бывали вместе. Он просто ждал, когда всё забудется и уладится само собой. Он ждал, но ничего не забывалось.

* * *

...Ту ночь Димка совсем не спал. С трудом дождавшись хмурого осеннего рассвета, он побежал в детский дом. Сашина группа гуляла во дворе. Саши не было. Мальчик лежал один в огромной холодноватой спальне. Когда он увидел Димку — всхлипнул.

— Извини. Я болею, — прошептал он.

«Господи! — пронёслось в Димкиной голове. — Он ещё извиняется! А почему бы ему не сказать: “Что ж ты, свинья,

так долго не приходил!..” Мне бы легче было... Но почему мне должно быть легче?! Давай, добивай, Сашка! Я — свинья, такая свинья...»

Димкино самобичевание прервала директриса, которая что-то бубнила у него спиной. Он оглянулся.

— Выйдите немедленно,— тихо и настойчиво сказала директриса.

— Ни в коем случае,— сквозь зубы процедил Димка.

— Да я сейчас милицию вызову!

Димка схватил директрису за руку и вывел её в коридор. Отойдя подальше от двери, он произнёс длинную и пламенную речь. Несколько раз вспоминал начальницу департамента образования, называя её своей тётей. Он грозился сообщить тёте про «некоторых», не способных уберечь воспитанников детдома от опасных заболеваний, не умеющих разбираться в проблемах своих подопечных и совершенно ничего не понимающих в гуманитарной политике государства. Димка пообещал поднять на ноги местную прессу и доложить в Министерство о тяжёлом положении лишённых семьи ребят в том самом детском доме, в котором они сейчас находятся. Директриса сначала поглядывала на него насмешливо, но потом, видимо, прониклась пафосом его речи и предложила всё уладить мирным путём. Они вместе пошли в медицинский кабинет, где Димка старательно выписал название Сашиного заболевания. Медичка продиктовала названия всех препаратов, которыми Сашу лечили. Димка побежал домой и сел за компьютер. Утро следующего дня он встретил у монитора. К тому времени он уже знал, что Сашу нужно лечить по-настоящему и как можно скорее. Ему даже удалось по электронной почте зарезервировать место в московской клинике. Он виртуально познакомился и с одним врачом из этой клиники. Врач советовал привести мальчика на этой неделе.

В детском доме Димка застал местного врача, который выходил от Саши. Директриса, наверное, уже успела подсушиться.

— Вы, как мне сказали, его будущий приёмный папа? — спросил врач.

— Да,— без колебаний ответил Димка.

— Так вот, мальчику нужна операция. А здесь таких не делают. Если у вас есть деньги и связи, можно попытаться прооперировать его в Москве.

— А где же вы раньше были! — едва не взорвался Димка.— Я уже обо всём без вас договорился. И если бы знал, мог бы сделать это ещё раньше, без спешки. Ну!

— Вы не кричите на меня, молодой человек,— нахмурился врач.— Знаете, сколько у нас работы и какая зарплата?

— А при чём здесь зарплата! Вы что, клятву Гиппократата так просто, для проформы давали?

Ещё один день был потрачен на дополнительные переговоры по Интернету с Москвой, но вёл их другой врач, давний Димкин знакомый. Потом были консультации в местной больнице, куча анализов и новые обследования. Димка всегда был рядом с Сашей. Время бежало как сумасшедшее... И когда уже почти всё было готово для поездки в Москву, Димке сказали:

— Мальчик нетранспортабелен. До Москвы его на наших машинах не довезти.

На сайте местного аэропорта Димка нашёл расценки на закупку авиарейса до Москвы. Выручили друзья: кто-то дал в долг, кто-то купил всё, что Димка мог продать, а кто-то устроил сбор.

Самолёт был зафрахтован. Ребята с телевидения довезли их на служебной машине до аэропорта. Сашу на носилках подняли в салон... Димка сел в кресло рядом с подвешенными на ремнях носилками.

— Держись, Сашка,— он попытался улыбнуться, но у него плохо получилось.

— Я держусь,— шёпотом ответил Саша.

— Почему ты раньше мне ничего не говорил?

— Мне было больно. Когда мы встречались, я забывал, что болит. А потом ты перестал приходить, и стало больно-больно. Я никому не говорил. Терпел. Я тебя ждал. Потом воспитатели заметили. А теперь мне уже лучше... Это правда, что ты компьютер и видик продал?

— Молчи, дурачок,— наконец-то улыбнулся Димка и, отвернувшись, заплакал.

* * *

Наступал очередной Новый год. 31 декабря Димка, как и предыдущие дни, провёл в больнице. Операцию Саше сделали неделю назад. Она прошла без осложнений. Мальчику нужно было отлежаться ещё пару суток, а там — в обычное отделение. Димка ждал этого перевода: пока Саша находился в реанимации, тревога постоянно давала о себе знать. А в обычном отделении всё заканчивалось выпиской.

Вечером Димка сбегал поужинать в соседнюю кафешку, купил сок и яблоки. И снова в Сашину палату. Саша лежал у

окна. А за окном всеми цветами радуги светилась новогодняя Москва. Блики праздничного разноцветья играли на его лице.

— Мне врач разрешил с тобой встретить сегодня Новый год, — с порога сообщил Димка.

— Здорово!

— Будем сок пить и яблоками закусывать.

— А сок какой?

Димка посмотрел на этикетку:

— Яблочный.

Они захохотали.

В дверь постучали, вошла медсестра с бархатным мешком, расшитым звёздами.

— Вам посылка, — сказала она. — На коробке написано «от друзей». Мы посмотрели — ничего опасного. И прекратите так громко хохотать. Вредно. И ещё: в других палатах у нас тяжёлые, их не нужно беспокоить.

— А я тяжёлый? — спросил Саша.

— Какой же ты тяжёлый, если завтра тебя велено в другое отделение отправить?

Димка улыбнулся. Начал развязывать мешок. Сверху лежала записка: «Привет от членов профсоюзного комитета, папаша. Поправляйтесь! Помни о сессии». В мешке лежал костюм Деда Мороза, в котором Димка был год назад на новогодней ёлке в детском доме. Он быстро переоделся, настраиваясь одновременно на давнюю роль. Текста он уже не помнил, говорил басом что в голову придёт. Саша смеялся. Читал стишки. Весёлые. Представление на этот раз было коротким — Димка решил, что Саше надо бы отдохнуть.

Димка подошёл к окну. «Вот говорят, — думал он, — что человек не понимает в настоящий момент, счастлив он или нет. А я понимаю! Я счастлив сейчас! В настоящем времени счастлив. Может, я и не заслуживаю это счастье — слишком часто делал не то и не так. Случайное счастье получается». Он посмотрел на довольное Сашино лицо: «Это мой Сашка заслужил его. И почему-то решил поделиться им со мной».

Они улыбались другу другу и не знали, что в приёмном покое сидит Ольга. Она будет ждать там до утра. И Димку... И Сашу.

Наступил Новый год.

БАЛЕРИНА

На первый урок в свой 9 «А» я опоздал. Извинился, сел за парту.

Шла литература, учительница что-то рассказывала про повести Гоголя. Я их не читал, но и литературшу слушать не хотелось. Она, наверное, много знала, но увлечь своим предметом не умела. В классе, как всегда на её уроках, было шумновато, она старалась не обращать на это внимания, но ей всё время приходилось повышать голос. Дело шло к ларингиту.

Моего соседа Левина не было. Он лечил зубы. Я думал, что Левин придет от зубного врача счастливый и этим счастьем поделится со мной. А что ещё нужно для хорошего начала дня! Чтобы друг поделился с тобой своей радостью.

Маринка Самохвалова, сидевшая передо мной, обернулась. Посмотрела, ухмыльнулась, плечиком повела. Ну-ну... Соседке ещё чего-то шепнула... Э, э, э! Какой соседке?! Вчера Маринка одна сидела... Это что же, новенькая? А я сразу и не заметил. Сейчас, думаю, она обернётся. Смотрю на неё и жду. Впился в неё взглядом и даже не моргаю. Соседка Маринкина — как балерина: худенькая, сидит прямо, волосы распущены, пальцы тоненькие. Вроде бы никогда раньше её не видел. Сидящий за мной Миха Чернов подтверждает: самая что ни на есть новенькая.

Я кинул в рот подушечку «Орбита», заворотил ногу на ногу, поправил чёлку, рассеянный вид на себя напустил. Жду. Не оборачивается. Ладно, не очень надо, хотя девчонка со спины — просто чудо. Волосы свои пушистые осторожно поправляет. Шея у неё — словно точеная! Эх, чёрт, придется самому начинать!

— Девчонки, у вас карандашика не найдётся? — спрашиваю.

Маринка обернулась:

— А зачем тебе, никак поля отчертить захотелось?

Я сдержанно улыбнулся и не очень удачно пошутил:

— Да нет, в ухе почесать.

Девчонки хихикнули. Маринка подала мне циркуль вместо карандаша и остаток урока провела вполоборота, насмешливо косясь на меня.

На перемене ко мне подошли парни. Говорили, как всегда, о всякой ерунде, а я всё поглядывал на «балерину». Личико симпатичное, как будто осторожно, слегка, без нажима нари-

сованное. Она в коридор даже не вышла, всю перемену просидела за партой, книгу читала. Очень скромная или гордая, наверное. Мне всегда такие нравились. А я со своим характером, видимо, другим нравлюсь. Маринка протиснулась боком ко мне между парнями:

— Что вчера фотки не скинул? Ведь обещал же. Сегодня сама зайду.

— Сначала спросила бы: родители, может, дома будут,— засмеялись парни.

Я поморщился, она фыркнула.

Прозвенел звонок, все стали расходиться. Опять Гоголь: сдвоенный урок. Маринка сидит вполоборота. Я ей говорю:

— Вот меня зовут Тим, тебя Марина, а соседку твою, к примеру, как? У неё буква «и» в имени есть?

— Оригинально! — с наигранным восторгом выдохнула Маринка. — Теперь так знакомятся, по гласным?

Соседка сидела, не шевелясь, как будто не слышала, о чем мы шепчемся.

— Так как насчёт «и», — начал я уже раздражаться.

— Да далось тебе её имя, — Маринка засмеялась. — Не Ирина она, и даже не Инесса, успокойся. Просто Даша. Моя лучшая подруга. Понял?! — добавила она так, как будто предупреждала о чём-то или даже угрожала.

«Понял», — хотел было огрызнуться я, но тут Даша обернулась, посмотрела на меня прямо в глаза, и меня словно жаром обдало. «Вот и всё», — со щемящей тоской подумалось мне неизвестно почему. «Даша», — начал говорить я ей мысленно, — ты очень красивая! За тобой все парни из нашей школы косяками ходить будут. И я тоже буду, ты только посмотри ещё раз так на меня».

А впрочем, чего это я расчувствовался?! Ведь тут что-то не так. Точно не так! Если один её взгляд может голову вскружить, чего же с ней никто из парней сразу не сел? Странно. Я внимательно огляделся. Только две парты в классе были «однополыми». Ну, и две ещё пустовали наполовину. Все остальные с начала года Анна Никитична своей железной волей укомплектовала по принципу «мальчик — девочка». Существование немногих «однополых» было допущено лишь в связи с особыми обстоятельствами: шефство над отстающими, слабое зрение, рекомендации психологов или просьбы родителей.

А, вот оно что! Наверное, Маринка никого к ней не подпустила. С Маринкой связываться — себе дороже. Жаль, прогулял такое представление!

Даша опять повернулась и взглянула на меня. Я чуть резинку не проглотил. Даша! Плевать мне на Маринку и на всех остальных! Будь что будет! С трудом подбирая слова, я спросил:

— Это... как его... времени до конца осталось... сколько?

Даша приподняла рукав, посмотрела на часики:

— Минут тридцать. А что, тебе уже надоело?

Она чуть-чуть улыбнулась и снова сосредоточилась на том, что происходило у доски. Я чувствовал, как лицо моё постепенно наливается краской. Попытался задержать дыхание и успокоиться. Когда она смотрела на меня — мысли путались, превращались в несвязные обрывки. Когда сидела спиной ко мне — я снова обретал способность хоть что-то соображать.

«Ничего страшного,— думал я. Ну и что ж, что она такая красивая. Это ещё ничего не значит. Красивым девчонкам разные парни нравятся... Иногда тоже красивые, иногда не очень, а иногда и совсем “не”. Это сплошь и рядом. В мужчине ведь не красота главное... И парням разные девчонки нравятся. А может, она ещё никому по-настоящему не понравилась? Может, никто пока её как следует не разглядел и не понял, какая она на самом деле? И она, может, увидит во мне что-то такое, чего в других не замечала. Хоть бы раз повезло! Пусть так случится, пусть у нас совпадёт!»

В дверь громко постучали. Ввалился Левин с улыбкой до самых своих непомерно оттопыренных ушей.

— Всё закономерно,— заявил он с порога,— у зубного был. Имею право.

— Садись, Левин,— вздохнула литераторша.— Права свои ты знаешь, вот только обязанности ещё как следует изучил бы.

— Не беспокойтесь, изучил: я обязан следить за зубами. Так? Так. Имею право и обязан провести санацию полости рта.

В классе захихикали.

— Да садись же! — начала сердиться учительница.

Левин с видом победителя прошествовал к своему месту, уселся и стал, разевая рот, показывать мне пломбу, объяснять, что такое кариес, а что пульпит. Покончив с ликбезом, он принялся передразнивать врачей: «Федоровна, замешай силицильчику», и насмеяться над Митяевым из одиннадцатого, которого послали на удаление, но тот позорно бежал...

Меня его рассказы совершенно не занимали, я был поглощён совсем другим, но внимание класса Левин привлёк, сделалось шумно выше нормы, и, наконец, ему сделали замечание.

— Будешь болтать — пересажу,— пристрожила литераторша.

А я вдруг сразу подумал о везении. Да-да! Вот он шанс. Пусть Маринка садится с Левиным, а Даша перейдёт ко мне.

Я стал провоцировать Левина на разговоры. Он охотно пошёл мне навстречу. Зубная тема, похоже, была для него неисчерпаемой.

— Ещё слово — и расскажу! — повысила голос учительница. Да хоть десять, хоть сто слов! Пожалуйста — сколько угодно. Только бы рассадили!

— Если рассадят,— прошептал я Маринке,— иди на моё место.

Девчонки зашептались. Даша, похоже, убеждала Маринку не соглашаться на моё предложение. Потом обе повернулись к нам.

— Извини, Тима, ничего у тебя не выгорит,— сказала Маринка с лёгкой издёвкой.

— Девочки, у меня зрение плохое, мне бы поближе к доске...

Они переглянулись и прыснули. Стоявшая у доски литераторша взорвалась и крикнула уже мне:

— Хватит мешать классу! Самохвалова садится к Горшкову, Левин может отправляться туда, откуда пришёл.

— Мне на сегодня общения с дантистами хватит. Спасибо, как-нибудь в другой раз. Я лучше тут посижу,— сказал Левин и ушёл на всегда пустовавшую последнюю парту у окна. Там он вытянул ноги в проход, сложил руки на груди и демонстративно закрыл глаза.

Пока внимание класса было занято этим переселением, я наклонился вперёд, коснулся Дашиного плеча и, страшно волнуясь, прошептал:

— Даша, можно я сяду к тебе?

— Зачем? — спросила она, не поворачиваясь.

— Пожалуйста. Я не буду тебе мешать, и... я не кусаюсь. Ладно?

— Зачем? — повторила она.

— Низачем. Может же быть «низачем».

— Не знаю,— ответила она.

Уже не очень хорошо понимая, что делаю, я встал, шагнул по проходу вперёд и, повернувшись к ней лицом, сказал:

— Даша, ты, конечно, права. Никаких «низачем» не бывает. Я хочу сесть рядом с тобой, потому что ты мне нравишься... Очень.

Даша смутилась, и было от чего. На нас смотрел весь класс. Литераторша была как потерянная.

— Я вам не мешаю? — после долгой паузы спросила она. И мне показалось, что в её словах не было ни малейшей иронии. И что ещё более странно, никто в классе не хохотнул. Даже Левин.

— Нет,— дрогнувшим голосом ответил я в полнейшей тишине и сел на своё место.

— Ну, тогда продолжим урок,— обрела наконец присутствие духа литераторша.— Я сегодня много говорила. Теперь ваша очередь. Изложите кратко то, о чем я только что рассказывала. Ну и... послушаем новенькую. Тебя, кажется, Дашей зовут? Иди к доске.

— Я не могу,— сказала Даша.

Тишина сделалась такой густой, что стало трудно дышать. Класс, всего несколько минут назад шуршавший, шептавший, кашлявший, вздыхавший, охавший-ахавший, замер. Глазели все почему-то на меня.

— Я не могу,— повторила Даша.

— Что так? Не придумывайте! — перешла на холодно-официальное «вы» учительница.— Задание простое. Э-ле-мен-тарно-е. Для третьеклассников. Ну, идите, отвечайте, пожалуйста.

Даша закрыла лицо руками.

— Можно я за неё? — вскочила Маринка и направилась к доске.

— Что за самовольство, тебя не вызывали! Новенькая, я жду. Помочь, что ли? — литераторша шла к Даше.

Даша вдруг привсталала, стала что-то искать под партой, достала палочку и, опершись на неё, с трудом выбралась в проход. Учительница застыла с поднятой к горлу рукой. Я опустил голову.

— Ты че, не понял? Она хромоножка,— забормотал мне на ухо перескочивший на своё прежнее место Левин.— Влюбился что ли?.. Девчонку надо красивую. Чтобы все завидовали. Она, конечно, на лицо ничего, только хромает, с палкой со своей не расстанется. Я видел. Ты не переживай, слышишь?

Я молчал и не переживал. Сделался как каменный. Было больно и обидно. И не хотелось, чтобы начиналась перемена: что я буду делать, когда прозвенит звонок? Пропади всё пропадом... Перемена всё-таки началась. Я поднялся и на деревянных ногах, почти ничего не видя, вышел в коридор. Стал у окна и, не отрываясь, смотрел на школьный двор, чувствуя, как по спине ползают недоуменные взгляды. Подошли парни,

молча постояли рядом. Я делал вид, что не замечаю их. Чего им надо? Пусть оставят меня одного. Мне и без них тошно.

— Он ей чуть в любви по-настоящему не признался, — затараторил вынырнувший откуда-то Левин. — Я-то поначалу и сообразить ничего не мог. А эту хромоножку я раньше видел, она на Привокзальной живёт...

Левину велели убираться, и он тут же слинял.

Парни какое-то время мялись, не зная с чего начать... Потом Витя Шестаков сказал:

— Мы вот что. Поговорили между собой и решили тебе сказать. Как-то всё фигово получилось. Ты, наверно, и сам понимаешь?

Я кивнул.

— Когда ты новенькую с палкой увидел, тебя перекосило даже. Будто она инопланетянка с тремя руками. Ну, не повезло ей. Бывает. Ты, конечно, ничего не знал. Но потом-то, когда литераторша её встать заставила... Голову даже опустил. Она же всё заметила. Теперь, может, ревёт в туалете. А ты... Тем более — чуть в любви не признался. Подумаешь, на костыле. Ну и что? Короче, мы это... Ты давай как-нибудь подойди к ней, поговори. Чтоб не всё так... А то шептались у всех на виду: нравишься — не нравишься. Шептался бы с Маринкой, никто и внимания не обратил бы. А ты на новенькую ТАК смотрел. Может, на неё ТАК ещё никто не смотрел. Ей теперь хуже, чем тебе. А ты ещё голову опустил. Что за слабак такой? Ладно, извини. Сегодня пятница, в школе — дискотека. Мы скажем Маринке, чтоб привела её. Можете не танцевать, она, наверно, не танцует. Просто пообщаетесь, скажешь ей что следует, домой проводишь. И вообще: влюбляться и расходиться надо постепенно. Неопытный что ли? А ты р-раз — влюбился, д-два — разлюбился... Так не пойдёт. Понял?

Это «понял» он произнёс примерно так же, как Маринка, когда объявляла Дашу своей подругой. Сделали из меня какую-то мишень для угроз. Им-то какое дело? Влюбился — не влюбился, опустил голову — не опустил! Но в глубине души я признавался сам себе: по-дурацки всё получилось. От неожиданности, не из трусости — я ведь не подонок какой. Но всё же...

Оставшиеся четыре урока прошли как во сне. Я ничего не соображал — хорошо хоть к доске ни разу не вызвали, — а на Дашу даже взглянуть не смел. Чувствовал, что за мной наблюдают и как будто чего-то ждут. От этого становилось ещё

тяжелее. Про то, как буду вести себя на дискотеке, думал с содроганием. Ну вот, вхожу, иду к ней через зал, музыка оборвалась, все на меня уставились — можно в обморок грохнуться. А дальше как? Подошёл. Что говорить ей буду? С чего начать? Или сделать вид, что ничего не случилось? Нет, так не пойдёт. Ну и положеньице! Но назад пути нет. Надо себя пересилить — и всё, закончится эта маета. И чтоб я когда-нибудь ещё...

Время до дискотеки пробежало быстрее, чем я ожидал. Как только я появился в зале, ко мне сразу подошли одноклассники. Витя Шестаков по плечу похлопал, Левин многозначительно подмигнул: мол, не трусь, мы рядом. «Без вас обойдусь, отвалите!» — огрызнулся я про себя. Огляделся — Даши не было. Немного полегчало. Как-никак отсрочка, можно дух перевести. А может, она и не придёт? Вот было бы здорово! На нет и суда нет.

Крутили медленный. Я пригласил одну девчонку из 9 «Б» — так только, чтобы не стоять столбом там, где положено двигаться. Она положила мне руки на плечи и всё заглядывала в глаза, ждала, чтоб я заговорил. Но я к ней ничего не чувствовал и потому молчал. Девчонка, похоже, обиделась. Когда танец кончился, бросила мне: «Не провожай» и быстро пошла к своим подругам. Я пожал плечами, повернулся — и увидел Дашу.

Она сидела у стены, бледная, прямая, напряжённая, и смотрела прямо на меня. Всё закачалось передо мной, и я подумал: «Вот, значит, как крыша едет». Когда немного пришёл в себя, с удивлением обнаружил, что ноги сами несут меня к ней. Медленно, словно преодолевая неимоверную тяжесть, но несут.

— Привет,— прошептал я, подойдя, и голос мой пресёкся от волнения.

— Привет,— ответила она, глядя на меня во все глаза, будто видела впервые.

— Ты давно здесь?

Она вздохнула и пожала плечами.

— Марина настояла, чтобы я пришла сюда.

— А тебе не хотелось?

— Да нет, не то чтобы не хотелось. Просто, я думала, как-нибудь потом, позднее, когда немного в вашей школе освоюсь.

— Марина твоя подруга? — я понимал, что говорю первое пришедшее в голову, что нужно бы совсем не про то и не так. Никакого дела до Марины мне нет. Но иначе не получалось.

— Да, наверное. Она добрая, отзывчивая, независимая, смелая. И красивая... Такие всем нравятся. Тебе, наверное, тоже,— Даша улыбнулась и посмотрела на меня вопросительно.

Мы помолчали. Я не знал, красивая Даша или нет, но не мог оторвать взгляда от её лица, от её губ, глаз, волос, шеи.

Она вдруг встала, опершись о спинку стула, взяла свою палочку.

— Мне пора домой, Тим, я устала — сказала она и пошла.

— До завтра,— пробормотал я.

Она, припадая на левую ногу и опираясь на палочку, шла к выходу. А я как тень следовал за ней, словно мы только что не попрощались. Одноклассники улыбались. (Они ни черта не поняли!) Мы вышли в коридор. Даша обернулась, бледная, губы дрожат:

— Чего ты?

А я сам готов был заплакать. Не знаю, что со мной творилось. Мне хотелось осторожно обнять её, прижать её голову к груди, погладить по плечам, волосам, пожалеть.

— Можно, я провожу тебя? — спросил я.

— Я очень тихо хожу, — ответила Даша. — Тебе надоест плестись рядом со мной. Потом сам будешь жалеть, что пошёл.

Я потряс головой: не буду, мол.

Мы вышли на улицу. Из окон школы на нас пялился почти весь класс. И тут налетела Маринка. Злая-презлая, как фурия.

— Я сама провожу, — заявила она. — Нам с тобой не по пути, Тим. Тоже мне джентльмен! Ты — лишний человек, вот кто!

Она схватила Дашу за руку и потащила за собой. Даша не могла идти так быстро и спотыкалась. Она всё-таки оглянулась, хотела что-то сказать, но Марина не дала ей остановиться и даже прикрикнула на неё.

Мне захотелось повыбивать стёкла в школе, чтобы одноклассникам было лучше видно всё происходящее на вечерней улице. А Маринку я готов был подвергнуть самой мучительной казни.

Придя домой, я не стал ужинать, заперся в своей комнате и воткнул в уши плеер. У меня уже не хватало сил разбираться в хитросплетениях собственной судьбы и пытаться

привести хоть в какой-то порядок свои мысли и чувства. Что же это случилось со мной сегодня? Может, я и правда лишний, никому не нужный человек? Если так, то всё правильно, этой девушки я не стою. Пусть она будет счастлива без меня. Но отрешиться от воспоминаний о Даше я не мог.

Это были, скорее, даже не воспоминания, а мечты — туманные, щемяще-блаженные и, увы, страшно далёкие от реальности. Даша был рядом со мной, я помогал ей надеть пальто, брал под руку на лестнице, сопровождал в прогулках по набережной, дарил цветы, угощал мороженым, наблюдал, как она засыпает, а утром сидел у постели и терпеливо ждал, когда дрогнут её веки и она откроет глаза...

— Тима, звонят в дверь, открой. Я не могу подойти, — крикнула мама с кухни.

Господи, ну почему даже сейчас меня не могут оставить в покое! Кончится эта мука когда-нибудь?

Я выскочил в прихожую, распахнул дверь.

На пороге стояла Даша.

— Можно мне войти?

Я попятился, ошеломлённый её неожиданным визитом, и она переступила через порог.

— Я всё знаю. Тебя парни заставили подойти ко мне на дискотеке, — совсем тихо произнесла Даша. — Мне Марина сейчас всё рассказала. Можешь больше не ходить за мной. Не нужно. Прошу тебя. Очень. Я скажу парням, чтоб они к тебе не приставали...

— Я люблю тебя, Даша, — сказал я. — Прости меня, если что-то не так сделал.

И подошёл к ней близко-близко...

ЛЕТО ВСЕГДА КОНЧАЕТСЯ

Вологодская повесть

1.

Вот как Витя Непейко узнал про переезд. Он как раз явился с гулянки, где они с Хряком и Мемешкой дрались прутиками, а после разбирали найденные в кустах у продмага старые счёты с приятными на ощупь желтоватыми костяшками. Хряк, он же жирный Петька, сын путевого обходчика из зелёного барака напротив, норовил заграбастать все чёрные костяшки себе, но был бит поделниками и оставлен за жадность с носом. И поделом ему.

Гремя карманами, полными костяной добычи, Витька взмыл по узкой деревянной лестнице на второй этаж. Сестрёнка спала в деревянной кровати, похожей на клетку, а отец и мать сидели какие-то непохожие на себя. Батя был уже при своей красной роже и запахе, но мать не ругалась и даже кивала словам, когда он горячился и радостно махал руками, покачиваясь на шатком табурете.

— Вот, значит, говорят они, Непейко, выкуси. Ордеров нету, только в тот квартал. Я к начцеха, значит, ага. А там этот...

— Пап, смотри-ка,— Витька протянул отцу горсть костяшек.

— Да погоди ты! — махнул рукой Непейко-старший.

Витька надул губу, но не ушёл. Решил подслушать, о чём толкуют.

— Вот, значит, а там, говорит, через профком, а профком — обратно в цехком. А я, ого... — он поднял кулак, — знаю сволочей. Говорю, мол, работаю честно, грамоты при мне. На очереди первый, уж который год как. Как самодеятельность — тащи боян, как за больничных норму втихаря делать — ого! А ордера давать — хер на салазках?

— Валера... — мама скосила глаза на мальчика, отец осёкся. Хмельная радость пекла лицо, заныканный рубль жёг ляжку,

и трубы, победные трубы звали в светлое завтра. Новая квартира, праздник непрерывный! Это было так хорошо, будто в кино.

— Таня, заживём людьми! С халтур подсоберу — ковры купим!

Непейко-старший, сказать по-честному, уже в третий раз путано и горячо излагал жене обстоятельства обретения ордера на квартиру, но всё не мог насытиться удачей. Прогиб завцеха перед ним, солью и мозолью земли, казался ему вершиной рабочей карьеры. Он скакал по закопчённой кухне, тараторя и глупо осекаясь при сыне, а потом захлопотал, засобирался в гараж, хотя по его бордовому лицу было видно, что совсем не по делу ему в гараж.

Отец ушёл, Витька всё стоял, соображая услышанное. Он почти ничего не понял, но чувал, тут что-то важное.

— А мы сюда ещё вернёмся? — спросил он.

Мать, выведенная из задумчивости его вопросом, улыбнулась.

— Конечно. Мы ж не сразу. Пока то да сё...

Витьку ответ устроил. Потом, перед сном, он воображал переезд на новое место: это навроде Нового года, всем дарят подарки, в доме много вкусной еды, в картонных коробках лежат конфеты — «от зайчика», но почему-то с мишками. Раз мама и папа так рады, это и вправду должно быть весело — переезжать. К тому же, мама сказала, можно возвращаться, а значит, всё ещё проще. Можно не забирать одолженные Мемешке пробки. Всё равно тут всё будет по-старому, можно приходить и играть сколько влезет. Где-то на этой счастливой мысли тёплый сонный туман окутал Вите глаза, и он уже не слышал, как глубоко за полночь с гаражей явился пьяный в дугу отец, как мама вполголоса отчитывала его, но в этот чудесный день не особенно зло, а только лишь для порядка.

В последующие дни только и разговоров было в переулке, что про переезд семьи Непейко. Торжествующий Витя прилетел к Мемешке с утра. Стояло позднее лето, ласковый август опадал косыми лучами на ржавые крыши и поленицы, и так приятно было бежать в падающих с ног сандалиях по этому августу, разнося по свету прекрасную новость. Он даже спёр с кухни два куска засохшего фруктового сахара буро-зелёного цвета. Старый сахар, валявшийся всё лето, — Витька уже знал — был противен на вкус, словно скисшее лекарство,

но ничего другого под руку не попало, да и не было никаких других сладостей на этой ободранной кухне. А важность события обязывала угостить своих дружков-бандитов чем-то съедобным, лучше взятым втихаря.

Здесь, в заросшем лопухами старом заводском углу Вологды, где вчерашние сельчане только недавно отвыкли попростому бегать из бани в дом в накинутах простынях, жили с конца войны семьи поездных бригад, путейцев, деповских и заводских мужиков с разных концов города — тех, которым от неудачливости или нерадения не досталось ещё от государства приличного жилья. В бараках щитовых и насыпных, покрашенных некогда в весёленькие цвета, а ныне совсем повыцветших, жили они — кто с печным отоплением, кто с центральным, кто с одной холодной водичкой, а кто так, по старинке, безо всякой совсем.

Раньше мужички помоложе частенько выбивались на своих заводах и заводиках в активисты профкома, а то и в партию, и тогда по переулку шелестело — мол, таким-то ордер подоспел. Но к началу восьмидесятых молодёжь поразъехала, остались тут считанные семьи, пересидевшие свою очередь на жилплощадь. Такие, как Непейки. Их беспартийный отец активничать не любил, цеховому начальству в пояс не кланялся и притом серьёзно закладывал с мужиками на гаражах.

С населением тут случилась очистка, будто с каждым новым отъезжающим из переулка выпускали немного крови, и округа теперь состояла большей частью из людей медлительных: стариков — от возраста, пьяниц — от нарушения равновесия и общего радостного равнодушия к жизни. Переулок Космонавтов всё плотней прижимался к земле, замедлялся, зарастал где бурьяном, а где целыми сорными кустами и ломкой порослью смешных непонятных деревьев.

— А у нас — орден! — выпалил Витька, едва Мемешка, он же Миша Мешков, отворил ему дверь.

— Ты чего орёшь? — насутился друг. — Бабушка отдыхает.

— Орден у нас, — натужно прошептал Витька, делая большие глаза и показывая руками что-то круглое, вроде колодезного люка. — А это знаешь, что значит?

Мемешка вышел в коридор прямо босиком и прикрыл за собой дверь.

— Что это значит? Какой ещё орден?

— А значит, нам квартиру дали! — крикнул Витька и даже гоготнул от полноты жизни.

— Дурак, не *орден*, а *ордер*! — отвечал Мемешка, знавший больше о мире взрослых.

— Ну, ордер,— согласился Витька.— А какая разница?

— Орден — это вот, как у бабушки в шкафу, за блокаду. Или если утопающего спасли.

— Нет, не спасли. Зато нам квартиру дали!

Мемешка насупился. Мёрзли ноги, и вообще не очень понятно, радоваться или плакать, что дружок уезжает из переулка в новый дом. Да и завидно немного. Повисло молчание. Витя всё-таки задал донимавший его вопрос:

— А *ордер*, он тоже круглый, чтоб надевать?

— Не знаю,— ответил Мемешка.— Я не видел. Но кому давали раньше, дак я не слышал, чтоб носили. Ты давай вот чего. К Физре сгоняем, он значки копит, может, он видел. Хотя погоди. Ты говоришь, ордер дали, дак у вас и должен лежать.

— Точно! Пойдём Хряку расскажем!

Мемешка скользнул обратно в дом, чтоб напаялить сандалики. Такой же шестилетка, как и Витя, он жил сиротой при бабушке-блокаднице и стеснялся убожества их жилища. Тут каждая кроха была на счету и во всём соблюдался одинаковый больничный порядок. В Ленинграде Марта Евгеньевна потеряла из-за тифа всю родню и заразы боялась едва ли не больше, чем голода.

Непейко с Мемешкой шли по заросшим крапивой дворам, пробирались за сарайками узкими тропками и лазами, и всё, вроде бы, как обычно. Два мальчишки, единственные ровесники в соседних домах, обречённые с рождения на дружбу узостью переулка. Непейко — мелкий, юркий, хвастливый, руки вечно в саже. Миша-Мемешка рыхловат, но не толстый, потому как выше ростом. Движения его неспешны, а в полу-прикрытых глазах есть какая-то спокойная усталость, какая бывает у некоторых детей, рано увидавших смерть. Но сегодня Витя словно вырос над Мемешкой, он прямо чувствовал, что голова его устремляется куда-то вверх, — может, даже до козырька вон той сарайки, — что он стал большой и важный, красивый и взрослый — ведь по-другому никак, он же несёт всему миру самую важную новость дня.

— Нам ордер дали! — торжествующе доложил он Петьке-Хряку, но тот не мог перестать важничать и дуться за отобранные костяшки. Он промолчал и только засопел.

— Ты чего, Хряк? Если долго молчать, можно превратиться в куклу,— сказал Мемешка совершенно серьёзно.

— Как это? — удивился Витя, немного расстроенный. Разговор уходил от главной новости дня.

— А ты как думал? Не всех же кукол на фабрике делают. Столько пластмассы во всём Советском Союзе нет. Самые красивые и дорогие куклы — это дети, которые долго молчали, а потом перестали быть детьми и превратились, — Мемешка зловеще понизил голос.

Жирный Петька, на год младше друзей-бандитов, привык верить их рассказам. Он заметно растерялся и от этого надулся ещё больше.

— Так что, Хряк, молчать вредно, — подвёл итог Мемешка. — И дуться тоже. А то сделают из тебя куклу и отправят в «Детский мир». То-то будет! Но тебя никто не купит, потому что ты толстый.

Хряк засопел ещё чаще, губы его задрожали. Ему показалось очень страшно сидеть в магазине в кукольной одежонке и ждать, пока кто-нибудь заберёт. А поскольку мама говорила, что они купили его младенчиком в «Доме быта» (бог знает, почему именно там), Петька поверил ещё сильнее, заревел в голос и убежал домой.

— Ну и дурак, — расстроился Витя. Он стал соображать, кому бы ещё поведать свою новость, но, кажется, на Петьке адресаты его кончились. Не бежать же, в самом деле, к шофёру Иван Санычу, который давал им поиграть своими инструментами, пока он лежит на брезенте под казённым уязиком...

Дома тем временем свершалось небывалое. Отец носился трезвый, пропадая на двух работах и трёх приработках. Мать всё что-то шила, считала, мыла, перекладывала. Предметы в их однокомнатной халупе с ободранной печью посередине меняли свои привычные места так часто, что, казалось, некий непоседливый дух решил окончательно запутать её обитателей. Только сестра, будучи совершенным ещё младенцем, не принимала никакого участия в общей суматохе.

Эти дни конца августа Витя проводил во дворах, обследуя снова и снова уже знакомые тропки и закоулки. Мемешка и Хряк, вернувшийся в их банду от скуки и из вредности, участвовали во всех его проделках. Главным открытием этого лета стала, конечно, отгибающаяся доска на торце одной из бревенчатых сараек, благодаря чему можно было пролезть через узенькую щель прямо на чердак развалюхи, а там — боже правый! — отверзались врата детской сокровищницы!

Сломанное радио, битая посуда, газеты времён XX съезда и даже культа личности, провода всех расцветок и видов, включая плетёные в косичку с блестящими колокольчиками на концах. Но главное, на чердаке была мебель: колченогий табуретик, шаткая полка и целое сиденье от автомобиля — пусть и с драной обивкой, но поролон в сохранности! В нём так приятно сидеть, покачиваясь и представляя себя за рулём. Ах, если б найти ещё и руль! Но это, ребята понимали, было уж слишком. В общем, то был предел мечтаний пацана — настоящий Штаб!

Здесь рождались идеи проделок, здесь Мемешка рассказывал душераздирающие истории про мальчика без лёгких и красное печенье из мозгов, отсюда происходила всё лето их лихая пацаньячья жизнь. Набегавшись в сифу до красной рожи, троица неприметно протиснулась в заветную щель (Петьке-Хряку это давалось, прямо скажем, непросто). В приятном древесном полумраке чердачка пахло пылью и чем-то сладковатым. Обычно мягкое сиденье занимал Мемешка, теперь он безотчётно уступил его Вите, словно чувствуя: дружок скоро уедет, и напоследок надо оказать ему эту почесть.

Снаружи слышались шаркающие шаги — это дед Петровкин пошёл в сарайку. Подглядывали пацаны прямо с чердака через дырки в рубероиде, проделанные пальцами. Вот седая шапка волос над козырьком крыши, забренчал замок. В валенках даже в жару, мучимый давлением, газами и глухотой, дед Петровкин давно и основательно готовился на тот свет, но никак не мог отойти. В сарайке он хранил свой гроб, крепко сложенный впрок лет пятнадцать назад. В гробу от нехватки места он складывал разные соленья, а в зимние морозы — мясо. Мемешка повернулся к ребятам и с заговорщицким смехом прошептал:

— У меня есть план!

2.

Марта Евгеньевна, бабушка Миши Мешкова, с утра была в заботах. Обычный уклад сменился суетой из-за вчерашней телеграммы: Пётр Иванович Березин всё-таки обещал прибыть на пару дней. «Приеду открытие памятника. Забронировал гостиницу», — скупое сообщил он. Без устали и без толку Марта Евгеньевна прибирала уже прибранное, переставляла вещи с места на место, ломала пальцы и дышала тяжело. Пётр Иванович занял её мысли.

— Вы понимаете, что это за человек? — говорила она на медни богомолке Рите, встреченной во дворе. — Это чудесная личность, вот что! Вам обязательно нужно его увидеть. Мы три года состоим в переписке. Это невероятно интересная личность!

Она говорила, не замечая собственного волнения. Рита же, полусонная и всегда слегка удивлённая на всю окружающую жизнь, жала плечами, робко улыбалась и обещала зайти. Так обычный день стал необычным, порядок покосился, самый воздух стал иного свойства.

— Это ведь что получается? — вопрошала она себя. — Это уж целое дело — гости!

«Гости» — значит: угощение, чай, отоварить талоны на сахар, достать постное масло, занять муки, всё прибрать. Конечно, приборка условная, Марта Евгеньевна и так не терпела грязи, и даже стекло в окне их обиталища было мыто дважды в месяц. Когда внук Мемешка ленился и ворчал на бесконечное мытьё, бабушка строго обрывала его загадочной фразой:

— Мой руки! Свинка ходит по городу!

Тут могла быть любая немочь, но именно угроза невообразимой детским умом «свинки», которая есть и существо, и зараза — производила злое действие. Устрашённый Мемешка послушно шёл в кухню оттирать с коленок чердачную сажу.

Отстояв часовую очередь в 48-м гастрономе на Можайского, Марта Евгеньевна добыла сахару и даже разорилась на сушки с маком, ссохшиеся в камень. В очереди бабы с завокзальных дворов, как всегда, ругали всё подряд: окружающих, ближних и дальних, а особо приезжих — общее мнение было: *они* наезжают намеренно днём отоваривать дефицит, пока народ торчит на работе. Марта почти не слушала, но на слове «приезжий» невольно вскинулась, будто лишь теперь вспомнив, зачем ей сахар.

Плохо спала, те же мысли и сны, что и каждую осень. С годами не легче. Сама не понимая почему, она смотрела на встречу с Петром Ивановичем как на какой-то знак, будто что-то сдвинется теперь не то в жизни, не то в душе. В осколке зеркала на кухне она рассматривала свою седину, потускневшие, изрезанные морщинами щёки, всю свою долго не востребованную красоту, от которой теперь осталось так мало.

— Это нечестно. Это ужасно нечестно, — вздохнула Марта и принялась раскатывать скалкой кругляш теста. Она привыкла, что ей «пятьдесят с чем-то», и грядущий юбилей

казался чем-то посторонним, вроде бы назначенным не ей. Казался до этого дня и до этого чёртова зеркала. Словно лишь сейчас, нервно и размашисто раскатывая будущий пирог, она поняла, сколько ей лет.

— Уберу зеркало вовсе, не на что там смотреть,— прошептала она.

Меж тем Пётр Иванович ожидался к двум пополудни. Но вот уж за четверть третьего, а его всё нет. Надо было, пожалуй, встретить, хоть он и отказался, когда она звонила ему в Ленинград по рабочей линии из депо. Что же делать? А делать нечего. Сухие пальцы Марты перебегали беспечно с предмета на предмет: солонки, скатерть, эстонские баночки с крупами, потемневшее радио с утраченной ручкой громкости, спинка стула, снова солонка... Она будто очерчивала руками в воздухе круг-оберег, пока не застыла у окна, замкнув руки крестом. Её узкое изящное тело, окутанное шалью и увенчанное узлом пепельных волос, застыло в краткой успокоенности, но глаза, обращённые во двор через прозрачное свежавымытое стекло,— глаза были готовы повлажнеть.

Письма Петра Ивановича казались естественной частью жизни, странно было представить время, когда их не было, когда не с кем было поделиться страхами прошлого, ночным отчаянием. А она ведь и не знала, как он выглядит. Только на второй год ей пришлось в голову, что этот мужчина, ребёнком, как и она, переживший блокаду, может иметь какую-то мужскую внешность. Но попросить снимок Марта не решилась, оставив эту подробность на потом, за скобками.

Архивист и, как он сам себя звал, *столовый писатель* (пишущий в стол), Березин нашёл её через местных студентов-историков в списках эвакуированных. Он переписывался с десятками очевидцев блокады, но отчего-то только в общении с Мартой явилась живая материя родства, будто они знали друг друга в том, никогда не бывшем общем довоенном детстве, в том Ленинграде, которого не было. Сейчас, перед открытием памятника блокадникам, умершим в Вологде, он решил приехать и повидать Марту. Его сутулая фигура скорым шагом приближалась к ней сквозь лопухи двора, огибая поленницу и ржавый остов прицепа. Сощураясь, Марта различила его строгие глаза и седоватые усы подковой.

Спустя полчаса их очное знакомство состоялось вполне. Марта налила Петру Ивановичу чаю, нарезала пирог, а гость, разложив из портфеля по столу шуршащие листы маши-

нописи, излагал ей план книги о судьбах эвакуированных. Его ровный низкий голос звучал непривычно громко, но Марта понемногу привыкла. «В принципе, довольно обычный мужчина, даже и не очень старый, смотрится получше меня»,— решила она.

— Хотя что я всё про себя,— остановился он.— Расскажите про вас. Как вы в последние дни? Вы писали, что вам тяжело. Отчего же? Снова всё то?

— Да нового, слава богу, ничего,— пожала плечами Марта, опуская глаза под его внимательным взглядом.— И прежних недугов хватает. Годы приносят слишком много оттуда, из прошлого. Я меньше стала замечать, что творится кругом, но до мелочей всплывает, что было в войну. Я всё думаю: зачем природа тратит столько сил, столько живых клеток на память? Неужели нам это так нужно, помнить всю боль, которая была?

— Но вы же ведь... верите в Бога...— негромко сказал Березин, то ли утверждая, то ли вопрошая, и тут же сам замешался от прямоты своего вопроса. Он глядел на ручку чайной чашки с размашистыми маками, двигал её из стороны в сторону, будто перебирая меж пальцев горячий предмет.

— Да, верю,— ясно ответила Марта и впервые без стеснения посмотрела ему прямо в лицо.— Хотя так было не всегда. Я даже помню, когда поверила. Это было там, в вагоне, где мальчик... Ну, вы помните, я вам писала...

Марта почувствовала, что ей легче обмениваться с ним записками, чем вот так заново проговаривать уже однажды написанное. Им, достигшим доверия на бумаге, опять предстояло трудное восхождение — откровенность речи. Новый чужой человек сидел перед ней, пил чай, сдержанно улыбался, перебирал листы тонкими белыми пальцами. Ей нужно время, чтобы привыкнуть, поверить, что это тот самый, писавший ей три года кряду.

— Да что ж я! Я же гостинцы привёз,— Пётр Иванович неловко всплеснул руками и засуетился с застёжками портфеля.— Уж чем богат. Это вот, с фабрики Крупской, пожалуйста. Это вам.

Он протянул ей красивую коробку, и Марта немного смешалась. В городе давно было не достать таких конфет, даже по талонам. Ей хотелось оставить их внуку, но приличие требовало открыть немедленно. Она вертела коробку в нерешительности.

— Вы приберите на Новый год, это хорошие конфеты,— улыбнулся гость, поняв её смятение.— У нас на подотдел по

распродаже дали три коробки на семерых. Хотели в карты разыграть, но колоды не нашлось. Пришлось спички тянуть. Как видите, моя вышла короткая.

— Да, я вижу, в Ленинграде, как и всюду, дела совсем нехороши... Спасибо вам, спасибо...— задумчиво пробормотала Марта. Краснея, она отложила нераспечатанную коробку в сторону, но так, чтобы было видно: она всегда готова её открыть. Ей пришло в голову, что конфеты — это «мужской подарок», больше, чем любезность, и оттого стало ещё стыднее. Кровь прибила к вискам. Она вскочила, затараторила, засуетилась, подливая чаю, придвигая ему сахарницу, облепиховый сироп и окаменелые сушки.

Впрочем, гость не подал виду, что заметил её чувства. Он долго шарил на дне портфеля, отыскивая что-то, у Марты обернуло внутри: «Неужто вино?» Она и ждала такого поворота, и боялась. Но после краткой заминки Пётр Иванович вытащил конвертик, а в нём была маленькая круглая заколка с синей эмалью и серебряным образом святого Владимира. По канту бежала витая надпись: «Тысячелетие крещения Руси». Марта любовалась вещицей, вертела в руках, и не верилось: советский значок, а на нём — святой.

— Много стало можно, чего было нельзя,— сказал гость. Ей показалось, он прочёл её мысли, но Марта вспомнила: в одном письме они как раз обсуждали это.— Такие заколки прямо у «гостинки» с лотков продают. И это не кустари, фабричная вещь.

Они ещё некоторое время говорили о незначущем, но на самом деле. Пётр Иванович рассказывал ей снова и в красках историю, уже поведанную в письмах, о том, как их отдел спасал книги, повреждённые при пожаре в Академии наук.

— У меня сушились старые книги, выданные под расписку. В квартире парило, как в теплице, но форточки открывать боялись — чтоб не поморозить бумагу. Говорили, что академики чуть ли не сами зажгли, чтоб скрыть воровство. Но я не верю, не такой народ в Ленинграде. Даже взятое на просушку вернули полностью, ничего не пропало.

Она кивала, рассматривая исподтишка его лицо с красными прожилками сосудов, чёрную водолазку на манер Леонида Филатова, подёрнутую пеплом седины щётку коротких волос. И ведь он был младше неё, а уже при пороге старости. Как же это случилось? Ведь казалось по молодости, полная чаша песка времени у тебя: сей, бросай, жги его — краю и конца не будет жизни. Даже после блокадной зимы знала она: нескон-

чаемый простор бежит под ногами, будет горько и трудно, но с годами «всё поправится», «всё придёт». И вот он, скакавший мальчонкой по двору, когда она уж кончала школу, вот он сидит перед ней, седой и серьёзный, скинув твидовый пиджачок на спинку стула. Сидит и всё понимает.

— У меня к вам, кстати, просьба,— прервала его Марта.— Это, конечно, если вам не сложно. Я писала вкратце в письме об одной женщине, очень набожной... Она скоро должна зайти, я её пригласила сегодня, если вы не...

— Ах это,— кивнул он.— Вы упомянули мельком, но всей истории я не знаю. Чем же я могу помочь? В чём её дело?

3.

Историю Риты, которую за глаза звали «богомолкой», не просто дать в двух словах. Да и не всё было известно Марте Евгеньевне в этом тёмном деле. В иные времена Риту сочли бы «блаженной», а советским врачам она была неинтересна, поскольку вела жизнь незаметную и тихую, выбираясь нынче только в локомотивное депо, где мыла полы, да в церковь за Горбатый мост.

Когда-то давно Рита, простая деревенская девушка, была молода и в полном уме. Ещё до войны она удачно вышла за красивого офицера Ваню Симонова, но ни пожить, ни детей нажить не успели — мужа угнали на фронт. Там он и пропал без вести в сорок втором году.

И тут случилось с Ритой что-то не то. Сперва она сидела в их московской квартире, никуда не выходя, порвав все связи и знакомства. Обрезала звонок, занавесила окна, при встрече молчала, словно мучительно придумывая, что ей ответить на такой удар судьбы. Дом и работа диспетчером на заводе составили её добровольную тюрьму. Народ поговаривал: мужа не убили, а посадили,— и оттого круг знакомых только редел. Кто и где дал ей Евангелие, откуда у Риты взялись иконы — об этом она никогда не упоминала, но цель своей жизни всегда и всем поясняя так:

— Явилось мне, Ваню моего надобно отомолить,— говорила Рита, странно улыбаясь кому-то невидимому.— Лежит он в земле, годует один, некрещённый. А с молитвой ему мягче будет. Иисус меня живую и оставил, чтоб за Ваню молить, чтоб его и босого, без креста в рай взяли. Вот так.

Что было советским людям ответить Рите? Друзья считали, что она тихо сошла с ума. Пересуды усилились, когда

выяснилось, что к отношениям с Иисусом богомолка Рита подходит с поистине безумной рассудительностью.

— Коли Богу копеечку подашь, то и он подаст,— утверждала Рита, хитро улыбаясь.— У Бога всё наперечёт: большая дача, большая и отдача.

Родных у неё в живых не было, и осталась она один на один со своей целью. Продав всё «лишнее» из дома, включая почти всю одежду, мебель, посуду и прочую утварь, она поделила деньги на кучки, рассовала в конвертики и стала носить их по церквям и заказывать священникам вечный помин Ваниной души. При такой «экономике» сбережения быстро кончились, но Риту это не остановило: разменяв квартиру с доплатой на Подмоскovie, богомолка снова наполнила конверты и все свои выходные тратила на разъезды в электричках и пешие походы в поисках новых мест для пожертвований.

— Господь всё видит: мне хлопоты, а Ване прибыток,— говорила она, аккуратно разглаживая мятую наличность с профилем Ленина. Подобно Госплану, она рачительно распределяла деньги так, чтобы не остаться на мели и всегда поддерживать огонь своей странной набожности. Вокруг гремели съезды, сменялись генсеки, досрочно воздвигались плотины и коровники, а Рита всё молила и молила Бога упокоить лейтенанта Симонова, всякий раз вкладывая в картонный ящик для пожертвований копеечку, а то и рублик, как залог доставки своей мольбы. Регулярные размены жилья на всё более удалённые от столицы города позволяли ей пополнять благотворительную казну.

Так она перемещалась по свету, пока не разменяла последнее скромное жилище на крошечную комнатку в железнодорожном общежитии в Вологде. Однажды летним днём в начале восьмидесятых Рита, уже совсем седая, первый раз прошла по переулку с маленьким самошвейным баулом за плечами, где лежал её нехитрый скарб: несколько плошек, алюминиевые приборы, смена ветхого белья, иголка с нитками да потрёпанная половина Евангелия, зачитанная до масляных корост.

Сперва никто не обратил на неё внимания. Мало ли чудачков ходит по свету, а уж в вокзальном краю насмотрелись всяких. Но по осени её недуг обострялся, требуя какого-то яркого выражения. Рита могла посреди дороги молча пасть оземь в лопухи и молиться истово, никого не видя вокруг. Местные пугались, потом смеялись, а позже привыкли к богомолке и даже не обходили её стороной. Участковый Василий

Наумович для порядку сходил к Рите, строго всё осмотрел, но проверка жилища ничего крамольного не выявила, что и было занесено в протокол. На том и успокоились.

— Вы знаете, Пётр Иванович, мне её жалко,— объясняла Марта.— Не то чтобы мы с ней сильно сдружились, но она позволяет мне с ней говорить и оказывать ей некоторое шефство. Бывает, я и едой помогу, и талоны её отоварю. Во всём, кроме своих фантазий, она беспомощна. Всё-таки народ у нас хоть и не злой, но и дружить с Ритой никто не хочет. И вот, представьте, совсем недавно...

В дверь позвонили, и Марта Евгеньевна прервалась. На пороге стояла сама богомолка в линялом безразмерном то ли халате, то ли платье. Лицо её изображало обычную растерянность и лёгкое изумление, глаза внимательно ходили из стороны в сторону, но ни на чём особенно не задерживались. Даже присутствие чужого мужчины в доме, кажется, не произвело на блаженную никакого впечатления. Она сняла калоши, проследовала на кухню и чинно заняла место за столом, будто тут, кроме неё, никого и не было.

— Рита, дорогая, попей чайку,— сказала Марта негромко и ласково, как обычно говорят с больными.— Это товарищ Березин из Ленинграда. Он верующий, даже митрополита знает.

При слове «митрополит» Рита оживилась, слегка напугав Березина. Она повернулась к нему и улыбнулась натужной кукольной улыбкой.

— Ничего, ничего...— сказала Марта вполголоса.— Значит, вы ей симпатичны.

Пётр Иванович растерянно улыбался, не зная, радоваться или нет, оттого что понравился сумасшедшей нищенке.

— Митрополит хороший,— молвила блаженная.— Он у Бога на запятках. Служит ему и чай подаёт.

— Да, да, вот чаю как раз и попей,— поддакнула ей Марта и, обратившись к Березину, продолжала вполголоса.— У неё трудная пора. Осень на носу, вот она и волнуется. И по обмолвкам я уж поняла, что подходит её «казна» к концу. Так вот она задумала продать последнее и остаться на улице. Может быть, вы поможете мне её переубедить. Куда она пойдёт? В церкви жить нельзя, да и заберут её без прописки. Так и до тюрьмы дойдёт...

Богомолка равнодушно постукивала по столу грязными ногтями, будто сказанное до неё не касалось. Весь её торжественный нелепый вид выражал готовность к духовному подвигу, в какую бы сумму он ей ни обошёлся.

— Да... Тяжёлый случай,— задумчиво протянул Березин и повернулся к Рите, меняя голос.— Дорогая Рита, расскажите, как у вас дела?

Та, помолчав, спокойно отвечала:

— Делов у меня много. Само перво — комнату продам. Меня в скит возьмут. Ване прибыль, а Богу слава.

Она была всё так же невозмутима и даже, казалось, не очень-то понимала, почему очевидное для неё было так загадочно для других.

— А отчего ж вы думаете, что Богу деньги ваши нужны, а не молитва? Ведь на том свете денег нет, это всё людское, здешнее,— Березин старался быть убедительным, хотя и не вполне верил в успех.

— Бог не из соломы делан. Ему дом нужен, церква. Она как тело ему, а тело кормить надо. Коли Бога не кормить, он худо нам будет делать. Всё кругом на деньгах, весь коммунизм, и Бог на деньгах тоже,— упорно твердила Рита.

— Но Христос говорил другое: кесарю кесарево, а Богу Богово. Царствие Его не от мира сего,— возражал гость.

Марта наблюдала за их беседой, но теперь ей казалось, что надежда на благотворность встречи Риты с её гостем была напрасной. Богомолка была невозмутима, как если б говорила со стеной.

— В том царствии свои порядки, а на земле надо о теле подумать. Бог только целым является, а не частями. Его кормить надо. Мне от Него недавно сон был, так что я знаю, чего делаю,— Рита усмехнулась, припивая чаю, и в этот момент Березину даже показалось, что она над ним издевается.

— Что же было в этом сне, Рита? — спросил он.

— Сказано, недолго мне радеть. Вот комнату продам, и Ваня ко мне придёт...

На этом месте поперхнулась даже Марта Евгеньевна, уже привычная к странным заявлениям блаженной.

— Как это «придёт»? — спросила она.

— А вот так,— сказала Рита и залихватски щёлкнула пальцами.— Доплачу рублей сто, и мне его доставят. Поют же в церквах «сущим во гробех живот даровал». Вот и мне — немного доплатить, помолить, и дело готово. Оживят мне Ваню, теперь уж это ясно, как пить дать.

Марта и Березин переглядывались молча, так как богомолка явно не поддавалась на уговоры, и грядущая бездомность была для неё самой уже делом решённым. Более того, новая морока напознала на прежнюю.

Разговор закис, хозяйка взялась мыть чашки и уж хотела было предложить Петру Ивановичу прогуляться, как в дверь постучали. На площадке бабушка Марта обнаружила не внука Мишу, а соседского мальчишку Петю Узлова, сына обходчика. Грязным кулаком он тёр глаз, ничего не говорил и только хныкал.

— Что с тобой, Петя? — спрашивала Мишина бабушка. — И где остальные ребята? Что-то случилось? Тебя обидели?

— Я боюсь сказать... — прохныкал Петька-Хряк и совсем разнюнился. Из носа его пузырями лезли сопли, а лицо скорчилось в жалостную мину.

— Да что такое? Говори сейчас же! — всполошилась Марта Евгеньевна.

— Они там с Витькооой... — говорил Хряк, подвывая. — Они с Витькооой в гробу лежаааат...

Сердце у неё упало в пятки.

4.

Переполох в переулке потом смаковали не один день, допняя случившееся смехотворными подробностями. В общем же, сюжет выглядел так. Мальчишки Витя и Миша с чердака увидели деда Петровкина: он отворял сарайку, дабы взять из гроба банку помидоров. С ней он пошёл в дом, не прикрыв за собою двери. Мальчишки решили подшутить над Петровкиным и, пока он не видит, залезть в гроб и выпрыгнуть оттуда при приближении хозяина. Им представлялось, что это должно позабавить старика. Да только вышло всё иначе: дед не глядя запер сарай снаружи, а по глухоте не заметил ни стука, ни криков из-за двери. Он преспокойно ушёл, оставив незадачливых шутников в их узилище.

За этой комедией наблюдал из ближайших кустов их дружок Петька. Он заробел лезть в сарай с товарищами, но и догнать старого хрыча и спасти их ему тоже было страшно. Он сидел в траве на корточках, обминая коленки, с ужасом представляя, что Мемешку и Витьку навечно заперли в тёмном гробу. Петька ходил кругами, заглядывал к ним в щелочку, плакал, утирался и снова плакал. Пленники тоже не могли придумать никакого способа вызволения, и оба в голос заревели в сырой темноте сарая. Как на грех, ни единой души в этот час не проходило мимо, слёзные жалобы хулиганов слышали только они сами.

— А если отца твоего позвать? — спросил Мемешка собрата по несчастью.

— Нее, отец на гаражах сейчас, а придёт — так выпорот. Это у него быстро, — рассудил Витя. — Давай лучше твою бабушку звать. Она строгая, но добрая. И ремня у ней нет, она в юбке ходит.

Последний довод был решающим, да только как звать? Покричали из-за двери, но без толку — взрослых никого. Пришлось уговаривать ревушего Петьку-Хряка выступить парламентом.

Вызывать их явилась целая делегация. Мишка разглядывал их в щелочку, чувствуя облегчение и одновременно тревогу от грядущей взбучки: вот бабушка Марта Евгеньевна, с ней богомолка, какой-то чужой мужик в пиджаке. Сперва как следует отчитали мальчишек через дверь, так что те уж были и не рады, что скоро отворят и неминуемое наказание падёт на их головы. Марта велела ждать и пошла за Петровкиным. Её долго не было — видно, глухой не слышал стука или спал.

— Вот шпана, ёлки-палки, — ругался дед, чмокая вставными челюстями и гремя замком. — Чего им в моём гробу? Что за интерес? А?

Последний возглас он обратил в открытую дверь к схваченным на месте шалунам. Бабушка Марта хотела было их отчитать, но постеснялась при госте из Ленинграда. Ей хотелось поскорей кончить с этим досадным случаем. Она долго и прямо посмотрела на Мишку, отчего тот сжался и потупил глаза.

— Вы, молодой человек, нынче наказаны. Марш домой! И бегом, чтоб пятки сверкали! — сказала она самым грозным голосом, на какой была способна.

Мемешка поспешил выполнить приказание, а вслед за ним утёк и Непейко, переживавший теперь, выдадут его родителям или нет. Он знал, что отец — не чужая бабушка, на нём брюки с ремнём.

— Детей надо учить, пока поперёк лавки лежат! — буркнул недовольный дед. — А то ишь, от горшка вершок, а туда же — портить имущество!

— Вы уж простите их, это всё от неразумия, дети ведь, — оправдывалась за своего и чужого бабушка Марта. — Проверьте, ведь внутри всё цело.

— А вот я посмотрю, уж я посмотрю... — ворчал дед. — Додумались, по чужим гробам шариться. Свои заведите да и валяйтесь сколько влезет.

Шалуны боялись в темноте пошевелиться, так что все припасы Петровкина остались в неприкосновенности. Заглянула в сарайку и богомолка Рита, её лицо просветлело, она указала пальцем на дедову домовину и с нелепым апломбом заявила:

— Сущим во гробех живот даровал!

Марта и Березин переглянулись. Обоим стало ужасно досадно: время утекает, а им ещё так много хотелось сказать и услышать.

— Давайте в дом,— предложила она.— Я моего гаврика намою и накормлю, а там и прогуляемся. По городу вряд ли успеем, но хоть у вокзала вас повожу. Там есть пара мест, что я хотела показать.

Дома Мишка был посажен в корыто с мыльной водой и принужден на сей раз тереться мочалкой самостоятельно. Пока он пытался справиться с этой новой задачей, Марта Евгеньевна застыла в задумчивости. Ленинградский гость остался на улице выкурить папиросу, а она всё прокручивала сказанное и не сказанное ими сегодня. Что-то тревожило её сердце, тянуло. Это чувство было даже смутно знакомым, словно испытанным когда-то в юности, но совсем несуразным теперь. Она рассматривала плещущегося в мыле шалунавнука, ей было и радостно, и страшно за него. Маленькое существо, крошечный мужчина, он начинал всё сначала прямо у неё на глазах, не имея никакого представления о мире. Его тонкие мыльные ручонки неловко обращались с предметами, ещё столькому им нужно было учиться. Что если вышней волей поместился бы в нём с рождения хотя б её, Марты, жизненный опыт, не самый выдающийся, но весомый? Как бы смотрело дитя на наш мир, зная всё это? Да и стало ли бы жить в таком скверном месте, где всё нужное всегда опаздывает и только беды и немочи приходят ровно в свой час? Как давать им, шалунам, жизнь, если жизнь такова?

— Ты давай-ка не филонь, сударь мой,— заметила она.— Три под мышкой от души, чтобы сверкало всё. По всем грязям, по всем чердакам увозился сегодня. Чего вас в чужой сарай понесло?

Мишка супился и молчал. Он знал, что у бабушки гости. Сегодня она не будет долго отчитывать, а может, и сразу простит, как бывало не раз. А Марта корила себя, но всё равно жалела шалуна. После купания провинившийся был оставлен дома со строгим наказом: из дому не выходить и вести себя ниже травы.

Пётр Иванович докуривал вторую папиросу, ожидая Марту. Он припоминал свой вчерашний путь сюда: плывущие в окне топи и заросли, скрипучие товарняки и неказистые полустанки, возникающие гроздьями фонарей посреди беспросветных сосновых боров. Странно представить: немецкие танки прошли здесь на восток, потом наши — на запад, одни умершие победили других, выжившие вернулись обживать разорённое — и с тех пор ничего в лесу не поменялось. По просекам кустился малинник, одни грибы поспевали вослед другим, звери шли своими тропами, обходя людское жильё. И всё то же самое, только покрытое снегом, видел в узком окошке вагона его младший брат Илюша, не доехавший до ярославского эвакогоспиталя. Эти уютные полянки, бурые пеньки, молочноватые берёзки в руку толщиной — все они проплывали мимо, а маленькое неказистое тельце брата покачивалось, убаюкано последним сном.

Вологодские студенты попросили Березина помочь в розысках документов. Он нашёл сотни имён, фотокарточек, дат, и всякий раз окатывало холодком от казённого слова «неизвестный» — словно зияющий прочерк на месте чьей-то жизни. Раскапывая сводки за 1942 год, Пётр Иванович так и не нашёл, где и когда тело брата сняли с эшелона и отвезли в общую яму вместе с десятками других. Бабаево? Череповец? Чагода? До последнего он надеялся: имя найдётся, будто Илюше задним числом прибавится пара минут жизни. Самого Петра Ивановича, тогда ещё Петрушу, родители оставили с собой в Ленинграде из-за слабости: боялись, не доедет. Тётя Лариса и Илюша умерли в дороге, мать с отцом накрыло у Невы обстрелом. Петруша пережил всех.

Утром на перроне он вспомнил слова одной блокадницы: «Нас спасли на красном вокзале. Не помню город, но там был красный вокзал, и там давали поесть». Станция «Вологда-1» была всё того же цвета, и кто знает, если бы брат мог дотянуть, дотерпеть до вот этого красного вокзала... Если бы все они дотерпели...

— Вы тут не заждались? — спросила Марта, торопливо выходя из подъезда.

— Да нет, всё в порядке, — ответил он. — У вас хорошие места, приятно побыть в тишине после Ленинграда.

— Это верно. Вы же знаете, я не смогла вернуться, осталась здесь. Глядеть на город после войны было невыносимо.

— Помню, конечно. Вам, кстати, спасибо за интересное знакомство. Я имею в виду Риту. Мне бы данные переписать, мы с товарищами поищем по архивам о её муже. Будь у неё бумага с подтверждением, она бы, глядишь, прекратила это своё самобичевание.

— Вы очень правы! — восхитилась Марта. — Я знаю только, что по паспорту она Симонова, а прочее я спрошу. Я ведаю! А вы знаете...

— Что?

Марта посмотрела на него, сомневаясь. Хорошо ли то, что она придумала?

— А может, мы ей просто бумагу сочиним? С печатью, якобы от архива. Мол, так и так, по вновь установленным данным... Чтоб она успокоилась.

— Ну, это в некотором роде подлог... — усмехнулся он. — Хотя идея хорошая. Я бы мог Георгию Ивановичу объяснить, что да как. Психиатры ведь обманывают больных, в лечебных целях, так сказать.

— Вы такой... — Марта Евгеньевна не успела подобрать слово и осеклась, покраснев. — Вы такой молодец! Да что я, собственно, вас всё заботами нагружаю. Пойдёмте лучше, я вам мои места здешние покажу. Не обессудьте, недавно дождичек прошёл, придётся осторожно пробираться. Переулок старый, асфальта сроду не было. Машину щёбня вот высыпали, но не шибко помогло.

Впрочем, Марта Евгеньевна извинялась напрасно. В эту позднюю летнюю пору переулок Космонавтов был прекрасен. Придет в мясистую зелень и жёлтый августовский свет, украшен облачной мякотью и бархатной синевой, это был заповедник тишины неподалёку от железной дороги и проезжей улицы. Здесь не было прямых углов, мостовая от тротуара отличалась тем, что одна была разъезжена, а второй утоптан. Невесть кем посаженные дикие яблони соседствовали с крыжовником, его развела в тенистом палисаднике жена татарина, грузчика из овощного магазина. Детские игрушки лежали без присмотра в песочнице, никем не тронутые. Если и было где-то спокойно в эту минуту, то именно здесь.

— Здесь, наверное, все друг друга знают? — спросил Пётр Иванович.

— Я бы сказала, слишком хорошо знают, — усмехнулась Марта. — Кто пошустрей, разъехались. Остался народ степенный, оседлый. Всем до всех дело есть.

Они шли дворами через лопухи и кустарники, то и дело обходя по шатким мосткам развешанное бельё. Обогнув

общагу, Марта вела своего гостя к железной дороге. Пересекали шумную улицу и свернули в узкий проезд за ряды потемневших деповских бараков. Она не ходила этой дорогой лет двадцать, но помнила каждый поворот. Наконец вышли к путям на пустынную площадку.

— Слышите, там, за рядами вагонов? — сказала Марта. — Там станция, а мы с другой стороны. Эту платформу называли «воинской», с неё ребят на фронт отправляли. Сюда же, на шестой путь, подавали составы эвакуированных. В самый дальний ряд, в целях какой-то непонятной секретности. Приходилось четыре линии под вагонами лезть за кипятком.

Березин смотрел и не верилось: так буднично выглядит всё, о чём Марта писала ему раньше. Обычный крошащийся бетон, ржавые рельсы поверх тёмных от смазки шпал. Было видно, платформой давно не пользуются: щелястые плиты поросли мхом, а кое-где и тонкими побегами деревьев. Снова разговор перешёл на прошлое. Оно жило в них долгие годы отдельным существом: болело, затихало, вновь начинало шевелиться, без спросу и против воли.

— Одного мальчика с Ропшинской родители пристроили в самолёте, с грузами института Арктики, — рассказывала Марта. — Мы ему так завидовали. Но не оттого, что на самолёте. Мы знали, у лётчиков гущёнка в пайке. Ведь ясно, что лётчики добрые, они угостят.

— Вы это обсуждали по пути из Ленинграда?

— Больше молчали. Если говорили, то о еде или о нехватке чего-то. Когда по Ладоге машинами везли, вообще никто не пикнул. Только в конце один закричал: «Люди! Люди на берегу!» Я смотрю, озеро в сушу плавно переходит, снег и снег. А вдали будто тюлени или чайки. Чёрные точки, и так сильно галдят. Это люди. Уж думали всё, спаслись...

Но и на берегу Марте спасения не было. Эвакуированных не успевали кормить, больных грузили со здоровыми, в спешке совали детям съестное. Только мёртвые оставались невозмутимо недвижны. Их, как отслужившие предметы, складывали на берегу почернелые от усталости сандружинницы. Сопровождавшая Марту и других детей дородная тётка слегла от тифа, потому в эшелон их посадили последними.

— Достался худой дырявый вагон, — рассказывала Марта. — Буржуйка еле дышит, на растопку дали сырой осины. В феврале сорок второго ещё не было турной езды, когда бригады ведут эшелон посменно. Вот и шли еле-еле.

— Бригады ни при чём, Марта Евгеньевна,— перебил Березин.— Немец шёл на Москву, подвижной состав отогнали на север, и СЖД застряла без движения. Мы выкопали бумаги: в наркомате шли бесконечные совещания, никто не решался вмешаться, пока Кагановича не сняли.

Марте Евгеньевне было странно слушать такое. Она ещё не привыкла, что времена стали мягче, что работник архива, почти партийный, хоть и верующий, может позволять себе такие слова о бывших наркомах.

— Мы этого не знали. Просто шли очень медленно, километров по пятьдесят за сутки. Потеряли счёт дням. Казалось, ночь идёт бесконечно, ведь свечи нам только в Бабаево дали, а так сидели в темноте. Помню, проснёшься, и боишься дышать — метронома не слышно. Где я? Почему не в Ленинграде? Вдруг я уже умерла?

Она при этих словах обернулась к Петру Ивановичу, и на миг в её взгляде искрой проскочил страх. Она не понимала, отчего ей сейчас нужно было опять рассказывать ему свою историю, уже изложенную в письме, зачем идти в этот тихий предзакатный час на заброшенную платформу, стоять здесь на замасленном бетоне, кому нужно бесконечно вызывать эти страшные тени?

— Может быть, так и есть...— сказала она.

— Что так и есть?..

— Может быть, я почти вся и умерла тогда,— Марта в этот миг была даже спокойна, и в этом её спокойствии было что-то нечеловечески красивое.— Потом вьюга, в заносах четыре эшелона встали. Мы сидели в холоде, без еды, без света, без воды. Мы ждали смерть.

Оба они замолчали, прислушиваясь к дальним гудкам тепловозов. Мерная людская жизнь шумела вокруг. На станции объявляли прибытие, писклявый голос диспетчера разносился смешным эхом по округе. Грузчики на почтовом перроне грохотали тележками, переругиваясь меж собой, а ещё дальше, на площади, гремели рогами троллейбусы. У Марты Евгеньевны задрожали ресницы, по щеке побежала сорвавшаяся капля.

— Не надо. Давайте пойдём,— сказал Пётр Иванович тем же голосом, каким давеча говорил с богомолкой Ритой. Он приобнял Марту за плечо. Завтра предстоял трудный день. Августовское небо холодело над их головами, а в нём уже иголочками проступали тонкие северные звёзды, каких никогда не увидишь, кроме этой поздней поры.

Мишка никак не мог уснуть. Бабушка вернулась домой рассеянная, даже не спросила, как обычно, почистил ли он зубы перед сном. Стояла у кухонного окошечка, смотрела в темноту и странно шевелила губами, словно разговаривая с кем-то невидимым.

— А это что ты делаешь? — не выдержал любопытный Миша. Босой, в одних трусиках, он топтался в дверях. Марта Евгеньевна вздрогнула от неожиданности.

— Ты чего не спишь? — спросила она, но не строго, скорее, устало.

— Я хотел спросить, с кем ты говоришь.

Она несколько замаялась.

— С Богом говорю, Миша. Это молитва. Так бабушки делают.

— А Бог это кто? Это как у Риты?

Внук зябко поёживался, но не уходил, ожидая ответа.

— Сколько вопросов, сударь мой, — улыбнулась она. — Иди-ка ты спать. Завтра рано вставать. Выспишься, тогда и про Бога расскажу.

— Идёт, — согласился Миша.

Но ему всё равно не спалось. Станный посторонний тип в квартире, теперь вот ещё Бог — слишком много нового в один день. Зачем бабушка разговаривает с окном? Сошла с ума? Мишка знал про сумасшедших и даже видел их, ту же Риту за глаза называли «того». Мать Мишкина умерла при родах, отец куда-то запропастился, и потерять бабушку казалось делом немыслимым. Он не хотел себе признаться, но втайне очень боялся, что с бабушкой что-то случится. И вероятность, что она теперь тоже «того», мучила Мемешку, ведь он не знал точных признаков, обычный человек или уже сумасшедший. А вдруг это как болезнь? Вот ходит же «свинка», почему бы тогда и безумию не ходить на ногах по городу? Эта придумка ужаснула его ещё пуще.

Бабушка сказала назавтра собираться на кладбище. Что за причуды? Никогда она не брала его с собой, прибирая дедову могилку. Всё вместе было страшно и подозрительно. Даже провалившись в сон, Миша продолжал бояться, всю ночь от кого-то убегал, прятался в тёмных сырых поленницах за соседским баракон, плакал в голос, разыскивая бабушку в кустах у детского сада. И всюду, по всему переулку лежали блестящие монетки и костяшки от счётов, и так досадно было,

что недосуг их поднимать, что гонятся за Мемешкой страшные враги, не то чудища, не то пьяницы, не то свинки, и все они разом, если догонят, погубят, заберут бабушку, погасят свет. Наконец, Мишка ощутил: схватили за плечи и тащат, а тащит тот самый мужик в пиджаке. «Это Бог, это Бог», — бормотал Миша, проваливаясь в самый глубокий и тёмный сон. Он только услышал напоследок, как пиджак сказал зло и отчётливо: «А нечего по чужим гробам шариться».

Утром бабушка опять сновала по кухне, перекладывая вещи с места на место. Мемешке хотелось спать. Он неохотно дал себя умыть и покорно сидел на краю дивана, пока Марта Евгеньевна напяливала на него тесные колготки. В шуршащей куртке и матерчатых самошвейных штанишках он плёлся за ней на остановку. Переулок почти просох, но в низине, у картофельных погребов, ещё стояла дождевая жижа. Дали крюка, пробираясь к шоссе. Мишке было зябко. Он сонно тараторил на таксопарк, где из ворот одна за другой выезжали урчащие жёлтые машины.

— Ты меня вообще слушаешь, сударь мой? — спросила его бабушка. — Я тебя прошу, води себя нынче прилично. Там будут открывать памятник, придут люди хорошие. Сейчас тётю Люсю встретим с вокзала, заберём Петра Ивановича из гостиницы и поедем. Хорошо?

Миша угукнул, хотя не очень понял, что за нужда такая — открывать памятники всем вместе? Как будто дедушке на могиле не поставили памятник просто так, без открывания? А может, он закрыт где-то, этот памятник, и его надо открывать, и без тёти Люси никак не получится, потому что у неё ключи? Он знал уже, что значит «вести себя прилично»: помалкивать, стоять столбом, кивать на любую глупость и вообще как будто временно не быть. В мире высоких и важных взрослых это отчего-то считалось за достоинство и чуть ли не доблесть.

Троллейбус не шёл, отправились пешком под мостом. По дороге бабушка завернула в собор поставить свечку, там Мишку ещё больше разморило, но поспать не пришлось — поплелись дальше, через пути, к гостинице, где Пётр Иванович уже ждал их на крыльце, пуская ртом вонючий дым. Потом встретили с тотемского автобуса тётю Люсю, бабушкину подругу. От долгой работы санитаркой она нажила характерную больничную хамоватость, но в этот раз заробела от присутствия Петра Ивановича и держалась почти что чинно.

— Это моя Люся, мой ангел, давняя подруга,— представила её бабушка.

— Да полно, ангел! — смутилась Люся.— Для ангела больше толста. Ты вон всё как спичка, Марточка. Будь я твой ангел, сказали бы, что я от тебя отъедаю, ей-богу.

— Ну что ты, я в переносном смысле,— засмеялась Марта Евгеньевна и заметила Березину.— Люся любит шутки шутить. И в самые лихие года она у нас как луч света была в медпункте.

— Да, мне Марта Евгеньевна писала о вас много хорошего,— заверил Березин.

Наперебой расхваливая друг друга, они пошли на двадцать шестой. Миша был удостоен похлопываний и объятий, а в остальном продолжал быть «приличным», то бишь притворялся, словно его тут почти нет. Миша был хороший мальчик.

В автобусе было интересно. Пахнувший смазкой «ЛиАЗ» пыхтел и ныл, взбираясь на мост, порой в его чреве начинался глухой перезвон, будто маленькие бутылочки катились туда-сюда. Двери скрипуче ухали на каждом ухабе, затёртые до блеска компостеры были похожи на удивлённые рожи с длинными носами. В кабине у водителя болтались нарядные подвесочки с бахромой и ГДР-овские красотишки улыбались с овальных переводных картинок.

— Мы ведь Марточку-то едва живую с эшелона сняли,— рассказывала тётя Люся ленинградскому гостю.— А она с нами осталась, на медпункте помогать. Я-то сама была дура деревенская. Нам в колхозе бабы с района наврали, что в эшелонах чуть ли не богачи какие-то с Ленинграда едут. Мол, у них на еду что хошь выменять можно. Я и уши развесила, попёрлась на перекладных в Вологду. Крупы взяла кулёк, старого масла в бумагу завернула. Сами-то тоже негусто жили, нечё шириться. А как пришла на шестой путь, так у меня все кульки с рук и повыпадали. Блокадных с вагона достают, а на них кожа, боже мой, как бумага. Только вынесут на мороз, он и помрёт. А то в худом вагоне печка сдохнет, они и помёрзнут все: то от пола, то друг от друга отнять не могли. Марточка в таком и была. Одна из всех до нас доехала. Я тогда еду свою отдала на пищеблок и в дружину при вокзале напросилась тем же вечером. Нонна Ильинична, фельдшер наш, бумагу за меня в колхоз писала, чтоб меня отпустили.

Тётя Люся запнулась на миг, её мягкое подвижное лицо словно остановилось. Но она не заплакала, а продолжала

неутомимо пересказывать свою судьбу этому незнакомому молчаливому человеку. Голос её, по-сельски раскатистый, с опорой на местное ленивое «о», покрывал и грохот «ЛиАЗа», и шум «перекачивающихся бутылочек». Ближе к конечной её слушал уже весь салон, включая водителя. Мише показалось, тётя нарочно не переставая говорит, чтоб не дать себе заплакать.

— А на медпункте-то мы пластались до ночи. Разве кто из больных покрепче, дак поможет. А так всё сами. Перво, надо выгрузить мёртвых, отделить тяжёлых от простых. Потому тяжёлому не помочь, ложку супа дашь — он и отойдёт. При голоде и еда — как яд. А они ведь многие без царя в голове, бросались на хлеб. Много их так погибло. А бывало всяко. Сперва госпиталь при поликлинике худо работал, мёртвых вывозить не успевали. Накопили их целый сарай — как дров, а подводы нету. Комиссарша ихняя, бывшая прокурор, подводы выбила, да худые. По дороге на Горбачёвское всё развалилось у них, мертвецы на мостовую посыпались горой, прямо на Соборной горке. Чуть не посадили их тогда, якобы за антисоветский саботаж. Но про мёртвых мало думали, живых бы сберечь. Они ведь ещё и тиф с Ленинграда нам привезли. Мыли прибывших, дак вода чёрная от вшей делалась, страшное дело. Мы все перевязывались туго, рукава и воротники, чтоб ни одна вошь не проскочила. Так и береглись. Марточка сильно боялась тифа, у ней все от него погибли, но с нами осталась. Золотая наша девочка была, помощница...

Миша устал слушать тётю. Тени веток летели за окном, панельные большие дома синели вдаль, позднее солнце плыло над микрорайоном. Мишке пришли в голову недавние слова бабушки: скоро осень, пора в садик. Впервые в жизни он понял: лето кончается, нельзя вот теперь развернуть автобус и поехать назад в июнь, в май, к первым листочкам, к белому цветущему крыжовнику.

— Бабушка, а бабушка... А почему лето кончается?

Взрослые смолкли ненадолго, взвешивая Мишкин вопрос.

— Ну... Миша, понимаешь... Лето всегда кончается,— сказала Марта.— Каждый год. И тут ничего не поделать.

Так, за одну остановку до конечной, Мемешка понял всё о времени. Он не мог этого сказать, но какая-то холодная синева загорелась у него в груди, позвала куда-то, а куда — не сказала. Ягоды приходят на смену майским лепесткам, и никогда не бывало иначе. С этой мыслью он увидел приближающееся кладбище: веселенькие пластмассовые цветы, суета

выцветших венков, нагромождения оградок. Казалось, мёртвые балаганной толпой выходят навстречу автобусу, предъявляя свои таблички и блёклые овалы фотографий. А в этот день у них и правда было много гостей.

Служебный автобус выпустил наружу целую делегацию. Чёрные «Волги» доставили начальство. В глубине погоста уже высился памятник похороненным блокадникам: изваяние матери с умирающим младенцем, заключённое в тяжёлую раму из гранитных свай. Встали поодаль от толпы. Миша уже утомился от раннего подъёма и долгой скучной езды, он топтался и пучил глаза, из последних сил стараясь «вести себя прилично». Ботиночки натёрли, штаны и колготки казались нестерпимо жаркими. И действительно, солнышко поднялось выше, пригревая пирамидки надгробий, верхушки чахлах деревьев и Мишкину голову.

Что там было и как, он уж не очень понимал. Марта Евгеньевна обнималась с кем-то, подходили незнакомые дядьки и трепали Мемешку по щеке. Потом в скрипучий микрофон говорили какие-то громкие люди. Солнце пекло, ноги немели, и только обрывки фраз долетали до него: «по решению партийных органов...», «почтить память и засвидетельствовать...», «хотелось бы, чтобы сострадание передалось живущим». Эту последнюю фразу Мишка от нечего делать повторял про себя, но никак не мог взять в толк, что такое «сострадание»: то ли это сильное такое страдание, то ли не очень? И зачем «передавать его живущим»? Неужто нужно, чтоб они все обязательно страдали?

Потом четверо перерезали алую ленточку, и все захлопали в ладоши. Миша тоже хлопал, не очень понимая, чему тут на кладбище радоваться и чему хлопать. До самого вечера бабушка Марта таскала его за собой. Бесконечные разговоры утомили Мемешку, он уж не слушал и не слышал ничего, думая лишь о том, как бы снять тесные ботиночки и лечь спать. Когда провожали твидового мужика на вокзал, Миша уже валился с ног, и дебилой тётё Люсе пришлось перекинуть спящего мальчишку через плечо.

Три эти фигурки, Марта, Люся и Миша, словно композиция «Две санитарки и раненый боец», были последним, что увидел Березин в Вологде. Красный вокзал в окне плацкарта поехал вправо, фигурки замахали прощально, и скоро поздняя темень с редкими просветами фонарей залила горизонт. Березин не спеша и тщательно заправил казённое бельё на

верхней полке, впрочем, не особенно надеясь уснуть. Он долго бродил туда-сюда, маялся в прокуренном тамбуре, выпил пять стаканов жидкого чаю и всё думал, думал, думал, сам уж не понимая, о чём. Сперва ему придумалось, что памятник будто бы, в том числе, и памятник Илюше, потом пришло, что брату и дела нет, в каких списках и под каким номером его зачислили в царство теней, потом ещё много такого невесёлого передумал он, переворачивая горячую влажную подушку.

Северная августовская ночь тяжёлой чёрной водой прибывала к стеклу. Пётр Иванович провалился в неожиданный сон, где брёл, не разбирая пути, махал руками, кричал невесть что, плакал и закрывал уши от своего крика. И вдруг проснулся.

В духоте плацкарта стало ему вдруг легко и прохладно. Редко, быть может, раз в жизни, бывают эти моменты ностальгии, но не той тягостной тоскливой синевы, что порою вечерами объемлет сердце, пригибая к земле. Нет. Это редкостное чувство — сопричастность прошлому, живое погружение в него, любованье им. словно долго шёл через длинную череду комнат и вдруг обернулся и увидел все пройденные двери за собою настезь раскрытыми, и весь твой прошлый путь залит тёплым светом.

Пётр Иванович сжался, не дыша, боясь спугнуть это чувство. За окном объявили стоянку в Бабаево.

7.

А тяготы Тани Непейко начались прямо с понедельника. Свёкор халтурил сторожем в мебельном и уж не раз выручал их сведениями о привозе. Вот и теперь, ранним утром Таня успела занять очередь за креслами. Магазин в семь утра закрыт, но никто и не собирался заходить внутрь: привезённую мебель обычно расхватывали прямо с кузова машины, и желающих всегда было больше, чем товара. Но в этот день машина не пришла, топтался народ зря.

В заводууправлении — новая морока. Сказали, что ордер не на том бланке. Начцеха отправил к парторгу, тот — в цехом, оттуда — в профком. Бабы в очередях сатанели. Все знали, что дом сдают, но какой и на сколько квартир, держалось в секрете.

— Нинке со сто седьмого участка хахаль сделал ордер ещё в тот год, а ей стажу меньше моего. Сказала мне: не с тем спишь! Представь, так и сказала!

— Своим-то с управы ордера на чешский проект выдают, а нам панельки, поди, вписаны. Мироеды.

— А им чем длинней очередь, тем больше денег из министерства спустят!

— Бобкина с машинного в кооператив пролезла. Взятку дали, не иначе.

— А на ГПЗ, говорят, мужик деда месяц не хоронил, чтоб с прописки не снимать. Иначе метражу бы не хватило по норме для нуждающихся.

— А у нас механика на год подвинули за пьянку, был первый в цеху на очереди, а теперь дело — борода! Запил ещё больше с горя.

— Да что ты! А Чивилихина точно пятого родила, чтоб четырёхкомнатную получить. У ней мужик как конь, только знай рожай.

Очередь мелко захихикала. Но Тане было не до смеху. Она вертелась белкой, чтобы переезд состоялся в срок. Даже Валера завязал на время, впрягся в две жилы. Но всё обмирало в ней при мысли, что чёртовы куклы из канцелярии испортили заветные бумажки и теперь придётся ждать следующей сдачи дома. Говорят, мужики с бойлерной уже ходили кругом новостройки, вынюхивали, как удобней въезжать.

Порой опускались руки, кружилась голова. Грудную дочку оставляли на бабу с дедом, те скрипели да ворчали. Стены в бараке от дождя снова пошли чёрной плесенью, и предстоящая зима, останься Непейки тут, не сулила добра. Мебель сперва отмокла, потом рассохлась, а тут ещё Витька стал хулиганить, от рук отбился, по сарайкам соседским лазает. Совсем не того ждала Таня, выходя замуж за лихого механика. А чего ждала, она уж и не могла вспомнить. Помнилось только лето, крупные ворованные цветы, что он принёс, знакомство с мамой.

— Непейкина, следующая! — заорали из двери профкома. Таня сорвалась с места.

Дородная Галина Фёдоровна в приёмной была знакома всякому претенденту на заводское жильё. Золотые перстни с фальшивыми камушками украшали почти каждый её палец, внушая посетителям должное почтение. Она равнодушно просматривала какую-то амбарную книгу, пока Таня ёрзала на стуле в нетерпении.

— Ну что, Непейкина, — молвила жрица жилплощади. — Придётся тебе маленько подождать. Ордер ваш задержан.

Галина Фёдоровна молча выдержала паузу. У Тани внутри всё упало:

— Вы... Вы что? Как это задержан?.. Да я...

— Ты — что?.. — выжидающе спросила канцелярша.

Таня вылетела в слезах в душный коридор и, провожаемая чужими любопытными взглядами, пошла, не очень понимая, куда идёт. Ноги сами привели её к дверям дирекции завода, она села на поребрик, разрыдавшись и не решаясь войти. Тут ей вспомнилось, что дома неподшитые шторы, и польское кресло свёкор обещал достать — всё это новое, предназначенное для нового дома, было теперь ненужно и напрасно. В этот миг слёзы высохли, Таня почувствовала последнюю отчаянную решимость. Вечером она пересказывала эту историю сперва Валере, потом свёкру, потом снова им обоим. И так ей нравилось, как смело она поступила:

— Пошла я прямо к директору завода в кабинет. Даже не спросясь, есть он или нет. Секретарша орёт, я на неё ору. Ничего непонятно. Тут он спрашивает, что за шум. Я и объяснила: дети болеют, плесень у нас. Что ордер наш незаконно задержали, а уж и дом готов к заселению. Через полчаса всё в профкоме выдали. Видел бы ты их кислые рожи!

Валера Непейко смотрел на жену в восхищении. В разговорах работяг дирекция была словно бы каким-то механизмом или сказочной злой силой, не говоря уж про директора лично. А тут, гляди, Таня сама — прямо в кабинет! Валерин отец, Олег Иванович, ветеран морфлота, толстяк и старый шутник, на это резонно заметил:

— Это потому что баба! Тебя бы, Валерка, он по матери покрыл и гальюны чистить отправил. А бабья слеза любую ржавь разъест!

Этот последний спокойный вечер, когда бумажки уже окончательно оформлены, а переезд ещё не начался, запомнился Тане надолго. Дети спали, за окном догорал августовский медленный вечер, а они сидели втроем на кухоньке, празднуя Танину победу над канцелярией. И словно в воздухе что-то сдвинулось — всем им было ясно, что вот теперь-то и наступит самая настоящая хорошая жизнь.

И правда. Жизнь начала наступать, как немец в сорок первом. Всё собрать, увязать, обмотать, всех созвать, найти грузовик, погрузить — целое дело! Мужики с гаражей, которых привёл Валера, с утра хорошо тяпнули, даже слишком хорошо. Заводской грузовик пришёл с опозданием, и не тот, что нужен, — с высокими бортами на больших колёсах. Подда-тые помощники к тому времени сами нуждались в переноске,

и пришлось Валере с отцом вдвоём затаскивать в кузов мебель, потая и краснея лицом. Уютный тихий дворик на один вечер превратился в свалку имущества, тюки и ящики бестолково громоздились кругом, и Таня уже начинала волноваться, как бы пьяные помощники не прихватили чего с собой. Но те окончательно потеряли интерес к труду и по одному тихонько смылись, торопясь успеть до закрытия пивного ларька.

— Эх, дело-табак,— подытожил свёкор.— Эдак мы, Валерка, до рассвета уродоваться будем. Етить их неловко, твоих помогалыщиков.

Но тут, будто старый моряк случайно произнёс какое-то заклинание, вышли на подмогу из окрестных бараков соседи, поддатые и не очень. Дюжий обходчик Узлов, весь в несмытом мазуте, весело хватал своими заgreбушими руками Танино добро и подавал наверх, даже не привставая; старушка Марта Евгеньевна помогала переносить тюки с рукоделием; братья Мотовиловы, шедшие мимо в общагу, не сговариваясь, кинулись помогать. Так за какие-то полчаса набралась бригада, даже дед Петровкин вытащился на воздух — наблюдать и руководить.

Во дворе смеркалось. Ясный жёлтый день скатывался за край земли, и уже глубина ночного небосвода стала проступать над головой. Перекинулась через тёмную хлябь Медведица, и внимательный Сириус загорался всё ярче. Весёлый хохот работников разносился над полянкой двора, плыл по остывающему переулку, и уже завтра, за стеклянными дверями сентября, ждала их неизбежная долгая осень.

Привлечённая шумом, к общей суматохе присоединилась и богомолка Рита. Постояв скромно поодаль, она припала к земле, трижды поклонилась работникам, отряхнула колени и пошла восвояси. Марта Евгеньевна хотела было окликнуть её, но по лицу блаженной поняла, что лучше её не тревожить.

— А хороший нынче день для переезда, кстати,— сказала она Тане.

— Да? Отчего ж?

— На день Флора и Лавра всякую работу заканчивали. Вот и ваш труд кончится.

— Ну что вы, Марта Евгеньевна,— ответила ~~Таня~~ ~~Нина~~ ещё трудов — не обратясь. Какие уж нам ~~Лавры~~ с ~~Флорой~~

— Ничего, я знаю, у вас всё получится. ~~Все поправится~~ Всё придёт.

Тут к ней подбежал путавшийся под ногами ~~Минька~~ ~~и от~~

— Бабушка, бабушка!..

— Что, сударь мой?

— Там дед с чемоданом...

Действительно, у палисадника мял в руках кепку рослый седой мужик в болоньевом плаще. У ног его высился пудовый чемодан, ловко обмотанный багажным ремнём.

— Вам кого, товарищ? — спросила Марта.

— Вы извините, пожалуйста, что отвлекаю, — отвечал тот. — Дали адрес в горсправке, но я не пойму, как тут у вас переулочек пронумерован. С какой стороны ни зайду, всё чётная. Я ищу Симонову Маргариту Петровну.

— Да, у нас мудрено разобраться. А вы зачем Риту ищете?

— Понимаете... Я её муж, Симонов Иван. Я уже сорок лет её ищу.

Во дворе повисла тишина, будто всё разом остановилось и застряло. Таня почувствовала, что коробка у неё падает из рук. Обходчик Узлов от неожиданности громко икнул. Свёкор обернулся в ту сторону, куда ушла богомолка, и прокричал в густеющие сумерки:

— Эй, Ритка! Блаженная! Иди бегом сюда! Мужик твой воскрес!

Солнце закатилось за край неба, и чёрная глубь темноты холодом опала на переулочек. Мёрзлой иголочкой внимательный Сириус смотрел с вышины, огни сортировочной станции отвечали ему внизу.

Закончилось лето.

Инга Чурбанова

* * *

Средь деревни, почти что вымершей,
Над рекой старый клуб повис,—
На крыльце того клуба, выпивши,
Бывший песенник-гармонист.

Раззадорил гармошку старую,
Что-то трепетное завёл
Про Болгарию, очи карие,
Про плесканье амурских волн...

Загонял, утомил гармонику,
Но — весь вечер, как был, один.
Только стены — веселий хроники —
В буквах, в циферках — вместе с ним.

Ах вы, буквы,— зачем стираетесь!
Эх вы, брёвна,— зачем в труху,
Кольца-годики, превращаетесь,
Жизни скатывая в реку!..

Смотрят окна в пустые омуты,
Страшно окнам: черно, темно,
В отражении перевёрнутом
Не горит ни одно окно.

Только утка, гармонию вспугнута,
Поперёк той реки мелькнёт
И на глади воды без звука то
Отражение зачеркнёт.

И охрипнет гармонь — холодная,
Отсыревшая от росы,
И в мажоре взлетит мелодия,
Но в минор уведут басы...



Александр Яшин



Сергей Орлов



Сергей Викулов



Валерий Дементьев



Александр Романов



Виктор Коротаев



Владимир Кудрявцев



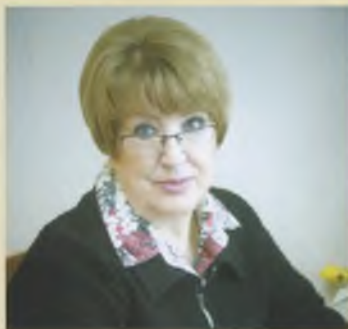
Владимир Карпов



Ольга Фокина



Наталья Адлер



Татьяна Андреева



Александр Быков



Николай Белозёров



Вячеслав Вахрамев



Анатолий Ехалов



Сергей Громыко



Дмитрий Ермаков



Иван Городилов



Роман Красильников



Татьяна Корсунова



Юрий
Малозёмов



Галина
Макарова



Мария Маркова



Наталья Мелёхина



Валерий Судаков



Алексей
Муратов



Ольга
Олевская



Руфь Рафалович



Андрей
Таюшев



Ната Сучкова



Валерий Тимошичев



Павел Тимофеев



Анна Фёдорова



Антон Чёрный



Инга Чурбанова



Лета Югай



Галина Щекина



Антон Янковский

* * *

От своего пустого дома
(Устав от непосильных краж)
Мужчины грубого помола
Везут пиловочник еловый,
Баланс берёзовый и кряж.

Везут, бродяги (где-то пилят,
Спешат и удила грызут),—
Туда, где их автомобили
В беспамятстве снегов и пыли
Плюют остаточный мазут.

Где лесопильные веселья
В лесу велюровых валют,
Где женщины всегда весенни,
Где вне природных потрясений
Пасётся крупный, лютый люд...

От своего пустого дома,
Презрев уют, и сад, и суд,
Мужчины грубого помола
Везут куда-то кряж еловый...
Куда-то, сволочи, везут.

* * *

Молчаливые поссорятся —
К языкастому идут:
Помоги в междоусобице
Слово правое ввернуть!
Мы и сами бы с усами бы,
Только мы — ни «ме», ни «бе»,
Ты бы как бы посусальнее,—
Посподручнее тебе!
Языкастый — вот старается,
Тарахтит и сяк, и так,—
Рассказать про всё пытается,
Чтобы, значит, был контакт...
Есть контакт! — Дошло... Обидело!
Что молчалось — понял всяк!
...Языкастого завидели,

Да за хвост, да об косяк...
...Сколько шей ещё намылятся
За подобный за дебют!
...Молчаливые помирятся,
Языкастого — убьют...

* * *

Прочтя меня до половины,
Коря меня за околичность,
Наскучив вялостью интриги
И старомодностью длиннот,
Ты позабыл меня: невидный,
Невинный томик для отличниц,
И приобрёл другие книги —
Сплошной «bon mot».
Ах, эти модные новинки
В подбострастности развалов,
Чей почитатель полигамный
Не обижает никого,—
Остросюжетные блондинки
С развязкой в розовом названье
И хеппи-эндными ногами,
И хиппивидной головой!
В них экзотичность переносов,
И детективность оглавлений,
И минимальность препинаний,
И препирательная прыть,
И блеск ответов без вопросов,
И автору непротивление,
И зов козырных очертаний,
И прочее, что нечем крыть.
...Прочтя меня до половины,
Поняв сюжет, загнув страницу,
Ужели мыслишь возвратиться?
Темны леса библиотек...
Прочтя меня до половины,
Оставь мне шанс не повториться —
В незавершённости остаться
Одной из всех.

На сушёной треске,
 как усатая старая финка,
Я тебе написала,
 что лето затихло, замёрзло,
Что, совсем разжирев,
 укурлыкали пухлые гуси,
Что устали архангелы
 в тундре качать на качелях
Безутешное летнее,
 странно бессонное солнце.
Солнце спать захотело,
 и в клюквинах кровь загустела.

...Ты получишь письмо, прочитаешь —
 и бросишь вариться:
Пусть расправит треска
 плавники в кипятке твоей пищи,—
Летним морем и лодкой
 запахнут дымы над жилищем.
Затоскуют, засетуют
 хищные зимние птицы,
И зимой застарелой
 устанет земля тяготиться,
И по запаху строк
 лисы новое лето отыщут.

ВЕРЛИБР

Ночь глуха, и до утра нескоро,
Дождь собирается, печка истоплена, ветер.
Вдруг — стук под окном:
— Кто там? Кто там?
— Любовь.
Осторожно смотрю, полуглазом... —
Точно, она!
И как объяснить им, что дома —
Муж,
Что дети заснули некрепко,
Что стирка замочена,
Завтра с утра надо биться,

И рано вставать,
И соседка учует смятение...
— !!!
— Кто там?
— Любовь.
Зашевелится красное платье в шкафу,
Закарабкаются из кучи старой обуви
Туфли на шпильках тонких...
И как объяснить им, что скоро
Картошку копать,
Что луку насыпано море,—
Дом засыпан весь луком,—
И луково горе,
И некуда даже пустить погреться.
Резиновые сапоги
С чувством выполненного долга
В почётном стоят одиночестве —
Всё, что ношу...
— !!!
— Кто там?
— Открой!
...А все мои блёсточки
Серьги, мониста
Стаскала ворона-игрушка,
Обвешала ими пустые на кухне углы,
Домашняя крыса сточила
И ручки, и карандаши,
Которыми письма писались,
И даже не помню — кому...
— Ты слышишь, не помню!
Сейчас, погоди, отопру,
Погоди, сейчас, эти двери-щеколды,
Сейчас я их...
...Ночь глуха, и до утра нескоро,
Под окном — никого.
Собирается дождь,
Печь чуть тёплая,
Ветер.
Босиком по рассыпанным луковицам
(Сохнут луковицы и пахнут)
От окошка к окошку:
— Нет никого... нет никого... нет никого!
И платье в шкафу повяло,
И туфли запутались на полпути,

Крыска сыта,
И в покое за печкою спит,
Муж — как ребёнок
Спит,
Ребёнок — как ангел,
Но у ангела волосы до полу льются
С подушки,
Ресницы трепещут!
Приснится
Что-то из Гоголя —
Того и гляди,
Панночкой взглянет!
Того и гляди
Выплеснутся туманы из озерка,
А следом
Вылезет мокрое,
Станет стучать под окошком:
— Кто там?
(Ребёнок к окошkam)
Кто там?
— Любовь...

* * *

Две женщины
Мужа не поделили:
Кому нести...
А он валялся, пьяненький и пыльный,—
«Всему прости»...
Одна: Я подниму его, помою —
И заблестит!
Он будет благодарен мне,
По-моему...
И бросит пить!
Другая: Я спасу его любовью —
Не убежит!
С любовью и работою воловьею
Он будет жив!
...Клонилося солнце к вечеру.
В долине
Ярчал закат.
Две женщины делили и делили
Дорогу в ад...

* * *

Я всем находила хорошие «руки»:
Друзьям и любимым,
 щенкам и котам.
Мои-то, казалось,— не руки, а крюки,
Увижу «хорошие» — раз, и отдам!

Щенки подрастали,
 коты матерели,
Любимые млели в хороших руках,—
Не то что не мёрли —
 толстели, зверели,
Росли, обучались, и недругов ели,
И, встретившись, лаяли как на врага!

Собаки,
 любимые,
 кошки и други!
Не снитесь. Плодитесь. Любите «хозяев».
Вам всем хорошо в нашей общей разлуке,
И, значит, мы, точно, расстались не зря!

* * *

Возвращаются запахи,
Пробиваются звуки,
Тихо сердце царапают —
Открывай им, изволь!
Отыскались все записи,
Объявились подруги,
И — дождём после засухи —
Надвигается боль.
Надвигается, чувствую —
По затишию птичьему,
Подымается тучею,
Синевою страшит...
Надвигается — пусть, говорю.
Не пустив, не постичь, говорю...
Может, боль эта — лучшее,
Что дано пережить...

* * *

Всё будет, как быть положено:
Не в молодости, так в старости.
...Трава умирать накошена,
А пахнет — медовой радостью.

Цветами и сладким запахом —
Уйти не спеши! — приковывает!
...Пока росла — жгла, царапала,
А скошена — лежит шёлковая...

Играючи ноги трогает,
И гладит, и шепчет ласково...
Пока росла — была горькая,
Скосили — и стала сладкая!

Скосили — и стала лёгкая,
Как в самой далёкой младости...
...Трава умирать накошена,
А пахнет — медовой радостью...

* * *

...И, может быть, моё предназначение —
Совсем не просвещение с обучением,
И даже не к ученью привлечение,
А просто световое излучение.

Когда прохладный август засгущается,
Когда прозрачный день засокращается,
Когда в деревне окна завключаются —
Тогда предназначенье начинается.

В крошечной тьме окно моё засветится,
И станет ярче призрачного месяца,
И тем окном селение наметится —
Со всей Землёю весело завертится,—

Прими, Господь, окна-свечи свечение!..
...И в этом всё моё предназначение.

МЕАНДРЫ

Кто знает, как распутать убийство, которому триста лет? Эля из угловой лаборатории подкосила меня сегодня этим вопросом. Захожу к ней, она сидит, морщит лоб над отчётами по пробам, а под отчётами рентгеновский снимок... скелетов.

— Смотри, Нава,— это она мне,— вот один скелет, женский, около тридцати. А вот под ним,— ведёт карандашиком,— мужской, лет пятнадцати — семнадцати...

— А это? — я упёрлась глазами в очертания ещё одного черепа.— Как-то странно он лежит, между ног как бы...

— Это детская голова. Это ребёнок, видимо. Только маленький слишком. Найден на теле женщины. Все из одного захоронения. Надо восстановить причину смерти. Твоя версия?

— Ты подрабатываешь в прокуратуре?

— Это задание дочке в археологическом кружке. Ей некогда, она на керамику пошла.

У Эли дочка молодец, три года уже на керамике, и даже призы брала, и по путёвке ездила... Не успевает она так, чтобы везде, и это немудрено. Эля тоже молодец. Джинсики, кофточка на шнуровке, стрижечка, фигурка. Она не толстеет, не до того... Глазки моментально наполняются слёзками, когда идёт речь о детях. Их двое, но и чужих она воспринимает как своих. Она настоящий учитель по сути, но нет, пришлось стать метеорологом. А теперь вот этот проект очистки. Река у нас умирает. Шведы денег дали, чтобы реку спасти. То они нам на просветительскую программу по холокосту дали. То на гендерную конференцию. Как будто у них своих проблем нет. Говорят, когда много лет назад взрывались реакторы на Украине, они давали даже на заливку реакторов. Чтоб самим не травануться...

Но река всё равно чахнет. А нас посадили на отчёты. Первое дело — бумаги. Вернее, отчёты уже пошли в столицу. Но мы-то сводим бумаги и электронные носители, чтобы совпали они, то есть пошли. Но они не идут. Интересно, а кому это

интересно, пойдут они, совпадут или нет? Река-красавица всё равно умирает. Её зовут Согра.

А как умерла эта троица? Ей-богу, наверно, женщина при родах отошла, разбираться не стали, так и бросили в ров. Но почему не стали хоронить? Наверно, незнатной была. Знатную всяко бы украсили, во склеп упокоили.

Ну, а я? В случае чего меня, наверно, тоже так бросят. Вот она я в зеркале какая. Тяжёлые волосы, низко хвост ношу, хайратник на волосах берестяной, большой свитер да маленькая вязаная юбка, как хайратник. Чем не скифская царевна? Отец с матерью утверждают, что похожа. Они у меня такие стрёмные, такие романтики. Тут года три назад участвовали в раскопках в центре города, отрыли культурный слой пятнадцатого века. Да и вообще был страшный кипеж. Не успели люди ничего изучить, как раскопки закрыли, выстроили особняк. Чиновники, одно слово. Родители вместе ходили везде, отстаивали, но ничего не отстояли. Теперь на Аркаим уехали. Я иногда думаю: может, они посланцы какие? Они и в подземные цивилизации верят, неспроста это. А я человек вполне земной. И хотя у меня тот же истфак, что и у родителей, я могу работать где угодно. Например, на очистных сооружениях. Аркаим и очистка воды — пропасть между ними. Там хотели затопить, но отстояли, нашли уникальные штуки, ожила история, а тут ничего не происходит. Что может быть противнее наших отчётов? Может, они — оправдание денег? Это так, но миру не помощь!

Вздыхаю я о своём, но иду, иду на берег умирающей реки, чтобы за мостом купить свежей сдобы к чаю. Вода коричневая, в тальниках затянута пеной наподобие кваса. Из пены торчат банки пивные. Ну и что ты скислилась, река моя, жизнь моя?

Цвет воды — как старая заварка. За тальником мужики с удочками. Ох, ребята, да вы хоть понимаете, что в этой воде кислорода почти не осталось, тут и рыбы-то жить не могут... Нет, стоят, выжидают... тут уже тухлятиной тянет, они всё стоят. И всё равно я не могу пройти мимо этих горьких вод просто так. Ну да, после долгой безработицы у меня на полгода есть работа. Даже тем, что умирает, река меня, бедная, кормит. Как-то стыдно мне перед ней. В детстве купались тут около парка, а теперь...

Я быстро иду по берегу, тут глухая стена вокруг закрытой больницы МВД, место пустынное, неприятное, зато до

моста пять минут. Слышится тонкий плач от реки. Надо бы глянуть, что там... Топчусь на тинистом берегу в своих кедах на каблуках. И вдруг между стеблей травы и камыша вижу двух девочек. Одна отчаянно плачет, другая как-то картинно гладит её по головuşке, разбирая на пряди её волосы. Что это за дикое зрелище? Я в свитере, девочки голые, по пояс в воде, среди белого дня...

— Малышки, что случилось? Вы там не утонете? — окликаю я их, стараясь быть дружелюбной и не напугать.

Они оглядываются:

— Тётя, дай расчёску...

Я, не вполне соображая, что делаю, достаю из сумки, бросаю им любимую массажную щётку. Та, что не плакала, ловит её, и они с плеском уходят под воду.

Однако такое мерещится! Мы играли когда-то у парка на этом берегу, и так же вот разбирали мокрые волосёнки. Но к чему вспоминать такое? Может, там, в детстве, кто-то утонул? Но уж точно не я.

Странно как-то. Но, едва достигая моста, я уже забываю о детях в серой холодной воде. Возле булочной народу — никого, только играет в репродукторе и переливается голос Фроловой. Идут без конца повторы: «Солнечная нить тянется к моим рукам...» Как одинока Фролова на этом пятачке у реки! Прямо как я. Солнца вообще никакого нет, серебряная облачность. Опьяняюще пахнут караван купеческого, свежие батоны жита и ванильные круассаны.

Пряча за спиной хрустящий пакет со сдобой, иду обратно. Получаю в канцелярии пачку конвертов, вижу там и своё имя. Поскольку я вышла из щитовой всего на минутку, оставив там напарницу, то сейчас торопливо занесла конверты в два кабинета, а потом понеслась обратно, прижав к груди послание мне. Голубой конверт хрустел, когда я пыталась оторвать уголок, не поддавался. Только буквы в слюдяном окошке немного смялись.

А там внутри, на одной стороне листа стояло моё имя — Тонкова Чернава. Договор номер такой-то... непонятный текст на бледном картридже. И на другой стороне — Диденко Роза. И тоже договор. Это имя я не слышала, не видела никогда в жизни.

Повертев бумагу, сложила и сунула в стол. И забыла о ней. Ещё разбираться во всякой ерунде! Я чёткая, чёткая. На меня можно смену бросить, не засну. Сижут-то я в щитовой,

но я же не просто на тумблеры пялюсь, я журналы замеров с ведомостями сверяю. Правда, это скучно, но зато бежать не надо, если на панели управления что-нибудь замигает.

Назавтра в мою смену несколько раз звонил телефон в щитовой, требовали Розу. Да какую Розу? Да не работает у нас такая. Очень странно. Полила все цветы на этаже.

Глоксиния чахнет, алоэ шпарит так, что лопаются горшки. Зачем столько цветов? Так это ж из отстойников вода. Отчёты по пробам одно, а живое растение — другое. Кто меньше врёт? Сбои в сети дважды. Вызывала электриков. Пришли только под конец смены.

В конце смены мы накрыли столик. Поздравляли слесаря Оноприенко. Он сам плотный, седой, усы черные. Одинокый, сына потерял в Чечне. Всеобщий любимец он у нас, душа незлобивая.

Мое заливное из курицы получилось — самое то. Я всегда кладу туда молотое филе, и когда застывает, всё нежно, нет структуры ниток...

Оноприенко угостил рябиной на коньяке, взял гитару, но до песен как-то не дошло — все были расстроены предстоящим сокращением и понимали, что именинник на очереди. Нас было тридцать на корпусе, а осталось пятнадцать. Стараться обработать всех уволенных даже смысла нет. Что они себе думали там, наверху? Меня тоже сократят, как пить дать. У всех оставшихся дети, у меня нет. Вот Эля пригорюнилась так пригорюнилась. Эля спрашивала, куда я буду наниматься после того, как носители пойдут. «Никуда!» — отвечаю рассеянно. А ведь тоже ж душа не на месте!

Начальницу мы не позвали. Она и так в высоких канцеляриях толчётся и в смену, и после смены. Ей простое человеческое чуждо. А тут, когда мы сидели, вдруг через коридор простучала каблучицами на подковках и заглянула в щитовую. Ребята, ну и лицо! Особенно широкая переносица. Так страшно мне смотреть на эту широкую переносицу. Но мне всё же показалось, что мелькнуло что-то, ноздри вздрогнули.

А потом я поняла, что. Ведомости я как раз не проверяла, позвонила на канцелярию, чтоб меня с Ростовом тихохонько соединили. Только стала говорить, и младшенький братишка мне крикнул, что всё плохо, дом забирают... И тут начальница меня ласково отправила в другой корпус. Уж как будто больше некого послать. Пошлите Элю. Нет, Эля отпросилась к зубному. Пришлось бросить трубку. На полуслове. Вообще ничего не поняла.

Ну и чёрт с вами, понесу эти рулоны в другое здание. Уж лучше нести рулоны, чем сидеть и бороться со сном.

Мне снится дорога... Что не еду, дремлю на вокзале, и соседка по вокзальному креслу почему-то зовёт меня Розой. «Роза, покарауль, пройдуся». Вспоминаю, что мне надо к братьям в Ростов. У них квартирная тяжба, купили квартиру по-черному, теперь всё теряют... Весь вокзал в беженцах. Жара, давка. Пока дошла очередь до окошка, юбка перекрутилась против часовой стрелки. В окошке с бронью мне сказали: да, есть заказ на Диденко Розу. Распечатали на лазере билет, на нем лицо моё, а фамилия неизвестно чья. Так затрясло, что ой. Но лучше такой билет, чем никакого... Вместо паспорта — справка. Это же надо, за месяц нет билетов! Теперь токо деньги плати, вроде нет по месту проблем-то. Из-за беженцев это, видать.

Да и чего тут ждать-то мне? Безработная — она и есть безработная. На копеечное пособие рассчитывать нечего, его задерживают, а всё, что осталось от сестры, надо потратить на дорогу. Может, это будет дорога в один конец.

Поезд по билету не пришёл на вокзал, по громкому объявили задержку на шесть часов. Сидела и дремала на своём чемодане на колёсах, мест не было. Рядом мужские ботинки, красивые коричневые нубуки на липах. Этот бедолага тоже спал, надвинув на лицо трикотажный капюшон от толстовки. Братьям звонила с вокзала. Они вообще в панике: аварии на их направлении, вернись домой, говорят. Но я не могу так, упрямая я. Раз поехала, почему надо таким деньгам пропадать?

Поезд подали с общими вагонами. До Ростова он не доехал. Все сидели на головах, по вагонам шарили омоновцы, кого-то искали. Заснуть невозможно, голову стало ломить и печь тупой болью. Спросили документы — их уже не было. Вытащили, что ли? Вдруг слёзы так и побежали. Дала билет — отстали.

Это во сне другая я. В жизни никогда не плачу, а во сне что-то мягкое и жалобное во мне, что-то наивное, как в детстве... Как хорошо, что наяву я никакая не Роза, а просто Чернава Тонкова. Моя параллельная жизнь всё сильнее переключивается с моей настоящей. Хотя какая я настоящая, какая нет? Просто борец негибимый, Нельсон Мандела. И тут же одёрнула себя: кто-то страдает, а я стебаюсь...

Обход корпуса отвлёк меня на час. Потом пришёл знакомый по старой квартире. Сказал:

— Вот гляди, такие рамки сделал для вашей выставки, подходят они?

— Конечно, подходят, только золота не давай по краю. Это ж должны быть научные образцы тут. На кой им золото! А сейчас где базируетесь, в подвале, да?

— В подвале.

— Давай мне образец, схожу к начальнице, чтобы утвердила, часика через два зайди или позвони.

Потом стена передо мной стала расплываться, стильная структура мешковины подёрнулась туманом. Потёрла глаза, посмотрела на табло — ничего не мигало. Мигала именно я, всем своим видом, как лампочка щитовая, сигналила, что я сейчас отсутствую на работе, проваливаясь в параллельную жизнь. Но никто этого не пугался. Потому что сами всё видели. И чувствовали.

Я не слишком довольна своей жизнью. Да, да, родители оставили квартиру, но они туда всё равно вернуться, как будто не понимая, что свою задачу уже выполнили. Но лучше так, чем кипеть в неразберихе, как Роза — спасибо большое.

В диспетчерской было тихо. Это же очень хорошо, когда тихо в диспетчерской, это значит, нет промышленных выбросов и наше существование оправдано. Так тихо бывало, когда Нина Римовна рисовала чёрной тушью латинские буквы для семиклассной химии или Эля билась над заданиями по истории родного края. Ума не хватает понять, рта не хватает удивиться. Усадьбы родного края. Мать родная! Да я думала, они уж все распались на кирпичи или растащены, ан нет.

Да, у нас работают потрясающие универсалы. Они не только спектральный анализ выброса сделают и каталог Эйвон разберут на щёточки, и картину убийства, триста лет назад случившегося, восстановят, но и родной край поймут, все хрестоматии перевернут... А как же, ребёнку задали. Надо поломать голову, чтоб не было двоек. Да всё равно они забудут всё, что не сами делали. Запомнят только то, что сами делали, сами. Я по себе знаю.

Когда полгода назад специальные пробы воды на нашей реке делали, прислали к нам парнишку. Понятно, тогда ещё воду питьевую брали из реки, прогоняли через фильтры — и вся очистка. Парнишка долго ползал. Видно было, что с лабораторным оборудованием он знаком хорошо, ничего не путал, всё надписывал. Я работала с ним вместе, меня поразила его молчаливая выносливость. Терпение нечеловеческое удивило, аккуратность. Такое только женщине под стать. Этот же ещё

студент — а уже хватка учёного. Эмпирику переделали чуть не трижды. Аналитику вместе писали. Тот парнишка по имени Филарет и сказал, что уж несколько раз закрывали реку для питья, но брать было негде, и брали. И конец пришёл. По бактериям норма превышена на тринадцать процентов, плюс обнаружены гельминты, а по химии превышение на все сорок. И как ей, бедной, удержаться в норме? Столько сбросов. После этого нашего отчёта реку исключили для питья. Стали качать из озера, почти за двадцать километров...

После этого я на реку стала смотреть, как на живое существо, очень больное. «Со-о-о-гра,— шептала я, уныло курая на мосту и роняя в реку пепел,— засыпаешь?» Она текла всё медленнее, мелела, местами под водной рябью виднелся то велосипед, то ржавый мотор, обмотанный цепями.

Моя засыпающая злыми снами река нетипична для равнины. В ней много поворотов и изгибов, то есть меандров. А это значит, корни лучше держатся, меньше вымываются, и там может прятаться рыба и другая живность. Так что мужики с удочками, может, и не напрасно стояли. Но именно там, где стояли мужики, я несколько раз видела странных девочек-купальщиц. Они меня притягивали, но я больше их не окликала. Вдруг я такая, как они? Имя моё Чернава, а они навки.

«Согра,— шептала я, шатаюсь хмельная по мосту,— ты их не трави, оставь, пусть они ныряют, пока можно. Они хоть и бывшие, но тоже люди».

Когда я возникла дома, там разрывался телефон. Упав на колени перед журнальным столиком, я схватила трубку, услышала через помехи голос матери.

— Черри, ты где ходишь так долго? Мы уже назад в лагерь едем, машина ждёт. Приезжали за продуктами в посёлок. Ты как там? В экологической конторе?

— Мам, я нормально. Меня сократят скоро, не волнуйся только. А сердце у папы ничего?

— Ничего у папы сердце, потарахтит ещё... Он когда работой горит, то не болеет... Почему сократят, провинилась?

— Да нет, просто работы по реке свернут... Мам, какая-то ерунда с Розой Диденко. Кто это?

— Это моя сестра. Мы же с тобой Тонковы по отцу. А что такое?

— Да письма какие-то дурацкие, звонки из Ростова. Розу зовут. Приснилась она тут.

— Чернушечка, милая ты моя, всё запиши подробно. Роза пропала ещё в детстве. Это у нас такая семейная драма... Ты всё запиши и письма сохрани. Может, найдется Роза. Мы её мёртвой считали. А с тобой точно всё в порядке? У тебя будто даже язык заплетается.

— Мне Согру жалко, мам.

— Успокойся, Черри. Понимаю, но ты большая девочка. Тут сантименты не помогут, только работа... В мире всё тревожно, а река — часть мира! — чем увереннее мать говорила, тем заметнее была её растерянность.

— Мам, ты же археолог, историк... Ты как бы расшифровала: в раскопках три скелета в земле без могилы — женский, подростка и ребёнка между ног женщины?

— Черри, зачем они тебе? Уголовщина. Что у тебя одна смерть-то в голове? Если это века три назад, то, скорей всего, вражда племён... Но тогда повреждения костей должны быть. Зачем тебе?

— Мам, а Роза была на меня похожа?

— Да откуда ж я знаю? Я её мало помню и совсем маленькой. Но чёрненькая точно. Черри, сейчас же перестань меня пугать. У нас тоже тут проблемы, но мы не хотим бросать важное дело. Понимаешь, слишком о многом Аркаим уже поведал. Этой цивилизации четыре тыщи лет. Ломает все представления! А это надо почему-то замалчивать. Прошу, войди в разум, Чернушечка, слышишь меня? Никакой депрессии... Ты что ела? Ты ведь не забыла про горячее питание?

— Нет, мам. Питаюсь вообще... Усиленно. А папу обнимаю...

Но на горячем питании трубка уже запыкала.

А что, плюну, брошу всё... Уеду в Аркаим. Там энергетические столбы, там людей прёт, а здесь только тина, тина... А в этой тине плещутся опасные сущности, которым даже не нужен кислород. Навки — умершие некрещёными. А вдруг я, Чернава, тоже некрещёная? То-то меня гнёт, ломает, как малохольную. И вино-то мне не помогает, и сигареты, и подружки чудятся в воде. Чем-то схожи мы, точно. Согра вся в тине, и я в тине. Она отравленная, и я отравленная. Но если пригонят спецпароход и почистят её, то кто почистит меня?

Время было позднее, но всё-таки позвонила Филарету, тому самому студенту, с которым писала отчёт о загрязнении речных вод. Филарет был рад звонку и оживлённо рассказывал о своём экологическом форуме и о будущей поездке

в Швецию. Молодец, что пошёл дальше, соединил нужное и любимое, чёrtов мальчишка! Но я хотела не это слышать.

— А как же наша Согра? Она умрет?

— Так разве не прислали очистители дна? Оборудование уже прибыло, устройства барракуды, транглы, всё новое. Я ведь говорил, что шведы оплатили нам... Не видели парохода или бота?

— Нет, не видела... Зато видела русалок. Молодых, почти детей.

Он помолчал.

— Вы запишите, где и когда. Лучше с фотоаппаратом ходить. А скелетов не находили? Такое тоже возможно...

— Но бред снять нельзя!

— Это не бред. Да что вы, про Мальту не знаете? Там больше всего следов. Правда, судя по высохшим телам, их трудно назвать красавицами, но... Это такой меандр исторический. Надо же учитывать таяние ледников, Всемирный потоп, подъём уровня океана на тысячи и тысячи метров... Так что раса рыболовцев была неизбежна... Или вымирание, или мутация. Вы не думайте, я скоро вернусь из Швеции, и мы встретимся, поговорим.

— Прости, что я тебе позвонила.

— Почему же «прости»? Я рад... Хотите, расскажу, как питаться дождевыми червями в лесу? Если, например, кто заблудился?

— Да, смешно... Про червей — это, конечно жизненно необходимо, маме понравилось бы горячее питание.

Положив трубку с имитацией под телефон Смольного, я долго сидела в оцепении. Физически чувствовала, как сон меня опутывает и тяжелит. И только если я нырну в чёрную холодную реку, мне полегчает... Я медленно опустилась в сны, чтобы ещё раз оцутиться в Ростове, с непутными братьями мистической Розы...

Утром шла по мосту, смотрела неотрывно на Согру. В утреннем свете её зеленоватые волны были блескухи и тяжелы, как атлас. Издалека что-то тарыхтело. Я пригляделась — там покачивался яркий пароходик с огромным ковшом и подъёмником, слышался такой странный и такой домашний рокоток моторов. Ну, вот оно, долгожданное очищение. Эй, Согра. Со-о-о-гра, слышишь меня?

ДУНОВЕНИЕ РОЖДЕСТВА

Да-а, завихрило-запело. Вон оно как с утра робко сыпало: тихонько-тихонько, редкими горстями. А теперь сквозь снежинки не видно глубины двора, всё стало туманистым, зыбким. Филипп смотрел на извилистый бег снежных струек и думал, что всё почти хорошо, он уже совсем в норме, молодец. С бутылками завязал, на работу вышел, пусть пока неважнецкую...

Из органов он ушёл по собственному, а техник раньше был способный, вот и решил перебраться на телефонах и цифровиках. И сердечко хоть и взбрыкивает, но в целом уже заживает. Минуло сорок дней, как он простился со своей женой Идой, пора уже возвращаться в рамки. Что ж, в конце концов, с ума-то сходить? Ей бы точно не понравилось вот это «разводить пожиже»: сейчас бы кулачком, средней костяшкой постукала по столешнице: «Филя! А ну-ка...»

Он оглянулся. Это она позвала или он внутри себя представил, что она позвала?

Надо бы съездить, забрать сына от тёти Эллины, чего он там не в своей школе шарашится? Здесь всё было привычно, близко, а тётка своё: «Нет, нет, ему тут будет мучительно». А вот и неизвестно: мучительно или нет? Тут ведь друзья, а там? Когда Борька звонит, всё будто как раньше, мать приучила его отчитываться... А когда не звонит, сразу провал. Тётя Эллина тоже больно умна, ещё не отпустит Борьку. Она уже раз десять и так намекала. Ещё при Иде: да отдохните вы, да дайте у меня поживёт. Может, ребёнок не хочет? А чем это кончится? Ничем хорошим не кончится...

Дело к середине декабря, но Филипп не хотел праздников, он отворачивался от них, делал вид, что его это не колышет. Какие могут быть праздники? Кто сказал, что их надо обязательно соблюдать? Почему, чёрт возьми, так прилипчива привычка новогодних застолий и новогодних выпиваний? Ведь это всю ночь ешь и пьёшь, и к чему это приводит? А к тому, что потом встать не можешь! Холодильник забит едой, а тебе ничего не хочется. Даже красная рыба, обязательный минимум, не нужна. Кстати, что-то он искал в связи с рыбой.

Он вздохнул, потому что при Иде он как миленький всё это соблюдал. По Идее нужно и теперь. Идея (в девичестве — Мартова) — так звали его жену, скорей всего, благодаря причудам номенклатурного папочки. Но сколько бы ни шутил Филипп над этой темой, всё-таки имя её ей подходило.

Честная такая, возвышенная, всё сказанное по телевизору принимала за чистую монету, жадно раскрывала глаза. А мимоходом зайдя на кухню и увидев семейный сериал или политическое шоу, тут же начинала прерывисто дышать. Он, правда, пытался втолковать ей свою версию насчёт эскадронов смерти: что во многих политических убийствах — скажем, Старовойтовой, Щекочихина, Холодова — прослеживается общая подоплёка... Нет-нет, с его прежней работой это не связано, просто он сопоставил некоторые факты. Но она махала на него рукой: нет, не хочу знать этого! Медлительная плавная сероглазка, со своим вечным немодным хвостиком и выбившимися прядями на щеках, она была такая уютная, что её нельзя было не схватить, не поймать...

— Фили-и-ип!.. Чего-чего?

Нет, это снова не она, это память. Глаза стали горячими. «А ну-ка!» — и сам себя одёрнул. Вот оно, нашёл! Это ж рецепт засолки красной рыбы. Ида не хотела магазинную, сама делала. Недели за три перед Новым годом они шли и покупали сырую горбушу, а то и форель. Разворачивали на кухне целую солильню! Он чистил, она укладывала куски в глубокие судки, присыпала солью сильно, а сахаром слабо. Забегал Борька, его всего как магнитом тянуло к ним, когда они возились с едой вместе.

— Ой, чего она! Смотрит. Фу,— показывал на рыбу голову.

— Борь, мы приготовим, а на Новый год будет супер. Понял? — и они потом готовили такие рулетики с сыром и маслинами! Это было волшебное!

Филипп оделся и побежал в супермаркет. Это был выходной день, всё было забито людьми, в кассы стояли плотные очереди. Но уж пошёл, так стой. Кроме горбуши взял в кулинарии свёклу, курагу, орехи, вермишельные гнезда, окорок тамбовский охотничий, томатный сок для себя, персиковый для неё, ей нельзя острое и копчёное... то есть... Ему можно, например, копчёного угря. А надо ещё курочку для бульона, бульон полезен и большим, и маленьким...

Пока стоял, строил рожи в зеркальные витрины. Это были кретинические выражения с косоглазием и вываленным языком. Когда заметил брезгливые взгляды в свою сторону, одёрнул себя. Да, если бы Ида тут стояла, она бы ему устроила! Но ведь было скучно, невыносимо... Шёл и смотрел на почти утонувший в снежной мельтешне парк. Они ведь как? Сначала обычно гуляли, проверяли знакомые деревья, лавки,

считали ворон, голубей. Потом заходили в супермаркет, потом... А-а, ладно!

Дома он долго чистил горбушу, строгал, солил-сахарил, потом быстро поел горячих гнезд с ломтиками окорока и томатом. И вышел на балкон.

«Идея Марковсна,— с нежной растерянностью думал он,— всё я сделал. Не сидел без горячего, рыбу заготовил. Скажи, я молодец?»

Снежок порошил бородку и негритянские с проседью волосы, а он сутулился, всё курил да курил. Почему-то смотрел опять в сторону парка, хотя не видно его было в белом крутеве. Уже было пора бежать отогреться, а он всё стоял.

«Ида, я в храме тоже всё сделал. И службу отстоял... Ну где ты? Тебе легче от службы в храме? Дай знать, что ты меня слышишь, Ида».

Порыв ветра нанёс с неба сухую ветку, которая вышибла из рук сигарету. Та черкнула по воздуху и упала за балкон. Ага. Обиделась, что много курю? Но зато не пью. Хорошо, хватит курить. Прости.

Хотя вообще-то Ида никогда его не оговаривала. Он, косясь на неё, то лез к форточке, то к вытяжке. А она говорила: «Нечего на балконе мёрзнуть, мне твой дым нисколько и не мешает...» Как будто он не мог без этого обойтись! Да и сейчас сможет.

Перед компьютером сидел, машинально скользя с ресурса на ресурс.

Вот её блог. Ага, потом читаем. А где же пароль? Где-то были её пародии, её рассказы в памяти, надо поискать. Он, правда, это всё читал... Но теперь это ниточка к ней. Ида писала короткие сентиментальные рассказы, в которых не было сюжета, а только настроение да описания всякие. Капельки, дождинки. Всё это так мелко, разноцветно, как бабушкина вышивка крестом. Ида всё время хотела, чтобы он тоже что-то написал, чтобы у них была бы общая игра, но он только огрызался.

— Зачем? У меня нет таланта.

— Но ты художественно мыслишь, посмотри, как ты остроумно объяснил мой вчерашний рассказ...

— Вот я только объяснять и могу, а писать изнутри — нет. Не умею я это: «ваши пальцы пахнут ладаном»... Враньё всякое сладкое.

— А как бы ты сказал?

— Ваши волосы пахли котлетами.

— Кошмар! — улыбнулась Ида. — Это ты нарочно!

Да, нарочно, была у него такая привычка: всё опускать и высмеивать. Ему всегда было стыдно от высокопарных слов. Филипп обхватил голову руками и сильно сжал. Она, она его зовёт.

Что это? На подоконник прилетел голубь. Кабы не спугнуть его. Голубь был нахохленный и запорошенный. Он повозился там и ткнул клювом в стекло. Белой головой и серым оперением он был похож на одетого в шубу человека. Круглые глаза заинтересованно смотрели прямо на Филиппа. Голубь, символ Духа Святого. Птица, ты зачем сюда? Ты от непогоды или с посланием? От кого?

— Филя... — тонко вьюжило за балконом. — Фи-и-ля-я!

Он пошёл, рывком открыл балкон и, сложив рупором ладони, крикнул:

— Ида-а! Слышу тебя! Отзовись! Дай знать...

В прихожей что-то грохнуло. Подбежал — со стены свалился барометр, который лет десять, после того как его из какой-то комиссионки притащила Ида, не трогали с места. При ней часто что-то падало, но барометр — никогда. Кому? Кому, кроме неё, это понадобилось?

Он поднял барометр, приладил. Сделал в зеркало морду: выпучив глаза, растянул рот и оскалился. Ужас! И тут же смешался, сконфузился, потому что — сумасшествие. Надо успокоиться сейчас же! Пошёл, чтобы заглянуть в холодильник, открыл его и достал бутылку: «Житомирська на бруньках золота». Руки его дрожали, как у лечёного алкоголика. И он внимательно стал читать надпись: «...изготовленная по оригинальному рецепту из зернового спирта “Люкс” и специально подготовленной хрустально-чистой воды. Особый вкус и аромат напитку придают липовый цвет, мёд из цветов липы и ароматный спирт берёзовых почек».

Кто знает, сколько он так простоял? Наконец, понял смысл текста, увидел, что холодильник открыт, и закрыл его. Если он сейчас отхлебнёт, то не оторвётся, пока не прикончит её. А это значит, упадёт прямо на кухне и завтра ни за что не съездит к тёте Эллине за Борей. И сын Боря забудет, какое у папы лицо. Нет, не надо... Поставив водку обратно, он скривился от плача. Этот оскал уже не был гримасой, это он сопротивлялся боли.

С утра он прожил целую огромную жизнь, а на часах ещё только восемь вечера. Время стоит на месте. Особенно

на трезвую голову, ага. Взял пакетик с курагой и пошёл к компьютеру. Единственное живое существо в доме. На мониторе всё ещё было написано «Войти». Он стал наугад тыкать пароль и... вошёл. Так обрадовался! Не знал никакого пароля, честно. А тут как-то взял да и вошёл, сам поменял пароль и видит: «Новая запись пользователя "ideya"». И пальцы его сами застучали по клавиатуре.

«Сейчас я далеко от дома, но особым зрением вижу, глубоко чувствую всю прелесть мягкой наступившей зимы. Наверное, пруд в парке ещё не замёрз, склоненные гивы ветвей касаются воды, чёрной, неподвижной, графически отсвечивающей то светлым серебром, то угольной чернью. Первые слабые и влажные снега упали на город, дома, сонные рябины у дома. И снова балкон засыпан тёмно-красной ягодой. Я прошу, не считайте её, пусть птицы шумят, хлопают крыльями и клюют... Но чем дальше улетаю от дома, тем ближе становятся те, кого я там оставила. И хотя не вижу их, всё равно чувствую, только иначе. Раньше была острая тревога за них, даже тоска от наползающей опасности, а теперь покой, только удивлённый покой и тёплые волны долетают до меня. Это они, родные мои Филя и Боря, думают обо мне и зовут меня».

Он не смог написать слово «умерла». Это слово давило на него, как камень. Нет, пусть будет не лобовой вариант. Кнопка «Отправить запись». Вот первая запись после трёх месяцев молчания. И сразу блог принял обычный вид: текст и рядом её маленькое фото спиной, волосы на плечо, полосатый турецкий халатик. Но что же это он написал? Какая-то размазня, честное слово! Какой-то пруд, какие-то ягоды... Пошёл, посмотрел — на балконе уже всё замело, но завтра ягоды нападают опять. Она всегда слишком любила детали, подолгу их разглядывала, как будто можно было что-то понять при помощи крошек и блёсток. Как будто по-своему составляла мир из этих блёсток, люрекса, бисера, стекляруса... Ну, хорошо, он попытался написать за неё. За себя он напишет по-своему, если, конечно, будет что писать.

А на её открытой странице уже появились первые отклики.

«Привет, ты вышла из больницы, девочка, счастье какое! Рад».

«Разве можно нас бросать так надолго? Sonya lesnaya ведёт пока твоё сообщество, иди, смотри, сколько там новостей...»

Пусть её жизнь продлится. Рассказы он за неё, конечно, не напишет, но вот это пусть останется подольше. Ведь если бы

она так скоро не улетела, как она сама выразилась, он, наверное, знал бы, что будет делать, о чём думать? Признаться, она всегда думала о разной ерунде. Почему он не носит шарф, совершенно новый и мягкий? Когда привыкнет свои ботинки сушить вовремя? Где Борька распорол новенькие кожаные перчатки и как их починить, чтобы было не очень заметно?

«Ида, мы компьютер выключать не будем, поставим на газ варить курочку, чтобы завтра было что сыну поесть...»

Может быть, конечно, тётя Эллина снова взметнётся волной и не отдаст его. Полугодие заканчивается, но погостить-то можно на воскресенье... Филипп начал хлопотать, как нормальный человек перед приёмом гостей. Он внимательно посмотрел на чашки в шкафу и понял, что они все немытые. Пока кипел бульон, он перемыл залежи посуды на столе и в раковине, заодно уж и заляпанную по самые глаза микроволновку. Она так и говорила: «Заляпана по самые глаза».

Чего-то не хватало... А-а, телевизор не подключён, надо будет сходить на той неделе, подключить. Ему не надо, а Боре надо. Кроме того, Борька ещё в прошлом году канючил гирлянду, старая вся уже чинёная-латаная, стала гаснуть и мигать невпопад. Надо будет сходить с ним за новой гирляндой.

От его возни в шкафу опрокинулся термос с полки. Ну-ну, Ида, я уже всё понял. Не на месте. Заглянул — термос вроде не разбился. Налил кипятку проверить.

Шелест воды, звяканье посуды, кипение кастрюли, подслеповатое моргание телевизора, шум вентиляции — каждый звук вдруг сладко отозвался в нём. Это были звуки реальности, и они выводили его из долгой судороги горя. Может, она улетела не так далеко, раз посылает ему сигналы, значит, где-то она есть? Кто, кроме неё, водил его рукой, когда он сочинял запись в её блоге? И до неё дойдут его тёплые волны. Как дошло до него дуновение далёкого ещё Рождества.

Лета Югай

Из цикла «Записки странствующего фольклориста»

ВОЛКИ

Той зимой у меня заболела нога.
Прописали уколы, ходила в медпунхт два раза в неделю.
Семь километров лесом. В феврале такая пурга...
Слышу как-то — звенят бубенцы. Поприслушалась —
в самом деле.

Не успела подумать — проносится передо мной
Волчья стая, один-то волк белый-белый,
Рядом чёрный. Последний бежит хромой.
И взглянул не по-волчьи, с тоской такой, странное дело!
А в медпункте Фаина мне говорит: был случай нечист,
Прошлым летом в Остахово пропал свадебный поезд.
И хромой там был — Танюшкин внук, гармонист.
...А нога-то? Прошла, больше не беспокоит.

БЫЛИЧКА

Александрю Переверзину

У нас сейчас в Яхренъге русалок нет.
Русалки-ти в больших реках, в Сухоне все.
Вот, говорили, деда моего дед
Поймал такую рыбину в сеть.
Хотят они делать пирог ли что,
Лежит она в сениях ли где.
Вдруг бабы в крик: «Что взял в воде,
Отнеси назад, пропадём а то!»
Дед пошёл проверить — открывает рот:
«Положи, где взял», — говорит рыба та!

Отпустил, где река выходит на поворот,
Было глубже тогда, совсем глубота...
...А над всей деревнею ночь бела,
Рассыпаются птицы, велик и мал.
А под берегом всплеск — то ли ком упал,
То ли Рыба из Сухоны заплывла.

ГОРЮШНИЦА

1.

Думала: «Господи, поштё он умер?
Штё бы показался, штё бы пришёл».
Дума-то дурная, молодая ещё,
Много силы в этакой думе.
Вот я иду на погост, а там
Гроб качается у церковной крыши,
Поднимается выше, к самым крестам.
Но спустился, милый из гроба вышел.
«Коля,— зареву,— пойдём домой!» — «А пойдём,
Только отпрошусь у нацальника одного».
Вот мы заходим в казённый дом.
Двери, коридоры — и никого.
Двери, коридоры и кабинет.
Там мужик — красивый, рубаха белая.
«Штё,— реву,— ну как? Отпустили, нет?
Как я без тебя? Штё теперь мне делать?»
«Не реви,— говорит он,— бежим скорей».
Побежали мы через лес и поле,
Крепко руки сжав, до самых дверей,
Вот уж дом, порог — глянь, а нету Коли.
Просыпаюсь я. Свекровь смотрит строго,
На дворе уж рассвет, пора начинать дела.
«Матушка,— говорю,— ведь Колю вела-вела,
На крылечке он, да не перейти порога».

2.

Слышу в первую ночь: ходит он по избе.
Я прижала к груди младшего паренёчка.
Походил, ушёл. Я молчу, при себе
Свою думу держу, свою смутную ночку.
На вторую пришёл, полом скрипит,

Да уж стал задевать меня, гладить стал со спины,
Обхватила сына. Свекровь с ребятами спит,
Да блестит подоконник в свете мёртвой луны.
В третью ночку опять, и ложиться стал.
Так тихонько ложится ко мне, обниматься хочет.
Побежала к тётке я, в дом у моста:
«Ведь приходит Коля мой, уже три ночи!» —
«Душегубица! — тётка как закричит. — Ксти
Двери, окна, порог. Штё надумала?! Ой, беда, беда...»
Нашептала мне: «Отпусти его, отпусти».
И уж больше не приходил. Не было никогда.

ПОЛУДНИЦА

Не ходи на поле, когда солнышко высоко.
Не ходи на полдень в эту полную тишину,
Когда закипает воздух, небо как молоко,
Замолкают птицы и камнем идут ко дну.
Не качнётся колос, не пролетит паут.
Переломится время соломинкой под стопой —
И увидишь, как девушки в красных рубахах жнут
Или пляшут в поле и тянут в пляс за собой.
У них косы — горячее золото, лик пригож.
Сарафаны — красное знамя, как ни скажи.
Они ловят детей, зашедших в густую рожь,
Чтоб никогда уж не выйти из этой ржи.

РЯЖЕННЫЕ

Под шумок, под гам, под святочную гармошку
Открывайте двери и сундуки без обмана.
Заначки и сласти высыпайте детям в карманы,
А у кого нет карманов — тому в ладошки.
Отстегните от милостей этого года:
Недаром он таким ласковым уродился.
Полны руки соседскому мальчику, пасынку счетовода,
А что выронит по дороге — чёрту, которым он нарядился,
Чтобы так же судьба бросала свои излишки-конфетки,
Чтобы будущий год мы в доброй удаче жили.
А с утра — лучше дверь, вмёрзшая в лёд, и еловые ветки,
Чем то, что на самом деле мы заслужили.

СОТРУДНИКИ

У Никодима были сотрудники,
Всё-то за него делали.
Огород — ни травинки, ни прутика,
Вся изба от мытья белая.
Ненароком заглянешь домой —
В доме всё кипит от работы,
Ходит будто само собой.
(Что хорошего, сплюнь, да что ты!)

Подопрёт спиною забор,
Хлеба им наломает в крошку —
А они все как на подбор,
Те сотрудники, ростом с кошку.
В сапогах и в рубашках синих,
Что солдаты иль гимназисты.
Ну а мордочки-то крысиные,
Рожки маленькие, неказистые.
Уж как он их отдать хотел,
Соберёт, завяжет в тряпицу:
«На, бери!» Из-за этих дел
С ним никто и не стал водиться.
Так и помер совсем один.
На дороге нашёл прохожий:
Посинел, лежит Никодим,
Только ходят бугры под кожей.
Пригляделся — Господи свят! —
Гимназисты-те влезли в тело
И грызут его, шевелят:
Дай нам дело, дело нам, дело...

СЛУЧАЙ

Не, не буду, даже не вспоминай.
И пришла тебе при чужих охота!
Этот случай был — мой отец Ермолай
(Ермолаевна я) шёл домой с работы.
А у них собрание к посевной,
А в деревне пиво варили. К ночи
У него было выпито. Был хмельной.
Но вообще-то не пьющий он был, не очень.
Шли и видят: баба спит у реки,

Под кустами, подол задрался. Ну вот,
Стали подбивать его мужики:
«А поставь-ка ей печать на живот!
Пропечатай её».
Председателем был
Мой отец и печатку носил с собой.
Ну, поставил печать ей и позабыл.
А наутро ему: «Пришли за тобой.
Ну документ нашёл, ну билютень!
Полномочий превышенье, если прощ».
Он не стал дожидаться, а взял ремень
И вон там удавился в осинової роще.
Научил его бес-от, подговорил.
Бес захочет — сладит, как ни старайся...
А никто и не знал: сосед пошутил,
Мол, пришли за тобой, давай собирайся.

БАЕНКА

Бабушка говорит: «Во-имя-отца-и-сына-и-святого-духа-аминь,
Расти-большая-хорошая-и-чтобы-не-было-ничего».
Баенка плывёт по земле сквозь череду и полынь
Мимо рыжих кур, коров, провожатых странствия моего.
Бабушка говорит: «Будешь теперь мне дочка» — и трёт
Спинку во имя Отца и Сына натруженными руками.
С первого взгляда первого встречного кто разберёт,
Со всеми его оврагами и сквозняками?
«Будешь мне дочка, Лена... — ...и не было ничего...»
Баенка та остаётся со мной на внутреннем поле
Среди некошенных трав времени моего,
Горячего душа, чувства вины, ароматной соли.
«...ни страхов, ни переполохов». Стою на границе мира,
Упираюсь руками в эмалированный таз.
Как многого мы боимся в своих уютных квартирах,
Как много работали те, кто жили до нас
В суровых домах. Сосны качают кроны.
Бабушка смотрит мне вслед и крестит издалека.
И я забираю душу её в коробочку диктофона,
А свою оставляю в баенке бабочкой у потолка.

И з ц и к л а
«Травник-разговорник
деревни Рождество»

ВИОЛЫ
(лат. *Viola*)

1. Фиалка трёхцветная,
или Анютины глазки
(лат. *Viola tricolor*)

Сестрёнка Анюта, светает!
Туман за узорной оградой.
Садовник тебе подбирает
На лето цветные наряды.
То в платье невероятном,
Достойном французских маркиз,
То в строгом костюме опрятном:
Сиреневый верх, жёлтый низ.
На каждой неделе обновы:
То в розовом с белым воланом,
То в бархате тёмно-вишнёвом,
То в вышитом, то в златотканом!
Всегда и в любом одеянье
Ты выставлена напоказ —
Людей привлекаешь вниманье,
Ласкаешь и радуешь глаз.

2. Фиалка собачья
(лат. *Viola canina*)

Сестрица Фиалка, весною,
Когда истончается лёд,
И пахнет землею лесною,
И первая птица поёт,
Когда всюду блеск, и сверканье,
И музыка талой воды,
В простой фиолетовой ткани
Ты — отблеск далёкой звезды!

Когда соловьиные ночи
И первое солнце в чести —
Вольна ты расти где захочешь,
Вольна кому хочешь цвести!

3. Лопух большой (лат. *Arctium lappa*)

*...Не один,— с моими друзьями.
С мать-и-мачехой, с лопухом...*

Н. Гумилёв. «Детство»

Воздух осенний ясен и гулок,
Небо стремительно уходит ввысь.
Жизнь хороша для дальних прогулок.
Осень, остановись!

...Играли в войну на задворках сада,
Где трава непролазна, земля суха.
Деревянный меч. Боевая награда —
Орден из лопуха.
И когда друзья убежали гурьбою,
Отставший, упав, узнал наяву,
Как лопух всё небо закрыл собою
Солдату, рухнувшему в траву...

Летних батальей враг и товарищ,
Собеседник и страж у дорог,
Что за тайны ты от чужих скрываешь,
Прям, печален и строг?
Помнишь август, взрывались пылью дорожки
От тяжёлых острых копыт
В год, когда не в шутку, не понарошку
Твой лучший друг был убит?

И ты умер с ним, но родился снова —
Пенье славки, вороний грай.
Придорожный сторож пути земного,
Сталкер в детства короткий рай.

ШНУРКИ НА ДОРОГЕ
(Фрагмент из повести «Аскер-джан»)

«Аскер-джан» — заключительная часть трилогии «Повести Чуйской долины», в которую также входят роман «Австралийский связной» и повесть «Дворовый расклад». Герои всех этих произведений — обитатели одного двора в киргизском городе Фрунзе (ныне — Бишкек). Действие разворачивается на исходе существования Советского Союза, в восьмидесятые годы прошлого века.

1.

Не думаю, что время такой уж искусный лекарь. Все говорят: лечит, лечит. А оно порою не лечит, а калечит. Да так, что сразу становится понятно: в суровой комиссии по лицензированию и аккредитации медицинской и фармацевтической деятельности разрешение на врачевание ему, времени, скорее всего, не выдали бы. Хотя каждый раз всё случается по-особому, общего правила здесь не вывести.

Смерть Светки Вальковой постепенно отходит на задний план. Подругой она нам не была, знакомство наше было недолгим, виделись мы только во время межлечебных визитов. Даже с её младшим братом Алешкой и то больше контактили, пусть он по возрасту был ещё совсем мал (не как сейчас ростом «дядь, достань воробышка» вымахал) и на улицу без сопровождения бабушки или присмотра матери носа не казал; бегал за нами хвостиком со всей дворовой мелюзгой, шастал под ногами.

Светлану жаль, её смерть трагична и отчасти даже нелепа: через пару дней за ней и так бы приехала на белом «жигулёнке» мать — тётя Наташа, чтобы опять забрать свою доченьку на выходные домой. Теперь она корит себя, что не оставила в прошлый раз Свету дома, хотя та, как всегда, слёзно умоляла не возвращать её в психиатрическую клинику под Беловодск.

А ещё она, тётя Наташа, говорит, что лучше бы они вообще не связывались с этой клиникой, а смирились бы (так уж Бог дал) и жили в своей квартире все вместе.

А Бог взял.

Ужасно, когда дети хоронят своих родителей. Это знают все дети. Но куда чудовищнее, когда родителям приходится заказывать гробы и рытьё могил для своих детей. Это знают все родители. Тем более, если ваши дети ещё не убелённые сединами Иван Ивановичи и Марьи Петровны, а девочки и мальчики, у которых всё ещё должно, просто обязано быть впереди! Ну, если не всё, то что-нибудь — обязательно. Не говоря уже о том, что для родителей их дети навсегда остаются детьми. Как и для детей их родители — родителями. Это знают уже и те, и другие.

2.

Постепенно мы отвлекаемся от напряжённых раздумий о смерти Светланы, замёрзшей после побега из «дурки» в поле.

Похороны тринадцатилетней девчонки, решившей во что бы то ни стало вернуться домой, уже давно миновали. Девять дней тоже. Нас с мамой, как и других соседей по лестничной площадке, позвали помянуть Свету и на сороковой день. И вообще просят заглядывать почаще. После случившегося Вальковы держат двери своей квартиры почти всегда открытыми: к ним многие заходят выразить соболезнование, спросить, не нужна ли какая помощь.

В вальковской квартире царит траур. Все одеты, не считая только Алёшки, в чёрное, головы матери и бабушки плотно затянуты в косынки, волосы забраны. Кругом Светины фотографии. В рамках, опоясанных чёрными лентами, на посудных полках, на книжных полках. А на тумбочке подле телевизора, на блюдецке поставлена водки рюмка, накрытая, словно поперечной балкой, тонким кусочком уже давно зачерствевшего чёрного хлеба. Такие рюмки ставят (это я уже знаю), чтобы умершим тоже было что выпить и чем закусить. Вот и для Светы поставили, хотя водки в своей короткой жизни она и не пробовала никогда.

3.

Первым о смерти Светки узнал Аскер. Он все дни напролёт бродит по двору, ко всему присматривается да прислушивается. График посещения им школы для нас до сих пор тайна за семью печатями. Вроде учится, а вроде и нет.

В какое бы время ты во двор ни вышел — сидит себе на бассейне, кораблики пускает, или у ведущего под асфальт муравьиного лаза притаится и соринки у муравьёв отбирает. Те в свои кладовые что-нибудь тащат, надрываются, а Аскер тут как тут: поклажу у них цап-царап — и смеётся.

А то ещё пойдет ловить стрекоз, что садятся на ограду вокруг ёмкостей для привозного газа. Каждый железный прут этой ограды увенчан острой пикой в форме сердечка, вроде тех, что малюют на игральных картах, если масть — черви или вины. Стрекозы почему-то облюбовали это место давно. Сколько себя помню, по периметру ограды на этих пиках всегда можно отыскать как минимум два-три экземпляра. Они, словно часовые, сидят, караулят, когда для жильцов наших трёх домов-сталинок, расположенных во дворе, цистерна привезёт очередную партию газа.

Ёмкостей за оградой две: когда в одной из них газ заканчивается, откуда ни возьмись у ворот, ведущих с улицы Московской во двор, тут же появляется специальная машина. Мужики в форменной одежде отпирают калитку газового забора, тянут туда-сюда и подключают какие-то шланги, направляют опустевшую ёмкость. Как они узнают, что газ подходит к концу, — загадка. Наверное, у них на работе установлены какие-то счётчики. Впрочем, стрекоз этот вопрос, похоже, не волнует. Сидят себе на пиках, дежурят.

Так вот Аскер поймает несколько штук, привяжет к их хвостам разноцветные нитки из материнской фурнитурной шкатулки и бегает с ними по тенистым дворовым аллеям. Стрекозы у него — вместо воздушных шариков. А ещё он хлебным мякишем стрекоз кормить пытается. Но те почему-то не едят.

Скажешь ему:

— Аскерушка, стрекозы хлеб не едят.

— Почему не едят? — спрашивает.

— Не любят.

— Почему не любят?

— Потому что стрекозы.

Чудила с Нижнего Тагила! Пытаешься ему на примере объяснить:

— Вот ты салат «Оливье», к примеру, любишь?

— Есть люблю, — серьёзно подумав, отвечает Аскер. —

А так — нет.

Фу ты, чёрт. В такой тупик загонит, что поди-ка с ним разберись!

— Ну вот, а стрекозы твой хлеб и есть не любят, и так не любят, и никак вообще не любят. Понял?

— Понял. А почему?

Утираешь пот со лба и — по новой:

— Аскер, вот ты что-нибудь не любишь?

— Суп молочный до жути не люблю,— по-старчески наморщив лоб и, по всей видимости, опять крепко подумав, говорит Аскер.— А его у нас, как назло, очень часто готовят, потому что дешёвый, и есть заставляют.

— Вот видишь, а стрекозы твой хлеб не любят.

— А что тогда любят стрекозы? — допытывается Аскер.

— Летать любят. Так что ты бы их лучше отпустил.

Склонив голову набок и высунув кончик языка, Аскер долго что-то кумекает в своей голове, медленно переворачивает, как страницы старинного фолианта, тяжёлые мысли, помаргивает.

— Значит, не голодные,— выводит он.— А откуда берутся акробаты?

Сладу с ним нет никакого. Твоя моя понимай?

— Не знаем,— отвечаем уже хором.— Наверное, из цирка.

Таковыми вопросами иной раз замучает, как в том абсурдном анекдоте:

«— Чем отличается воробей?

— Тем, что у него две ноги. Особенно левая».

Аскеру такой рассказать — с живого тебя не слезет. Всё со своими «да как?», «да почему?» приставать будет.

— Этого тебе не скажу даже я,— авторитетно заявляет Уш.— На то они и акробаты.

Аскер надувается и смотрит вверх на рвущихся с поводков стрекоз. О чем-то думает.

— Скажите, молодой человек,— обращается к нему Стас.— А что это вы за животин на привязи держите? Они у вас часом не кусаются?

Но Аскер уже теряет к стрекозам интерес.

— Стрекозы не кусаются,— говорит он.

И (для тех кто не знает) это — неправда.

Но Аскер, отпустив нити, добавляет:

— А стрекозлы — ещё как!

И вдруг ни с того ни с сего начинает распевать:

— Аты-баты — акробаты. Акробаты — шли солдаты. Шли солдаты, аты-маты. Маты-баты, акробаты.

И тут же сам второй подхватывает:

— Шли солдаты на говно, на говно, нога в ногу!

— Певун, не иначе,— говорит Нихель.— Пора его в ансамбль песни и пляски отдавать.

Этого Аскер стерпеть уж не может. Он воспринимает предложение Лёхи как кровную обиду. Расправа следует незамедлительно.

— А ты купи слона,— начинает гундосить Аскер.— Лёша, ну купи слона!

Нихель понимает, что попался. Но откручиваться поздно — влип по полной.

— Ты лучше скажи, сколько у тебя цветных пробок,— пытается он переключить внимание Аскерушки.

Но Аскер — воробей стреляный, его на мякине, как и стрекозу, не проведёшь.

— Сколько ни есть — все мои,— бойко отвечает он.— А где брал, там уже нет.

В сказках и прибаутках равных ему — поискать. Прямо-таки ходячее устное народное творчество.

— А ты купи слона!

Лёха киснет на глазах.

— Давай лучше в прятки поиграем, что ли, — без особой надежды на то, что Аскер переключится, предлагает он.

— От меня — не спрячешься,— предупреждает Аскер.— Купи слона!

Лёха пускается на хитрый тактический ход:

— А тебе какого? — маневрирует он.— Индийского или фарфорового, на счастье?

— Стекло — легко разбиться,— заявляет Аскерушка.

Оба-на! Не по годам, малец, развит!

— А ты купи слона!

— Я вот тебе слона, конечно, купить не куплю,— начинает уже нервничать Лёха.— А по мордасам ты у меня сейчас стопудово отхватишь. Усёк?

— Мордасы у меня не казённые, чтобы по ним отхватывать,— как ни в чём не бывало отвечает Аскер.— Ты лучше купи слона.

Меры Аскер, когда в голове заклинит, не знает. Как со сломом своим привяжется, головная боль обеспечена. И чего ему эта дурость так нравится?

— Да купи ты ему этого слона,— не выдерживает уже Стас.— Хобот в задницу, два — в уме!

Аскер на секунду замолкает. Наверное, представляет себе, как это будет выглядеть в реальности.

— И ты, Стасик, купи.

— Вали, вали отсюда, пока цел,— пшикает на него Стас.—
Чтобы духа твоего здесь не было!

— Я-то свалю,— говорит Аскер.— А ты купи слона!

Стас возводит глаза к небу.

— Закрой сямку! — уже не выдерживает он.

— Я-то закрою сямку, а ты купи слона!

— Захлопни пасть!

— Я-то закрою пасть, а ты купи...

— Иди, Аскер, пожалуйста, куда шёл, подобру-поздорову!

— Я-то пойду, а ты...

Для нас дело заканчивается случайным везением: домашние отправляют Аскера в продмаг за молоком. Его старшая сестра Мариам выглядывает в окно на третьем этаже и сбрасывает вниз холщовую сумку и деньги, завёрнутые в целлофановый пакет.

— Шесть литров купи,— кричит она.

(А почему не десять? Семья-то у них — пребольшая).

— Слышишь?

— Слышу,— отвечает Аскер, подбирая сумку и деньги.

— Повтори, что тебе надо купить.

(Вот пусть бы на сдачу и купил себе слона!)

— Мне надо купить шесть литров молока,— говорит Аскер.

(Это как нас в нулевом классе полным ответам учили:

— Как тебя зовут?

— Антон.

— Нет, ответь мне полностью.

— Меня — Антон.

— Я сказала — полностью!

— Меня зовут Антон.

— Молодец, остопоп. Так бы с самого начала! Садись, правильно.

Уф, наконец-то познакомились!)

Аскера так специально повторять заставляют. Забывает часто. Пошлют, бывало, за картошкой. А он придет домой без неё, без денег и рот — в шоколаде.

— Жалко, что тебя не пятнадцать литров купить попросили,— сочувственно говорит Стас.— Но, надеюсь, тебе и из этих шести целое ведро молочного супа на всю неделю наварят.

(Детишке на молочишко, чес слово!)

Глаза бы наши Аскера после этих слонов не видели, хотя

и без него вроде бы не то и не так — скучно. Недаром же мы его «дворовым» прозвали. Это — как домовый, только владения — больше.

А то, что у Аскерушки с головой, как и у Светки, теперь не всё в порядке и вид заторможенный, так это из-за того, что как-то раз, переходя дорогу, он увидел, что у него в правом кеде распустился шнурок. Ну, и остановился, чтобы завязать, как его и приучали домашние: «Если развяжется шнурок — немедленно завяжи!»

Вот Аскер и завязал, а его в это время прямо на перекрестке без светофора машина сбила.

— Мне же никто не сказал, что ни в коем случае нельзя завязывать шнурки на дороге, — обиженно жаловался потом выписанный через пару месяцев из больницы «дворовой».

Вообще-то у него со «скворечником» ещё и до аварии уже намечались кое-какие проблемы...

САМОКАТЫ ИЗ БРЯНСКА

Знакомство

Прошу любить и жалованье!

Эксклюзив

Самокаты из Брянска. Возможен самовыкат!

* * *

Перевожу с английского и через дорогу.

* * *

Остекление балконов и лоджий.

Дурацкие приметы

Если вас зовут Александром Сергеевичем, это ещё не значит, что вы — Пушкин. Вы спокойно можете оказаться и Грибоедовым.

* * *

Если по профессии вы трубочист, верьте тем, кто говорит, что ваше дело — труба.

Из объяснительной записки

«Покуда они со мной так, потуда и я».

Театральная тумба

«Индийский факир-очарователь на глазах у изумлённой публики проглотит неразрезанный батон краковский колбасы» (лицензия цирка-шапито № 127689).

Всякая всячина

САНТА-КЛАУСтрофобия.

* * *

Шарль Де Голль перекатная.

* * *

Гордиев санузел.

* * *

Театральная ложа Прокруста.

* * *

Пустился в Пляс Пигаль.

* * *

Кто сказал «Гафт»?

Признания и комплименты

Люблю дык тебя.

* * *

Вы очень фотогигиеничны.

* * *

Я буду любить тебя всему наперекур.

* * *

Ну что у вас за ребёночек! Просто чудо-юдо какое-то!

Девизы

Смело, товарищи, в йогу!

Наблюдения

Любви все возрасты покорны!

* * *

Когда возраст уже не тот, стариной приходится трясти.

* * *

Лифты, подобно неопытным девушкам, только и делают, что постоянно ломаются.

* * *

Пишущих романы называют романистами, а пишущих опусы — опоссумами.

Советы

Не стоит дитю поминать старое при семи няньках.

* * *

Если у вас совсем нет комплексов, закажите себе хотя бы комплексный обед.

* * *

Если знающие люди говорят про вас — «сБРЕНДИл!», имейте мужество признаться, что вы действительно хватили на банкете лишку.

Ненародная мудрость

СТИХИЙное бедствие — это когда в поэзию начинают рваться толпами.

Мини-завески

Преподаватель устного народного творчества (на лекции).
Запишите: «Мать сыра земля».

Студент платного отделения. А какого: плавленого или пошехонского?

(Занавес)

* * *

Инспектор рыбнадзора. Гражданин, у вас разрешение на ловлю рыбы имеется?

*Браконьер (с вызовом). Брат Митяй помирает, уши просит.
Инспектор рыбнадзора (смущённо). Извините, не знал.
(Камыши)*

* * *

*Священнослужитель. Веруете в Господа?
Партийный работник. Слава Богу, я — атеист!
(Гром и молния)*

* * *

*Хануга. Своя ноша не тяжела.
Вор. Чужая — тем более.
(Решётка)*

* * *

*Влюблённый дурачок. Ведь у меня есть ты!
Возлюбленная эгоистка. Да, а у тебя есть я.
(Будуар)*

* * *

*Мамаша-хлопотунья. Сынуля, иди кушать.
Сынуля (переходного возраста). А что я? Чуть что — сразу
я. Как будто больше некому!
(Занавес)*

* * *

*Следователь. Что вы можете сообщить по существу?
Задержанный охотовед-любитель (испуганно). По какому
существу?
(Ба-бах!)*

* * *

*Больной (с надеждой). Вылечили?
Доктор (вздрагивая). Нет, не я.
(Кресло-каталка)*

* * *

*Доктор (с бодрей). Вылечили!
Больной (скептически). А вы — лечили?
(Операционная)*

* * *

*Массовик-затейник. Ребята, а в каком слове есть буква
«льбно»?
Очкарик-буквоед. Буквально.
(Занавес)*

* * *

Слепой. Прохожие, извините, вы не подскажете, какой сейчас идёт дождь?

Прохожие. Слепой.

(Зонты)

* * *

Обвиняемый. Скажите, а что мне делать, если я всё-таки провалюсь на даче показаний?

Адвокат. Тогда постарайтесь не погореть хотя бы на даче взятки.

(Нары)

* * *

Покупатель-подросток. У вас лак для волос мужской или женский?

Продавец (хмуро). Мальчуковый.

(Пш-ш-ш-шшш)

В метро

Пассажир. Выходите?

Старичок со слуховым аппаратом. Да, спасибо, пока ещё хожу.

(Двери открываются)

Теремок

Посетитель. Тук-тук, кто в теремочке живёт?

Администратор гостиничного комплекса. Кто заплатит, тот и живёт.

(Ресепшн)

Сиамские близнецы

Первая голова. Одна голова — хорошо.

Вторая голова. А две — плохо.

(Гильотина)

К мини

Виновник торжества разменял седьмой десяток.

На новенькие, хрустящие. В крупных купюрах.

* * *

В прихожей стояли пятнадцать пар ласт.

Это юбиляра пришли поздравить его друзья-водолазы.

* * *

Перед сном он заморил червячка.
Потом ещё одного. И ещё одного.
И так — целый коробок. И всех — голодом.

Дела окололитературные

Когда «Всадник без головы» дослужился до армейского чина, его стали уважительно величать «Капитан Сорви-голова».

* * *

Лихо закрученный сюжет с ярко выраженной интригой.

* * *

Да ты что, искромётного юмора не понимаешь?

* * *

В каждой точке — скрытый смысл.

* * *

И оказалось, что это — не что иное, как кто бы мог подумать!

Чудеса да и только!

Незабываемое приключение, как утверждает сам Кузьма Митрофанович Задирко, произошло с ним в минувшую пятницу.

Однако стоит отметить, что злые языки склонны считать иначе. По их мнению, оно с ним вовсе не произошло, а произошло.

Из объявлений в общественном транспорте

Уважаемые пассажиры!

Убедительная просьба забывать свои вещи при выходе из салона троллейбуса. О вещах, оставленных другими пассажирами, немедленно сообщайте водителю.

Ему будет приятно.

Концовка для любовного романа

«А потом он сделал ей абзац».

ХИППИ-ЭНД!

КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?

Диалогические заметки о современной вологодской поэзии

Поэт зависит от времени, искусство — от эпохи, но ни то, ни другое не меняется бесповоротно и резко вслед за перелистыванием календаря. Русская поэзия, перешагнув в XXI век, влилась в виртуальное пространство, а её лики и звуки остались прежними и потихоньку приелись, замылили глаз, притупили слух, утратили притягательную энергию. Интернет захлебнулся рифмованными строчками, а настоящая поэзия стала засыхать. Разумеется, «не бывает напрасным прекрасное» (Юнна Мориц) — лучшее из созданного в первые годы нового столетия не обесценится и к концу века. И всё же инертность литературной жизни, неотчётливость форм существования поэзии, расплывчатость эстетических ориентиров ещё недавно были вполне очевидны. Они привели к исчезновению литературно-критических статей, посвящённых стихам, обернулись массовым пренебрежением: именно поэтические сборники, причём даже те, за которыми охотились в начале 1990-х, частенько оказывались в мусорных баках.

«Поэтов узнаю я по глазам, Стихи не выделяю как профессию», — написал однажды автор знаменитой песни «Огней так много золотых» Николай Доризо. Да и сегодня законы, по которым мы живём, не способствуют утверждению профессии «поэт» или «писатель». Вместе с тем, основа для оценки творческого человека с точки зрения его профессиональных свойств вроде бы существует — это факт принадлежности к одному из союзов: писателей России и российских писателей (далее СПР и СРП). Изнутри одного из союзов другой нередко представляется неполноценным, малопрофессиональным, незрелым или, наоборот, устаревшим. Однако это либо игра воображения, порождённая нежеланием знать, либо способ самооправдания. Кроме того, для перешагнувшего за порог шестидесятилетия человека любой, годящийся ему в сыновья

и дочери, всегда будет идущим позади или же нагло забегающим вперёд. То, что кто-то из этого нового поколения вполне может двигаться рядом, осознаётся единицами. И в литературных дискуссиях часто принимаются во внимание именно возрастные (молодой — зрелый — старейший) и гендерные (женская поэзия) принципы разделения поэтов. Но зачем?

Мужчине-поэту нередко удаются прекрасные стихи от лица матери, поэтессе — строки от мужского имени. Что делать с такими произведениями критику? Отринуть их ради стройности типологического построения? И почему нужно внушать читателю уважение к прославленному поэту, утратившему чуткость восприятия и загнавшему своего пегаса туда, где жизни нет? Бесконечное же перебрасывание костяшек на счётах бед и обид, упрёков и обвинений двух профессиональных союзов интересно лишь тем, кому статусные отношения и вопросы субординации важнее искусства, а полемика и «перелай» дороже вдохновения.

Ждущий от меня сейчас по отношению к вологодской поэзии именно таких рядов, разделений — разочаруюсь и прекрати чтение, ибо все эти подходы я смахну, «как с подушки волос». «Зачем певицыно нам лицо, Раз вся она — только голос?» (Марина Цветаева). Не по лицу и не «по глазам», не по бытовым привычкам, скандальному поведению или наградам узнают поэта. Его единственный неформальный документ — стихи. Звучащие и опубликованные.

Слово «вологодский» тоже считаю внешним определением. Почему автор, родившийся и живущий в нашем областном центре, не может написать о Вологде плохое, хотя и насыщенное топонимическими деталями стихотворение? Отчего москвич, однажды лишь у нас побывавший, окажется способен на замечательное произведение без того самого московского отпечатка, о котором заявлял грибоедовский Фамусов? Это и есть, возможно, один из признаков качества стихов — отказ поэта от упоения местными знаками кажущегося «местным» смысла, умение преодолеть границы топонимики через язык поэзии.

Давно и тщетно пытаюсь понять сочетание «вологодская картина мира». Особая конфигурация замочной скважины, к которой припадаем в надежде увидеть, что же там, за дверью, находится? Но для того, чтобы эту особую конфигурацию разглядеть, надо от неё отдалиться, то есть... перестать видеть мир за дверью. И «литературная Вологда» представляется гораздо более внятным определением, чем «вологодская литература», если только последнее не рассматривать так:

литература, созданная в Вологде и Вологодском крае. А край большой. Поэтому ограничусь дальше размышлением о таких поэтах, которые географически — по месту рождения или земного пребывания — с Вологдой связаны и от неё не оторвались окончательно и бесповоротно. Диалог таких авторов с теми, кто внимает стихам в родном городе, в последнее пятилетие активизировался и воскресил надежду на то, что поэты Вологды будут замечены, узнаны или по-новому востребованы его величеством Читателем.

Формы этого диалога такие же, как везде, однако динамика отношений, плотность и интенсивность самой литературно-поэтической жизни, количество пишущих и активно публикующих свои стихи, пожалуй, подтверждают высказанное Александром Тимофеевским определение: *«Вологда — поэтическая столица России»*. Читателю нашему таким определением, конечно же, выдан особый аванс, обязывающий даже к большему, чем есть на сегодняшний день, вниманию к стихам. Но сохранение главного принципа в наметившихся предпочтениях и особая твёрдая позиция читательской аудитории при выборе, кого слушать, на встречу с кем идти, меня лично радуют.

Маркировки СПР и СРП вологодскому читателю скучны (он в них путается), к победам в любых конкурсах, фестивалях, а также к премиям он относится насторожённо (судьи — кто? не на безрыбье ли?), а вот появление подборки стихов в республиканской периодике («Новом мире», «Знамени», «Октябре», «Неве», в «Литературной газете») или книги, изданной «Воймегой» (московское поэтическое издательство), по-прежнему внушают не просто уважение к земляку или землячке, но и располагают к чтению опубликованных произведений.

Встречное уважение тоже есть. Местные журналы и газеты нашими авторами не игнорируются. «Вологодский лад», «Вологодский литератор» более доступны и не в электронной версии: в библиотеках города, в киосках они найдутся. Свои произведения многие вологодские стихотворцы размещают также на специальных сайтах, личной страничке в социальной сети. Это позволяет расширять читательскую аудиторию, узнавать других поэтов, получать отзывы критиков, участвовать в конкурсах, не разъезжая для этого по странам, городам и сёлам. Однако даже такие формы диалога с читателем ориентированы прежде всего на вологжан: их отклик мыслится как самый первый и наиболее важный.

Поэты наши, в связи с работой или учёбой, иногда включаются в столичное пространство и на довольно продолжительный срок, но при первой же возможности предпочитают обращаться к читателю вологодскому. Ярчайшее подтверждение тому — презентации стихотворных сборников, изданных «Воймегой»: сначала книги представляются в Вологде, затем — в Москве и Санкт-Петербурге. Репетиция для автора в домашних стенах? Безусловно. Но и понимание, кому эти стихи в первую очередь необходимы, явно движет поэтами при выборе аудитории. Встречи с читателями потихоньку стали возвращаться в жизнь Вологды. Фестивали «Плюсовая поэзия» (СП) и «М-8» («Культурная инициатива») тоже поддерживают и одновременно проверяют тех, кто настойчив в своих творческих исканиях и притязаниях. Количественные показатели (число участников чтений и семинаров по поэзии), разумеется, не всегда переходят в качественные, и члены жюри нередко вторят раздражению Феофана Прокоповича, триста лет назад сказавшего: «Все начали стихотворствовать до тошноты». Но вариант отношений, согласно которому «столичные литераторы учат нас писать стихи», уже не ощутим, поскольку вологодские поэты стали интересны не в роли учеников и подмастерьев, а как значительное явление современной культурной ситуации в общероссийском масштабе. Многие из них уже не один год на слуху и у столичных знатоков поэзии, а в родном городе у них появился свой круг внимательных и чутких читателей, старающихся не пропустить новые публикации.

Рискну составить местный алфавитный указатель, выделив десять имён тех, о чьих поэтических книгах и публикациях размышляют, кто по-прежнему вызывает полярные оценки и вполне соответствует представлению о современном вологодском поэте. Разумеется, данный алфавитный указатель и сам по себе, и в наборе кратких характеристик не лишён той субъективности, которая вызывает к диалогу — и, может быть, не столько с названными здесь авторами, сколько с читателем.

ВАЛЕРИЙ АРХИПОВ

Поэт для спокойной Вологды неожиданный: напористый, даже кричащий в большинстве своих стихов, яркий в любовной лирике, склонный к эротическим мотивам и образам, подчас прямолинейным и резким. Не восхититься звуковым натиском таких стихов, особенно слушая их в исполнении

автора, сложно. Но восхищение это быстро проходит, а при чтении произведений с листа редко возвращается. Воплощённые в произведениях Валерия Архипова состояния человека «между радостью и бранью» (название книги, изданной в Вологде в 2014 году), постоянно напоминают читателю, что «строчки с кровью убивают» (не случайно и у поэта сорвалось: «Я ранен в горло чуткою судьбою»). Темнота сгущённой эмоции («Ах, мама, мама, кукла умерла!») даже отпугивает. Вина ли это самого автора, или современный читатель просто не готов справиться с такой наэлектризованностью чувств?

Совместный с одной из дебютанток вологодской поэзии сборник «Несовершенство» (самиздат, 2014) тоже не отменил этих качеств: Валерий Архипов способен погружаться в поэтику символизма и не отказывается «поиграть в декаданс», однако даже в этом случае он остаётся создателем замкнутых в своей монологической экспрессии стихов. И всё же недавняя публикация в «Вологодском ладе» убедила, что поэту подвластны другие, помимо любовно-эротической, темы, иная мелодика, не гиперболизированные, не бескомпромиссно-настойчивые признания и просьбы: «Только ты — украшение в белом — новоявленна и близка», «Вологодский край, с тобой навеки Я останусь на листе бумаги», «Дотронься до руки и корочкою хлеба смети усталость с губ». Переходы от громокипящей поэзии к почти романсовой лирике, уклонения от сюжета, согласно которому мужчина — бог, оратор, завоеватель, диктатор, а женщина или девушка — лгунья, избегающая участи рабыни, ещё редки и, видимо, смущают самого автора («Банальные стихи»), но именно они свидетельствуют о творческом развитии Валерия Архипова.

ЕВЛЕНЬЯ ВИНОГРАДОВА

В настоящее время жизнь на два города (областную столицу и районный центр Великий Устюг) дистанцирует поэтессу от вологодского читателя («Мой первый изъян — второстепенна»), по-прежнему более расположенного к непосредственному общению или чтению книг, чем к заглядыванию в личные страницы автора в социальных сетях. А новая книга стихов у Евлени Виноградовой сложена, и есть надежда, что лучшее из «Осколков», «Ожидания» и «Отчаянной радости» (самиздат), новых произведений, опубликованных в «Литературной газете», «Неве», «Вологодском ладе», ещё будет оценено не только более широкой вологодской аудиторией, но и столичными критиками, причём вне конкурсной ситуации или интерактивной телевизионной передачи («Вечерние стихи»).

Главные свойства поэзии Евленьи Виноградовой — естественность, непреднамеренность живописных образов и ритмов, энергичность стихотворной речи, широта интонационного и тематического диапазона, свобода стилистики, диалогичность. Даже без обращений и посвящений её стихи всегда — разговор, беседа с тем, перед кем автор не заискивает, но и кого, однако, ни в чём не желает убеждать. И потому так легко читающему шагнуть вслед за Евленьей Виноградовой на новогоднюю улицу, где уже «ошкурен сочный мандарин», вспомнить начало зимы («А помнишь, первый снег слетел, как сала шмат на сковородку?»), колоритного деда Зосиму, бабу Любаву, первую учительницу Капитолину Павловну или же просто посидеть рядышком на большом камне, «пока река не подо льдом и осень праздничная длится». У поэтессы есть стихи тишайшие («Я войду тихонько, двери...», «Когда деревья, люди и дома...»), полные глубокого сочувствия к странным и одиноким людям («Сама с собою неустанно...»), к животным, птицам, растениям. А есть и громкие, страстные, дерзкие, неистовые («Пора сорвать тоски репей...», «Распоследний рай»). Но все они — о щедрой и искренней любви к миру земному, все — жизнеутверждающие и в этом своём свойстве так необходимые современному читателю.

МАРИЯ МАРКОВА

Самая известная на сегодняшний день поэтесса Вологды из нового поколения. И вовсе не потому, что в 2011-м получила премию Президента России. Тот, кто следит за творчеством Марковой хотя бы на протяжении последних пяти лет, не может не признать интенсивность ее художественных поисков. Стихи Марии Марковой, написанные в течение месяца или двух и открытые для читателя в пространстве Интернета, — поражают и количеством, и разнообразием. А поэтический путь начинался, как у многих: с распознавания собственной души, со слова, за которым область только сокровенного и личного мира. Этот мир был «осязаемо светел», потом тёмн, болезненно тревожен, а сегодня он «прозаичен и прозрачен» и при этом распахнут для многого и многих. Акмеистическая дробность и одновременно расплывчатость поэтических картин «Соломинки» («Воймега», 2012), слежение «за быстрыми смычками» звуков, боль от того, что «ласточка слов слепа», уступили место вихревому потоку высоких и уже не молитвенно-жалобных интонаций, а зыбкость синтаксиса и блуждание в лабиринте метафор стали преодолеваться рефренными

образами увиденного («женщина с парой великолепных собак»), афористичностью («Миры расходятся, столкнувшись и сердцевину повредив»; «но стоять у провала нельзя, и нельзя не стоять»; «Так тянет расстаться и не расставаться»).

Лирическое движение в стихах Марии Марковой осуществляется как будто по спирали, возникая из внутреннего, смутного, нераспознанного состояния души, преобразующего пространство и память. Но перемены самого чувства лирическая героиня боится («Меняется всё так непоправимо»), как боится немоты владеющий словом («Нем человек не от рождения») или глухоты — слышащий музыку («не избежать беспамятства, когда ты так звучала!»). Принять в себе другое, иное для такой героини всё равно что развоплотиться, сорваться в пропасть небытия. Оттого нередки в стихах этого автора мотивы смерти, хаоса, пустоты, холода, добровольного молчания, оберегаемого сна. И всё-таки желание пройти «скрытно, тайно» мимо всего внешнего, не подчиниться росту новой жизни в природе, в людях, которые рядом, не всмотреться в их лица в сегодняшних произведениях Марии Марковой оспаривается убеждением: «не получится, нельзя». А потому она растёт, меняется на наших глазах, иногда ещё боится самой себя («Будто могу сейчас, но нужна решимость»), однако голос её обрёл силу, уверенность, стихи уже не вязнут в музыке пустот, однако и не теряют при этом своей обаятельной хрупкости, утончённости. Ещё недавно Мария Маркова была больше эссеистом в своих стихах, сегодня она — неизменно и почти мгновенно захватывающий читателя лирик — и в поэзии, и в эссеистической прозе, и даже в опыте критического отзыва на поэтическую книгу.

НАТА СУЧКОВА

Узнаваемый по смешению речевых стилей и вниманию к социальной стороне жизни поэт. Читателей «Лирического героя» («Воймега», 2010) Ната Сучкова удивила отсутствием так называемого женского начала и скрытостью собственно лирического «я». Её герою, как будто выросшему из пацанской богемы, уже привычнее и легче было просто наблюдать «ход вещей» (название третьей книги), чем откровенничать, хулиганить, эпатирова читателя. Для выражения собственной реакции на мир важнее оказались персонажи: реальные (девочки из процедурной, Вася-Череп и Ваня-Хан, Машка-Маруся «в синих штопаных рейтузах») и литературные («Спит твой Дубровский — стекло запотело», «Печорин выходит на леса

опушку», «Я пишу тебе, Герда, на серой треске»). Главная линия поэтического высказывания и первой, и последующих двух книг определена позицией современного молодого человека, отрицающего любые крайности бытия, пристально всматривающегося в негероическую повседневность и в ней обретающего опору мировосприятия. Опасность, подстерегающая Нату Сучкову при таком свойстве, связана с возможностью перехода от беспристрастности к бесстрастности, к полному забвению личностной эмоции и иссушению лирики (в этом смысле примечательно и заглавие второй книги — «Деревенская проза»). Ощущая такую опасность, автор иногда влечётся к ломающейся, как голос подростка, интонации, огрубляет строки просторечиями, жаргонизмами или подстёгивает их заливчатскими, почти частушечными ритмами («Мы поймали двух лещей, одного подлещика...»), песенными парафразами («Спит твоя девочка — лютик, ромашка кровь с молоком, геркулес на воде — в жёлтой коробочке пятиэтажной, в кукольном домике, Вологде-где»), заговорно-колыбельными формулами («Хорошо да сладко спать, не боясь мёртвых, в старом бабкином халате, на грудях протёртом»). Лучшее в трёх книгах Наты Сучковой — стихи, в которых зоркость и внимательность взгляда сочетаются с неутраченной нежностью, чуткостью сердца, а земное пространство освобождается от бытовой и обезличенной предметности и в нём появляется «синее небо», «тёплое облако», «след самолёта».

АНДРЕЙ ТАЮШЕВ

Книга «Об Пушкина», изданная в 2015-м в серии «Том писателей» (проект Наты Сучковой), и публикация в «Вологодском ладе» позволяют увидеть не только то, что Андрей Таюшев вполне самостоятелен в своих стихотворениях, но и ощутить органичность его слова в контексте современной вологодской поэзии. Сборник получился состоятельным как по произведениям, передающим ощущение этапов собственной жизни, так и по текстам, в которых воплощён опыт читательского восприятия литературных образов и сюжетов. Скрепляет эти два рода стихотворений светло-печальный мотив невосребованности собственных поэтических опытов. Лирический герой, «временем взятый на наглый гоп-стоп» и многое растерявший, готов и сам ёрничать над своими «стишками», «стишатами», «дурацкими песнями», «смешными речами».

Поэтическое вдохновение Андрея Таюшева словно его «пасажир-попутчик», не допускающий уныния, скуки и полного

погружения в элегический язык. Ночь в русском городе на Севере или в поезде, весеннее солнце и мелкий дождь, слова блокадницы и песня «Сулико» в Тифлисе, звёздное небо и гоголевские «Записки сумасшедшего» — обо всём этом сказано-рассказано без позы, без желания удивить или от нечего делать побалагурить в рифму. Через такие стихи невольно раскрывается авторское убеждение в том, что не только у пространств, эпох и событий, но и у всех людей есть право на особенность — и в этом свойстве поэт и читатель, например, равновелики. Дистанция между автором и человеком простым («Се — странный человек, вернее — человечек»), с обыденным его и грешным существованием, ленью, ошибками, запоями, чтением в вагоне метро («Собаковолк») кажется предельно короткой. Может быть, именно благодаря такой короткой дистанции, поэту и удалось, поняв изнутри состояние гоголевского чиновника Поприщина, создать лирический сценарий повести «Записки сумасшедшего» («Тьфу ты, чёрт! Об Гоголя!»).

Андрей Таюшев во многих своих стихотворных строках шутив и самоироничен, и «полоска света» всегда видна в его размышлениях о жизненных тупиках («Руки-ноги есть, да и сердце бьётся. Хорошо живётся — пока живётся — Хоть на Марсе, хоть на Руси»). Лёгкость слога, стремительность слов и ритма, победительное сияние солнца («Свет сквозь толщи смога Бьёт во все края. Подожди немного, Засвечусь и я») в его поэзии дополняются наказом самому себе: «Ну-ка, встань и ходи, ведь не век же тебе тут лежать». Надеюсь, что и этой книге, и новым стихам Андрея Таюшева не век лежать без читателей, что и сам поэт вскоре перестанет ощущать себя «везде только гостем да гостем, То незванным, то званным (что реже), но всё — не родным».

ДАНИЛ ФАЙЗОВ

Его в Вологде знают как инициатора и организатора фестиваля М-8, как человека, который знакомит известных поэтов с вологодской публикой и открывает наш город именитым или начинающим авторам. В культурной жизни Вологды Данил Файзов действует в роли пограничника, связиста, дипломата. Он определяет стратегию и тактику фестиваля, привозит интересные книги, ведёт чтения и выступления у памятника К. Н. Батюшкову и гораздо больше говорит о других, чем о себе. Многие успели уже забыть, что Данил Файзов пишет стихи. Но вот она, его книга «Третье сословие» («Воймега», 2015), в которой, думается, представлено далеко не всё из написанного автором.

Большинство стихотворений этой книги балансируют на грани поэзии и созерцательной прозы. Данил Файзов растягивает лоскутное речевое одеяло на таких словах-колышках, как: «водка» («Когда ты уходишь, во мне начинается водка»), «шарфик» («в день матча локомотива надень шарфик зелёный»), «прощение» («Прости её Ведь все давно простили И прощены») и «память» («Я памяти скажу постой-постой»). С ровной и, в сущности, одинаковой интонацией он говорит о том, о чём можно сказать и не в стихах. Выбор этой интонации, а также ключевых слов, правда, зависит и от читателя, ибо почти во всех своих высказываниях автор снимает знаки препинания и пренебрегает прописными (заглавными) буквами. Но этот же приём размывает композицию — подчас кажется, что вникать в такие произведения можно и с конца, двигаясь к началу, или свободно отсекают целые куски в объёмных текстах. Иногда и «жест нетвёрд»: срываются случайные сочетания слов, неоправданные повторы, от которых стихи только тускнеют («из-под бровей из-под ресниц из-под ресниц из-под бровей», «установь свой взор», «напихал в портмоне», «вот фотографии вот фотки», «ручейки невыстраданных слёз», «красивы», «всё так красиво», «красиво это пёрышко твоё»). Лирическое и своё, интонационно не вторящее никому, поэтическое, а не рассудительное у Данила Файзова — в стихах о любви и времени: «пока она идёт она летит», «новые вопросы не случайны», «я стану вещью маленькой и нужной», «как жаль что мы не посетили торжество». Недвусмысленность, ясность переживания, органичность строфики и точность завершающих строк в этих произведениях позволяют согласиться с мнением Дмитрия Веденяпина: Данил Файзов не только может писать стихи, но и правильно делает, что пишет их. И есть надежда, что даже плывя по общему течению поэтической реки, он в следующих публикациях «не поздоровается больше с отраженьем» вязких третьесловных текстов.

ОЛЬГА ФОКИНА

Почти забытая столичными издателями, но по-прежнему любимая и вологодским, и архангельским читателем, она верна себе и одновременно нова в стихах последнего десятилетия. Не столько по изданной в 2014 году книге «Маятник» (подборка стихов, написанных сравнительно недавно, там невелика), сколько по произведениям, появляющимся в «Вологодском ладе», «Вологодском литераторе», очевидно, что

противопоставление города и деревни, крестьянского уклада жизни и суетных влечений-развлечений городской цивилизации сменилось мотивом утраченного единства, а повествовательная и песенная лирика потеснены думой о «беде отчуждения». Появилось множество самоопределений («Я — человек, “С волками жить — По-волчьи выть?” Увольте!»; «Я не сенсационна»; «Извини, родная пресса, Но, живя в родном краю, Кроме леса, интереса Не имею ни к чему»; «Я — не турист, мне лучше — дома»). Нередкими стали стихи-обращения, посвящения, в том числе детям, детскому миру. Главными в поэзии Ольги Фокиной, связывая произведения XX и XXI века, были и остаются темы семьи и природы. И в них та же боль от разлада («Разошлись родителей дорожки...», «И нет войны, а дети — сиротек...», «Мужчина, любящий машину...») и радость от созвучия («“Цикорий плюс фацелия” — Ей-богу, хорошо»). Но особенное значение у поэтессы обрела тема творчества, а многие стихи связаны с памятью об ушедших поэтах, с определением своего отношения к ним. Воспоминание и отклик на настоящее, частное событие текущего дня и мысль о судьбе человеческой, чужое, но родное слово и собственное откровение, сонет и народная песня — всё это соединилось в стихах настолько естественно и просто, что новые качества не сразу оказались замечены читателями. «Другая» Ольга Фокина — в эпиграфах, в аллюзийных произведениях: «Плакала Таня, как Башня горела», «Празднуя волю, покой и свободу», «Не отрекаются, любя»; в предельно лаконичных и трагических завершениях: «Под берёзой нетверёзый Распластался мужичок. Есть вопросы? — Нет вопросов! Есть верёвка, Есть сучок»; в сарказме: «А давайте соберёмся Все в большие города! Наедемся и напьемся, Насмеёмся, напоёмся, Набузимся, надерёмся, Переспим... и что тогда?»; в иронии и самоиронии («Утешаю в горе Раю...», «Спец черёмуховую чурку...»); в уверенном, но не показном подхвате слов, которых вроде бы должна сторониться лирика («самодостаточны», «Интернет», «ИНН», «подлянка», «классное», «сплин», «транс»).

Ольга Фокина по своему поэтическому языку и темам — самый смелый, волевой и вольный, самый активно противостоящий любой хандре поэт Вологды. Она более, чем другие, убеждает и в том, что «жизнь интереснее романов», и в том, «что смерти не было и нет Для тех, кто пишет!»

АНТОН ЧЁРНЫЙ

Две наиболее серьёзные книги словно бы написаны разными авторами. Первого — по изданной в Москве книге «Стихи» — правильнее было бы назвать стихотворцем. Представленные здесь произведения демонстрируют разные возможности освоения поэтической формы, но порождены они не столько переживаемым моментом бытия, сколько прочитанным (в том числе и у немецких экспрессионистов, переводы стихов которых включены в издание), желанием философствовать («Голова», «На кипящем народном мосту...», «Пробираясь в толпе...», «Человек»), рефлексировать по поводу подростковых ломок («Стихотворения в прозе») и, главное, настоять на собственных и оригинальных отношениях с «гуттенберговой дыбой».

Впервые открывающему для себя поэта Антона Чёрного, однако, стоит обратить внимание на сочетание «творческая работа» в авторском предисловии, на стихотворение «Срастаются обратно времена...», на образ родного города, заставляющий забыть об экзотических оборотах речи. И всё же лучше начинать это знакомство со второй, внутренне свободной, но и целостной по композиции книги «Зелёное ведро» («Воймега», 2015), где оболщение формой побеждено. В этих стихах ненавязчивая, спокойная интонация, а переживания и мысли порождены уже конкретным пространством (цикл «Займище»), фактом («Стоит зелёное ведро...»), временем («1982»), человеком («Памяти Ивана Волоснова»), воспоминанием («Потолок»). Органичность соединения литературных символов с природными («Дожди который день, и как нарочно Дочитан нескончаемый Толстой»), точность бытовых образов («Картошка затарена. Гряды пусты. На солнце спина высыхает от пота») придают этим произведениям не найденную в первой книге достоверность, способствуют проявлению в них лирической глубины и силы. Это искренний и очень внятный по языку поэтический рассказ о себе («Хочу всё сжечь: тетради и блокноты...», «Бывшее») и о поколении сверстников («Давай я продолжу, а ты начни...», «Нас кидали сразу за борт...»); о любви к миру («Бабушка говорит...»), о смерти, не отрицающей чувства родства и будущего («Все умрём и будем похоронены...»). Признание того, что «всё просто и обыденно На земле, в земле и под землёй», в лирике Антона Чёрного состоялось, а дальнейший путь этого автора вряд ли кто-то возьмётся предсказать. Но думается, что две стихии — перевода и собственного творчества — будут по-прежнему подхватывать и обогащать друг друга в его поэзии.

ИНГА ЧУРБАНОВА

Некоторые читатели в Вологде уже потеряли надежду на то, что новые стихи Инги Чурбановой появятся в местной печати, а книги «Клады, яды и огни» (2011) и «На качелях печали» (2012), изданные в родном городе, наконец-то можно будет отыскать и во всех библиотеках, и в книжных магазинах. Залпом выпущенные три года назад в Интернет-пространство 27 стихотворений не дополнились пока журнальными публикациями. И только литературные вечера изредка поддерживают общение с теми, кто не может оставаться безучастным к потерям, пропажам, материнским мытарствам её лирической героини, преодолевающей боль, идущей, едущей, даже летящей наперекор благоразумию, заново разучивающей жизнь, ждущей и отрекающейся, поющей и объясняющей себя. Эта героиня всё время в пути, всё время ищет своё предназначение — в любви и в творчестве, потому что ощущает собственную силу и ответственность даже за отношения двоих. Она сознаёт и своё право на уединение, на «кусочек лесов» и свою обязанность стремиться к свету даже в «чёрное время».

В конце 1980-х — начале 1990-х Инга Чурбанова труднее, чем иные поэты Вологды, решалась начать свой поэтический диалог с читателем, непросто ей и сейчас продолжать этот диалог, а не быть «мостом» между Ольгой Фокиной и очень многими, жаждущими лишь схождения и не прощающими различий. Возможно, ещё и поэтому в её стихах так много борьбы с собой («И так устала я С собой участвовать в войне!»), с любимыми и разлюбленными, с подробностями жизни и домашним пленом, от которых её героиня готова бежать в поле, в избу на краю оврага, нырнуть в поезд, увозящий далеко-далеко — впрочем, только затем, чтобы вернуться и снова обрести себя в любви: «Я впадаю в тебя, как в религию, Позабитую мною, прежнюю». В отречении («“Не отрекаются любя”, А разлюбил — и снова барин, Я перестану ждать тебя, И ты мне будешь благодарен»), в отповеди («Собака не залаяла»), в движении навстречу («Что мне за дело — Дождь ли, не дождь, Плащик надела: Ты меня ждёшь») и сокровенной мечте («Увези меня на волке...») героиня Инги Чурбановой близка читателю своей нравственной чистотой и силой. Главный враг этой героини — ложь во всех её обличьях, главные спасители от всех «ядов» — ветер, огонь, вода. В учителях, в помощниках-собеседниках у Инги Чурбановой нередко выступают русские и зарубежные классики литературы, композиторы и музыканты, современные поэты и даже учёные. Вот почему

«световое излучение» её стихов зачастую обращено не только к чувствам, но и к уму и знаниям читателей. Количественный перехлест интеллектуальных отсылок, подчинение им лирического переживания как иллюстрации («Психоаналитический этюд») возможны, но пока и в целом Инге Чурбановой удаётся избегать таких опасных для поэзии поворотов.

ЛЕТА ЮГАЙ

Лирическая героиня её стихов в книге «Между водой и льдом» («Воймега», 2010) как будто находится за витражными окнами: угадываются её очертания, движение руки — но не более. Да и смотрит она не на улицу, а на само сочетание цветов и линий на стёклах. Погружаясь в эти стихи, неизбежно попадаешь в «междуречье»: есть строки, идущие от сердца (их мало) — есть от сознательной работы мысли (таких намного больше). И нет лёгкости слога и того простого откровения, которых всегда невольно ждёт читатель от лирики. Умные, культурные монологи редко утрачивают свою многословность. Через неё, независимо от темы, уже проступает заговорная интонация, как будто усыпляющая читательское сопереживание.

Сильная сторона стихотворений Югай — в вопросах, на минуту обнажающих интерес к миру другого человека и распаивающих витражное окно: «Львы всё добрее, львы всё тише. Кому такие нужны?»; «Хорошо ли тебе в моём сердце, хочешь ли ты здесь жить?». Отступая от сосредоточенности на себе, от медитативного речевого потока («Прячусь от жизни в травное лето и в слово»), Лета Югай движется к своей формуле любви: «Моя привычка думать о тебе становится похожей на упрямство», «Я потому тебя называю братом, Что ты во всём говоришь противоположное». И всё же многое остаётся как будто зажатым между песком и льдом, в тесных мирах пространственных и эстетических ассоциаций (цикл «Натюрморты с лимоном») или сугубо профессиональных реакций (цикл «Филологический факультет»). Нет ничего неожиданного и в том, что во второй книге «Забить-река» («Воймега», 2015) Лета Югай пришла одновременно к стилизации, комментарию и интерпретации фольклорного сюжета (циклы «Записки странствующего фольклориста», «Надписи на прялках»). Но многие ли читатели способны сегодня восхититься таким растворением поэзии в этнографии, мифологии, таким соединением исследовательского интереса к быличкам, сказам, закличкам, баенкам, горюшницам с лирическим творчеством? Стихи от авторского лица, собранные в разделе

«Прямая вода», привлекают больше. Именно в этом разделе на другом, обновлённом чувстве настаивают строки: «Я бы закрыла витражными окнами запад, но как же тогда закат? Ушла бы в пещеру, но мир так манит издалека». И читателей в этой второй книге многое манит: августовские и сентябрьские перелески, весёлые незнакомцы «с той стороны Земли», «кареглазая и зеленоглазая рать» домашних животных, утраченных, но незабвенных, «золотая нить» паутины, «сиреневый снег». Привлекает и попытка определить закон бытия через «внутреннее поле» («Просыпаешься — сердце ухает до земного ядра...»), увидеть окружающее городское пространство («Видишь, как просто: взглядом держись за дома. Справа барокко, восемнадцатый век, Слева машины спят, уткнувшись носом в бордюр»). Из этих стихов, где автор «сама себе человек», а не собиратель фольклора и его исследователь, вырастает и читательская надежда на то, что лирическое творчество Леты Югай выживет под тяжестью любых филологических штудий и экспериментов, а поэтический путь её продолжится и без карты с научным маршрутом.

Эти десять поэтов, каждый по-своему и в разной степени, способствуют развитию современной вологодской поэзии. Они идут по отдельным тропам, но к одной дороге, а иногда неожиданно и неосознанно перекликаются друг с другом:

Все — не бессмертные!
Всё похоронят,
Что поимело когда-то зачин.
Будут — развалины. Будут — могилы.
Так повелось!
Но, валясь и пыхтя,
Вон, по тропе, выбиваясь из силы,
Правит свой путь человечье дитя.
<...>
Будет кому покосить эти травы,
Вырастить хлеб среди забытых полей...
(Ольга Фокина)

Все — умрём и будем похоронены:
Мама, папа, бабушка и я.
В землю будем семенем уронены:
Вся семья.

К нам придут потомки и потомцы
По весне порядок наводить,
Приведут праправнуков знакомиться,
Будут гладиолусы сажать.

(Антон Чёрный)

Со мною вот что происходит:
Я чувствую, как жизнь проходит.
Со всеми тоже происходит,
Примерно, то же происходит.

(Андрей Таюшев)

Со мною вот что происходит:
Любовь безудержно уходит,
И наш союз необъясним —
Мы оба мучаемся с ним.

(Инга Чурбанова)

Переключки, непреднамеренное сближение образов и интонаций подчёркивают характер обновления традиций вологодской поэзии и позволяют увидеть то, что можно назвать *«вологодской поэтической школой»* последнего десятилетия. Эту школу, благодаря творческой активности и количеству публикаций, сегодня определяют четверо из названных авторов: Мария Маркова, Ната Сучкова, Антон Чёрный, Лета Югай.

Разные поэтические стили, присущие этим авторам, читатель вправе и не принимать — он может парировать их эстетические предпочтения. Но тот, кто не останавливается на первом поверхностном впечатлении, неизбежно замечает, что каждый из названных поэтов движется от чересчур возвышенных и бесплотных или, напротив, экспрессивно заострённых образов к воплощению такого переживания, в котором проступает как своё, так и всеобщее, глубоко личное, но не частное.

Внешне — это школа без учителей и без назидания-призыва «следуйте за нами!», без притязаний на «актуальность» и гражданственность или на исключительность формы и приёма. Вологодским поэтам не свойственна футуристическая отмашка: в стихах этих авторов есть оглядка на пройденное поэзией и искусством в целом, есть уважение к литературной традиции. Их произведения аллюзийны, однако даже в этом отношении в них нет совпадения с играющей цитатами поэзией конца XX века. Блок и Лев Толстой, Пушкин и Георгий Иванов, Гоголь и Волошин, Некрасов и Кафка, Есенин и Евтушенко, Лермонтов и Цветаева, Мандельштам и Андерсен, Гумилёв и Ахмадулина, Рубцов и Поплавский, фольклорные, сленговые, просторечные и книжные обороты речи — всё это в равной степени необходимо для открытия новых возможностей сопереживания миру.

Сближение пространств, небесного и земного, северного и южного, деревенского и городского, провинциального и столичного, общекультурного и бытового, а также взаимодействие личного чувства и социально-исторических образов-персонажей тоже не позволяют видеть в этих авторах нигилистов-разрушителей. Пропуская сквозь себя космическое и историческое, национальное и чужое, сезонное и уникальное содержание жизни, они создают своё время и обозначают вневременные ценности бытия.

Люблю давать предмету имя,
и замедлять нарочно время,
и доставать всё невредимым
из беспощадного огня.

(Мария Маркова)

Время, отмеряемое дорогим ролексом,
дороже ли времени,
идущего, допустим, по лесу,
которое ничем не меряют?

(Ната Сучкова)

Века пройдут по кромке васильковой
В весёлом фиолетовом огне.
Необратимо, бестолково
Пройдут по мне.

(Антон Чёрный)

Когда время падает до нуля,
мы уходим во внутренние поля,
разбредаемся по долам.
В это время комната — как Земля.
Мир её четырём углам.

(Лета Югай)

Мысль о времени, об отношении к нему у вологодских поэтов — сквозная и главная, однако время это заполнено не социально-политическими реалиями, историческими событиями, а каждодневными и внешне обыденными испытаниями на человечность, движениями к другому, незнакомому прежде смыслу в обстоятельствах привычных, земных, но не отрешённых от высот духовности.

Принимая настоящее как неизбежное, хотя и не катастрофическое столкновение миров, поэты Вологды говорят в

стихах о чувстве края, границы, разлома, рубежа — и о своём желании соединить прошлое и сегодняшнее, давно минувшее и грядущее, несовместимое и разноликое:

Как будто мир поделён между нас двоих
И мы должны его склеить, свести ладони.

(Лета Югай)

Всё обернулось земным. Это я в суете
жалкий язык человеческий в пропасть вложила,
чтобы в болезни и здравии речь нам служила
связью и поводом, но ничего — пустоте.

(Мария Маркова)

Разбежались сапоги — левые и правые,
Мы же, валенки, стоим, разве что не квакаем.
Принимаем ход вещей и собак на привязи,
Изловили дыр бул щил и обратно выпустим.

(Ната Сучкова)

И радость обретения родства
Сменяет темноту неузнаванья:
С Коринфом обнимается Москва,
С Пекином обнимается Кампанья.

И Колизей, расколотый, в пыли
Взрастает, словно лилия живая,
И Вологда, по-вепски окликаая,
Саму себя зовёт из-под земли.

(Антон Чёрный)

Открыв книги этих авторов, читатель невольно заметит, что тема детства в этой поэзии важнее и выразительнее темы любви. Здесь можно и оговориться, используя устное пояснение Антона Чёрного: «Да это всё — о любви». Стихи вологодских поэтов по-разному, но всегда настаивают на всеохватности этого чувства, невозможности его отрыва от отношения к миру в целом. А детство и воспринимается как пора именно такой универсальной любви, как время, не омрачённое знанием грядущих ссор, разделений и разминовений, страхом смерти.

Детское прозвище вслух бы моё назвали,
дали с собою бы сладостей мне в кульке.

(Мария Маркова)

Даже не волей — порывом отчаянья
Вспомнить то время: меня ещё нет...

(Ната Сучкова)

Снится мне, как я иду ребёнком,
А из чащи сладких сонных детств
Маленькая манит старушонка
Мастерскую Солнца поглядеть.

(Антон Чёрный)

И совсем не боязно умереть,
оставляя в небе искры и дым,
если кто-то был жив, а кто-то любил.

(Лета Югай)

Темы смерти, разлуки, одиночества для этих вологодских поэтов вообще не характерны, но если они и возникают, то не сопровождаются эмоцией отчаянья, экспрессивной лексикой. Мыслью о возможности возврата к утраченной гармонии, к многоликости и бесконечности бытия продиктованы мотив роста и мотив спасения от такого «взросления», которое ведёт к очерствению души. И вовсе не гражданской нотой или публицистическим жестом определён путь от «я» к «мы» в поэзии вологодских авторов. А точность и достоверность бытового образа и интонации, непреднамеренность песенного мотива и литературной ассоциации обеспечивают движение к простоте (не имеющей ничего общего с простодушием и наивностью), к ясной строфике, внятности поэтического языка, который освобождается от всего громоздкого или мелкого, достаточного лишь для диалога с собой.

Есть в Вологде и *стихотворцы*, менее заметные либо в силу характера публикаций, либо по причине ухода от стихов, обращения к прозе и публицистике.

Для прозаика *Галины Щекиной* поэзия, скорее, вторичная и пунктирная линия творческого развития, способ отдохновения от повестей и романов, спасения от окружающих её героинь «людей без крыльев». Это медитация, позволяющая всмотреться во внутреннее «я», открыть его так же, как через сновидение. Такое погружение «в сон среди ясного дня» редко завершается цельным и целостным произведением. Но, думается, отчётливость композиции таких стихотворений, как «Последнее письмо осталось без ответа...», «Спит крутолобый солдат...», «Мне часто в детстве снились паруса...», новизна поэтических образов и мотивов в них, освобождение

от эгоцентризма через литературную аллюзию или бытовую деталь благотворны для прозаика, ищущего гармонии сюжета и многомерной картины бытия.

От поэзии, в том числе и для детей, в область очерковой, историко-краеведческой прозы шагнул *Геннадий Сазонов*. Слишком редкими стали поэтические публикации *Михаила Карачёва*. В подборке, представленной в январе 2015 года «Вологодским литератором», почти нет новых произведений. Вспыхнула своим сборником «Живая земля» *Наталья Усанова* — и пропала (из Вологды? из поэзии?): ни журнальных публикаций, ни выхода к читателям. Не обрели ещё пока своего поэтического голоса, слишком увлеклись «обобщением мира», «жизнью, погружённой в самосознание», *Мария Суворова* и *Антон Тюкин*.

В новых качественных книгах, в более активной поддержке коллективными сборниками и периодикой очень нуждаются сегодня такие авторы, как *Андрей Алексеев*, *Наталья Адлер*, *Наталья Боева*, *Татьяна Бычкова*, *Михаил Григорьев*, *Нина Груздева*, *Элеонора Жукова*, *Вера Коричева*, *Павел Тимофеев*. На поэтическую погоду в Вологде решающего воздействия они не оказывают, но свой читатель у таких поэтов, безусловно, есть и будет, и оценка или переоценка их творчества ещё должна состояться в вологодской литературной критике.

Назову имена и тех стихотворцев, о ком, как о поэтах, ещё, возможно, заговорят читатели: *Елена Абакумова*, *Джек Абатуров* (Александра Кириллова), *Александр Зачёсов*, *Елена Калягина*, *Константин Козлов*, *Андрей Медведев* (Художник), *Владимир Пешков*, *Константин Павлов*, *Юлия Паклянова*, *Кирилл Сивков*, *Валерий Синицын* (Останкович), *Олег Сметанин*, *Александр Соколов*, *Регина Соболева*, *Эльвира Трикоз*, *Михаил Федотовский*, *Елена Фирулёва*, *Леонид Юдников*.

Список этот, безусловно, неполон, поскольку в нём только те, с чьими стихотворными опытами я знакома. Два имени в этом списке заявлены недавним (21 марта 2015 года) Всероссийским фестивалем современной поэзии. Увиденное и услышанное вызвало резкое неприятие со стороны тех, кто не привык (или уже забыл?) о таких способах диалога с читателем. Но стоит ли обвинять начинающих за эпатажность и причудливость псевдонимов (Джек Абатуров), демонстративный отказ от всего, что не ими инициировано? Всё это продиктовано естественным желанием найти свою аудиторию. Безусловно, это и вызов тому, кто по-прежнему инертен в восприятии

искусства, тяжёл на подъём, а подчас и твёрдо уверен в том, что на фоне Николая Рубцова и Ольги Фокиной в вологодской литературе ярких поэтов не только нет и не будет, но и не надо. Война-вражда с таким современным «почтителем» оправдана, ибо сражение при подобном отношении «широкой общественности» идёт и за своё право на творчество, и за того редкого читателя-друга, который, влюбившись в поэтическое слово, неизбежно обретает чувство никем и ничем уже не уничтожаемой свободы.

Однако и Михаилу Федотовскому, и Джеку Абатурову необходимо помнить, что «судьба ласкает молодых и рьяных» не слишком долго. Да и поэзия во многом есть преодоление себя, своего естественного вроде бы желания самоутвердиться или просто полежать на полке, где уже не жарко, но ещё не холодно. А преодоление себя невозможно без влечения к себе новому, другому. Именно тогда из ватаги экспрессивных и слишком уверенных в себе стихотворцев вырастет личность, о которой можно будет сказать: поэт. Читатель вологодский терпелив. Он подождёт.

Сегодня поэты Вологды уже не вспоминают горько-ироничную сентенцию Тимура Кибирова: «Куда ж нам плыть? Бодлер с неистовой Мариной нам указали путь...»

Они — «плывущие, чтоб плыть», взлетающие — потому что есть крылья, живущие стихами, потому что в них и есть для них дыхание самой жизни.

И всё-таки, если б поэты спросили «Куда ж нам плыть?» — ответила бы так: к Читателю! А ответ на этот же вопрос нам всем: к Поэзии и к тому, что через неё постигается и обретается, — к искренности, доброй красоте, дружеству, любви и свободе.

ПРОЗА ЖИЗНИ В ВОЛОГОДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В начале XX века французский писатель Р. Роллан восклицал: «Мир погибает, задушенный своим трусливым и подлым эгоизмом». К концу второго тысячелетия проблема эта встала настолько остро, что литературу стали называть «безгеройной», «безыдеальной с отчаяния». XX век оказался трагическим: мир бесповоротно менялся, двигаясь от одной катастрофы к другой, а человек не видел возможности сопротивляться, оказавшись персонажем-обстоятельством в этом процессе.

Потеряв право быть Героем, он стал именоваться «человеком без свойств». Часто использовалось и ещё одно определение — «человек-симптом», фиксирующее признаки болезни социума, его сердечную недостаточность, нравственную идиотию, неврозы, телесный и духовный паралич. Тот же, кто не желал быть носителем болезней, бежал от реальности, становился «посторонним», единственное, что ему оставалось — трагический стоицизм, честное, без иллюзий, понимание абсурдности бытия.

Казалось бы, начавшийся XXI век ничем не может нас утешить. Человек продолжает быть свидетелем процессов глобализации, политических игр, ставящих человечество на грань выживания, почти окончательного распада природного мира во имя «благ» цивилизации. Но на этом фоне начинает возвращаться мысль о том, что погружённый в рефлексию одиночка, каким бы совестливым он ни был, не способен ничего изменить. Современная литература делает ставку на другого героя, ища вместе с ним выход из тупика одиночества, — человека действия, противопоставляющего индивидуалистической морали модель поведения, основанную на милосердии и деятельной любви.

Говоря о литературе региональной, стоит помнить, что её специфика определяется не только традициями местной словесности, но и включением в общенациональный и — шире — мировой культурный контекст. Конечно, каждый регион имеет свою культурную память, однако она не может

быть локальной, герметически замкнутой в условных пространственных границах. Художник видит мир в «цветущей сложности», которая не терпит упрощений, и ищет свой путь, своего героя, свой стиль. В этом на помощь ему приходит (помимо языка и генетической памяти, связующих с историей страны, помимо «укоренённости» в пространстве, где протекает его жизнь) духовной опыт тех, чьи книги определяли в какой-то мере направление поисков.

Принцип существования творческой индивидуальности в контексте мировой культуры сформулировал вологжанин Дмитрий Ермаков. В беседе с журналистом «Литературной газеты» на вопрос о своей принадлежности к вологодской школе он дал исчерпывающий ответ: «Школа предполагает наличие учителя и учеников. У кого учились Яшин, Белов, Рубцов, Романов?.. <...> Вот и у меня тот же учитель — русский язык, мировая литература, русская классическая литература, в том числе и Яшин, Белов, Рубцов, Романов, но обязательно и Чехов, и Юрий Казаков, и Платонов, и Шолохов, и, между прочим, Хемингуэй, и даже Джек Лондон... Вся Россия — вологодская школа. И даже весь мир».

Оставив за скобками другие комментарии по поводу этого понятия, сосредоточусь на некоторых именах.

Произведения вологжан разнообразны в тематическом и жанровом плане. Во-первых, это социально-психологическая проза: повести и рассказы о деревне пишут Наталья Мелёхина, Ольга Кузнецова и Александр Ломковский, к реалиям жизни города обращаются романисты Галина Щекина, Роберт Балакшин и работающий преимущественно в формате «малой прозы» Дмитрий Ермаков. Впрочем, деление на «горожан» и «сельчан» весьма условно, поскольку всех авторов интересует феномен русской провинции, в которой городское пространство ещё сохраняет органичную связь с деревней.

Зарисовки-миниатюры из жизни вологжан создает Юрий Малозёмов («Юре верю: рассказы, записки, зарисовки» — 2012).

В жанрах исторического романа и повести, местом действия которых является Вологда, пробует себя Александр Быков.

Есть авторы, ориентированные на массового читателя: серию детективных книг начала издавать Людмила Зарецкая («Приворот для Золушки» — 2014), жанр боевой фантастики представляет Алексей Воробьёв («Огненный след» — 2010), «Огненная бездна» — 2013).

В начале XXI века в поисках героев писатели обращаются и к биографиям реальных людей, чьи судьбы были связаны с Вологодчиной. В 2012 году в серии «ЖЗЛ» Валерий Есипов опубликовал книгу о В. Шаламове. Кавалеру ордена Славы, Герою Советского Союза артиллеристу Н. Кузнецову посвящена повесть Геннадия Сазонова «Ярче легенды» (2014). В 2014 вышла книга Нины Веселовой «Калина горькая» о В. Шукшине. Тотемскую версию происхождения покорителя Сибири выдвинул Анатолий Ехалов в путевых очерках «Дорогами Ермака».

* * *

Более детальный разговор начнём с произведений, где сам город Вологда становится площадкой, на которой разворачиваются драматические сцены русской истории.

В 2014 году была опубликована повесть Александра Быкова «Вологодское разорение», посвящённая событиям, произошедшим в сентябре 1612 года, когда город и посады были разграблены отрядом поляков и казаков. Тема Смуты всегда волновала воображение русских писателей: вспомним трагедию А. Пушкина «Борис Годунов», роман М. Загоскина «Юрий Милославский», драму А. Островского «Козьма Захарьич Минин-Сухорук». В вологодской литературе повесть Быкова — тоже не первое обращение к этому историческому событию. В 2005 году увидел свет роман И. Полуянова «Самозванцы» — обширная хроника Смутного времени, начиная с гибели в Угличе царевича Димитрия и заканчивая смертью Тушинского вора и казнью Ворёнка.

Новое слово в повести Быкова — перенесение действия из центра конфликта на периферию, в «богоспасаемую» Вологду. Писатель предпринимает попытку художественной реконструкции прошлого, давая волю фантазии, предлагает версию развития событий, идущую вразрез с официальной, согласно которой причина разорения — «воеводское нерадение и оплошество».

Он задаётся вопросом: чем объясняется тот факт, что хорошо укреплённый город был взят малочисленным отрядом? На роль предателя «назначен» Нечай Щелкунов, по версии автора, открывший ворота врагу. Подтверждений этому нет, Щелкунов был одним из участников городского самоуправления, построившим в Вологде церковь Живоначальной Троицы. Известно лишь о конфликте, произошедшем между ним

и старцем Галактионом, когда тот пророчествовал о грядущем разорении города.

Образ Щелкунова вводится в повесть не только как сюжетная пружина действия, но и как антитеза персонажам, в образах которых реализована авторская идея: каждый должен до конца пройти предназначенное ему испытание, не рассчитывая на благодарную память потомков. Образ Галактиона Вологодского выполняет такую же функцию, как и в романе В. Белова «Час шестый»: в нем находит художественное воплощение мотив жертвенности во имя будущего.

В подзаголовке повесть названа «героической», что настраивает читателя на определенный лад: в истории Вологды, обычно оказывавшейся на обочине знаковых для страны событий, были свои героико-трагические страницы. Хаос Смуты втягивает государство в свой водоворот, но в ходе трагедии вырабатывается народный характер, проявляются лучшие стороны человеческой натуры.

В текст включена городская легенда о белоризцах, спасших ценой своей жизни пленных вологжан. Одна из двух распространённых версий легенды соотносит подвиг белоризцев именно со временем Смуты. Сюжет этот устойчив в исторической памяти Вологды, и отзвуки легенды можно услышать в рассказе Дмитрия Ермакова «Приключение», где дана следующая версия происхождения спасителей города: это монахи, владевшие искусством рукопашного боя. У Быкова белоризцы — язычники. Такое прочтение легенды не случайно: перед лицом иноземной угрозы внутренние противоречия, в том числе религиозная разобщённость, не имеют значения.

В 2012 году вышел роман Быкова «Дипломатический корпус». Сюжетной основой его послужили события, происходившие с ноября 1917 до мая 1919 года в Петрограде, Вологде, Москве, Архангельске. Такая обширная география позволяет увидеть русскую революцию как масштабную трагедию, охватывающую всю страну.

Действие первой части книги («На берегах Невы») развёртывается в революционном Петрограде, где дипломаты пытаются продолжать деятельность своих миссий в условиях распада России. В течение года дважды произошла смена власти, нарушены обязательства по отношению к союзникам, начинается террор, ведущий к установлению на руинах прежних институтов государства пролетарской диктатуры.

Во второй части («Между Питером и Москвой») основные события происходят в Вологде, пока ещё не вовлечённой в

хаос гражданского противостояния, куда, по решению дуайена дипкорпуса Френсиса, отправилось американское посольство. В вологодских эпизодах воссоздается картина жизни города, ставшего на несколько месяцев центром внешнеполитической жизни страны, её «дипломатической столицей».

В третьей части («У Белого моря») действие переносится в Архангельск, где зарубежные посольства оказывают дипломатическую помощь Северной республике, являющей альтернативу власти большевиков.

Быков не первым в отечественной литературе обращается к этой теме (С. Дангулов «Дипломаты» — 1966; В. Пикуль «Из тупика» — 1968). Но следует отметить, что роман «Дипломатический корпус» базируется на архивных материалах, которые в силу понятных причин в 1960-е годы были труднодоступны. Здесь же они явлены читателю в беллетризованной форме, в виде повествования о людях и их судьбах.

Краеведческие познания А. Быкова дают ему возможность представить город и его жителей в исторической ретроспективе. Автор «воскрешает» названия вологодских улиц начала XX века, восстанавливает элементы городской топографии, рисует запоминающиеся портреты вологжан (образ старшего врача губернской земской больницы Горталова) и людей, которых революция «выбросила» в провинцию (великие князья Романовы). Много места в вологодских главах романа уделено палачам Михаилу Кедрову и Ревекке Пластининой (Майзель), чьими усилиями в Вологде проводилась политика террора по отношению к сочувствующим белому движению.

В условиях, когда одной частью общества начинает управлять логика классово-войсковой борьбы, а другой — инстинкт выживания, герои Быкова остаются гарантами международного права и морального закона, который предписывает думать о личной чести и общем деле.

Произведение, обращённое к недавней истории, — роман Роберта Балакшина «Страсти по Дому» (2014). Подзаголовок — «Хроники смутных времён» — определяет отношение автора к событиям, происходившим в стране в начале 1990-х. В противостоянии президента Ельцина и парламента в сентябре-октябре 1993 года, закончившемся разгоном последнего и принятием новой Конституции, Балакшин видит острый внутриполитический конфликт, подталкивающий страну к новой гражданской войне.

Очевидно, что писатель не принимает такую реальность. Для него идеалом государственности остаётся сталинский

СССР с «поправкой» на православие. При этом в разговоре о политических оппонентах писатель избирает жёсткую интонацию, схожую со стилистикой В. Белова в пьесе «Семейные праздники», посвящённой тем же событиям. Не отнимая у художника права на выражение гражданской позиции, всё-таки хочется отметить, что излишняя публицистичность иногда превращает его персонажей в рупоры важных для автора, но не бесспорных в исторической ретроспективе принципов, что не вполне соотносится с жанром «романа-хроники», предполагающим установку на авторскую объективность.

В центре повествования в романе Балакшина судьбы нескольких персонажей: Романа Латышева — строителя и начинающего писателя, его наставника в мире литературы Викторина Внукова, редактора газеты Владимира Ширкова и владыки Михея. У главных героев есть прототипы: в образе Внукова угадываются черты личности Виктора Астафьева, в образе редактора газеты — вологодского журналиста и писателя Владимира Ширикова. Можно также вспомнить, что в начале 1990-х годов архиепископом Вологодским и Великоустюжским был владыка Михаил (Мудьюгин). Ну а Латышев — персонаж автобиографический.

Местом действия являются провинциальный город Тиховодск, художественная топография которого включает в себя узнаваемые черты Вологды, и Москва. Образ Тиховодска включён в широкий контекст русской истории. Упоминается об участии жителей города во многих значительных событиях: в Куликовской битве, в Ливонском походе Ивана Грозного, в сражениях под Нарвой и на Бородинском поле, в обороне Севастополя и штурме Шипки, в русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной войнах. В начале 1990-х годов, когда страна вновь погружается в смуту, город не может оставаться в стороне, и Балакшин показывает политическое бурление, происходящее в Тиховодске, реакции местных властей на указы Президента, ищет подлецов и героев.

В идейном плане главный герой романа — юноша Пётр, который отправился в Москву в ряды защитников Дома Советов и нелепо погиб. Этот персонаж для автора — своеобразный нравственный ориентир. Пётр честен, справедлив, хорошо образован, уважает старших, он человек верующий. Смерть именно такого персонажа в хаосе очередной смуты особенно трагична: гибнут лучшие. Это сакральная жертва, принесённая ради страны, которая должна, по мнению Балакшина, возродиться на основе идей христианского социализма.

Читатель, знакомый с такими именами писателей-земляков, как В. Белов и А. Яшин, справедливо ожидает, что трудный и честный разговор о судьбах северной деревни в новом столетии будет продолжен. Заметным событием в литературной жизни Вологды стала публикация рассказов Натальи Мелёхиной.

На сегодняшний день она — автор трёх прозаических сборников: «Медведь с заплатой на ухе» (Вологда, 2012), «Забывай как звали» (Вологда, 2013) и «По заявкам сельчан» (в рамках проекта «Том писателя», 2015). В августе 2015 года писательница получила федеральный грант для издания книги о вологодской деревне.

Н. Мелёхина — филолог по образованию, и в её прозе угадываются множественные литературные аллюзии. Это иронически переосмысленный Гоголь в «Жаре под Рождество», и «осенняя рефлексия», связанная в сознании читателя с лирикой Пушкина, и некрасовский мотив «несжатой полосы» в миниатюре «Яблоки и картофель», и сам образ деревни, который может быть осмыслен в контексте не только беловской традиции, но и американской деревенской прозы, для которой разрушение естественного уклада жизни стало такой же трагедией, как и для жителя русской провинции.

Но тема деревни для Мелёхиной не является данью литературной моде и местной традиции. Она сама выросла в деревне, знает эту жизнь не только по книгам и в интервью газете «Наша Вологда» поясняет: «...тема выбрала меня, а не я тему». Мелёхина далека от того, чтобы писать о сельской идиллии: её деревня опустела, почти обезлюдела. После «великих переломов» XX века, нанёсших удар по крестьянам, начался период умирания. Тем не менее в прозе Мелёхиной нет безысходности, которой веет, например, в трилогии В. Белова «Час шестый». Мелёхина называет деревни русского Севера «местом силы». Добавлю, что это ещё и территория памяти и милосердия.

В деревне происходит действие большинства рассказов писательницы: «Тяга», «Все перемелется», «Наследники», «Как Байкала хоронили», «Сердце без лапок». Кроме места действия, подробностей деревенского быта, с традициями «деревенской прозы» соотносится тип героя-чудика, ярким воплощением которого является дурачок Женья из рассказа «По заявкам сельчан». Так же, как у В. Шукшина, чудики у

Мелёхиной оказываются носителями высшей мудрости. Они просто знают, что смысл жизни человека — в естественной связи с окружающим миром, в чувстве корней.

Женя «передает» концерт для умерших родителей и односельчан в своей уже не существующей деревне. В этом эпизоде есть что-то от магического реализма: каждая деталь сохраняет конкретность, точность, предметность, но сюжетное событие выглядит ирреальным. В красной телефонной будке среди сугробов герой выходит на прямую связь с Богом: «Алё, Боже? Это я, Женя из Васильевского. Помоги мне, Отец Небесный, домой вернуться». И читателю хочется верить, что одинокий голос дурачка услышан. Впрочем, писательница даёт вполне бытовое объяснение замысла этого сюжета: «В моей деревне есть телефонный аппарат, как в рассказе. Но саму будку так низко приладили на столбе, что взрослый может позвонить, лишь встав на колени, словно на молитву».

Ограничивая действие небольшим числом персонажей, одной динамичной сюжетной линией, коротким временным промежутком, в котором происходят основные события, автор создаёт выразительные психологические зарисовки. Большинство героев Мелёхиной — люди общей судьбы, переживающие «тихий апокалипсис» деревни с «необщим» выражением лица.

Среди её персонажей много людей «бракованных», как определила их О. Ильинская в предисловии к сборнику «Забывай как звали»: Женя («По заявкам сельчан»), Валера («Сердце без лапок»), Саня и Гера («Забывай как звали»), Венюха, Фая и Тася Лыжница («Паутинка любви»). Именно в этих образах воплощено авторское представление о милосердии и любви как основе общей жизни: все люди связаны друг с другом, человек человеку не волк и не бревно, а всегда — родная душа. Физический недуг — метафора боли нравственной, которая является мерилом их человечности.

Мелёхина обращается и к жанру лирико-психологической миниатюры («Дорогие вещи»). В произведениях цикла отчётливо выражена сквозная в творчестве писательницы тема: память, её ответственность за прошлое. Личная память рассказчика, предельно детализованная, сохраняющая воспоминания о проведённом в деревне детстве, о родных и соседях, о предметах, формирующих представление о бытовом начале жизни, о первых её уроках, полученных в природном пространстве, является частью памяти общей, для которой ценен каждый миг жизни, каждый встреченный в ней человек. Индивидуальное воспоминание — необходимое условие сохран-

ности всей деревенской цивилизации, способ актуализации исторической памяти.

Несмотря на то, что писательница говорит об очень личных, по-человечески дорогих «вещах», язык её рассказов совершенно лишён сентиментальности, хотя и глубоко лиричен. Она избегает сложных образных конструкций, разговаривая с читателем с предельной простотой. Слог может быть резким (рассказ «Забывай как звали»), но эта тональность лишь оттеняет глубину и искренность сострадания автора по отношению к героям.

* * *

Галина Щекина на данный момент, пожалуй, самый издаваемый вологодский автор. Она является членом Союза российских писателей, Союза журналистов России, Международной ассоциации писателей и публицистов. Во многом благодаря её усилиям в Вологде появилось отделение Союза российских писателей. Более десяти лет Щекина руководила литературной студией «Ступени», в течение пятнадцати — издавала альманах «Свеча». В 2008 году стала финалистом «Русского Букера», в 2012 — дипломантом конкурса «Народный писатель» на «Прозе.Ру». В 2008 году были изданы роман «Графоманка» и повесть «Ор», в 2013 — роман «Тебе всё можно».

В прозе Щекиной обрела значимость проблема человеческих взаимоотношений. Герои исповедуют принцип абсолютной честности как условия существования, даже если это делает их странными, опасными своей «чужеродностью» для окружающих. Такие «отклонения» могут проявляться по-разному: это детская открытость Вали Дикаревой, стоическое одиночество Ланы, профессиональная бескомпромиссность Долганова («Тебе всё можно»). Странной кажется и Ларичева, героиня «Графоманки», нелепая в быту, всё время «скачущая» по литературным делам под разные «светлые своды». Не приспособлен к жизни и художник Тимоша Тесков («Ор»), безотказный и смиренный богатырь, как будто стесняющийся открывшегося у него дара.

Всё дело в том, что главное в героях Щекиной — не внешнее, а внутреннее измерение личности. Необходимым условием существования «внутреннего человека» является его соприкосновение с миром искусства: музыкой, литературой, живописью. В романе «Тебе всё можно» Долганов напоминает

известную максиму И. Бродского: «нечтение» есть преступление человека перед собой настоящим. Столь же преступна глухота и слепота в отношении к музыке и живописи. В «Графоманке» в этот же ряд поставлены «грех нерадости» и «грех непретворения». Человек не имеет права разменивать жизнь на мелкие удовольствия, у каждого героя Щекиной есть Дело, которое не зависит от оценок тех, кому достаточно бытового комфорта.

Жизненная драма «внутреннего» человека заключается в том, что он вольно или невольно оказывается выразителем гегелевской концепции трагической вины, и это воспринимается окружающими, не склонными к рефлексии, как норма, как утешительный ответ на вечный русский вопрос «Кто виноват?» И этот заранее готовый ответ таков: «Они, эти странные честные люди».

Особую роль в выражении авторского представления о человеке играет обращение персонажей Щекиной к прозе У. Фолкнера. Один из типичных для писателя конфликтов — духовное противостояние «сноупсизму» (по имени Сноупсов, персонажей романов «Деревня», «Город» и «Особняк»), принципу существования, согласно которому значение в жизни имеет только внешний успех.

Романами Фолкнера зачитывается Дикарева, над статьей о нём работает Лана («Тебе всё можно»). Имя Фолкнера возникает в разговоре Ларичевой с мужем («Графоманка») как символ творческой самодостаточности. Что привлекает их в романах американского автора? В Нобелевской речи он призвал писателей «убрать из своей мастерской всё, кроме старых идеалов человеческого сердца — любви и чести, жалости и гордости, сострадания и жертвенности, отсутствие которых убивает литературу». Собственно, их отсутствие убивает и саму жизнь. Личность художника всегда отражается в созданных им образах. Друг Фолкнера Фил Стоун, которому посвящена трилогия о Сноупсах, писал: «Многие из нас говорят о вежливости, о чести, о верности, о признательности. Билл <...> живёт ими. <...> Если вы его друг и толпа избрала вас для распятия, Билл будет там без вызова. Он понесёт ваш крест на холм вместе с вами». Такое отношение к людям свойственно и героям Щекиной. Причем готовность взвалить на себя чужой крест лишена трагического пафоса, более того, жертвенность становится поводом для самоиронии и персонажа, и автора. Она не воспринимается как подвиг самоотречения, как служение. Герои Щекиной просто следуют про-

грамме: «Добро как профессия! Как стратегия и тактика всей жизни» («Графоманка»).

Ещё одна важная тема — потребность молодого героя в наставнике, чей жизненный опыт «переливается» в ученика. Деление на учителей и учеников — один из устойчивых принципов систематики персонажей. Остановлюсь лишь на одном примере, романе Дж. Апдайка «Кентавр» (1963). Прямое обращение к его образной системе можно увидеть в «Графоманке». Ларичева называет кентаврами поэтов, создающих альтернативу официальному писательскому союзу, а сама иногда видит сны, в которых, подобно апдайковскому Колдуэллу, «выпадает» из реальности и переносится в Древнюю Грецию, где осознает значительность судьбы и обретает внутреннюю свободу, недоступную в обычном мире.

Переключки с Апдайком прямыми аллюзиями у Щекиной не ограничиваются. Сходным оказывается само понимание личности учителя, который может выглядеть нелепым, смешным, старомодным, не соответствующим запросам общества человеком, в конце концов «вышибленным из жизни» (Тесков в «Оре», Долганов в «Тебе всё можно», Батогов в «Графоманке»). Но не это главное качество, их объединяющее, — важна установленная учителем нравственная планка, масштаб его личности, который ученик способен распознать и оценить.

О романе «Ор» хотелось бы сказать отдельно. Здесь опять трудно обойтись без параллелей. Одной из эмблем культуры XX века стала картина «Крик» норвежского художника Э. Мунка. Сходное название («Вопль») имеет и известная поэма американского битника А. Гинзберга, в которой идёт речь об угрозе ядерного апокалипсиса и реакции на неё человека, потерявшего уверенность в благе прогресса. При внешнем подобии заглавий и ожидаемых смыслов, вызванных сходством (страх, ужас, распад), роман Щекиной ставит совсем другие проблемы. «Ор» — книга о душе, рвущейся из оболочки, в которой она была замкнута, спрятана. Здесь мы скорее имеем дело с теми эмоциональными реакциями, которые Николай Гумилёв назвал «шестым чувством». Это звук, сопровождающий мучительный процесс рождения «внутреннего человека», поиск пути к свету из сумерек бессознательных влечений.

В романе «Ор» ощутимы переключки и с набоковской «Лолитой». Учитель физкультуры, художник-самоучка Тесков испытывает сильное, поначалу непонятное ему самому влечение к девочке-старшекласснице, однако в отличие от Гумберта, героя Набокова, его чувство не равно чувственности.

Халцедонова становится для Тимоши магическим кристаллом, при взгляде сквозь который и прошлое, и настоящее видятся иначе, освещаются светом последней любви. Энергия этого чувства — энергия самопознания, когда телесное оказывается ступенью к чистой духовности, связанной с миром творчества.

Творчество — вторая тема романа. В «Оре» два героя-художника: Тесков и Дирай. Тимоша — реалист, ему лучше всего удаются «жизнеподобные» пейзажи и натюрморты, застывшая натура. Дирай — подражатель Дали, живущий в мире чистой фантазии.

Оба героя Щекиной способны видеть в творчестве другого то, чего недостаёт каждому из них в отдельности, они являют собой две стороны личности Художника, которому свойственно стремление к постижению бытия через обыденность. Способность Тескова ощущать мир в гармонической двоичности объясняет главную черту характера персонажа, проявляющуюся в финале: смирение, принятие своей судьбы, о чём говорит и значение имени (в переводе с греческого — «почитающий бога»), и несколько раз звучащая на страницах романа Тимошина поговорка: «Спасибо, Господи, что не до смерти».

* * *

Ещё один представитель современной вологодской литературы — **Дмитрий Ермаков**, печатавшийся в журналах «Наш современник», «Москва», «Север». В 2012 году вышел его роман «Тень филина», а в 2014 — сборник «Дела земные».

Название сборника точно отражает общее содержание разных по проблематике произведений, в него вошедших: у каждого человека есть земное предназначение, «и нужно просто жить и просто выполнять свои обязанности» (повесть «Серьёзное дело», в названии которой слышна перекличка с беловским «Привычным делом»). Герои Ермакова — обычные люди, жители города и деревни, разные по возрасту, по социальному положению, но их объединяет представление о личной и общей ответственности за семью, друзей, страну, её историю и культуру.

Идейным центром сборника можно считать рассказ «Ванька». Действие происходит в деревне, где живёт двадцатилетний Иван-дурак, «пришибленный», «блаженный». Это герой-созерцатель, «вечный ребёнок», способный часами любоваться «мурашиной жизнью», отпечатком древней ракушки на камне; он живёт, «не ведая времени», растворяясь в божьем мире,

и именно в таком существовании явлена высшая мудрость, которую открывает в деревенском дурачке священник отец Илья.

В «Ваньке», так же как и «Молитве», заявлена принципиальная для автора мысль: соборность есть основа национальной жизни. Это понятие прямо связано с образом сельского храма. Жители деревни, забывающие порой, что такое любовь к ближнему, в быту зарастающие «коростой греха», идут в церковь, созываемые «счастливым Иванушкой-дурачком», который даже не бьёт в колокол, а как бы вырастает в него, издаёт с ним общий звук. Во время церковной службы люди объединяются и обновляются в этом единстве: «входившие в храм толпой, выходили — народом».

В одном из интервью Ермаков обозначил общую идею своих произведений так: «Бог есть, умирать придётся, жизнь прекрасна». Думается, данная формула определяет авторскую философию: душа существует и во времени, и в вечности, не бывает ничего незначительного в «делах земных», жизнь — любая! — «серьёзное дело», восторг перед нею — чувство, необходимое современному человеку: «Господи, пусть не кончается это никогда, пусть не кончается» («Молитва»).

* * *

В 2015 году в рамках проекта «Том писателя» вышел сборник рассказов Ольги Кузнецовой «Пастораль». Название настраивает читателя на определённую тематическую «частоту»: пастораль — один из древнейших жанров в мировом искусстве, предметом изображения в нём является гармоническая сельская жизнь. У Кузнецовой «Пастораль» — название-ловушка, поскольку в большинстве произведений ожидаемые мотивы и образы не определяют идейную структуру текста. Правда, в рассказе «Дом на плоту» лишённый возможности ходить мальчик Максим мечтает стать пастухом. В «Дне в середине августа» «дачная идиллия», которую Сергей хотел создать для жены и детей, сюжетно отнесена в прошлое, у которого нет продолжения: вся семья погибла в автокатастрофе. В «Солнечной белке» мы видим двух юных влюбленных на лоне природы, их эротическую игру на берегу холодного моря, но на смену идиллической картинке приходит драма, произошедшая с отцом девушки, и ей подчинён весь дальнейший сюжет.

Самым «пасторальным» произведением сборника можно считать «Сенокос». Его герой Михаил приезжает в деревню к

матери с мотокосой, чтобы заготовить сено. Но вместо того, чтобы использовать новомодную технику, берёт в руки отцовскую литовку и, «чувствуя в душе то ли музыку, то ли гул крови», начинает косить вручную и чувствует совершенное слияние с землёй.

Но в «Рентгене», «Закрытии сезона», «Рамке для подруги», «Бане», да и в рассказе, давшем название сборнику, нет ни намёка на пастораль, за исключением того, что в последнем действие происходит на пастбище, а героиня выступает в роли «пастушки». Такое переосмысление буколических мотивов вполне закономерно. В мире не осталось места идиллии, и любовная история героев теперь изображается на фоне катастрофы, как, например, в повестях «Пастух и пастушка» В. Астафьева (1989) и «Последняя пастораль» А. Адамовича (1987). А в «Пасторали» Кузнецовой нет уже и самой любви: это рассказ о случайной встрече на пастбище молодой женщины и солдата, служащего в стройбате, потенциального насильника.

Герои Кузнецовой вынуждены бороться за жизнь, оказываясь на краю («Онуфрий», «Дом на плоту»). Писательница показывает человека лицом к лицу со стихией, когда силы несоизмеримы, и только волевое усилие заставляет человека сопротивляться, несмотря на то, что борьба кажется бессмысленной.

Один из наиболее показательных рассказов сборника — «Дом на плоту». Внешний сюжет — история семьи, которая зарабатывает на жизнь сезонной ловлей рыбы, сплавляясь вниз по большой реке. На плоту растёт мальчик-инвалид, полностью зависимый от бабушки и родителей. Его жизненное пространство ограничено несколькими метрами деревянного настила, на котором расположена маленькая хижина. Сначала умирает бабушка, потом после шторма исчезают родители, и Максим остаётся один на один с водной стихией (подобным эпизодом заканчивалась повесть Ч. Айтматова «Пегий пёс, бегущий краем моря»). Финал открытый, читатель может только догадываться, сумеет ли подросток найти силы, чтобы добраться до берега. Но есть и внутренний сюжет, в котором можно обнаружить притчевое начало. Великая река — это метафора взросления героя, его жизненного пути. Детство заканчивается, когда он остаётся без родных, и ответственность за будущее ложится на его плечи.

Герои Кузнецовой — люди действия. Писательница не пытается изображать персонажа в процессе самоанализа. Автор

склоняется к тому типу психологизма, который И. Тургенев называл «тайным», противопоставляя его «диалектике души» Л. Толстого, когда художник ставит перед собой задачу показать процесс зарождения и развития чувства от начала и до конца, словесно выразить непосредственные движения сознания и подсознания. Тургенев сделал акцент на результате психического процесса, поскольку внутренняя жизнь человека не поддается логизации — ни внешней (с точки зрения повествователя), ни внутренней (с точки зрения самого персонажа).

В рассказах Кузнецовой ничего не говорится о подоплёке психических процессов, автор сосредоточен только на действии персонажа. Именно поступок даёт возможность читателю составить представление о характере героя.

Авторский стиль Ольги Кузнецовой импрессионистичен, порой даже фотографичен. Это касается, прежде всего, пейзажных зарисовок. В некоторых рассказах повествование доходит почти до «нулевого градуса письма». Так бесстрастно излагаются обстоятельства смерти героев в рассказах «Баня» и «День в середине августа».

Сюжет «Бани» — история офицера, начавшего службу лейтенантом и погибшего в звании полковника. Автор сосредоточен всего на двух событиях: первая армейская баня, являющаяся одним из немногих «развлечений» в неустроенном быту, и последняя, когда тело погибшего оmyвает из шланга солдат-контрактник, сопровождающий действия равнодушно-циничной репликой: «Герой! С лёгким паром тебя», — и в силу несоответствия повествовательной интонации событию возникает мощный, почти разрушительный для читателя драматический эффект.

Есть в сборнике совершенно другие рассказы, в которых нет места безысходности. Это, например, «Вертолётно дерево». В центре сюжета — тоже смерть. Умирает девяностолетняя Степанида по прозвищу Вертолёт, полученному потому, что даже в старости была скоро на ногу. Незадолго до смерти она просит сына сделать для неё посошок: стыдно перед соседями, что всё ещё обходится без палочки. После смерти бабки правнук воткнёт посох в землю, чтобы сделать пугало, и забудет про него. А из палки вырастет слива, и жители деревни назовут её «вертолёткой» в честь Степаниды. Прямых авторских эмоций мы снова не видим, однако финальный мотив торжества жизни, её полноты и «вкуса» позволяет сделать вывод: Ольга Кузнецова знает, что такое красота человеческого

сердца. Правда, нужно заметить, что рассказ «Вертолётное дерево» — не из новых. Со времени его написания прошло уже немало лет, и вполне возможно, что автор этого произведения не тождествен сегодняшней Ольге Кузнецовой.

* * *

Особого разговора заслуживают произведения, предназначенные для детей и подростков.

К детской читательской аудитории обращены приключенческая повесть А. Ехалова «Невероятное лето на Белом озере», рассказ Д. Ермакова «Чемпион» и его же «Лямки и хлюстики», а также психологическая повесть «Хоба» и рассказы о Басе Г. Щекиной. О детях и для детей пишет и А. Ломковский («Я — Абакшин», «Приключения Ромашки и Витаминки из Весёлого посёлка», «Паровоз, который летал, или Чудеса в решете»).

Среди героев детской литературы можно выделить два основных типа: «Я — идеальный» и «Я — настоящий».

Детская аудитория особенно отзывчива на произведения, в которых ровесник попадает в необычные ситуации, когда он доказывает себе и окружающим, что возраст не является обстоятельством, ограничивающим права и обязанности человека по отношению к миру. Ребёнок способен различать добро и зло, делать самостоятельные выводы, совершать поступки.

Такой литературной традиции соответствует повесть А. Ехалова «Невероятное лето на Белом озере». Приключенческая составляющая связана с темой кладоискательства, с противостоянием героев «чёрным археологам», с «подводной экспедицией». Ребята чуть не утонут на болоте, станут свидетелями борьбы лося и медведя, спустятся на дно Белого озера к затонувшим ладье викингов и славянскому боевому стругу. Участие в этих событиях потребует не только силы и отваги, но и смекалки, надёжности — качеств, которые помогут подростку увидеть в герое «идеального» двойника.

Повесть содержит обширный краеведческий материал. Во время путешествия в Ваши герои знакомятся с местными легендами о князе Синеусе, брате Рюрика, которые вплетены в древнюю русскую историю.

Автор вводит в текст информацию о природе края, переложение летописного сказания об огненном шаре, поднявшемся над водами Белого озера. Ехалов предлагает естественнонаучное объяснение фантастических явлений, о которых слага-

ются предания (энергетика геологических разломов, феномен исчезающих озёр, Чушевицкая аномалия). Кульминация повести — небесное видение похода князя Олега Вещего на Константинополь — тоже комментируется с точки зрения науки как парадокс времени, когда события тысячелетней давности «высвечиваются» в сознании современного человека.

Писатель создаёт что-то вроде детской энциклопедии Белозерья, скрепляя разнородные «статьи» динамичным сюжетом, и можно с уверенностью говорить об образовательном потенциале произведения. А к идее этой повести для детей стоит прислушаться и взрослым: «От скольких бы глупостей мы были избавлены, если бы умели слушать прошлое».

Помимо «героической» модели персонажа, предполагающей его втянутость в приключенческий сюжет, в литературе для подростков важен и другой образ: «Я — настоящий». Персонаж, воплощающий этот образ, — ранимый, непонятый окружающими, возводящий вокруг себя оборонительные рубежи, то скрывающийся под маской равнодушия, то вступающий в открытый конфликт с миром. Таков герой повести Г. Щекиной «Хоба» Макс Хоботов. Больше всего он хочет «выговорить» себя, не пытаясь выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Честность — главное его качество, эта черта может стать привлекательной для читателя-ровесника, ищущего свои весомые аргументы в споре с миром.

Своеобразным синтезом этих двух типов можно считать героя рассказа Д. Ермакова «Чемпион». Внимание писателя приковано к судьбе подростка, чьи жизненные обстоятельства близки к катастрофическим; мальчик одинок, потерян, он отдаляется от всего, в чём видит признаки другой, недоступной ему жизни. И только боксёрская секция даёт ему шанс на возрождение. На этом пути Кольке встречается настоящий наставник, который приводит его к чемпионству и помогает сформировать качества, необходимые для будущей жизни, — уверенность в том, что он, рано повзрослевший в свои четырнадцать лет, — сильный, надёжный человек.

Рассказ «Лямки и хлюстики» можно назвать детским в том смысле, что в нём идёт речь о присущем ребёнку радостном мироощущении, на смену которому в процессе взросления обычно приходит практицизм. По сюжету отец с сыном отправляются на озеро Светлое. Там, на острове, как утверждает старший, до сих пор можно встретить доверчивых и добрых «невиданных зверей» — лямок и хлюстиков, «таинственных обитателей вологоданских лесов».

Сент-Экзюпери посвятил «Маленького Принца» своему другу Леону Верту, «когда он был маленьким». Обычно в литературе для детей мир ребёнка противопоставлен миру взрослых, и граница между ними кажется непреодолимой. Экзюпери снял это противоречие: каждый взрослый когда-то был ребёнком; память о прошлом даёт шанс жить радостью открытий, восхищаться красотой мира, преклоняться перед его тайнами.

Так и Ермаков отправляет своих героев в совместное путешествие к истокам детства, и взрослый становится для ребёнка проводником в этот чудесный край.

* * *

Какие темы и образы можно считать наиболее показательными для современной вологодской литературы?

О переставшей существовать мелёхинской деревне сохраняется благодарная «память сердца». Звуки, запахи, дары леса, плоды земли, лица стариков и детей — всё освещает и освящает жизнь человека, бережно прикоснувшегося к красоте родной земли, умеющего ценить её щедрость и мудрость. Наталья Мелёхина слышит музыку деревни, перекладывает на неё свои прозаические тексты и объявляет начало концерта «по заявкам сельчан».

Дмитрий Ермаков убеждает читателя, что содержание понятия «кодекс чести» не изменилось, что мужество и воля необходимы не только на ринге, но и в каждодневном споре с судьбой или в её прятии, что в жизни нет мелочей. Каждый человек уникален, каждому — и взрослому, и ребёнку — необходима вера в то, что где-то на Светлом озере его ждут лямки и хлюстики.

Галина Щекина настаивает на том, что нельзя противиться потоку жизни в любых проявлениях. Эта мысль созвучна представлению И. Гончарова об «эластичности» жизни: «во что хочешь веруй: в божество, в математику или в философию, жизнь поддаётся всему» («Обрыв» — 1869). Единственное, что по-настоящему важно, — быть не одному, жить для людей, зная, что «дальних» не существует. Есть только «ближние», «мы вместе гораздо лучше, чем по отдельности» («Хоба»).

Что касается представлений о «герое нашего времени» в произведениях писателей-вологжан, то это, прежде всего, человек, отказывающийся от индивидуалистической морали. Он

заново открывает принцип нерассудочного отношения к жизни. Он часто выглядит «выпавшим» из реальности, слишком далёким от прагматики. Его можно назвать «роевым» героем, потому что участие в общем деле и соучастие в судьбах окружающих ему жизненно необходимы. Такие понятия, как добро, милосердие, жалость, любовь, честность, справедливость для него не являются абстракциями — он в каждом поступке руководствуется представлением о вечных гуманистических ценностях.

Он не симулякр. Он — Человек.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэты Вологодского края о Великой Отечественной войне	5
АЛЕКСАНДР РОМАНОВ	
21 июня 1941 года	5
АЛЕКСАНДР ЯШИН	
Не умру	6
«Десяток лет...»	7
СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ	
Баллада о хлебе	8
СЕРГЕЙ ОРЛОВ	
«Когда на фронте наступает ночь...»	10
ВАЛЕРИЙ ДЕМЕНТЬЕВ	
Баллада о пианисте	11
ВЛАДИМИР КАРПОВ	
«Мне везло. Это жизнь отвела...»	13
ВИКТОР КОРОТАЕВ	
Пережитое	13
ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ	
В День Победы	14
ОЛЬГА ФОКИНА	
Стихи о поэтах и поэзии	15
«Пишу стихи не вечные...»	15
«Для писания стихов надо...»	15
«Я сижу над раскрытой тетрадью...»	17
«Мой шёпот разросся до крика...»	18
«Стихи отдать в печать...»	19
«Дорога не запоминается...»	20
«Не парижен и книжен...»	21
«Он хотел-умел лишь это...»	22
«Ещё начало октября...»	23
«Стыло, темно и скользко...»	24
«...Поэты вымерли. Мне не с кем...»	24
«Поэзия проблем не поднимает...»	25
«Уж не времени ли примета...»	25
«Писатели не пишут...»	26
«...Во славе, но болен и стар ты...»	26
«То явственней, то глуше...»	28
НАТАЛЬЯ АДЛЕР	
Вологда	29
Старая Вологда	30
Батюшков	30
Рубцовская осень	30

Петряево.....	31
Детство.....	33
Vaterland.....	34
ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА	
Память старых фотографий.....	36
Из «Вологодских бывальщин».....	47
Пора бабу менять.....	47
Сила имиджа.....	47
В том же духе.....	48
Героическая история.....	49
Отношение к делу.....	50
Ждать да рожать.....	50
Счастье есть.....	50
Счастье есть — 2.....	51
Лежачий полицейский.....	52
Кающийся грешник.....	52
Лето!.....	52
Юбилей М. Ю. Лермонтова.....	53
Прибалтика.....	54
В гостях у вепсов.....	54
НИКОЛАЙ БЕЛОЗЁРОВ	
Путь бога (Фрагменты из романа).....	56
АЛЕКСАНДР БЫКОВ	
Дело Варакина (Фрагменты из романа).....	76
ВЯЧЕСЛАВ ВАХРАМЕЕВ	
Имя.....	95
«В каждом дереве диво проснётся...».....	95
«А вечность опять начинается здесь...».....	96
«...И любовь прорезается — первые зубы...».....	96
«Светит месяц мне на левое плечо...».....	97
«Всё правильно: осенний будет год...».....	97
«Мы в будущем сойдёмся, как в былой...».....	98
«А письмо от тебя — что ни ночь — на столе...».....	98
«Первобытная белая тьма...».....	99
«Дело было не в смене простой часовых поясов...».....	99
«Когда пройдут династии цветов...».....	100
«Дни отходят, становятся глуше...».....	100
«Что-то быстро душа переводится...».....	101
ИВАН ГОРОДИЛОВ	
По грибы.....	102
СЕРГЕЙ ГРОМЫКО	
Виталик.....	110

ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ

Берег юности (Недокументальная повесть) 129

АНАТОЛИЙ ЕХАЛОВ

Бабка Горопина и другие неофициальные лица (Повесть) 157

ТАТЬЯНА КОРСУНОВА

Гамма 180
Иногда всё же приходится 181
Стой. Пой. Пей 181
Первая любовь 182
Дуэнде 183
Щёлк-пощёлк пальцами 183
Мне снилось, я был 184
Кто за мной? 184
Кто ты? 185

РОМАН КРАСИЛЬНИКОВ

Арбуз 186
Интересно 191

ГАЛИНА МАКАРОВА

«Прощай, инерция...» 193
8 марта 193
Апрель 194
Майский ветер 194
В роще 195
Листья падают 195
Зимушка 196
У новогодней ёлки 196
«Не надо ни шляпки, ни модного платья...» 196
«В школе я все правила блюла...» 197
Пустыри 197
«Хотя и каждая копейка на счету...» 197
«На овсяную кашку...» 198
Элегия 198
«Голым в мир пришёл — уйдёшь без скарба...» 199
«Встала несмело почти у порога...» 199

ЮРИЙ МАЛОЗЁМОВ

Косноязычие 200
Пионерский лагерь 201
Чайник, труба и кувалда 205
Джентльмен 207
Ведьма 208
Толина могила 209
Пиноккио 210

Налим	210
Матрац	211
На заводе.....	211
Современники.....	212

МАРИЯ МАРКОВА

Лишь ветер и вода.....	213
«В железнодорожном саду образцовом...»	214
«Слоистый жар разреженных акаций...»	214
«Два разных языка...»	215
«У Антона и Антонины...»	217
«Ни малейшего намёка...»	217
«Как будто меня не задело...»	218
«...и слёзы нахлынули с третьим ударом...»	219

НАТАЛЬЯ МЕЛЁХИНА

По заявкам сельчан	220
Древо жизни	229
Матрац	233

АЛЕКСЕЙ МУРАТОВ

Соловей	239
Для служебного... ..	243

ОЛЬГА ОЛЕВСКАЯ

В ожидании Оно.....	258
Накаркала!.....	267
Сплошной позитив	269
Кабинетная наука.....	272
Бизнес-сон	275

РУФЬ РАФАЛОВИЧ

«Талифа, куми!»	278
Изъян в родословной	284

ВАЛЕРИЙ СУДАКОВ

Из последних стихотворений	298
«Над крышами кремлёвских древних зданий...»	298
«Скрыт в тумане сонный берег...»	298
«Вот в памяти встаёт картина...»	299
«Ели в блёстках серебристых...»	299
«Вот и метель, и снежинок покусыванье...»	300

НАТА СУЧКОВА

«Говорит дед Никола, окая, давно уже мёртвому деду Борису...»	301
«Хорошо да сладко спать, не бояся мёртвых...»	301

«Картинки выставить вдоль стен...»	302
«На башенном кране написано "РЖЕВ"...»	303
«За железными засовами что ни век — идёт война...»	303
«И вот они плывут на плотике...»	303
«Живут на угоре два брата...»	304
«Первый муж — Василий, и второй — Василий...»	305
«После долгой болезни, ну — поймали — запоя...»	305
«Дыша духами и туманами...»	306
«Стоят, сполна всего помыкав...»	306

АНДРЕЙ ТАЮШЕВ

Баллада о старике с вороной	307
Монолог	308
«Из последней зимы я с большими потерями вышел...» ..	309
«Ещё одна зима сползает старой кожей...»	309
«Я курю на закате, твердя: "Хорошо, хорошо..."»	309
Астрахань	310
«На заре рыбаки снасти ладят свои вдоль реки...»	310
«...И август догорел сухой соломой...»	311
«Осенняя шальная стрекоза...»	311
Лето-89	312
«Ты помнишь, время хоронить...»	312
Постскриптум	313

ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВ

«Я вернусь ненароком в родные места...»	314
Контракт	314
Болезнь	315
Мебельная сказка	316
Аттракцион	317
Маленькая волшебница	317
Коля	318
Аламбаш	319
Лирическое отступление	320

ВАЛЕРИЙ ТИМОШИЧЕВ

Случайный папа	321
Балерина	332

АНТОН ЧЁРНЫЙ

Лето всегда кончается (Вологодская повесть)	341
---	-----

ИНГА ЧУРБАНОВА

«Средь деревни, почти что вымершей...»	372
«От своего пустого дома...»	373
«Молчаливые поссорятся...»	373
«Прочтя меня до половины...»	374

«На сушёной треске, как усатая старая финка...»	375
Верлибр	375
«Две женщины мужá не поделили...»	377
«Я всем находила хорошие “руки”...»	378
«Возвращаются запахи...»	378
«Всё будет, как быть положено...»	379
«...И, может быть, моё предназначение...»	379

ГАЛИНА ЩЕКИНА

Меандры	380
Дуновение Рождества	389

ЛЕТА ЮГАЙ

Из цикла «Записки странствующего фольклориста»	395
Волки	395
Быличка	395
Горюшница	396
Полудница	397
Ряженные	397
Сотрудники	398
Случай	398
Баенка	399
Из цикла «Травник-разговорник деревни Рождество»	400
Виолы	400
1. Фиалка трёхцветная, или Анютины глазки	400
2. Фиалка собачья	400
3. Лопух большой	401

АНТОН ЯНКОВСКИЙ

Шнурки на дороге (Фрагмент из повести «Аскер-джан») ..	402
Самокаты из Брянска	408

ЕЛЕНА ТИТОВА

Куда ж нам плыть? (Диалогические заметки о современной вологодской поэзии)	414
--	-----

АННА ФЁДОРОВА

Проза жизни в вологодской литературе	435
--	-----

**ВОЛОГОДСКИЙ
АЛЬМАНАХ
•
2015**

**Подписано в печать 7.10.2015 г. Формат 60х90/16. Гарнитура SchoolBookСТТ.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,75. Тираж 500 экз. Заказ 1516.**

**ООО ПФ «Полиграф-Периодика».
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.
Тел. 8(8172) 72-61-75. E-mail: pr-otdel@pfpoligrafist.com**